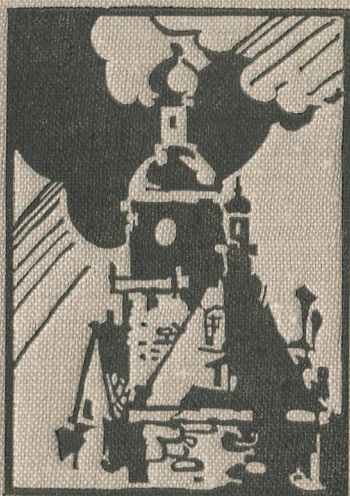
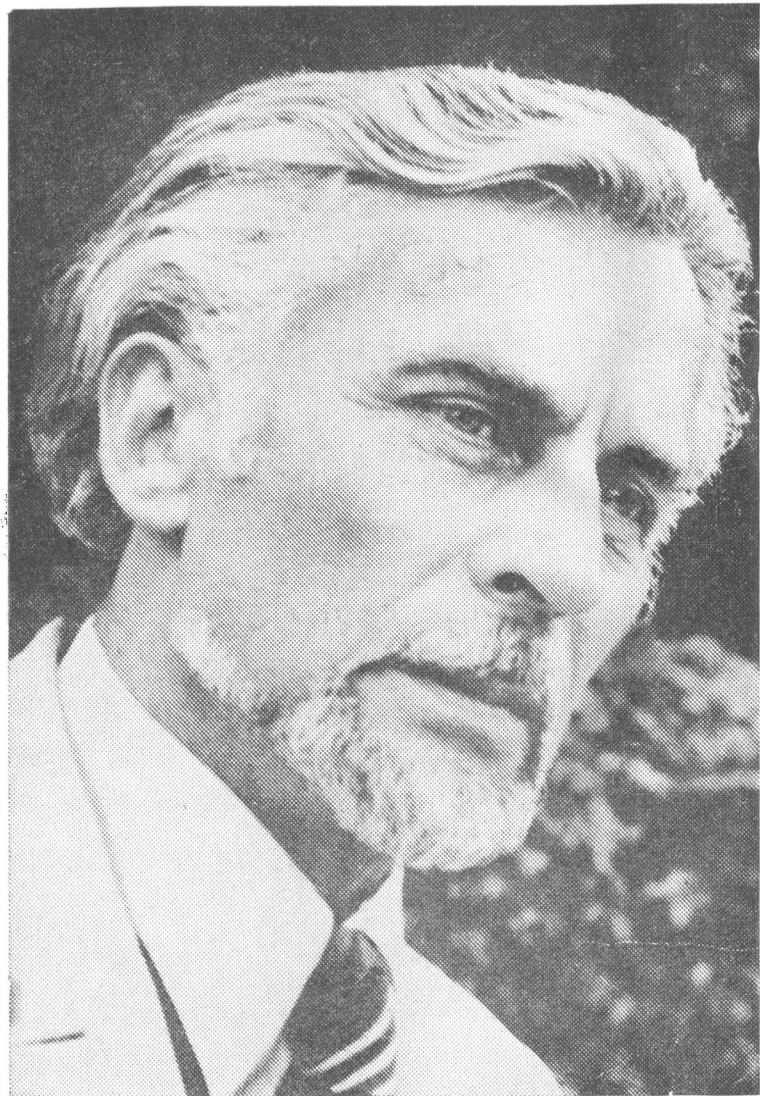


РОМАН
ИВАНЫЧУК



возвращение





БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

РОМАН ИВАНЫЧУК

возвращение



РОМАН. НОВЕЛЛЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1979

С (Укр.) 2
И 18

**Авторизованный перевод
с украинского**

Художник С. ХАЛИЗОВ

70302—033
И 306—79 подписное
074(02)—79



город

РОМАН



Перевод Вадима ВЛАСОВА

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ

До Города было уже совсем близко. Поезд, как добрый конь, что, возвращаясь домой, чует знакомый запах родного жилья, галопировал, отсчитывая частым постукиванием последние километры пути.

Пассажиры зашевелились, снимали с полок чемоданы, узлы: возле окон, в купе и коридоре терпеливо ждали последней остановки.

Нестор набил трубку, раскурил и открыл дверь купе.

В коридоре было полно людей и накурено, пассажиры столпились возле обоих выходов, лишь посредине, за откидным столиком, неподвижные, словно маршрут этого поезда заканчивался не в Городе, а где-нибудь у самой границы, сидели двое молодых людей, играя в шахматы.

Пышночубый, с первыми серебряными нитями в волнистых волосах, отчаянно защищал ферзем короля, отступал; его атаковал конем, турой и пешкой мужчина с красивым тюркского типа лицом. Партия подходила к концу — азарт игроков был вполне естественным, но все-таки равнодушные шахматистов к дорожной суете отдавало определенной нарочитостью: так

ведут себя люди, большую часть своей жизни проводящие в командировках.

Нестор наблюдал за игрой. Положение пышночубого было критическим, однако еще не безнадежным, но вот он совсем без необходимости, не думая, отвел короля в сторону и потерял ферзя. Поднял голову и произнес, вздохнув:

— Сдаюсь.

— Всемиловитый аллах свидетель, что я не хотел причинить тебе неприятности, — сказал с ощутимым восточным акцентом противник. — Я не знаю, о чем ты думал сейчас, но, во всяком случае, не об этой партии. Такие необдуманные ходы, такая детская порывистость и пас... Вай-вай, да ты холерик, а холерики всегда проигрывают... Разве можно так по-глупому потерять королеву?

— Нельзя, нет... Так легко, как я ее потерял, — нельзя.

— Ты снова о своем... Так зачем садиться за шахматы, если думаешь бог знает о чем?

— Каждый играет свою партию, старик. Каждый делает свой первый ход с твердой верой в победу: защита, маневры — все продумано, но бывает, что неожиданно складывается для тебя такое положение, что выйти из него уцелевшим невозможно, и тебе ставят мат.

— Тогда надо начинать вторую партию, третью, четвертую, ибо зачем у человека голова, зачем у человека сердце?

— Ах, каким отважным стал мой бухарец, с тех пор как женился на своей неземной Юлдуз! Умнее Насреддина и самого Авиценны... Юлдуз — сахар, рахат-лукум, шербет, сахарин! Скажи мне, дорогой, я-то со своей Юлдуз встречусь?

— А что такое встретиться? Встретиться — это еще ничто. Беда твоя в том, что ты хочешь продолжить давно начатую партию, а надо сыграть новую. Пусть с тем же самым партнером, но только новую, ведь партнер уже не тот и ты тоже иной. Ты хочешь дважды ступить в ту же самую реку, дважды пережить одну и ту же минуту, дважды сорвать один и тот же гранат... Вай-вай...

— Ошибаешься, старик, тогда я не начинал партию... но начну ее теперь, какой бы сложной она ни



была, даже если увижу заранее мучительный проигрыш.

Друзья разговаривали так, будто в поезде их было только двое. На Нестора, стоявшего возле них, прислонившись спиной к двери купе, не обращали внимания, а он слушал чужой разговор и не мог заставить себя отойти. Нет, не тайна пышночубого мужчины интересовала его — просто эта мысль о шахматной партии поразила Нестора, словно была его собственной, только до сих пор не сформулированной.

— Расставь фигуры, Меджнун, — улыбнулся мужчина с тюркским лицом. — Есть еще немного времени.

— Времени еще много, да вот не знаю, как сделать первый ход... Ну, ты скажи мне, я встречу с ней?

Поезд пошел тише, зашипели тормоза, друзья повернули головы к окну. Что, уже Город?

— Париж! — крикнула из тамбура проводница, и пассажиры засмеялись, хотя давно привыкли к такому названию полустанка — последнего перед Городом.

КОСТЬ АМЕРИКАНЕЦ

От этого полустанка, у которого было самое простое на свете название — Париж, или по-простонародному Парище, до Города оставалось около десяти километров. «Это не так много, — мгновенно отметил Нестор, — когда-то тут, идя по дороге из своего села, я определял полпути...». Он торопливо направился к выходу, еще раз оглянулся на двух мужчин за шахматной доской, словно желая запомнить их лица, протиснулся по узкому проходу между пассажирами, докуривавшими последние папиросы у опущенных окон, деликатно отстранил молодую проводницу, стоявшую в дверях тамбура с желтым флажком в руках, и спрыгнул на насыпь.

В это время, лязгнув буферами, поезд тронулся, проводница что-то хотела сказать чудаковатому пассажиру с длинными волосами и претенциозной трубкой в зубах, но только неопределенно взмахнула рукой: мол, это еще не Город, до Города еще ого-го сколько! Нестор послал ей издали воздушный поцелуй и крикнул:

— Не знаете, девушка, сюда, в Парище, и до сих пор водят подковывать коз?

Шахматисты только теперь заметили Нестора, бухарец улыбнулся ему, помахал рукой.

Девушка скривила губы, потому что вызывающий тон из уст не слишком уже молодого человека, с этими седоватыми патлами, да еще с этой полированной трубкой в зубах, отдавал нарочитой развязностью или, как она могла бы по-своему назвать, «сыромудростью».

— Подковывают ли коз, не знаю, а что тут живет Кузькина мать, так это чистая правда! — ответила она, презрительно надув губы.

— Да не может быть! — Нестор вынул трубку изо рта. — Наверно, уже сильно постарела?

— Для вас — в аккурат!

Разговор оборвался, потому что поезд как раз выгнулся дугой, надутые губки проводницы скрылись за выступом вагона, еще какое-то мгновение трепетали из-под черного форменного берета ее завитые русые волосы, но вот и они исчезли. Прогредел последний вагон, и сразу легла такая мертвая тишина, какой в природе не бывает, и только через некоторое время она начала оживать — свистом вечерней птицы в придорожной посадке, бомканьем колокола возле станционного домика, приглушенным стуком вагонных колес.

Из всех звуков вечерней тишины Нестор отчетливее всего услышал именно стук колес. Как только исчез за поворотом хвост поезда, где-то глубоко в душе шевельнулось раскаяние за этот романтический порыв — прийти в Город своей юности именно пешком; но вот все отчетливее слышится ритмичный стук, и откликается он чем-то далеким, как вечность, и уносит это минутное сомнение: глухое татаканье вагонных колес было сейчас таким же, как в те времена, когда он вечерами выбегал из села на выгон и, вслушиваясь со щемящей тоской, устремлялся душой за этим зовом, в незнакомый, удивительный мир.

«Эх ты, гримасничающая проводница с надутыми губками и кудрявыми волосами, и ты мне о Кузькиной матери?.. Где-то ты слышала, да недослышала, потому, что сама вон как привычно пересекаешь землю, но ты бы, наверное, даже и не поверила, что когда-то у меня по дороге в тот мир, из которого я теперь возвращаюсь в свой Город, стояло вот это Парище с кузнецами, похожими на чертей, что подковывают коз и малых детей, да еще с этой ведьмой — Кузькиной матерью, у которой, чтобы попасть в Город, надо было как самое маленькое — поцеловать руку».

За спиной Нестора, далеко в горах, спряталось село, из которого он и его ровесники выбегали по вечерам на зов паровозных колес, а потом, когда у родителей не было уже сил удержать их дома и парищевская Кузькина мать постепенно и нехотя становилась сказкой, уходили и больше не возвращались, — в это мгновение он еще раз проходил сквозь старые ворота, которые вывели его когда-то из родного села в большой мир.

В первый раз это было давным-давно: той осенью,

когда из окна сельской школы в яму, в которой гасили известь, полетели портреты вождей санационной Польши, а отец, бедолага с полморгом земли, торопливо, словно боясь, что упустит счастливое мгновение, взял Нестора за руку, повел его в Первую городскую школу и сказал при директоре:

— Сокрушался я, сынок, что батраком станешь, не спал ночами, видя тебя поденщиком, а теперь — человеком будешь.

Он поклонился директору и ушел, оставив сына в украшенном кумачом Городе, чтобы он тут рос и познал радость свободного детства и тяжкое отрочество под сапогом гитлеровского оккупанта, а в юности — радость освобождения от фашизма.

Все было тут... А потом — уход из Города в большой мир. Надолго. Чтобы получить образование в советском вузе и стать мастером. Чтобы через много лет, сегодня, вернуться в Город и в его воротах, облегченно вздохнув, сказать:

«Покойный мой отец! Я не знаю, кем ты видел меня, когда впервые привел сюда за руку: рабочим, врачом, инженером или кинорежиссером. Да это не так уже и важно — кем. Я вернулся человеком».

Нестор добрался до центра поздно... Улицы уже были совсем безлюдны. Нет, он теперь не жалел, что вместо десяти минут поездом шел больше трех часов пешком — из Парища напрямик по знакомым и совсем новым дорожкам. Хорошо было так идти и думать о Городе, который вот-вот увидит после долгой разлуки, какой он теперь? Небось не тот, который оставил юношей... Шагая, Нестор ощущал, как поднимаются в душе глубоко ушедшие воспоминания и ширится ожидание нового. Это было радостное ощущение: он еще вчера был до предела утомлен, сегодня же пробудилась жажда познания.

Город уже крепко спал. Нестор прошел по центральной улице, ища гостиницу. Нашел. Постоял у дверей. В гостинице было тихо. Стучать не хотелось. Разве уж так далеко до рассвета?

На перекрестке двух улиц, которые бежали вверх, беря свое начало от ратуши, благоухал освещенный гирляндами фонарей треугольный сквер. О, этот окру-

женный старыми липами сквер! Расположившись в самом центре, темный и настороженный, он когда-то был словно не частью Города, а автономным его уголком, который не зависел ни от шумного базара — справа, ни от многолюдной цивилизованной улицы — слева, ни от высокой официозной ратуши со старинными часами, на которых ежечасно поднимались два молотка, отбивая на выпуклых медных тарелках время; ему безразличны были ряды фиакров, ожидавших богатых пассажиров, чтобы отвезти их на станцию; в этом скверике прямо на траве сидели и обедали босые крестьяне; в жаркие дни тут всегда стояла бочка с пивом, и любители его располагались с полными кружками на траве, беседуя, а по воскресеньям играя в карты; тут на лавочках среди бела дня целовались влюбленные, веря в то, что их никто не видит, хотя об их невинных утехах в тот же вечер уже знали все аж на Монаховке и даже на Розенберга; в этом сквере доночевывали гимназисты, которые, загуляв, боялись возвращаться в бурсу, чтобы не нарваться на сурового наставника Штефана Сичкарню, сквер пользовался полной автономией, и туда по старой привычке направился теперь Нестор.

Остановился посреди сквера, огляделся вокруг, и ему сразу показалось, что он попал в совсем чужой город. Прежними тут были лишь этот сквер и ратуша; в просветах между липами мерцали огнями блоки высоких домов, которые выросли на месте бывших старых халуп, и Нестор подумал, что и люди, должно быть, тоже изменились и что фильм, который он привез сюда, возможно, отразит лишь прошлое Города, нынешний же его день надо еще увидеть.

В эту минуту из густи лип вынырнул какой-то человек и пошел прямо на него; Нестор отступил в сторону, но, увидев, что человек не пьяный, спросил:

— Не скажете ли, где в это время можно найти такое место, чтобы за пивом или просто так посидеть до утра?

Незнакомец был пожилым, и у Нестора мелькнула мысль, почему это он по ночам, да еще и трезвый, блуждает по безлюдным улицам (впрочем, это его не касается): он ждал ответа.

Старик поднял глаза, добрые и, кажется, грустные, склонил набок голову и, о чем-то размышляя, начал

загибать палец за пальцем на левой руке. Потом сказал:

— В гостинице, милостивый государь, не переспите, потому что к нам понаехало много артистов из кино, завтра будут это кино показывать, и они что-то будут говорить людям. Поэтому в гостиницу не попадете. Взял бы вас к себе, но сам живу на квартире. Ну, а пивом — чтобы до утра... Гм... На Розенберга закрывают в двенадцатом часу, а уже пробило час. Значит, опоздали. В пять должен бы открыться буфет на станции — так еще рано. У Копыла — там и вовсе в шесть. А на автобусной... ежели Перцова не выполнила план, то торгует всю ночь.

Только теперь Нестор заметил, что из-за спины незнакомца выглядывает гриф гитары или мандолины. Еще и музыка тут... По всему было видно, что старик чувствует себя в Городе давнишним хозяином — и улицы и «злачные» места называет по-старому. Упоминание о Перцовой вернуло Нестора на три десятка лет назад, когда он, ученик второго класса гимназии, обитал в двухэтажном красном каменном доме на Монаховке у пани... да, у пани Перцовичевой, у которой была возле ратуши мануфактурная лавочка, на пальце левой руки — перстень с дорогим бриллиантом, дома, на стене — гимназический аттестат в резной рамке и этажерка с книгами, к которым и пальцем никто не смел дотронуться, разве что один лишь друг дома — учитель закона божьего — отец-профессор Баранкевич.

— Перцовичева пивом торгует? — переспросил удивленно Нестор.

— А что? — пожал плечами старик. — Продает пиво, да и все тут. Это когда-то было так, что одна работа шла попу, а другая — дьякону. Теперь даже Перцовичева понимает, что любой труд — не стыд.

Он постоял еще с минуту, о чем-то подумал, а потом сказал:

— Пойду и я с вами. Летняя ночь коротка, скоро рассветет. Не по-божески это — будить хозяев ночью.

Они свернули на Торговую улицу, которая и сейчас, в ночной тишине, казалось, скрипела крестьянскими возами, наполнилась конским ржаньем, бляеньем овец, визгом поросят и откормленных свиней, которых вели и везли каждый вторник и пятницу на базар; эта ас-

фальтированная улица когда-то была грязной и разбитой, это была черная улица Города потому, что в конце ее шумела торговля и голосила ревом животных бойня, а недалеко, за базаром и бойней, синел густой Шипитский лес, в который когда-то, в те Несторовы гимназические годы, фашисты гнали, как овец и коров, толпы людей на смерть. Эта улица осталась и донныне в памяти черной, поэтому Нестор молчал, и может быть, поэтому же молчал и его новый знакомый.

Нестор внимательнее присмотрелся к своему спутнику, ему хотелось узнать его: старых людей Города он помнил почти всех. Но нет, он не узнал его, не видел его никогда, и ему удивительно было, откуда у старика вот эта хозяйская уверенность, будто он тут родился.

— Вы давно живете в Городе? — спросил Нестор.

— С деда-прадеда мы тут, — коротко ответил старик.

— Я вас не знаю...

— И я вас тоже, милостивый государь. — Он замолчал, но ненадолго. Словно сам себе, не поворачивая головы, стал рассказывать: — Ямы, гляньте-ка, засыпали щебнем, залили асфальтом, дорогу расширили — и уже совсем иной вид... А вон там, слева, школу строят — на тысячу учеников, да такую, что куда там твоя гимназия... А еще дальше — завод сельхозмашин. Этот издавна стоит, но как растет! Что этих цехов, сударь, что этих машин — с конвейера каждый день, что этих людей! И это все, сударь, делаешь своими руками и знаешь, что для себя. Не то что там...

— Где — там? — спросил Нестор.

— Как где? В Америке...

Нестор пожал плечами, ибо то, что сказал старик, было само собой разумеющимся, и, подумав, что разговаривает с ветераном этого завода, спросил:

— Еще работаете или уже на пенсии?

— Уже на пенсии, но буду работать, пускай он хоть на дыбы встанет.

Нестор ничего не понял, но больше не расспрашивал и, вспомнив шахматистов в поезде, подумал про себя: «Интересно, какую очередную партию начинает этот старик?»

На автобусной остановке было пусто и темно. Нестор, правду говоря, не надеялся, что в такую пору где-то может быть открыт буфет, рад был, что есть с кем скоротать ночь, однако попутчик, прищурясь, некоторое время внимательно всматривался в конец автобусной площадки и наконец сказал:

— Торгует...

Он устремился впереди Нестора напрямик через площадь, и Нестор только теперь присмотрелся к инструменту, висевшему у старика за спиной. «Да это же банджо, откуда взялось оно у него?» — подумал он.

Старик подошел к деревянному павильону и осторожно потрогал двери. В павильоне кто-то кашлянул, послышались шаги, упала щеколда, и в дверь просунулась голова немолодой женщины с длинным носом на худом напудренном лице. Женщина тихо воскликнула: «Сногшибательно!» — и пропустила прищельцев внутрь. Она была высокая и широкобедрая, пудра заботливо прикрывала морщины. Нестор сразу узнал Перцовичеву, или, как ее называли в Городе, Перцову, бывшую красивую вдовушку, которая гордилась своей мануфактурной лавочкой, гимназическим аттестатом, перстнем с дорогим бриллиантом, этажеркой с книгами и знакомством с молодыми священниками и самим отцом-профессором Баранкевичем.

— Далеко едете, Американец?

— В Гонолулу.

— Сногшибательно! И эту мандолину берете с собой?

— А вы не печальтесь. Я же вернусь и еще на вашей свадьбе сыграю на ней.

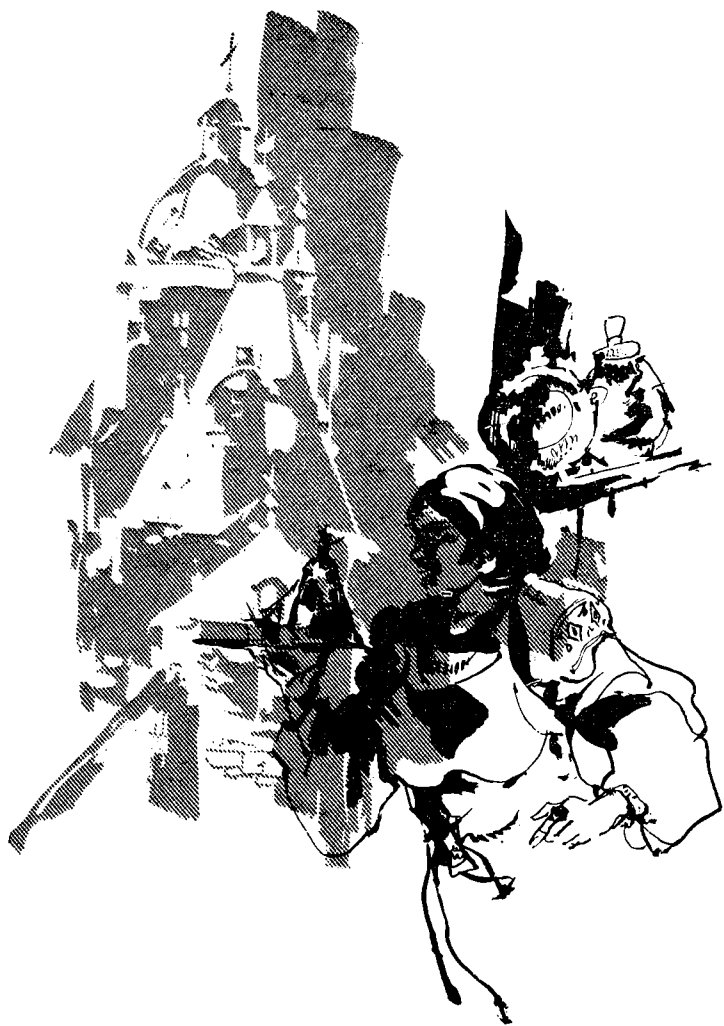
— Что-то я до сих пор не слыхала, чтобы вы играли, для форса носитесь с ней. Ну, счастливого пути, Кость. А что пьете: вино или водку?

— И пиво, Перцова, и пиво. А вы тут уже совсем поселились?

— Наполовину. Ведь надо быть глупой, чтобы под базарный день спать дома.

— Вы правы... Да еще и позавтракать нам дайте.

Перцова метнулась к дверце в прилавке. Она вроде бы и не изменилась. Нестор помнит, как вертелась когда-то молодая Перцова, подавая святым отцам на стол пироги и торты: она знала, как принимать гостей.



Нестору в эти минуты вспомнились некоторые киевские официантки, и он искренне пожалел, что талант его знакомой так безнадежно растрачивается в маленьком провинциальном буфете. Перцова подала на стол буженину и водку, Нестор присмотрелся к ее рукам и узнал драгоценный перстень на среднем пальце. Перцова заметила этот взгляд, и когда вторично подошла с вилками и ножами, перстень уже был повернут бриллиантом внутрь. Перцова разложила вилки

и ножи, она решительно не утратила старых привычек: в памяти Нестора из пропасти прошлого вдруг вынырнул хорошо воспитанный и не в пример юному Нестору интеллигентный соквартирант-гимназист — одноклассник Мисько Два Пальчика.

«Не держи нож, как лопату, а вилку, как грабли! Смотри, как Мисько умеет вести себя за столом», — будто услышал Нестор постоянные замечания Перцовой; разрезая ножом буженину, он машинально оттопырил два пальца, как это умел делать только Мисько, но Мисько умел это делать, а у Нестора эти два пальца всегда смешно торчали, как рога у жука, торчали они, наверно, именно так и теперь, потому что Перцова вдруг остановилась, оцепенела, кружки с пенистым пивом задрожали в ее руках, она осторожно поставила их на стол и прошептала:

— Нестор!.. Нестор!..

— Как поживаете, сударыня?

— Так это вы... А я не верила, что это вы, думала — однофамилец... Вы приехали на завтрашнюю премьеру? Боже, боже... Нестор, наш маленький Нестор — кинорежиссер! Сногшибательно!..

Старик как раз наполнял водкой бокалы, спокойно слушая причитания Перцовой, но после ее последних слов поставил бутылку и, подняв густые седые брови, проговорил:

— Мне и не снилось собутыльничать среди ночи с большим человеком. Но почему вы, милостливый государь, не вместе с этими, что в гостинице?

— Слишком давно я не был в Городе, чтобы ехать вместе. Самому надо было. А вы, кто вы такой, что я вас никогда не видел? — все-таки не удержался Нестор, чтобы не удовлетворить своего любопытства.

— Да говорю же — тутошний. Мы с вами просто во времени разминулись. Когда я жил в Городе, вас еще тут не было, когда же вернулся из-за океана, вас уже не было. Я — Кость Американец.

«А-а,— подумал Нестор,— это ведь он оттуда привез банджо».

Перцова, не дожидаясь приглашения, уже сидела за столом. Вряд ли это нужно, если люди встречаются

через несколько десятков лет. Украдкой, как-то виновато она поглядывала на Нестора и шептала:

— Боже, боже, почему это человек не знает ничего наперед? Как же ваши дети, жена?

— Не успел еще обзавестись семьей,— смущенно улыбнулся Нестор.— Все времени не хватает. Вот если бы вы подыскали мне в нашем Городе пару... Ну что ж, выпьем за встречу.

Перцова нерешительно отпила, опустила руку с бокалом на стол, другую, с перевернутым перстнем, бесильно уронила на колени, она точно отсутствовала, только время от времени повторяла шепотом:

— Сногшибательно!.. Феноменально!

ВАДИМ ИВАНОВИЧ

Был предрассветный час. За разговором не заметили, как прошло время: розовое зарево подожгло белые тучки на небосклоне, багрянец высветил невыспавшиеся лица собеседников Нестора. Он внимательно поглядел на Перцову и почувствовал, как в душе шевельнулось нечто злорадное... «Ну, конечно, если бы ты знала наперед... Да нет, мещанская спесь затемняла даже тот разум, который был у тебя. «Деревенщина»,— называла ты таких, как я, и обрекала их на последнее место в обществе...» Но тут же Нестор одернул себя: перед ним смеркается вчерашний день Города. Перед своим уходом ему суждено увидеть новый день и понять его. Хорошо — если поймет.

Нестор перевел взгляд на Костя. Из скупой речи Американца он уже узнал, что старик в свои шестьдесят твердо решил начать работать на заводе, ведь он «слесарь первого класса. Либо, сударь, хотя бы сторожем в проходной».

— Пора мне устраиваться,— встал Нестор.— Приглашаю вас на премьеру.

В гостинице Нестор прилег, чтобы немного подремать, но усталости, к своему удивлению, не ощутил. Он еле дождался девяти, быстро собрался и направился в райком партии нанести визит товарищу Ткаченко,

который любезно принял предложение друзей Нестора — организовать премьеру его фильма в Городе.

Молодцеватый, подвижный заведующий отделом райкома Ткаченко вышел из-за стола, поздоровался с Нестором за руку, предложил сесть и без трафаретных вопросов «Как доехали?», «Как устроились?» заговорил:

— Значит, в четыре. Я вас представляю. В Городе, знаете, ажиотаж: как-никак свой режиссер! Я, разумеется, был на просмотре. Прекрасно... Новеллистическая композиция, операторские находки... Один аист, этот розовокрылый, как фламинго, аист, который обрамляет своим полетом весь фильм,— этот аист, что взлетает в первом кадре от выстрела, а в последнем мечется над пожарищами как символ жизни,— это просто чудесно. Только... Я не знаю, насколько вы чувствительны к критике... Ну, ладно, об этом потом. Знаете, что я вам хочу предложить? Пойдемте сейчас, у нас полдня времени, я вас познакомлю с одним чрезвычайно интересным человеком. С Вадимом Ивановичем. Так все его называют, не иначе. Спросите на улице любого, как найти Вадима Ивановича, и каждый, даже ребенок, направит вас на завод или на его квартиру. Это директор нашего «Сельмаша».

— Я вас понял,— ответил Нестор,— я даже знаю, за что вы меня хотите критиковать, я понял это еще вчера, как только очутился в центре Города. Мне самому хотелось попросить вас, чтобы вы провели меня на завод.

— Ну и хорошо! — встал Ткаченко.— Вот и пойдете. А по дороге я вам расскажу кое-что про нашего директора. К тому же и вы, как я понял из вашего фильма, были свидетелем тех или похожих событий, о которых мне рассказывал Вадим Иванович.

Они шли не спеша, Нестор внимательно слушал.

...Деморализованная хортистская армия в марте сорок четвертого в панике, побросав на разбитых дорогах пушки, лошадей, ящики со снарядами, отступала в Карпаты, чтобы там на некоторое время занять оборону. Ей на пятки наступали наши передовые части, оставляя гарнизоны в населенных пунктах прифронтовой полосы.



Вадим Иванович возглавлял такие гарнизоны поочередно в нескольких селах. Он знакомился с людьми, заходил в хаты, изучал настроения жителей.

Далеко за селом высилась лысая гора — там стояла бедная хатка, которую можно было бы принять за пустую чабанскую хижину, если бы изредка не поднимался над нею жигенький дымок. Но потом и этот признак чьей-то жизни на горе исчез — дымок больше не курился, и тогда-то Вадим Иванович решил навестить туда с группой бойцов.

Подергали за щеколду — дверь заперта, сквозь закопченное оконце нельзя было разглядеть, что делается в хате, вокруг тишина: ни собаки, ни курицы; подумали сперва — пустая. Но один боец заметил, что дверь заперта изнутри. Не надо было большой силы,

чтобы сорвать ее с петель. Бойцы с Вадимом Ивановичем вошли в хату.

Первое, что они увидели в сумерках, — глаза. Блестящие стеклянные глаза и лицо как у мертвеца — высохшее, сморщенное, желтое. Вадим Иванович сперва растерялся, не зная, что делать, но веки мигнули, губы задвигались, — и он услышал шепот:

— Не убивай ребенка...

Вадим Иванович бросился к постели:

— Мы не фашисты, бабушка, мы советские! Где ребенок?

Старуха долго всматривалась в пришельцев, потом протянула высохшую руку, откинула рядом, и Вадим Иванович увидел хуленькое белое тельце девочки-младенца, в котором тоже еле теплилась жизнь. Ребенок не плакал, только водил зелеными глазенками.

— Чья девочка, где мать? — спросил Вадим Иванович, боясь, что старуха умрет и не успеет сказать.

— Матери нет уже больше полгода, — прошамкала старуха. — Она жила у меня, ковпаковцы привели ее сюда, когда пришла пора рожать... тут и родила. А когда немцы делали облаву, схватили ее... я дитятку спрятала... А Оленку вон там, за хатой, расстреляли. Я Галюсю выходила, а теперь помираю, должна была умереть и она... да вы пришли, так заберите. Пусть живет... Она только начала, а мне кончать, потому как нет уже сил...

— Кто эта Оленка, откуда?

— Да разве ж я знаю... Партизаны привели, женой была одного ковпаковца... Она все мне наказывала, если что случится с ней, то когда фронт уйдет в горы и придут наши, чтоб я отнесла малышку в Город и отдала какому-то Стефураку. Но я в Городе никогда не была, да и не могу ходить. Говорила она: скажите Стефураку, что это от Оленки...

Больше старая не могла ничего сказать, в тот же день и умерла. Бойцы ее похоронили, а Галюсю Вадим Иванович отнес...

— Стефураку? — перебил Нестор Ткаченко. — Почему Стефураку?.. Я знал его. Он еще жив?

— Да, но очень уж старенький, — ответил Ткаченко. — Я не знаю, почему именно ему. Да обо всем вы сможете расспросить самого Вадима Ивановича.

Они дошли до проходной завода, и Ткаченко оставился.

— То, что я рассказал, — только один эпизод. Вадим Иванович после войны остался в нашем Городе. Сначала был на партийной работе, потом заочно окончил сельскохозяйственный институт, и его назначили директором вот этого завода... Этого, да не такого же. Вы только посмотрите, какую он занимает территорию. При буржуазной Польше тут была фабрика плугов. Ну, не фабрика, большая кузница. А это все, что вы видите, выросло при нем... Выросла при нем и Галя. То есть воспитал ее Стефурак, а учебой занимался Вадим Иванович. Галя окончила политехнический институт во Львове и пришла сюда на должность инженера производственного отдела... Вот приедете еще раз — увидите, сколько интересного у нас.

— Непременно, непременно... — проговорил Нестор в задумчивости. — Но почему — к Стефураку?..

Охранник пропустил Нестора и Ткаченко, и они вошли во двор, в глубине которого высилось над низкими строениями еще не законченное сооружение, справа находилось четырехэтажное здание заводского управления.

— Боюсь только, что не застанем его в кабинете, — сказал Ткаченко. — Идемте в новый блок цехов. Это его гордость, там днюет и ночует... А что я говорил: вот он стоит.

Они подошли. Приземистый, жилистый мужчина, лет уже, должно быть, за пятьдесят, прямо-таки растерялся, когда Ткаченко познакомил его с Нестором.

— Да, слышал я. Но хотя бы позвонили... У нас скоро пуск, поэтому мы днем и ночью... Приходили уже к нам, снимали для киножурнала, но вам, наверное, не масштабы и цифры нужны, вам, так сказать, подавай рабочий класс. Об этом подумать надо, стоит подумать...

Нестору сразу понравился этот на вид добродушный и медлительный человек, по разговору видно, откуда-то с Полтавщины; пригляделся к нему, и на мгновение ему показалось, что он когда-то его видел — глаза показались знакомыми... Но нет, это снова дала о себе знать профессиональная привычка Нестора — искать типаж для ролей. Нестор вспомнил: когда он про-

сматривал актеров на роль лейтенанта, представлял себе своего героя именно с такими глазами: светло-серыми, в которых глубоко, на дне, таится настороженный холодок, свидетельствующий об упрямой воле и решительности. Сказал:

— Не беспокойтесь, Вадим Иванович, я скоро приеду еще раз, и с вашего позволения...

— Вот и хорошо, — охотно согласился директор, — но вы не убегайте, я вас все-таки задержу на несколько минут. Провожу только к конвейеру. Наш завод десять лет назад начал изготавливать для Кубы грейдерные погрузчики. Для сафры.

...Машины, выкрашенные в яркий цвет, медленно выползали, будто из туннеля, и одна за другой выстраивались в длинный ряд. Нестору часто приходилось бывать на заводах, и каждый раз его охватывало чувство своей малости перед творениями человеческих рук, а тут еще сработал эффект неожиданности. Нестор не думал, что в родном Городе встретится с таким промышленным гигантом.

— Полторы тысячи машин запланировали мы на этот год, — заговорил директор. — И качество все время повышается. А литейный цех уже полностью охвачен системой бездефектного изготовления продукции...

Нестор не сводил глаз с конвейера. Ткаченко тронул его за локоть.

— Я думаю, что для начала достаточно. Вижу по вашим глазам — приедете.

— Зайдемте еще в мой кабинет, — пригласил Вадим Иванович.

В кабинете без умолку звонил телефон. Директор поднял трубку, лицо его просветлело.

— А-а, это ты, малышка... об этом надо подумать, стоит подумать, вот... Нет, все-таки не смогу. До конца рабочего дня не смогу. Ты иди... А я вечером... Ну, большая шишка — режиссер, — подмигнул он Нестору. — Да я уже его видел, вот он передо мной. А фильм посмотрю потом. Да, да... — Директор положил трубку и покачал головой, делая вид, что недоволен. — Ну и шуму вы наделали! Хоть закрывай на полдня завод. А у нас план, план! Это Галя звонила, — сказал он Ткаченко. — Я отделаю разрешил, а все другие — потом. Так что извините...

Нестор встрепенулся и хотел было спросить о том, что так взбудоражило его любопытство: почему Вадим Иванович отнес ребенка именно к Стефураку, но директор, о чем-то вспомнив, шагнул к шкафу. Ткаченко предусмотрительным движением остановил его.

— Вы что? — улыбнулся Вадим Иванович. — Подумали — я за коньяком? Э, нет. Это я... это мы говорили, что вам о людях надо, так у меня есть для вас прелюбопытная деталь. — Он вытащил из шкафа кожаный чемодан, открыл его: в нем лежал разнообразный слесарный инструмент.

— Правда, ничего удивительного? Но удивительно то, как настойчиво даже престарелые люди добиваются возможности работать на нашем заводе. Прямо за честь считают. Вот один дед целую неделю обивал пороги: примите да примите. Я ему и то и се — на какой агрегат поставишь старика, а он позавчера принес этот вот чемодан, порылся в нем и говорит: «Я этим инструментом монтировал корабли в американских доках, разве у вас так уж все автоматизировано, что и ключ больше не нужен? Я же слесарь первого класса, на фрезерном работал!»

— Кость Американец! — воскликнул Нестор. — Так как же — примете его?

— А-а, и вы его знаете? Да кто же его не знает, старого музыканта... Приму, а что прикажете делать? Техника меняется, но и человеческая психология — тоже. Научим старика.

Время летело, Вадим Иванович уже поглядывал на гостей так, что видно было: не имел бы он ничего против, если бы они потихонечку ушли.

— Вадим Иванович, — сказал, смущаясь, Нестор, — товарищ Ткаченко рассказал мне кое-что про вас... Я хотел бы спросить о Гале...

Директор нахмурился, и Нестор понял: тут не место для таких разговоров. Пожалел, что поторопился, но ничего не поделаешь.

— А вы же говорили — приедете еще, — поднял голову Вадим Иванович. — Да и не годится: наделал шуму, похвалился своей персоной — и снова на верхние места. Вот приедете, так и расскажу. Ну, а теперь вы — за свой пульт, я а — за свой.

ДОЧЬ СОТНИКА

Этот дом, похожий на большую виллу или миниатюрный дворец с ажурными колоннами и барочными капителями, с белым гипсовым щитом на фронтоне, где, возможно, был когда-то выбит герб Города, жители с незапамятных времен называли театром.

Театр был гордостью Города даже тогда, когда этого здания не существовало. С Города, как считали когда-то некоторые его обитатели, чрезмерно проникнутые местным патриотизмом, вообще начиналось многое. Копачева, например, при каждом удобном случае доказывала собеседникам, что не только театр, а и издательское дело, художественные промыслы, фотография, керамика, сыроварение, пивоварение, мыловарение, образование и просвещение, производство щеток и суперфосфата брали свое начало отсюда, не говоря уже о том, что много писателей вели славную родословную из Города, который всегда был культурным и административным центром небольшого треугольного кусочка планеты, расположенного между двумя реками, из которых одна, меньшая, впадала в другую — большую. Но все это мелочи по сравнению с тем, что сейчас есть в Городе — завод, который производит машины для всего мира.

В единственной лишь отрасли культуры не имел Город приоритета — в кинематографии.

Вахтер театра Августин Копач и упомянутая уже его супруга Каролина Копачева, которые еще при буржуазной Польше, обеднев до последней нитки, вынуждены были покинуть село за Рекой и перебраться в Город, где фортуна навеки бросила их в объятия Мельпомены, единодушно утверждали, что в Городе бывал когда-то Чарли Чаплин на пути из Америки в Европу, но эта легенда мало кого убеждала, и, возможно, самолюбие некоторых жителей Города было задето — до сегодняшнего дня.

Сегодня в театре шла премьера фильма своего, местного режиссера.

Демонстрация фильма только что окончилась, но зал молчал, рукоплескания взорвались лишь тогда, когда на авансцену перед экраном вышли киноактеры, которых представил публике заведующий отделом райкома Ткаченко. Нестор стоял в середине, самый

высокий из своих коллег, длинные волосы сползали на воротник блузы, в лице было что-то детски ласковое. Со всех сторон светили прожекторы, вписывая фигуры в белый экран, и зрителям казалось, что это тоже кадры фильма, только актеры уже без грима, потому что на экране сам его создатель, и они должны теперь предстать в первоизданном виде — *tadulae gasae*, на которых он создал свое произведение.

Нестор стоял на сцене, ослепленный снопами света и жгуче-сладкой радостью. Он успел уже завоевать немалую славу, изездил Европу и Америку, получал на мировых кинофестивалях призы, награды и медали, но для полного счастья среди разных зрителей не хватало именно этих, среди всех рамп — этой рампы, об этом догадывались друзья, поэтому и устроили премьеру нового фильма в его родном Городе — как подарок к сорокалетию.

Свет бил в глаза, через потоки желтых лучей прожекторов Нестор смог разглядеть лишь три первых ряда и во втором с краю увидел старого дородного Стефурака, который едва умещался в кресле; увидел его и не удивился, потому что если Стефурак еще жив, то где же ему, бывшему режиссеру и директору этого театра, быть, как не здесь — на премьере фильма Нестора? Старик сидел и непрерывно шмыгал носом, вытирал глаза и все покачивал головой: он плакал, и это было особой радостью для Нестора. Никто ведь не знал, никто в этом зале не знал...

— Ах ты, безбилетный гологранец, ты снова тут?

Пальцы директора театра нацупали его, гимназиста второго класса, где-то внизу, под ногами важных господ и дам, схватили за хлястик тужурки. Нестор оставляет эту ненужную деталь одежды в директорской руке и удирает на улицу, чтобы, простояв там часа два, пусть даже под дождем, хотя бы на третьем действии, когда неумолимый цербер Августин Копач уберется из вестибюля, все-таки проникнуть в театр.

Поэтому Нестор видел третьи и четвертые действия всех спектаклей, а первые два — ни в одном. И не раз, слоняясь возле театра добрых два часа, он проклинал как только мог бессердечного Стефурака, который, забываясь о театральной кассе, не хотел понять, что кое у

кого из будущих театральных светил «касса» тоже пуста.

Но однажды Нестору повезло — от разговорчивого, когда не на службе, Августина Копача он узнавал обо всем, что делалось в театре: захворал актер, который играл Гриця, а все билеты были проданы, и, чтобы спасти кассу, эту роль решил сыграть сам директор со своим круглым животом и глинным красным носом. Итак, он должен быть на сцене, а без него Августин Копач становился по-деревенски добродушен: Августин сделал вид, что не видит пронырливого гимназиста; Нестор проскользнул в затемненный зал через первые двери, что возле самой оркестровой ямы, впопыхах забыв, что надо юркнуть на галерку, об этом он согадался поздно: занавес уже был поднят, декорация вмиг очаровала мальчика, и он замер у дверей, освещенный предательским светом рампы. Толстый глинноносый Гриць уже шел навстречу Марусе, шокируя публику своей фигурой, но в это мгновение он заметил возле парадных дверей злого безбилетника и, оборвав на полуслове самую драматическую реплику, указал на Нестора пальцем и закричал:

— Августин! Августин! Этот сопляк снова влез без билета! Августин, холера тебя возьми, с работы выгоню!

Это было что-то невероятное. Перцова сказала бы: «Сногшибательно!» Зал хохотал и безумно ревел, Нестор почувствовал, что этот смех и ярость вдруг обрушились на него и он из маленького стал совсем крохотным — горошиной, маковым зернышком. Но его все равно видели, его позор видел весь Город, завтра ему здесь уже не быть и в гимназию нечего нос показывать. Августин сцапал его, теперь горошину, маковое зернышко, взял за воротник, вынес через двери и толкнул со ступенек вниз, на тротуар.

А в театре шло и первое, и второе действие спектакля «Ой, не ходи, Грицю...», да только его уже никогда не придется увидеть бедному Нестору, потому что все теперь вдруг пропало — и театр, и гимназия, и Город. Он блуждал по темным улицам и плакал; спрятался в переулке, когда зрители выходили из театра, дождался, когда снова стало тихо на улицах, и только тогда поплелся на Монаховку — вспомнил, что после одиннадцати Перцова в дом не пускает. Вышел из пе-



реулка и чуть не столкнулся со своим злейшим врагом Стефураком, который шел домой после сегодняшнего бенефиса, — Нестор готов был бросить в него камень или хотя бы вцепиться зубами в его пухлые, заложенные за спину руки, но в эту минуту раздался пронзительный свист, какие-то сорвиголовы выскочили из-за угла театра и заорали:

— Бейте его, это он играл Гриця!

Директор странно дернулся, будто его вдруг ударили по спине, на мгновение остановился, а потом, осознав свою сегодняшнюю вину перед публикой, сорвался

с места и помчался куда глаза глядят, тряся круглым животом.

Переполненный мстительной радостью, Нестор бежал в толпе незнакомых преследователей и в непомерном праведном гневе, не понимая толком смысл и причины воинственного вопля, сам закричал:

— Бейте его, это он играл Гриця!

...Прожекторы слепили глаза, кто-то из киноактеров рассказывал безмолвной публике о своей работе над ролью, а Нестор, отдаленный от мира яркими снопами прожекторов, пребывал в тех давних временах: он вспомнил и тот спектакль, на который впервые пришел с полноценным билетом, и посмотрел его весь, от начала до конца, вспомнил свою первую любовь.

Это был «Вий» Гоголя. И была дочка Сотника, которая вышла на сцену не из гримерной, а из самого ведьмовского вертепа, вынеся из него на свет божий свою греховную красоту.

«Крест на мне, крест на спине, крест вокруг меня...— молился на сцене в безумном страхе бурсак, когда ведьма — дочь Сотника — вставала из гроба, и крестился под тужуркой Нестор. Гроб поднимался и летал над сценой, черти справляли адский шабаш, мороз ходил по спине, хотелось убежать отсюда прочь, не оглядываясь, потому что не было сил вынести все эти ужасы, но дочка Сотника была так прекрасна, что он не мог от нее оторвать глаз, он согласился бы даже на ад и вечные муки, только бы стать рядом с ней вместо перепуганного бурсака, и поэтому сидел, оцепенев, в последнем ряду на галерке.

А потом встретил дочь Сотника на улице. Нет, это не была артистка Завадовская — по улице шла дочь Сотника из «Вия», ведьма и сообщница нечистой силы, которая превращала своим взглядом все вокруг в камень, окаменел и Нестор и так и стоял столбом посреди тротуара, загородив ей дорогу, а ведьма, привыкшая к восхищению зрителей, смилостивилась над ним, улыбнулась, погладила его ладонью по мягкой шевелюре. И он ожил, он из камня снова стал человеком, но уже не тем подростком, каким был до сих пор. Ведьма все-таки совершила над ним злодейское чудо — Нестор

преждевременно стал взрослым и понес в сердце боль первой любви.

С тех пор не стало маленького Нестора, с тех пор Нестора не узнавали даже учителя, а догадливый и опытный в таких делах отец-профессор Баранкевич часто, смакуя, рассказывал ученикам на уроках закона божьего о греховных страстях, которые приходят к молодому человеку в виде вавилонских блудниц и от которых можно спастись только молитвами.

И Нестор молился. Он стоял в церкви на коленях перед образом богоматери, а видел ее — гоголевскую ведьму. Он стоял в подьезде на Театральной, выжидая, когда пройдет дочь Сотника в театр на спектакль или на репетицию, и тогда ему казалось, что по улице идет сама мать божья: все взвихрилось, перемешалось в душе паренька, все в мире изменило свою ценность. Он еще не мог определить новых ценностей и из-за этого вконец растерялся и решил стать когда-нибудь актером, чтобы всегда быть возле нее.

Но настало время огня и крови. Дочь Сотника вдруг исчезла из Города, а Нестор пошел своими дорогами, понесся сквозь жизнь неутолимую жажду и печаль...

— Дорогие товарищи,— говорил, должно быть, уже достаточно долго киноактер, который исполнял главную роль в фильме.— Некоторые критики напоминают мне врачей, которые, чтобы определить группу крови, отрезают у человека палец. Некоторые критики прислушиваются больше к бурчанию в своем собственном животе, нежели к грому эпохи...

Слова коллеги вывели Нестора из задумчивости, он эти его экспромты слышал уже не раз, и где-то в других городах, перед другими аудиториями они, может быть, и имели какой-то смысл, но тут решительно никакого. Нестор искоса посмотрел на коллегу, но тот продолжал:

— Дорогие наши старшие товарищи, мы с вами как одни часы, и лгут те, что твердят о каком-то разрыве между старшим и младшим поколениями, мы — стрелки, а вы — те гири, которые не дают часам остановиться, но все мы вместе показываем и отражаем время нашей эпохи. Товарищи! Наш мир — это одна...

Должно быть, под впечатлением только что вспомнившегося Гриця — Стефурака, который всего несколь-

ко минут назад выкрикивал здесь свое неуместное: «Августин, этот сопляк снова пролез без билета!» Нестор совсем неожиданно для публики сказал громким шепотом:

— Если сейчас ты скажешь о буханке, которую мы с родителями едим с двух сторон, я тебя убью...

Зал молчал, потому что им, зачарованным, наверное, показалось, что так и должно быть, что этот диалог между режиссером и актером заранее предусмотрен для некоторого оживления, по залу прошелестел только легкий, ради приличия, смешок, но вдруг где-то во втором ряду громко взорвался девичий смех. Он был так естествен и искренен, что, вместо того чтобы зашикать на девушку и пристыдить, весь зал тоже дружно захохотал.

Нестор посмотрел на передние ряды — рядом со Стефураком сидела с букетом роз девушка с пшеничными волосами, ее большие глаза были почему-то знакомы, но слепил свет, и она терялась в темноте зала; кто-то из задних рядов закричал: «Слово режиссеру! Режиссеру слово!» — и Нестор поднял руку. Когда в зале стихло, он показал на белый неживой экран, на котором только недавно неистовствовала жизнь, и произнес:

— Я все сказал. И понимаю, что очень мало. Спасибо вам..

Тогда из второго ряда вышла девушка с букетом роз, а за ней пошли и другие с цветами, девушка изящно прошла по помосту над оркестровой ямой и остановилась перед Нестором. Он смотрел на нее, он напряженно взглядывался, потому что узнал, но поверить в такое не мог: давно вышел из возраста, когда верил в чудеса «Вия». И все же это была она — обольстительница из ведьмовского вертепа, которая могла превращаться то в очаровательную девушку, то в мать божью. Нестор шагнул вперед и вскрикнул:

— Дочь Сотника!

— Я ее дочь, — тихо сказала девушка и сбежала со сцены.

Зал гремел «браво!». Еще минуту назад Нестор думал, что постиг истинное счастье, ибо наконец здесь, среди родных людей, после всех триумфов, оно стало для него осязаемым и реальным, но теперь та радость

отдадилась, поблекла, потому что в зале где-то была дочь Сотника — то неуловимое и утраченное личное счастье, которого не могут заменить человеку никакие лавры.

Нестор сошел со сцены. Высокий, длинноволосый, какой-то иконописно-торжественный, он сошел со сцены в отведенную для гостей ложу, чтобы послушать концерт, который приготовил для них Город, и оттуда все время смотрел в зал, ища дочь Сотника.

Каролина Копачева сидела рядом с Перцовой недалеко от ложи, они вместе вполголоса беседовали, и сквозь густой гул зала Нестор услышал слова Копачевой:

— Кто бы мог подумать, что в нашем Городе вырастет такой человек.

— Вы себе как хотите, а я вам все-таки скажу: из-за этих патл он во многом проигрывает,— ответила Перцова.

МИСЬКО ДВА ПАЛЬЧИКА

На сцену тем временем выкатился кругленький человечек с намаженными блестяще-черными волосами, ровно разделенными посредине; его пухленькое личико, на котором сияла снисходительная, обращенная к публике улыбка, вдруг приобрело драматическую серьезность, он искоса посмотрел на экран и, увидев, что стоит не совсем в его центре, сделал шаг влево, потом его подбородок поднялся вверх, губы сжались подковой, и в то мгновение, когда с них должна была слететь первая фраза, случился неожиданный конфуз.

Августин Копач, который ведал теперь в театре реквизитом и исполнял функции машиниста сцены, хорошо знал, кому что полагается на этом святом помосте: кому сколько света, какая и для кого декорация. Он решил про себя, что экран не для конференсье. Еще до его выхода Августин взобрался на колосники и именно тогда, когда кругленький человечек встал в позу Демосфена и приготовился произнести речь, отвязал шнурок с верхней планки экрана.

Конференсье успел только сказать: «Друзья, в этот прекрасный июньский день, когда...», как белое квадратное полотно, на котором еще фосфоресцировал

отблеск большой славы и на фоне которого кругленький человечек очень хотел перед началом концерта произнести речь, упало на него и окутало, как саван. Белое привидение быстро поползло вдоль рампы и исчезло за кулисами, но буквально через секунду конференсье снова вырос перед зрителями с тем же самым пухленьким личиком, исполненным драматической серьезности и пренебрежения к мелочам жизни, которые хотя иногда и мешают, однако не могут сбить с ритма человека, на долю которого выпала ответственная миссия — произносить речи.

Он быстро оглянулся и, убедившись, что темно-вишневый бархатный занавес недостаточно оттеняет его фигуру, махнул рукой Августину, который снова стоял у прожектора, чтобы дал больше света, тот командовал своему помощнику, и, когда два ослепительных круга слились и образовали вокруг головы конференсье нимб, сделав его выше ростом, он простер вперед руку и еще минуту молчал, пока из оркестровой ямы не блеснул фотоблиц, и только тогда цепкая подкова его сжатых губ раздвинулась: одна губа сделалась дугою вверх, а другая вниз, и через это отверстие, как из брандспойта, ударила в зал струя слов:

— Любимые друзья! В этот цветущий июньский день, когда вся земля нарядилась, словно калина к свадьбе, в медовые венки молодости, наш Город, некогда страждущий и затоптанный вражескими ордами, расцвел ныне вишневым цветом радости, которая до краев наполняет наши сердца, полные дерзаний и благородных порывов, что как весеннее половодье устремились вперед и прорвали плотины равнодушия, неся вечный непокой, потому что покой, товарищи, нам только снится, ибо, как сказал поэт, который поставил на стражу слово, которое сегодня громоподобно прозвучало в этом зале...

Из оркестровой ямы еще раз сверкнул блиц, оратор на миг остановился, машинально принял позу для фотографирования, заложив правую руку за борт пиджака, хотя уже и было поздно, и именно в этот момент, наверное, благодаря этому блицу или, может быть, по этой почему-то запомнившейся бонапартовской позе оратора Нестор узнал его.

Это был Мисько Два Пальчика.



Мисько — конференсье?!

Открытие было ошеломляющим. Хорошо воспитанный сынок адвоката из соседнего городка, этот Мисько, который, невзирая на свой низенький рост, умел так вести себя, что в любой ситуации всегда удерживался на виду, и которому пророчили большое будущее, — конференсье?

Трудно действительно было понять причину Миськовой популярности. Учился он не блестяще, а то и совсем плохо, и только иногда папочкин авторитет спа-

сал его от второгодничества; он был толстым карапузом, и девочки называли его не иначе, как «бочонком»; спорта боялся, порывался, правда, играть в волейбол, но так как мяч никогда не попадал к нему в руки, его прогоняли с площадки; однако вопреки всему этому на протяжении учебы в гимназии он был бессменным старостой класса: один из всех имел честь класть учителям на стол журнал, в религиозные праздники приводить учеников в спортзал на собеседования, докладывать опекуну класса о полученных сценках успеваемости и поведения товарищей за день и, что важнее всего, прислуживать отцу Баранкевичу вместо дьячка на богослужении.

«Господи, помилуй... Тебе, господи... Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя... Аминь...» — вполголоса бормотал Мисько, стоя на коленях возле аналая, когда отец Баранкевич заканчивал фразу из знаменитого сценария Иоанна Златоуста; дьячковал он, никогда не сбиваясь, и Нестор завидовал ему, потому что было такое время, когда он верил, что отец-профессор Баранкевич — святой. Эта вера, однако, просуществовала недолго, потому что однажды Нестор, гоняясь за черным котом по коридору каменного дома пани Перцовой, сторяча забежал в спальню хозяйки, где застал ее в объятиях «святого». Но пока вера в святого отца-профессора жила в душе Нестора, он завидовал Миську и все пытался понять, в чем заключается его превосходство, откуда оно возникает, почему только он имеет право быть приближенным сильных и великих мира сего.

Да, Мисько Два Пальчика, этот Мисько из хорошей семьи, всегда каким-то образом держался на поверхности. Бог его знает, каким секретом он владел, какие чары были в его глазах, но даже сам Вехтер, губернатор дистрикта «Галициен» Отто Вехтер, во время посещения Города пожелав, к ужасу всей гимназии, присутствовать на уроке немецкого языка в третьем классе, и он среди тридцати трех учеников заметил именно Миська и, с удовлетворением наблюдая, как цепенеет от страха лицо учителя Ругика, поманил мальчика пальцем:

— Комм, Комм...¹

¹ Иди, иди... (нем.)

Класс замер, учитель уронил из рук учебник, один только Мисько не растерялся — и как это он сумел не растеряться? — перед высокой фуражкой с изображением человеческого черепа, перед ремнем с тисненной на пряжке большой черной свастики, перед петлицами с серебряными «молниями» СС, перед зверем, по приказу которого вчера расстреляли на рынке девятирх парней из строительной службы за саботаж? А ведь не испугался-таки, — наверное, было в нем что-то, не зависящее ни от ума, ни от возраста и чего не имели другие, — он стукнул каблуками и произнес четко:

— Ich höre Sie, herr Gubernator!¹

— Warum bist du so klein?² — гаркнул Вехтер.

Нестор хорошо помнит, как передернуло Миська: это было его больным местом, ахиллесовой пятой, но этот комплекс неполноценности, который так несчастлииво соединялся с плохой памятью, он возмещал сознанием высокого положения отца, используя каждую возможность, чтобы дать это понять. Нестор в этот напряженный момент даже злорадно улыбнулся, поняв, что отныне сможет на пренебрежительные замечания Миська о его, Несторовой, мужицкой неотесанности, отгрызнуться по-немецки: «Warum bist du so klein?» Эту опасность почувствовал и сам Мисько, он пробежал взглядом по лицам одноклассников, на которых уже появлялись улыбки, что предвещало крах его карьеры, и вдруг сразу выпрямился и, заложив руку за борт тужурки, воскликнул:

— Buonaparte war auch klein!³

Вехтер широко раскрыл от удивления глаза и, криво улыбнувшись, пробормотал:

— Gut... Sehr gut... Kolossal!⁴

Нет, что-то все-таки было бонапартовское в этом Миське! Императорская поза стала для него с тех пор привычной, ведь как-никак, а он завоевал себе на это право.

¹ Я слушаю Вас, господин губернатор! (нем.)

² Почему ты такой маленький? (нем.)

³ Бонапарт тоже был маленький! (нем.)

⁴ Хорошо... Очень хорошо... Колоссально! (нем.)

Как же он ухитрился стать конференсье?..

Тем временем Мисько Два Пальчика продолжал свою речь, а зал гудел. Смотри, болтливое чужого актера слушали, а своего не хотят. Воистину трудно быть пророком в родном Городе...

Мисько уже чувствовал, что пора заканчивать, но ему еще жаль было уходить из спящего нимба, который придал ему высоту, а может, даже величественность, его голос возвысился до пафоса, а пафос — это такая вещь, что всегда на некоторое время кружит публике голову: Нестор знал одного актера, который умел целых пять минут так читать телефонный справочник, что его слушали. Голос Миська начал подниматься к высоким нотам, суть произносимого не имела теперь для него никакого значения, существовала только мелодика — нарастающая, драматическая, надрывная, трагичная, и на высшей ноте, на которой, казалось, должно было что-то треснуть в горле оратора, его голос неожиданно понизился, и вдруг он умолк: на фоне ярко-спящего нимба обрисовалась опущенная на грудь Миськова голова, и в зале раздались аплодисменты.

Заплодировал и Нестор. Он только теперь разгадал секрет таланта Миська. Быть конференсье! Всюду быть конференсье, и тогда никогда не выйдешь из поля зрения; ты надоешь, осточертеешь, но все равно будешь самым популярным среди своих коллег. Актер три — десять раз выйдет на сцену, исполнит свой номер и должен сойти и не появляться до тех пор, пока не подготовит нового, а за это время его позабудут, ибо на поверхности появится другой — лучший либо худший, — а конференсье, который хотя и не умеет ничего исполнять — ни лучше, ни хуже, — будет появляться перед рампой раз за разом и так намозолит зрителям глаза, что и на улице его будут узнавать, еще и сниться будет.

«Надо иметь такой дар судьбы — ничего не сказать, а говорить полчаса, ничего не уметь делать, а получать в награду аплодисменты, быть маленьким, а всегда попадать в зрачок объектива...» — размышлял Нестор, глядя на поднимающийся занавес, — наконец-то начинался концерт.

АНЕЛЯ ПЕРЦОВА

На протяжении получаса зрителям могло казаться, что нимб, созданный двумя прожекторами, предназначался для того, чтобы освещать до окончания времен голову конференсье, но вот он расширился, как круг на воде, и люди оживились, увидев за пухленьким лицом Миська более широкий простор сцены; покашливание, скрип кресел перекрыли наконец пустозвонную речь, и воцарилась тишина: на сцене стоял хор медицинских работников; три ряда хористов возвышались друг над другом почти до самых колосников, у хора был величественный вид, и с Миськом Два Пальчика, который выбежал объявить номер, произошла удивительная метаморфоза. Из монументальной бонапартовской статуи, которой он уподобился, стоя на фоне опущенного занавеса, Мисько вдруг превратился в очень маленького, откормленного балбеса с зажатой плечами головой, и Перцова, еще минуту назад увлеченно аплодировавшая бывшему своему квартиранту, сказала с упреком Каролине Копачевой, которая, по ее мнению, несла ответственность за все, что происходило в театре:

— Можно подумать, что во всем Городе нет мужчины выше...

— Хорошо вам крутить носом, — вздохнула Копачева, — а вы найдите такого, чтобы хотел, как этот, выступать...

— Сногшибательно... — пожалала плечами Перцова, но сейчас ее любимое словечко не было ответом Копачевой, оно выражало то глубочайшее удивление, которое не покидало Перцову вот уже почти целые сутки: как это могло все так в мире измениться, что те люди, которые когда-то ничего не значили на белом свете, ходят теперь в фаворе, а те, что считались элитой Города, должны продавать пиво или так, как этот адвокатский сын, выпендриваться перед публикой.

Она на мгновение снова погрузилась в свое прошлое и, говоря по правде, ничего там не нашла лучшего, чем то, что имеет сейчас, кроме разве что молодости, но одно было преимущество в этом прошлом — гонор. Как мало тогда было надо, чтобы люди тебе кланялись! Ну, мог идти себе человек из самого Пацькова в Город напрямик — босым, как и все, а за рекой, где

начинался большак, надеть лакированные штиблеты, и смотри же: босые крестьяне первыми говорили ему «добрый день» или «слава Йсу», ибо это уже шел пан. Ну, мог ты не иметь и гроша ломаного за душой, а зайдешь в лавку в шляпе с перьями, и лавочники лучший товар бросают на прилавок перед тобой, а ты себе пальчиком шиплешь этот материал, эти меха, эти мерлушки гладишь и гордо идешь в другой магазин, потому что все для тебя дешевка, ерунда. Ну, мог ты, в конце концов, иметь даже собственную лавочку возле ратуши и платить бóльший налог, чем получал от этой торговли прибыли, но на тебя смотрели с почтеньем те, что такой лавочки не имели, — и ты ходил с горором.

А что уж говорить, если человек имел гимназический аттестат, двухэтажный каменный дом на Монаховке, этажерку с книжками и перстень с дорогим бриллиантом...

Все это имеется и теперь у Анели Перцовой, а вот гонору нет. Ничего у нее не отобрали, кроме лавочки и второго этажа, где поселились сразу же после войны приезжие люди. Перцова не протестовала против такой конфискации, потому что этот дом она не строила; он до войны принадлежал евреям, у которых она снимала комнату, а когда хозяев отправили в гетто, на дом никто не претендовал. Все у нее осталось: и аттестат, и этажерка с книгами, и перстень, и одежда, но все эти вещи уже не имели той цены, ибо каждый теперь стал ходить в лакированных туфлях, каждая женщина могла надеть на голову шляпку с перьями, у каждого аттестат, хоть и не гимназический, каждый может теперь стоять за прилавком в магазине, да еще и привередничать, каждый имеет возможность покупать книжки в книжном и перстни в ювелирном магазинах...

Мошная песня вдруг хлынула в зал. Перцова вздрогнула; отключившись на минуту, она не услышала, как Мисько Два Пальчика объявил номер, мелодия песни была знакомой, но название она не помнила. Перцова прислушалась: эту песню о бурлаках она слышала, еще когда была девушкой. Ставили в театре какую-то пьесу... Кажется, называлась «Тучи»... Мелодия тогда трогала до слез. Перцова и теперь заслуша-

лась, но внезапно заметила, что перстень на руке повернут вверх бриллиантом, искоса поглядела на Копачеву и быстро повернула камнем внутрь.

Ах, этот перстень! Одно беспокойство, а не перстень.

А достался он ей... Да чего уж себя тем казнить, как ей перстень достался, — разве одна она такая, разве мало людей прокрадывалось тогда на Банковскую, где был выход на гетто, чтобы выменять у голодных евреев всякие драгоценности за хлеб. И ведь она туда все-таки не ходила. Зильберман, бывший собственник ее нынешнего дома, сам как-то пробрался на Монаховку — как он только сумел! — и, заросший, тощий, страшный, остановился на пороге комнаты, протягивая ее хозяйке последнее свое сокровище:

— Пани, смилуйтесь, дети опухли от голода. Все уже выменял, а этот перстень будет вам так к лицу. Буханочку хлеба, одну буханочку...

И что в этом плохого: хлеб у нее был, а порядочного перстня она никогда не имела, торг произошел быстро. Зильберман, плача от счастья, выбежал из дому, прижимая к груди хлеб, но это видел все тот же невоспитанный, в полотняных штанах квартирант Нестор. Перцова заметила, как паренек, стоявший в конце темного коридора, всхлипнул и опрометью бросился к себе в комнату, испуганная хозяйка — где-нибудь еще ляпнет! — рванулась за ним и, тормоша, допытывалась у него, что случилось, а он сквозь рыдания повторял одно и то же — непонятное:

— Я... так тоже... ходил в театр...

Все это быстро забылось, Нестор успокоился и об этом случае не вспоминал. Перцова, идя по Городу, оттопыривала палец с перстнем, а когда сидела, сложив руки на коленях, то непременно левая рука лежала на правой. Отец-профессор Баранкевич восхищался перцовичевской бижутерией, а соседи, как это всегда бывает в таких случаях, завидовали черной завистью.

Но прошли годы, и перстень врос в палец, снять его Перцова уже не могла, перстень мешал ей в работе, особенно когда она замешивала тесто. Пришлось идти к ювелиру, чтобы снять его с пальца.

Золотых дел мастер сильно подергал перстень на

пальце Перцовой, так, что даже хрустнули суставы, и золотое колечко очутилось на его ладони. Он поднес его к свету и зачмокал, да так, что рука Перцовой невольно протянулась к сокровищу, а мастер тем временем возился с пинцетом над бриллиантом, вытаскивая из гнездышка какие-то волокна, и, сопя при этом, вдруг он спросил:

— Что это, что это такое?

— Да, должно быть, тесто...

— Тесто? Такой шедевр в тесте? Да понимаете ли вы, что запихивать его в тесто — это то же самое, что устилать пол полотнами Рафаэля?

— Сногшибательно! — крикнула Перцова. По тону ювелира она поняла, какую ценность представляет перстень, хотя полотен Рафаэля никогда не видала. Перцова мгновенно смекнула, что это целое состояние, что он выручит в черный день: она выхватила сокровище из рук мастера и без «будьте здоровы» выбежала из мастерской, снова надела перстень на палец и больше не пробовала его снимать. И стал он для нее сокровенной радостью, и стал он для нее мучкой, ибо выставлять на людях такое богатство не смела, идти на Монаховку поздно вечером боялась и поэтому, заторговавшись допоздна, ночевала в буфете на автобусной площади, и давил этот перстень на ладонь большим камнем, и отнимал у нее сон, но и приносил ей радость: созерцая его и думая о нем, она легко переносилась в те времена, когда была молодой, когда определенная мелочь обеспечивала человеку красоту, самоуверенность и хорошее обхождение.

Торжественная и тревожно-грустная песня окончилась неожиданно веселой частушкой, и Перцова очнулась от задумчивости.

— Это что, уже другую поют? — спросила у соседки.

— Давно уже другую поют, — фыркнула Копачева. — Это вам все еще старое мурлычется. И чего бы это я, глухая, ходила на концерты, — снова фыркнула Копачева. — Для гонора и для людских глаз и в кафе за мороженым посидеть можно. Уйдете и даже знать не будете, что это исполнили песню нашего местного композитора Паламарского.

— Не смешили бы вы бога и людей, Копачева, —

надула губы Перцова. — Я эту песню слышала еще тогда, когда шла к первому причастию. Разве что коломыйку прилепил к песне ваш Паламарский, да и то она ей идет, как козе второй хвост.

СОЛО НА БАНДЖО

— Соло на банджо! — выкрикнул со сцены Мисько Два Пальчика. Его появление перед занавесом после каждого номера зрители уже перестали было замечать, и Нестор подумал, что даже вечными напоминаниями о себе конференсье не всегда может спастись от забвения, но сейчас Мисько сумел снова привлечь к себе внимание, неожиданно заменив длинные тирады лаконичными и звучными словами:

— Соло на банджо!

В зале наступила напряженная тишина, потому что мало кто знал, что такое банджо, и авторитет Миська, поскольку он понимал значение этого слова, неизмеримо вырос; конференсье воспользовался благоприятной ситуацией и, торжественно сделав шаг вперед, взволнованно заговорил:

— И, распродав последние клочки земли, которые на глинистых холмах пересекались частыми межами, что врезались в души обездоленных гуцулов, они, как журавли, которые пролетают серыми шнурками за океан, устремились искать лучшей доли, и там, братаясь с обездоленными неграми, которые по вечерам грустно пели в сопровождении...

Миську вдруг изменило красноречие, он запнулся на полуслове, и Перцова раздраженно толкнула локтем Копачеву:

— Что он — белены объелся?

— А кто его знает... — ответила обескураженная Копачева, но в эту минуту Мисько снова обрел дар речи и, не рискуя больше вдаваться в поэтический стиль, проинформировал:

— Они пели в сопровождении банджо. Банджо — это негритянский щипковый инструмент, у которого четыре или семь струн и на котором играют с помощью пластинки, которая называется плектр.

— Вот видите! — обрадовалась Копачева. — Поняли теперь?

— Почему бы это сразу не говорить по-человечески, а плести четыре ряда в десять прядей! — раздраженно фыркнула Перцова.

— Оставьте меня в покое! — рассердилась Копачева. — Ведь Мисько у вас набирался наук, а не у меня. Это же вы с паном адвокатом — может, вам и теперь старое снится? — выкручивали слова на такой манер, что обыкновенному человеку, слушая, даже неловко было за свою простовагость. То — «резюмируя», то «эвентуально», то — «консеквентно», а Мисько слушал, слушал, да и стал при вас пустомелей... Но кого это он зовет из зала?

Мисько приглашал кого-то рукой, зрители оглядывались назад, и наконец все остановили свои взгляды на Косте Американце, который и в театр пришел со своей неразлучной «мандиной».

Эта «мандина» с длинным грифом несколько дней назад стала предметом разговоров в Городе. Кто-то от кого-то слышал, что Кость по вечерам — в сквере или над Рекой — наигрывает на ней такой грустный мотив, что даже сердце сжимается, и люди удивлялись: что за причина?

Растерявшийся Кость встал с кресла и начал открещиваться жестами от такой чести, но на него смотрел весь зал, а безжалостный Мисько безостановочно махал ему рукой; Американец нерешительно подошел к сцене, Мисько подал ему руку, втащил старика на помост и объявил еще раз:

— Соло на банджо!

Перцова нагнулась к Копачевой и примирительно прошептала:

— А разве теперь не переименовывают? Печерицы называют шампиньонами, заплесневелый сыр — рокфором, а вот обыкновенную мандолину, только с длинным грифом, — ба-а-нджом!

— Да это еще старое не выветрилось...

Кость прижал правым локтем инструмент, судорожно дернул пальцами, взмахнул кистью руки, но пока плектр не коснулся струн банджо, Кость посмотрел на ложу и встретился взглядом с Нестором: лицо режиссера было чуть грустным, и Кость почувствовал некую общность между собой и этим знаменитым «милостивым государем». В чем заключалась эта общ-



ность, Кость не мог бы сказать, ибо и по положению, и по образованию они были очень далеки друг от друга. Может, в том, что на большой планете существовал для них обоим единственный и одинаково дорогой Город, в который оба вернулись из своих дальних краев пешком? Наверно, так, но не только в этом...

Тогда, оставив на станции Парище три чемодана с американским добром, Кость так же, как и Нестор вчера, побрел через дубравы, а когда добрался до Реки, упал на колени, чего не сделал Нестор, и так, на

четвереньках, пополз по берегу, плача и целуя землю; прохожие и пастухи, глядя на него, удивлялись, принимали за сумасшедшего.

Нестор же вернулся, овеянный радостью и славой. В один Город они прибились, но из разных судеб. Что общего у них, кроме Города? Может, то, что они оба хотят принести людям пользу...

Кость и Нестор встретились глазами, подмигнули друг другу, как старые заговорщики, и улыбнулись, им обоим стало хорошо оттого, что вернулись из далеких странствий к своим, что над головами — крыша лучшего на свете театра, что в переднем ряду шмыгает длинным носом талантливейший из режиссеров — старый Стефурак, а рядом с ним — да, рядом с ним! — сидит с распущенными русыми волосами королева красоты — дочь Сотника, и возле ложи изредка переговариваются всезнающая Перцова и покровительница искусств — Копачева.

Кость еще раз дернул пальцами, но и на этот раз не ударил по струнам, он словно жалел свой инструмент, с которым приехал из-за океана. «А может, это единственное достояние, которое он там заработал?» — подумал Нестор.

О, нет! Кость за долгие годы заработал в Америке и собственный домик. Но вот случилось непонятное для него самого. Отдохнув наконец от непосильного труда, он нашел время для размышлений — до сих пор было некогда — и понял, что у этого труда на чужбине был какой-то свой, иной смысл: он спасал жизнь, а жить надо каждому человеку, достаток же и сытое существование среди чужих людей вдруг утратили смысл: в человеческом муравейнике Бостона Кость стал одиноким, как монах в пустыне, и никому, даже богу, не нужным. А кому достался труд его рук? Докеры продолжали грузить тюки в порту, в Бостоне вздымались небоскребы, а чьи они были — только не тех, кто надрывался на работах. А где-то там, в далеком Городе, человек ходит по улицам, как хозяин по своим комнатам... Начал думать, говорить об этом, но никто его не понимал, рассказы Костя о лучшем на свете Городе над Рекой не интересовали и смешили бостонцев. Ну, а что делать человеку, душу которого не понимают? Неужели он, человек, создан лишь для того, чтобы есть и переваривать пищу?

Иногда, уйдя на покой, тосковал о порте: там люди сочувствовали друг другу, если даже не могли понять языка друг друга, так как всех роднила тоска, тут же она донимала только одного Костя, и поделиться ею ему было не с кем.

Возвращаться в порт было ни к чему, и Кость надумал стать настоящим американцем, потому что жить в своей печали, как улитка в раковине, стало неважно: он надел цилиндр, купил себе трость — с такой, может, ходит сам Морган или Рокфеллер, — ни одного слова больше не произнес об этом галицком Городе, никому ни гугу, и поскольку жил в католическом квартале, не пропускал ни одной мессы в соборе.

И сразу стало легче жить, и, быть может, со временем превратился бы Кость в настоящего американца, — не он такой первый и не он последний, — если бы не случай в соборе в одну пасхальную пятницу, когда ему пришлось убедиться, что волка всегда в лес потянет, даже если он этого и не хочет.

Он стоял, как всегда, в набитом людьми храме — такой же, как все, и принятый всеми за своего. Кость уже не заставлял себя думать, как надо складывать пальцы для креста и сколько раз креститься, и молился по-латыни не хуже, чем другие, но вот его взгляд упал на распятие, и так как-то тяжело вошло в его глаза измученное лицо Христа, и так был этот Христос похож на него самого — на того прежнего портового грузчика, а потом слесаря в доке — и еще напомнил ему Христос покойного отца, когда тот умирал под венгерскими шомполами в первую мировую войну, что Кость тяжело вздохнул среди шуршащей соборной тишины и произнес вслух, да еще с присвистом:

— То-то натерпелся, Иисусе — сын божий, фью-ю-ть!

И тогда Кость понял, что отрезал пути навсегда, что больше уже в это общество как свой не войдет, ибо ошарашенные и возмущенные бостонцы расступились и освободили ему дорогу, чтобы богохульник, который свистит в соборе, убрался вон из храма.

Он вышел. А идти ему было некуда, разве в свой нарядный коттеджик, в котором всегда господствовала жуткая тишина, как в подвальной тюрьме. Не хотел идти домой, поплелся по городу куда глаза глядят и невольно забрел в негритянский квартал. Негры в

праздник отдыхали возле своих домов. Кость словно впервые увидел этих черных людей, его внимание привлекло тихое бречанье струн и жгуче-тоскливая песня. Остановился и подумал, что у них такая же судьба, как и у него: может, и они в страстную пятницу вспоминали, как их свободных предков вырывали из родной земли охотники за людьми и продавали в вечное рабство...

Стоял и слушал. Старый негр оборвал песню, накрыв ладонью струны, и присмотрелся к белому человеку в цилиндре, долго смотрел на его печальное лицо, а потом спросил:

— Ты откуда?

Кость неопределенно махнул рукой в сторону океана, негр ударил по струнам, и снова зазвучала песня и снова оборвалась, негр протянул Костю инструмент и спросил:

— Играешь на банджо?

Кость кивнул головой, хотя подобного инструмента никогда в руках не держал — когда-то он умел немного бречать на цимбалах, — взял банджо из рук негра и кое-как, неумело заиграл, да еще и запел, и хотя его песня была совсем иной, чем негритянские, черные люди закачали в тоске головами, ибо услышали в ней эту тоску:

Вандрівництво — ізрадництво, вандрівництво — горе.
Хто би хотів вандрувати, най скочить у море...

Кость умолк и до крови прикусил губу, потому что только теперь к нему пришло полное осознание безысходности; старый негр встал и, тронув Костю за плечо, сказал:

— Возьми себе банджо. С ним будет легче.

Но легче не стало. Стало тяжелее. Песня будоражила, тоска сдавила сердце.

И Костю снова захотелось в порт, но уже руки не тянулись к работе, потому что был у него недостаток; труд, который когда-то наполнял его жизнь, теперь был не нужен... Грузчики пели свои песни, а слышалась ему всегда та, которую сложил сам; опустошенный и измученный, он садился за руль и гнал автомобиль по ровной автостраде, гнал без цели, чтобы просто быть в движении, чтобы создавалась иллюзия воз-

вращения обратно. Сперва это помогало, но скоро тоже утратило смысл — как и вся жизнь. Здесь имели цену его физические силы, духовные же, которые проснулись в нем, никому не могли понадобиться: ни воспоминания, ни песни, ни язык; он сидел дома и играл, играл на банджо, а песня мучила и укоряла. Не будучи ни в чем виноватым перед родными краями, он начал чувствовать себя изменником. И однажды...

Однажды Кость, просматривая газеты, вдруг наткнулся на маленькую, в несколько строк, заметку, в которой сообщалось о сафре на Кубе. И не обратил бы он на нее, как и на сотни других, никакого внимания, если бы не одна фраза: «На тростниковых плантациях работают комбайны, которые поставляет Кубе... Город». Да неужели это его Город, о котором не хотели слушать гордые бостонцы? Город, который многим славился, но в промышленности остановился на производстве суперфосфата и щеток? Неужели это он поставляет теперь миру свои машины?

И Кость сообразил, что не видел его десятки лет, а за эти годы он, Кость, постарел, а Город, как видно, помолодел; пускай себе бостонцы живут у себя, а Костю надо, пока не поздно, мчаться к отчому порогу, ведь не тут, а там, наверно, нужны и его руки, и сердце, и мозг.

Он продал за бесценок все свое добро, купил билет и, упаковав три больших чемодана, два полегче и один очень тяжелый, сел на теплоход.

В чужім краю, в чужім краю марно пропадаю,
Бідна ж моя головонька, що роду не маю!

Но в Городе о нем помнили. В Городе жили в одном доме две его сестры.

Младшая, вдова с двумя детьми, работала в больнице медсестрой. Старшая, старая дева, несколько лет назад сбежала от сельского труда к сестре, та приняла ее, а потом не раз каялась, стыдясь перед людьми за тунеядку-спекулянтку. Кость из писем младшей знал кое-что об этом. Но все же приехал — к ним.

Три дня на радостях, что брат вернулся, справляли сестры пир за его счет, но пир наконец закончился, и надо было подумать, как жить дальше. И Кость, что-

бы не было недоразумений, заплатил сестрицам за вечное квартирование, отдал каждой по чемодану американских гостинцев, а в свою комнату отнес самый тяжеленный чемодан, запертый на хитроумный замок.

И стало Костю хорошо жить. Кость ловил на реке рыбу, ходил поболтать к соседям и в буфет к Перцовой выпить пива, просиживал воскресенья в скверике в центре Города и рассказывал людям любопытные бывальщины о далекой Америке. Он носил с собой «мандолину» с длинным грифом, но не играл на людях, может, стеснялся.

Сестры уважали Костя и опекали его, но с какого-то времени он стал замечать в глазах старшей жадное любопытство. О, он понимал этот взгляд людей, которые узнали вкус денег! И заранее предупредил, что из всего заработанного в Америке оставил себе совсем немного — на пиво. Наконец старшая все-таки отважилась спросить, что у него там, в этом тяжеленном чемодане.

— Тебе нет дела до него, дудки, — сказал он с горечью. — Это мое добро. И только мое.

С тех пор Кость стал ощущать холодок старшей. Младшая же была по-прежнему любезна, собственно говоря, именно она его и опекала. Но вскоре Костю самому стало надоедать безделье. Он быстро уразумел, что без труда, который приносил бы пользу его Городу, не может чувствовать себя полноправным хозяином, без труда Кость — квартирант не только у сестер, но и в Городе, и он стал обхаживать директора завода.

Вадим Иванович долго присматривался к крепкому еще старику и все улыбался, повторяя: «Об этом надо подумать, стоит подумать», а в конце концов сказал — тоже добродушно, но вполне категорично:

— Рыбку ловите, Кость. Куда же я вас... Теперь все автоматизировано, темпы, ритмы, а вы уже немолды...

— Что же вы меня так долго обнадеживали? — в упреком посмотрел на директора Кость.

— Надо было подумать...

Кость рывком передвинул из-за спины банджо, ударил по струнам и запел:

Америко, Америко, бодай би-сь пропала,
Що молодість і здоров'я у мене забрала! —

потом так же рывком перебрал за спину банджо и, уже не глядя на директора, который хотел было что-то сказать, вышел из кабинета.

А потом в Городе узнали, что Кость перешел жить от сестер на квартиру. Но по какой причине, никто не мог объяснить. А потом кто-то кому-то сказал, что Американец начал в тоске наигрывать над Рекой и в сквере, и люди подумали, что Кость быстро стареет.

Нестор смотрел на Костя. Он очень мало знал о нем, но все же тогда, ночью, почувствовал его печаль и понял, что старика мучит что-то, а поэтому не удивился, увидев, как две струны лопнули над грифом, когда Кость взял первый аккорд.

НЕСТОР

То ли конфуз Костя на сцене — а таких постыдных и смешных неудач было и у самого Нестора немало, — то ли то, что дочь Сотника повернула голову в сторону ложи, почувствовав на себе взгляд режиссера, и Нестор еще раз на мгновение снова пережил свою первую любовь, а скорее всего и то и другое побудило его вдруг задуматься: откуда же все началось, по каким дорожкам шла его судьба в искусстве, которая увела его из родного Города в далекий мир, а теперь возвратила обратно — седого и полного грусти?..

И зашуршали, как камешки в стремительном ручье, воспоминания за воспоминаниями...

ПЕРВОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Исчезла из глаз сцена, — маленький Нестор сидит у окна и смотрит на спокойное предвечернее село. Тихо, даже слишком тихо — ни шума, ни песен. Только вот по узкой дороге вдоль села между хатами проскакали всадники, и их закрыла завеса пыли. Ударилось об окна приземистых хат тревожное эхо, и сразу его подхватили вопли женщин и детей, со двора во двор летел страх, запирались двери на замки, ворота — на засовы, люди прятались на печках и на огородах в кукурузе.

— Штефанюк в селе!

— Разбойник Штефанюк в селе!

На какое-то время село затаило дыхание, онемело, а потом мужчины начали вылезать из-за плетней с топорами и вилами, кто-то бежал напрямик через выгон — давать знать гминной¹ полиции: люди выходили боязливо, но решительно и останавливались на дороге у конца села, как раз напротив окон Несторовой хаты.

Нестор оцепенел от страха, прижавшись лбом к стеклу, но оторвать взгляд от улицы не мог. «Отойди!» — крикнула на него мать и потянула за руку. И вдруг... вдруг он увидел, как сквозь разорванную завесу пыли, будто сквозь дым на пожарище, шел высокий коренастый мужчина с опущенными руками и поникшей головой.

— Он! — прошептала мать и судорожно схватила Нестора за плечи, но мальчик не понимал, почему мать боится: по дороге шагал совсем не страшный человек, согнутый, словно под непосильной ношей, и только одно отличало его от тех, что стояли стеной на дороге, — карабин в опущенной руке. Он подошел к оцетинившейся вилами и топорами стене и остановился.

Нестор приоткрыл окно.

— Кого из вас я ограбил, люди? — спросил человек громко, но мягко.

Стена покачнулась, но молчала.

— Кому петуха пустил, ребенка замучил, дочку обесчестил? — спросил громче мужчина, впиваясь теперь взглядом по очереди в каждое лицо. — Я же за вас... Почему вы с вилами?

— Мы хотим жить спокойно.... — И люди начали расступаться, теснясь поближе к своим воротам и огородам.

— Ой, люди, ой, людоньки... — сказал Штефанюк почти шепотом, поднял руку и с силой швырнул карабин в дорожную пыль.

Еще мгновение постоял, ожидая увидеть что-то в глазах мужчин, но они образовали проход в живой стене и жались к своим запертым воротам; он прошел по этому коридору, затем прямо пошел по улице и исчез за вербами. А приземистые хаты слепо смотрели ему вслед запыленными окнами, будто бельмами. Ули-

¹ Гмина — единица административного деления, соответствует волости (польск.).



да опустела, только посреди дороги чернел карабин Штефанюка. Его никто не поднял.

А на другой день в сельской читальне ставили спектакль «Олекса Довбуш». Наконец! Целый год полиция не разрешала, два раза — Нестор сам видел — разгоняла зрителей после первого действия. Село роптало, молодежь взбунтовалась, ворчали и старшие. Но наконец из повета¹ дали разрешение.

Шло третье действие. Нестор стоял у входа в толпе ребятишек, вытягивал шею, чтобы лучше видеть про-

¹ Повет — уезд (польск.).

исходящее на сцене. Он еще не умел хорошо схватывать смысл пьесы и чуть не плакал, что не мог до сих пор узнать, кто же из этих в расшитых бисером и украшенных цветами шляпах — Довбуш.

А ему так хотелось увидеть его, этого опрышка, про которого рассказывали перед сном сказки, этого разбойника, которым почему-то детей не пугали, а убаюкивали.

Потом на сцену вышел тот самый, что вчера бросил карабин в пыль, и люди ахнули.

«Это же Штефанюк играет самого Довбуша, — подумал Нестор. — Почему же его вчера прогнали из села?»

Штефанюк гневно посмотрел на оторопевших артистов, быстро окинул взглядом онемевший зал и крикнул:

— Довбуша почитаете? Вон отсюда! Не вам... не вам надевать опрышковский пояс!

Все это длилось какую-нибудь секунду, никто не успел даже крикнуть. Нестор спокойно смотрел, потому что думал, что это так и должно быть в спектакле.

Штефанюк расстегнул меховую, расшитую безрукавку, вытащил револьвер и так же, как тогда, на дороге, прошептал:

— Ой, люди, ой, людоньки...

Прозвучал выстрел. Нестор вздрогнул. «Наверное, в кого-то из панов», — подумал он, но тут увидел, что упал сам Довбуш и его сорочку залила кровь. Слева от него валялся блестящий револьвер...

«Убили... Да... Его должны убить», — объяснял себе Нестор, только не понял, почему кричали люди и толпились у выхода, почему в дверях с противоположной стороны появилась полиция. Он стоял за дверью, трясся от страха и смотрел большими глазами на мертвое тело последнего атамана опрышков.

Смысл происшедшего Нестор понял гораздо позже. Но тогда впервые чудесным образом переплелись в его сознании правда жизни и каноны лицедейства, и поныне он не может выбраться из этого лабиринта.

ВТОРОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

На другой день после стефураковского «бенефиса» Нестор с отчаяннейшей решимостью отважился на

риск. Он спрятал обеденную порцию хлеба в карман и в сумерках, когда евреи должны были возвращаться в гетто с работ, отправился на Банковскую.

Был голоден, потому что без этого обеденного куска хлеба «болтушка» Перцовичевой только булькала в животе; было страшно, потому что за такую торговлю его мог пристрелить без предупреждения щуполицай; подбадривал себя мыслью, что проявит милосердие — поможет голодному, и только: о деньгах старался не думать, но взял их, конечно, все-таки взял — десять оккупационных золотых — из рук исхудавшей девчушки.

В ту минуту, когда брал деньги, что-то обожгло лицо. Он не знал, что это: снопик света от фонарика щуполицая или это так ярко блеснули глаза голодной девчушки, когда она отломил кусочек хлеба и запихнула в рот. Нестор в ужасе побежал по Банковской, в переулках шупал ладонями свои щеки, которые горели, как обожженные, но он еще не понимал, что это значит...

В темноте наткнулся на знакомого: это был гимназист — восьмиклассник Миндик, бурсацкий староста, которого боялись не потому, что он верховодил в гимназической бурсе на улице Мицкевича, а потому, что вместе со своим коллегой Штибелем участвовал в акциях в гетто, — оба они уже понюхали живой крови, а люди, которым безразлична живая кровь, страшны. Нестор оторопел, но Миндик не задержал его, а только усмехнулся, как сообщнику, и пошел дальше, и тогда лицо Нестора стало гореть еще сильнее, и он все еще не осознавал отчего.

А потом видел «Вий» — от первого до последнего действия, а еще позже встретил на улице девушку, которая умела превращаться то в богородицу, то в ведьму, и наконец решил стать актером, чтобы всегда быть рядом с ней.

Но как им стать? Прежде всего — надо знать пьесы и уметь произносить монологи. И он горячо взялся за драматургию. «Не было суждено» Старицкого учил на память на родном языке, «Балладину» Словацкого — по-польски, «Разбойников» Шиллера — по-немецки.

Больше всего восхищался Шиллером. Монологи Карла Моора бередили сердце саркастическим пафосом. Франц Моор возмущал его хитростью и коварством.

вом, однако суть произведения куда-то пряталась от Нестора, он не мог ее постичь, сознавал, что знает слишком мало, что для начала ему необходимо послушать хотя бы один урок о «Разбойниках» у прославленного в гимназии германиста, которого ученики за высокий рост прозвали Страусом.

Шиллера проходили только в седьмом классе, а Нестор учился в третьем, и он не мог осуществить свое намерение иначе, как убежать с урока и, когда Страус будет читать «Разбойников», послушать под дверью.

В коридоре было тихо, даже гимназический сторож, который любил прохаживаться по этажам и ловить прогульщиков, не появлялся. Нестор прилип к дверям седьмого класса и с затаенным дыханием слушал торжественный голос знаменитого германиста.

«...Карл и Франц — символы добра и зла. Между ними вечная борьба. Люди, восставшие против зла, победят, если верят в справедливость своего дела. Карл изуверился... Штефанюк изуверился... Одинокие герои бессильны... Против зла надо стать стеной... В мире теперь льется кровь... Добро борется со злом...»

Нестор слушал и злился, что у них, в третьем классе, преподает немецкий язык и литературу пусть и не сердитый, но слишком уж крикливый Ругик, который больше чем пол-урока все выкрикивает: «Ruhig!»¹, а другие могут слушать мудреца и настоящего артиста. Но Нестору мало было слышать голос несравненного Страуса, ему хотелось увидеть его жестикуляцию, поэтому, не стыдясь, он нагнулся к замочной скважине.

«Зачем я дал себя обмануть коварством злого сына? — потряс руками старый Моор — Страус. — Я поверил змее и потерял обоих сыновей!»

В эту драматическую минуту какой-то проказник или сам сторож толкнул Нестора в спину, он головой распахнул дверь, влетел в класс и, потеряв равновесие, рухнул на колени перед учителем. Раздался громкий вопль восторга, но тут же все смолкло. Страус, которого уважали за знания и представительную внешность, поднял руку, призывая к порядку, и спокойно спросил Нестора:

— Куда ты так спешишь?

Растерянность Нестора длилась лишь мгновение:

¹ Тихо! (нем.)

впервые в жизни он очутился перед публикой и ему надо было играть роль. Поняв, что уклониться от этого уже невозможно, он встал, вытянулся перед учителем и сказал:

— Я хочу отвечать.

— Отвечать? — воскликнул Страус. — А что ты знаешь о «Разбойниках» Шиллера?

— Я знаю на память первое действие этой драмы.

— Ого!..—Ну, хорошо. Тогда прочитай мне монолог Карла из второго явления.

Нестор подумал, затем на глазах пораженного класса подошел к столу, взял первую попавшуюся книжку, вынес на середину кресло, сел и углубился в чтение. В классе было так тихо, что Нестор почувствовал: еще мгновение — и взорвется негодующий крик учеников и самого учителя, но паузу Карла он должен был выдержать, — небрежно отложив книгу, Нестор произнес сквозь зубы:

— «Меня тошнит от этого чернильного века, когда я читаю у моего Плутарха о великих людях... — Нестор встал, взмахнул рукой. — Яркая искра Прометеева огня погасла, вместо нее обходятся теперь бенгальским огнем, этим театральным пламенем, которым и трубку не зажжешь. Французский аббат поучает, что Александр Великий был труслив, как заячий хвост. Чахоточный профессор, — в голосе Нестора зазвучал саркастический смех, — после каждого слова подносит флакон с нашатырным спиртом к своему носу и читает лекцию о силе...».

— Genug... — сжал ладонями виски Страус. — Genug!

Со второй парты встал какой-то ученик, учитель махнул ему рукой, чтобы не мешал, тот сел, а Нестор, не слыша Страуса, продолжал в экстазе:

«Им не хватает духа опорожнить стакан, потому что им приходится пить за чье-то здоровье, они подлизываются к дворнику, чтобы он замолвил за них словечко перед его милостью...»

— Genug! — учитель вытер платком глаза, а со второй парты снова вскочил тот же ученик.

— Извините, профессор, — смущенно сказал он. — Я сегодня не подготовился.

— А-а, попался, голубчик Генюк, получай цвэер! — засмеялся Страус и записал в журнал двойку уче-

нику, который перепутал немецкое слово «Gepig» — «довольно» — со своей собственной фамилией, затем положил Нестору руку на плечо и вдохновенно произнес:

— Артистом будешь, юноша... Артистом! — Он оглядел с ног до головы неуклюжего третьеклассника, который едва еще пришел в себя и стоял теперь смущенный, в полотняных крашенных штанах и мятой курточке, и, вздохнув, добавил: — Ничего... Ходи в театр, не пропускай ни одного спектакля. Только, когда пойдешь, хорошенько вымой руки...

Нестор покраснел, поднес пальцы к глазам, руки были чистые, и он, обиженный на знаменитого германиста, которого обожествлял, опроретью выбежал из класса.

Не пропустить ни одного спектакля? Но как? Ведь в проходной театра стоят длинноносый злющий Стефурак и Августин Копач, а у Нестора ни гроша нет за душой. Однако он уже знает, как можно раздобыть деньги — надо достать буханку хлеба! Но у Перцовой не получишь и крошки лишней, а у отца в селе — только кукурузная мука на кулеш. Нестор долго думал, и перед Новым годом в его голове созрел неожиданный план. Он соберет нескольких ребят, они пойдут с козой в бурсу и станут колядовать!

Ех, бурсо, кохана бурсо,
 Ми твої вірні сини...
 Коли ми йдемо з бурси
 На ті любовні курси...

Когда и кто из обитателей общежития на улице Мицкевича сложил эту бравурную песню и что означали слова о каких-то «любовных курсах», над этим Несторовы ровесники не задумывались, но наставник бурсы Штефан Сичкарня хорошо понимал их смысл и знал, что призывает песня не только к кавалерским подвигам. Услышав мелодию бурсацкого гимна, он мгновенно выходил к воротам, подозрительно приглядывался к гимназистам и, если это происходило еще ранней осенью, запирали на ключ калитку в свой огород, где можно было голодному бурсаку попасться на огурцах, початках кукурузы и спелых тыквах, зимой же он выставлял на стражу возле кухни кухарку Ганну. Грозная и неприступная, с тяжелым половни-

ком в руке, она простаивала так часами, и разве только взрослому Павлюку из восьмого класса удавалось очаровать ее любезным разговором, во время которого на кухне что-то исчезало — буханка хлеба или котелок каши.

Каждый добывал себе хлеб или деньги как только мог, ибо той пайки, что выдавали гимназистам, не хватало, чтоб быть сытым, даже на дорогу до гимназии, а не то чтобы выдержать шесть уроков за филиппиками Демосфена, комментариями Цезаря о Галльской войне и комедиями Аристофана.

Шестиклассник Гарбузович, у которого была склонность больше к технике, чем к классическим наукам, в самом разгаре подготовки к коллоквиумам устраивал в электросети замыкания, а так как исправлять никто не умел, то он ходил из комнаты в комнату и объявлял: «По восьмушке хлеба с группы — и будет вам свет». А Миндик со своим коллегой Штибелем делали иначе, но об их способах добывания денег Нестор узнал немного позже...

Итак, с козой в бурсу! Мисько не хотел идти. Миську и не надо было, ибо его папаша как-никак, а все-таки был адвокатом; наконец, у Миська не было особой тяги к театру, его привлекала больше литургия. Что ж, это тоже своеобразный театр (разве не научился он искусству конферансье во время дьячкования?). Нестор махнул на Миська рукой, нашел в своем классе трех энтузиастов, и в новогодний вечер, отложив пение бурсацкого гимна на потом, когда уже будут возвращаться с богатой добычей, они, наряженные козой, чертом, медведем и Маланкой, тихо проскользнули в гимназическое общежитие.

Наша Маланка товар пасла
Та й, пасучи, загубила...—

вкрадчиво забубнили мальчишечьи голоса под комнатой шестого класса. Скрипнули двери, раздался смех, Нестор с друзьями быстрехонько прошмыгнули в комнату и закрыли за собой дверь — не дай бог Штефан Сичкарня услышит, тогда будет им колядованье! Маланка с медведем пустились плясать, черт подталкивал их вилами, чтобы плясали быстрее, а коза ходила с торбой от ученика к ученику, собирала за коля-

дованье краюшки хлеба, благодаря учеников каждый раз изысканным книксеном, которому позавидовала бы изнеженнейшая барышня из института Василианок.

Из соседних комнат, слышав колядку, начали сходить старшие гимназисты, в торбу козе посыпалось еще больше добра, колядующие на радостях допели длинную щедровку про Маланку, как та, ища коров, заблудилась в чистом поле, где Васильчик пашет-сеет, и все окончилось бы наилучшим образом, но в комнату вошли восьмиклассники — выкормыши УЦК¹ — Миндик и Штибель.

— Много собрали для торгов на Банковской? — Миндик содрал козью маску с головы Нестора и заглянул в торбу. — Ого, — причмокнул он языком, — это, наверное, для самого раввина?

Нестор побледнел. Он вспомнил свою встречу с Миндиком в переулке возле гетто и понял, что попался, но сверлящие глаза Миндика потеплели, он потрепал Нестора по плечу и сказал:

— Больше не ходи туда, парень, а то устрою тебе пиф-паф, — он сделал жест указательным пальцем. — Я тебя научу, как продавать хлеб. А где же ваш цыган? Что это за Маланка без цыгана? А ну-ка приведи, Штибель, нашего.

Ученики, находившиеся в комнате, похолодели, так как знали, кого имеет в виду Миндик. Наставник бурсы, этот скряга Штефан Сичкарня, который, казалось, все время что-то ел, потому что безостановочно жевал беззубым ртом, за что его и прозвали Сичкарней (Соломорезкой), тайно держал в дровяном сарае цыгана. Цыган рубил для кухни дрова, зарабатывал деньги, а по вечерам ходил по богатым домам и, рискуя жизнью, покупал хлеб для своих цыганят, которых прятал неизвестно где...

Штибель по-эсэсовски щелкнул каблуками, вышел маршевым шагом и через несколько минут втолкнул в комнату перепуганного смуглого мужчину с проседью в черных кудрявых волосах. Глаза у цыгана бегали, как у загнанного зверька, он умоляюще смотрел на ребят и вдруг съежился под жестким взглядом Миндика.

— Не бойся, дурень, — Миндик цыкнул слюной

¹ Украинский центральный комитет — националистическая организация, сотрудничавшая с гитлеровцами.



сквозь зубы. — Мы тебе хотим продать хлеб, чтобы ты не шлялся по Городу по вечерам, не то там немец тебе сделает пиф-паф! Вот видишь, сколько его — хватит на целую неделю для всей твоей оравы. Давай сто золотых.

Губы цыгана мелко задрожали, он с благодарностью посмотрел на грозного Миндика и вынул из кармана десять измятых банкнотов.

— Паночек... Спасибо, паночек.

— Ему плати, — показал Миндик на Нестора.

И снова тот же самый жар, что и тогда на Банковской, обжег Нестору лицо, только теперь он уже знал;

что не свет из фонарика щуполицая, и не жестокость Миндика, и не голодная жадность цыганских глаз обжигают его, — это ошпаривал лицо кипящей смолой страшный стыд. Нестор, постигший теперь науку этих упырей, которые понюхали живую кровь, взял у цыгана деньги и отдал ему наколядованный хлеб. И вдруг... перед ним открылись массивные кованые двери театра. Стефурак и Августин Копач отвернулись, словно и не видели его, никто не требовал у него билета, на сцене шел «Вий», люди, увидев Нестора, вставали со своих мест и переходили в последние ряды, он сидел в первом ряду один, черти со сцены протягивали к нему когти, ибо узнали своего...

Цыган с мешком хлеба вышел впереди Штибеля и Миндика.

Нестор опрометью бросился по коридору к выходу и там встретился со всеми тремя. Цыган сидел на полу и отчаянно выл, Штибель с Миндиком остановили Нестора и подали ему торбу с хлебом.

— Бери, это твое, наколядованное, — сказал Миндик. — А нам за маклерство дай пять бумажек. Теперь ты уже знаешь, как доставать деньги: чтобы и в кармане они были и чтобы на Банковской не сделали тебе пиф-паф?.. А ты замолчи, — гаркнул он на цыгана, — не то немца приведу!

Нестор дико закричал. Он закричал так, что даже Штибель с Миндиком оторопели, бросил мешок с хлебом цыгану, а все десять банкнот — в лицо упырям и выбежал, плача и проклиная и себя, и театр, а обожженные щеки пылали от жара, и он уже слишком хорошо знал, что это такое.

А кто-то вдогонку ему кричал голосом учителя Страуса:

— Вымой руки! Вымой руки! Вымой руки!

ТРЕТЬЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Третье воспоминание было таким болезненным, что для Нестора оно было как открытая рана.

Шла последняя гимназическая весна...

Предстоящей осенью учебный год уже не начнется — гитлеровцы реквизируют гимназию под госпиталь, а потом, убегая из Города, подожгли ее, и после

трех дней зловещего пожара, который в отчаянии наблюдала вся округа, на месте гимназии остались только обгоревшие массивные стены, из которых через десять лет возродилась еще более красивая Первая городская школа...

Это и случилось в ту весну, когда в Город прибыл сам губернатор Отто Вехтер руководить набором в дивизию СС «Галичина». В честь его визита ребята из баудинста¹ вывели из строя мощную камнедробилку, которая день и ночь без умолку скрежетала на городском рынке.

Генюк, тот семиклассник, что так неудачно схватил двойку во время дебюта Нестора как актера, поймал его в коридоре во время большой перемены и потащил в свой класс.

— Ты, артист из погорелого театра, ты, наверное, и «Фауста» знаешь на память? Будешь сегодня за меня отвечать!

Нестор ни о каком Фаусте вообще ничего не знал, он упирался, но Генюк силком посадил его возле себя.

— Ты у меня смотри: как только войдет Страус, должен встать и сказать: «Я еще и «Фауста» знаю на память». Если не сделаешь этого, он спросит меня и влепит другую двойку, а одну я уже заработал из-за тебя.

— Да я не знаю, кто это такой — твой Фауст, которым ты мне голову морочишь, — еще раз дернулся Нестор.

— Ну и осел! — Генюк в отчаянии взмахнул руками. — Тогда катись отсюда к черту, на что ты мне, такой дурак, сдался?

Однако уходить уже было поздно: в класс вошел, прижимая к груди томик Гёте, величественный Страус.

Но Генюк не растерялся. Он держал в запасе на самый критический момент еще один спасительный фокус. Зная, что у грозного учителя есть уязвимое место — страх перед всем, что может выстрелить, — он вынул из кармана карабиновый патрон и поставил его торчком в круглое гнездышко под чернильницей.

Учитель обвел взглядом класс, задержался на Нес-

¹ Баудинст — строительная служба, принудительные работы во время гитлеровской оккупации.

торе, едва заметно улыбнулся ему, но ничего не сказал; взгляд Страуса скользнул влево, и жертва — Генюк — уже была поймана, однако тот, не ожидая, пока его вызовут, сам встал и многозначительно посмотрел на патрон.

— Erzählen Sie mir...¹ — начал было Страус, но вдруг заметил патрон — глаза его испуганно округлились, и он проговорил, запинаясь:

— Что это... Что это такое?

— Это патрон из десятизарядного карабина, господин профессор.

— Так... но он может... он может выстрелить!

— Может, господин профессор, — спокойно ответил Генюк, — если его вставить...

И в этот момент раздался выстрел. Но не в классе, а где-то совсем близко за окном.

Ученики вскочили с мест, бросились к окну, подбежал и Страус: на рыночной площади — ее хорошо было видно с третьего этажа здания гимназии — стояли привязанные за ноги к вбитым в брусчатку железным сваям восьмеро парней из баудинста, а еще один уже лежал ничком; раздался второй выстрел — ученики вздрогнули, Страус зажмурился — и упал второй парень; выстрелы раздавались еще и еще, парни молча падали навзничь, один за другим, и только последний, перед тем как прозвучал девятый выстрел, закричал:

— Я не виноват, не виноват!

Но и он упал лицом вниз.

Класс стоял, замерев от ужаса. Выстрелов больше не было слышно, но плечи Страуса продолжали вздрагивать, как после каждого выстрела. Потом учитель повернулся к классу и дрожащей рукой показал на патрон, что стоял торчком в гнездышке для чернильницы.

— Ты... ты хотел стрелять в Гёте, а надо... надо — в выроdkов, которых породила его земля.

Генюк всхлипнул, накрыл ладонью патрон, сжал его в кулак, стиснул зубы и, с трудом шевельнув губами, произнес одно только слово, но его услышали все:

— Хорошо.

Он стоял — коренастый, совсем взрослый, мужественный, и трудно было теперь поверить, что этот сем-

¹ Расскажите мне... (нем.)

надцатилетний юноша несколько минут назад из страха перед двойкой пускался на наивные мальчишеские хитрости.

У Страуса еще долго мелко тряслась голова, но наконец он овладел собой, выпрямился и тихо начал читать последний монолог доктора Фауста:

...Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они...¹

Вскоре исчез из Города гимназист Генюк и пропала неведомо куда молодая артистка театра Завадовская. Больше их Нестор не встречал.

ЧЕТВЕРТОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Оно только промелькнуло...

Советские войска изгнали оккупантов. Хортисты отступили за Карпатский хребет. Нестор жил в селе у родителей, потому что никакой учебы пока не было.

В селе стоял гарнизон. В хате Нестора жил начальник гарнизона лейтенант Скоробогатый. Офицер и Нестор подружились, парень признался лейтенанту, что мечтает о театре, Скоробогатый рассказал, как он, еще мальчуганом, снимался статистом в Довженковском фильме. Нестор очень привязался к молодому командиру и часто приносил ему из лесу землянику.

Однажды лейтенант сказал:

— Чем я могу тебя отблагодарить за твои вкусные подарки?

— Дайте разок выстрелить из вашего револьвера...

— Это можно, — согласился лейтенант.

Они пошли на луг, и Скоробогатый спросил, подавая пареньку револьвер:

— Во что ты хочешь выстрелить?

Нестор оглядел луг, он был ровный, ни одной подходящей мишени не было видно, только по кочкам бродил высокий аист. Нестор потом не мог объяснить се-

¹ Перевод Б. Пастернака.

бе, почему прицелился в птицу, если прежде убегал со двора, когда мать резала курицу; то ли детская душа уже привыкла к кровавым зрелищам, то ли так обесценивалась жизнь в его глазах за время фашистской оккупации, что какая-то там птица уже ничего не значила, — он прицелился в аиста.

В то же мгновение лейтенант Скоробогатый, который прошел по полям смерти от Киева до Карпат, ударил Нестора снизу по руке, пуля свистнула в небо, аист взлетел, а лейтенант яростно крикнул:

— Негодяй! — и грубо выругался. — Театра захотел!..

...Концерт окончился. В зале поднялся шум. Мисько Два Пальчика раскланивался со сцены за всех исполнителей, скромно прижав руку к сердцу, отводя глаза: мол, не хвалите меня так, я всего-навсего исполнял свою обязанность. Люди вставали, кое-кто поглядывал в ложу. И, конечно, никто в зале не знал, о чем думал сейчас режиссер. Впрочем, нет — знали. Они видели фильм, это его воспоминания ожили час назад на экране.

Нестор стоял, переполненный щемящим ощущением счастья, и думал: «Мне хорошо сегодня... Я достиг того, о чем мечтал еще в детстве. Все прожитые годы я отдал осуществлению своей мечты, но никогда не думал, что она так счастливо исполнится. Большая радость пришла ко мне, и мне порой кажется, что все это не явь, а юношеский сон... Да. Тебе хорошо, Нестор... Однако берегись: как бы незаметно не вкралось в твою душу самодовольство улитки, которой так же уютно в раковине, как тебе — в тоге славы?... Но разве ради славы я вступил на путь искусства? Нет! Я хотел принести какую-то пользу тем людям, которые распахнули для меня мир. Отблагодарить их... Так достиг ли я того, о чем мечтал? Я задумал создать фильм о моем ровеснике, но сегодня показал своим землякам лишь начало этого фильма, ибо сегодняшнего ровесника с его новой жизнью в этом обновленном Городе я еще должен познать».

И Нестору снова вспомнились шахматисты в поезде. Это же они, это они — нынешние, обдумывающие

ходы в сложной шахматной партии своей жизни, а он их так мало знает.

Это новое поколение родилось тогда, когда расстреливали на рынке парней из баудинста, когда юноша Генюк во время визита Вехтера поклялся мстить фашистам, а пятнадцатилетний Нестор, месяцем позже, когда уже в Город приехал сам генерал-губернатор Франк, встретился со Страусом и Стефураком в темном подвале керамического училища — как заложник.

«В то время и родились нынешние шахматисты. Они не помнят войны, военное эхо могло только отдаленно отозваться на нетронутую струне их памяти, но они о нас знают больше, чем мы о них. Справедливо ли это? Познавая их, нужно ли так уж много привносить им из своего пережитого? Конечно, надо — как предостережение. Только надо остерегаться, чтобы это не сопровождалось жестами превосходства, высокомерия, потому что их полноценность измеряется категориями не менее весомыми, чем когда-то наша, — трудом измеряется — родным братом борьбы... Может, я не использовал в своем фильме эпизод встречи со Страусом и Стефураком в тюрьме только потому, что боялся противопоставлять себя тем, кто ничего подобного не мог пережить? Или слишком оно болезненное — это воспоминание?.. Слишком мое... или сохраняю его для нового произведения — о них, сегодняшних гроссмейстерах жизни?»

БАНКЕТ

— O tempora, o mores!¹ Сколько лет, сколько зим! Per aspera ad astra!² Смелого пуля боится! Fortes fortuna juvat!³ — выпалил всю свою премудрость словно из пулемета Мисько Два Пальчика, остановившись с распростертыми для объятий руками в дверях ложи.

— О Мисько, — прервал его Нестор, — ты прирожденный артист, но пойми, что на сегодня всем нам уже довольно сцены.

— Что ты, что ты! «Театр — мой кумир, священный

¹ О времена, о нравы! (лат.)

² Через тернии к звездам! (лат.)

³ Сильных опекает судьба! (лат.)

храм для меня...» Ну, откуда это? «Суета». О Нестор, тебя сам бог послал к нам в Город! А я тоже вырваться хочу отсюда! Ты не можешь меня понять: провинция, заскорузлость, примитивные вкусы. Я ночами не сплю, думая о том, что где-то существуют большие города, избранная публика, столичная сцена, киностудия! Вот только послушай, что я могу! — Мисько задвинул за собой ширму и, не давая Нестору вставить хотя бы слово, продекламировал, закрывая лицо полою блузы, как мантией: «Да. Быть или не быть — вот в чем вопрос. В чем больше достоинства: молча терпеть тяжкие удары ненавистной судьбы или стать с оружием против моря мук!» Ну, откуда это? «Гамлет», мой дорогой Нестор. Возьми меня на киностудию, ибо я тут пропаду, ведь, как говорили древние римляне: искра, которая не хочет попасть под пядю, должна стать звездой!

— Ну, хорошо, хорошо, Мисько, но прежде всего нам надо поужинать, уже семь. Беги опрометью вниз и задержи товарища Ткаченко, Перцову, Копачей, Американца и... и кого там знаешь... — Нестор почему-то не мог при Миське произнести «дочь Сотника», и к тому же он не знал, как зовут ее дочь, взял Миська за плечо легонько вытолкнул из ложи, сам тоже сбежал по ступенькам вниз и в узком фойе вдруг встретился лицом к лицу с самой красивой на свете девушкой, которую назвал именем гоголевской героини.

— Вы — моя пленница, — взял он ее за руки, — но сперва скажите, как вас зовут?

— Вашу пленницу, — она сложила руки на груди и смиренно поклонилась, — зовут Галей, а фамилия ее — Генюк.

— Генюк?! Почему — Генюк... — изменился в лице Нестор. — Вы же Завадовская.

— Разве вы не знаете, что детей называют по фамилии отца, — улыбнулась Галя. — Мой отец был Генюк... Василь.

— Был?.. — «Сепуг!» — хотелось выкрикнуть Нестору любимое слово Страуса, чтобы вызвать из небытия переростка из седьмого класса, который в одну трагическую минуту стал мужчиной и одним коротким словом поклялся бороться с убийцами.

— А мама была Завадовской.

— Была... Тоже — была?

— Да. Меня еще младенцем принесли с гор к Стефуракам...

— Это вас... Вадим Иванович?!

— Да, да... У меня два названных отца. А родной не вернулся из Ковпаковского рейда. Маму же гитлеровцы расстреляли... Но зачем вы об этом? Мы вспомнили слишком тягостное. Не надо... — Галя снова улыбнулась, и ее большие глаза приблизились к Нестору. — Стефурак, как только прочитал сообщение в газете о премьерe, места не мог себе найти. А сколько рассказывал о вас... — и замолчала, будто ей неудобно стало, что она посвящена в тайны чужого человека.

Нестор неподвижно стоял, держа за руки девушку. Смотрел в ее глаза, а видел ту, которую полюбил впервые — слишком преждевременно, и видел эту вот, что пришла к нему вместо матери: эх, не поздно-вато ли...

Перед ним снова предстала волшебница из «Вия», та, что когда-то ослепила его красотой и благодаря которой он, терзаясь в слепой тоске, нашел вместо любви славу. А что несет ему эта — обыкновенное человеческое счастье, которого он не знает, или еще одну муку, которая окупится новыми лаврами?

Глаза у дочери Сотника были зеленые, как трава, они все росли и росли, и стали одним большим кругом, и стали озером, а потом морем...

— Дочь Сотника, — прошептал Нестор.

— Нет, я не дочь Сотника... Я совсем не та, кого вы вспомнили. Не надо иллюзий...

— Почему я вижу в ваших глазах грусть?

— У меня была своя жизнь, как и у каждого...

— Я о вас ничего не знаю, Галя. Для меня вы сегодня — только образ вашей матери.

— Ничто не повторяется, Нестор. Я — другая, и прошлые чувства ваши тоже не могут повториться... — Галя высвободила свои руки из его ладоней, — вы ведь пропащий человек, для вас каждое впечатление, каждая встреча — это только материал для творчества. Правда?

— Кто знает, Галя...

— Не надо сантиментов, режиссер. Идите. Я же ваша пленница. Ведите же меня в свой плен.

— Неужели не может повториться? — сказал Нестор точно про себя и склонился к Гале.

— Нет. Может начаться только новое. И у каждого — свое... Но для этого надо освободиться от прошлого. А это так трудно...

Оба встрепенулись от возгласа:

— Бесподобно! Мы ждем его у выхода, а он...

Возле них, лукаво улыбаясь, стояли Перцова и Копачева.

— Простите, — проговорил взволнованный Нестор, — я же ищу вас, Миська послал...

— Кого вы искали и кого нашли, мы уже видим. Но свою вину вы тяжело искупите. Зовите, Копачева, всех в буфет. Ты смотри, какой он гордый, — в ресторане собрался нас вести! Да разве я, Перцовичева, позволила бы, чтобы гость угощал хозяев? Целый день готовилась. А ну, айда на вареники!

— Я сейчас, — метнулась куда-то раскрасневшаяся Галя. — Где-то папа Стефурак ждет.

— А куда делись ваши артисты? — спросила Копачева у Нестора.

— Они подойдут, не тревожьтесь.

...Перцову будто подменили. Это заметили все, кроме разве что старого Стефурака, который сидел рядом в приемной дочерью и все время тянулся через стол к Нестору, будто хотел ему сказать что-то важное, да еще Миська Два Пальчика — он все-таки сел возле Нестора и, приложив ко рту ладонь лодочкой, безостановочно о чем-то нашептывал ему на ухо. Однако и Кость Американец, и супружеская пара Копачей, и сам Нестор видели, что Перцова будто вдруг сбросила с лица маску гордого превосходства, напускного аристократизма и стала такой, какой она была, должно быть, еще до того, как стала собственницей гимназического аттестата в резной рамке, мануфактурной лавочки возле ратуши и перстня с дорогим бриллиантом на пальце левой руки.

Еще сегодня, готовя вареники, она лепила их с каким-то глухим раздражением: ведь правда, как же это так сумел этот паренек в полотняных штанах, извините, подняться вон как высоко над ней, над всем Городом? Сегодня на концерте ее раздражало все: и длин-

ные волосы Нестора, и кривлянье Миська, и Копачева с ее наивным восхищением патлатым режиссером, и вдруг — откуда только взялось это ощущение? — в тот момент, когда несла на стол первую миску вареников, почувствовала, что все эти высокие гости — и ее гости тоже, и ее гордость, и ими не кто-то там, а она должна гордиться, и уж ни в коем случае нет у нее оснований завидовать им.

А Копачева подумала: «Да, резко я ей сказала, у меня что на уме, то и на языке. Но пусть знает, что все ее чванство, как мыльный пузырь, что теперь ценят людей за труд и ум, а не за то, из какой семьи они происходят...» Каролина пристально посмотрела на Анелю, с которой как-никак дружила много лет, и сказала про себя: «Право же, помогли мои слова... А может, не мои слова, а этот Нестор причина того, что, глянь, на глазах выветривается из нее мещанский дух».

Пока накрывался стол, Мисько уже успел выпытать у Нестора, сколько он зарабатывает, как оплачиваются кинороли и режиссура, сколько у него комнат в столичной квартире, похвалился, что построил себе особнячок в предместье намного лучше, чем у Перцовой на Монаховке, и, наконец, шепотом спросил о том, что его больше всего интересовало:

— Машина есть?

— Нет...

— Почему?

— Путаю каждый раз левую руку с правой.

— Это плохо... А я буду иметь. Не сегодня-завтра. Хочешь спросить, откуда у меня деньги? Э-э, надо уметь жить! Мама свиней откармливает, а сосед продает. Это, я тебе скажу, лучший бизнес. Кое-кто разводит нутрий, но это пустое дело, ибо зависит от моды: когда покупают, а когда — нет. Я пробовал. А свиньи с деда-прадеда хорошо окупаются, ведь людям всегда надо есть. Я со дня на день жду машину — мне удалось пробиться вне очереди. Да, не сегодня-завтра буду иметь...

— Это хорошо, Мисько... — сказал Нестор, не глядя на собеседника. — Сможешь на ней возить поросят на рынок.

Наконец стол был накрыт. Ткаченко поднял рюмку.

— Я буду краток, товарищи. Поднимаю этот тост

за нашего Нестора, за актеров, за удачу. И выпить эту рюмку хочу за вторую серию фильма. Нестор знает, что я имею в виду.

— Спасибо, — поклонился Нестор. — Я знаю — что, но еще не знаю — как. Как сделать...

— Это дело наживное, — встал тяжелый, широкоплечий, с добродушным крестьянским лицом Августин Копач. — Потому как говорится: если бы я был таким мудрым вчера, как сегодня, то знал бы, что должен делать завтра... Мой отец, скажу вам по правде, был совсем простой человек, только то и умел, что торговать скотиной, но в Вене бывал чаще, чем сам император Франц-Иосиф. А что с того — не было ничегошеньки с того. А я, если бы так пил при буржуазной Польше, как сегодня, то стал бы нищенствовать. Да и все тут. А сегодня, как говорится, есть и хлеб и к хлебу, да еще и на кино. А ежели бы кино не было б, так не было бы и режиссеров. Вот я, по правде вам говоря, хочу выпить за нашего режиссера, потому что это не какой-нибудь там растяпа, а человек из нашего Города. Потому что, как говорится, — Августин кашлянул в кулак, — коль дали тебе пить — пей, а не выпьешь, так выпьет кто-нибудь другой...

Ткаченко засмеялся, ничуть не обидевшись на копачевское дополнение к его тосту, Галя улыбнулась и обдала горячим взглядом Нестора, искренне засмеялся и сам Нестор.

Приободрившийся Копач ловко опрокинул рюмку, потом покосился на Каролину. Увидев, что она занята разговором с Перцовой, налил себе еще раз и, воспользовавшись тишиной, всегда наступающей после первого тоста, поторопился начать разговор, потому что боялся, что если не наговорится теперь, то потом уже не дадут.

— Это я начал о кино говорить, о людях театра, но я вот про себя не раз думаю, как это происходит: из-за какого-нибудь глупого поступка, который никогда и во сне не мог привидеться, иногда человек может стать не тем, кем должен быть, а совсем другим. Ну вот я, простой мужик, столяр из Залучья, стал человеком театра, и из-за кого бы вы думали — из-за козы...

Галя подмигнула Нестору, приглашая его послушать историю, которую слышала уже не раз, но он и без того не сводил глаз с Копача: сторож театра, ко-



того в детстве называл не иначе, как цербером, теперь раскрывался перед ним во всей своей человеческой колоритности.

— Знаете, после первой мировой войны мне так туго пришлось, что с голодухи опух. Во время пацификации¹ трижды били меня польские полицейские, но за что — не понимаю и теперь. Однако терпел. А вот как пришла лицитация² за подати, то уже выдержать не

¹ Умиротворение, которое проводили власти буржуазной Польши в тридцатых годах.

² Продажа с молотка.

мог. Продал корову, продал свинью, одна коза осталась — все одно податей не заплатил. А Каролина говорит: «Тут, в селе, мало платят, ты бы пошел с козой в Город да продал ее на рынке». В Городе я еще не бывал, но моя Каролина такая, что как скажет иди, то и должен идти. Взял я козу на шнурок и пока протопал эти четыре мили и добрался до Города, рынок уже почти опустел. Стал с козой в сторонке — подходит какой-то маклер и просит дать за посредничество пять злотых. Пять злотых в Залучье — это были большие деньги, и я, конечно, не согласился. А потом пожалел, потому как покупателей не было, а солнце уже начало краснеть над загородными халупами. Потацил я козу за шнурок и подался домой через самый центр Города...

Копач отпил из рюмки, снова покосился на Каролину: слава богу, она еще не наговорила с Перцовой.

— Настоящих городских панов я еще не видал, так говорю вам правду, аж рот раскрыл! Ведь полицейские хотя и паны, но в мундирах — вроде как военные. Залучанский помещик — тоже пан, но, как говорится, с заплатанным нижним местом: земли много, денег до черта, а ходит в худшем рванье, чем Гершко-лавочник. Гершко, это каждый знает, не пан, как эта коза — не скотина. А тут — боже мой! И молодые и старые такие тебе пышные да разнаряженные, все в шляпах, даже панночки, колени, прости господи, голые, аж стыдно, губы намалеванные, ногти намалеванные...

— Уже напился, старик, и стыд потерял! — оборвала Коначева разговор с соседкой, решив, что Августин слишком много себе позволяет в присутствии важных гостей.

— Пусть говорит, — успокоил ее Ткаченко. — Это ведь интересно.

А Нестор даже поморщился, взглядом умоляя Коначеву, чтобы не перебивала.

— Ну вот, стал я посреди тротуара, — продолжал Копач, — смотрю на дамочек и... — понизил он голос, — и показалась мне тогда Каролина такой облезлой, как мокрая курица, хотя на селе считалась первой молодой. Идут паны, обходят меня, губу кривят, платочками носики закрывают, а я стою. Вдруг останавливается возле меня господин с дамочкой, ладной такой

и в такой блузочке, что и не знаешь, зачем она: напроць все насквозь видно. Останавливаются, и панок спрашивает по-польски: «Козу продаешь, мужик?» — «Ага», — говорю. «А сколько просишь?» Тогда дамочка фыркнула: «Зачем тебе эта коза?» — «Козье мясо вкусное и питательное. — объяснил пан дамочке и снова ко мне: — Так сколько просишь, мужик?» И тут бог у меня отнял разум. Забыл я и про Каролину, и про брачную клятву в церкви, и про лицитацию забыл напроць. Говорю пану: «Я бы, как говорится, хотел бы поцеловать вашу пани, потому что такой еще сроду не видал». Не знаю, как у меня эти слова вырвались, а пан, что вы думаете, подмигнул даме да и говорит мне: «Согласен». И нынче не могу припомнить, каким способом я содеял этот грех, потому как опомнился аж тогда, когда увидел в боковом переулке обоих грабителей, тащивших за собой бедную козу — мою последнюю надежду, а та жалобно бляла и все время оглядывалась... Ну, вот. Вы уж извините, что долго говорил, но чем это вам не кино?

Эту историю все присутствующие знали давно, поэтому реагировали на нее только Ткаченко и Нестор: Ткаченко то и дело взрывался заразительным смехом, а Нестор не смеялся, он так внимательно слушал, словно хотел запомнить весь копачевский рассказ слово в слово.

Один Стефурак, казалось, не слушал вовсе, дремал, но, когда Августин кончил, он недовольно произнес:

— Ты столько наболтал, а главного не рассказал, как все-таки из-за той козы попал в театр.

— Да так и попал... Ночью я добрел в село, принался во всем, как на исповеди, Каролине, а через неделю мы оба стояли с котомками возле ратуши и просили то одного, то другого прохожего, чтобы взял нас на службу. И смилостивился над нами господь: подошел к нам один господин, такой из себя с длинным носом и круглым животиком, и сказал: «Возьму вас к себе в театр. Вы, женщина, будете убирать, а ты, мужчина, будешь стоять в дверях перед началом представлений, а пропустишь хоть одного зайца без билета — выгоню...» Так что поэтому я теперь за вас выпью, Иван Бонифатьевич, живите сто лет!

— А мне до ста не так уж много, — ответил Стефурак.

Нестор поднес к губам рюмку, но рука его замерла. Опять, как и в ложе, перед ним мысленно промелькнули все кадры фильма, но теперь он задержался на эпизоде в родном селе. Чего-то будто не хватало этой сцене. Да, уж слишком все хорошо... Так хорошо, что прежде казалось — исчерпаны все его творческие возможности, но сейчас — манера говорить, сам облик и прошлое Копача неопровержимо доказывали, что поиски совершенного не могут иметь предела, ведь очевидно же: сцена с крестьянином, прототипом которого был отец Нестора, в исполнении Августина могла бы выглядеть иначе, лучше...

НЕСЫГРАННАЯ РОЛЬ АВГУСТИНА КОПАЧА

Нестор смотрел невидящим взглядом поверх лиц окружающих, мысленно он видел сейчас тот эпизод из фильма, только роль крестьянина играл теперь Копач. Он точно слился с этой ролью...

Время было такое, что людям не до смеха. Но на Ивана Купалу Августин выпил рюмку, вышел из кооператива, побрел по выгону и остановился перед клубом. Захотелось с людьми поговорить. Сколько же лет держать язык за зубами, не хватит ли?

В помещении читальни располагался гарнизон. Возле ограды стоял вкопанный колесами в землю «максим» — фронтовые бои гремели за Карпатским хребтом, гула их тут не было слышно, другой отголосок войны скитался по лесам Покутья, поэтому и стоял возле читальни пулемет, а часовой рядом с ним всматривался в недалекий лес: солдату, который прошел тысячи километров сквозь огонь, не хотелось погибать теперь. Его руки за годы окопов привыкли гладить сталь, но эти же руки тосковали по изборожденному морщинами лицу матери и румяному личику невесты.

Августин выпил рюмочку на Ивана Купалу, и мир, и люди стали добрее. Забылись фашистское лихолетье и сегодняшние ночные тревоги; летний расцветающий день поднялся выше в небо и рассыпал по выгону ярко-желтые горчаки, белые маргаритки, солнечные пятна на крыши: «Слушайте, люди, заговорите, и я ска-

жу вам правду, по-человечески, пускай сегодня еще тяжело, но уже миновала беда из бед, и скоро станет жить легче!»

— Добрый день! — крикнул издалека Августин и, споткнувшись о кротовую нору, неуклюже приблизился к часовому и поклонился.

— Добрый день... — Часовой смерил взглядом смешную фигуру Августина с ног до головы.

— А я вот, как говорится, хотел спросить у тебя, нет ли закурить.

— Это можно. — Солдат вынул из кармана растерзанную пачку махорки. — Закуривайте.

— Гм... — произнес Августин, закручивая махорочную крупу в обрывок газеты, — раз ты угостил меня, и я в долгу не останусь.

Он вытащил из-за пазухи кисет, расшнуровал его и запустил внутрь корявые пальцы. Желтый самосад засветился между черными кончиками пальцев, как уголек.

Солдат насторожился.

— А чего же вы мудрите — табачку просите?

— Да я хотел, как говорится, потолковать с тобой. Ты должен лучше знать, когда Гитлеру капут будет и как мы будем жить после войны... А из такой пукалки я стрелял еще в пятнадцатом году. — Августин нагнулся, приглядываясь к пузатому «максиму».

Солдату, видно, показался подозрительным этот разговорчивый мужичок, он положил в нагрудный карман горсточку желтого табака и, ступив на шаг ближе к Августину, сказал, кивая на дверь читальни:

— А ну, пройдем-ка со мной к начальнику.

— Ну, раз ты такой, — криво улыбнулся Августин, — то скажу тебе «с богом» и найду среди твоих же вон там, возле сельсовета, кого-нибудь более охочего до разговора.

Теперь мужичок стал еще более подозрителен часовому, и он проговорил уже решительнее:

— Идем, идем!

В эту минуту на пороге читальни показался молодой лейтенант, сошел по ступенькам вниз:

— Что случилось?

Августин узнал своего квартиранта, улыбнулся

ему сквозь слезы. Лейтенант, бросив взгляд на часового, сказал Августину:

— Идите, дядя, домой. Тут пост, нельзя. Я скоро приду, тогда и побеседуем.

— Да я только поговорить хотел... Эх... — махнул Августин рукой и побрел снова в кооператив.

Продавец давал в долг, и после третьей рюмки Августин разговорился:

— Я к нему с добрым словом, а он...

Продавец оперся локтями о прилавок, нагнулся к Августину:

— А откуда часовой знает, кто вы?.. Я бы вам посоветовал — шли бы вы лучше домой и не болтали лишнего. Выпили немножко — да и на печь.

Неуютно стало на душе у Августина, ведь Копач это не Копач, ежели и поговорить не с кем. И он поплелся домой, обходя людей.

Из хаты вышла Копачева... (Нет, Копачева на такую роль не годится.) Из хаты вышла... ну, Явдоха.

— Ой, милая Явдошка, ты у меня одна такая, что выслушаешь и горесть и обиду...

Но у Явдохи напряглись на шее сухожилия.

— Где был, старый, чьи деньги пропиваешь?

— Я к нему так ласково, а он, вижу, не верит... Ты вот скажи мне, сделал ли я кому-нибудь хоть столичко плохого, как грязи под ногтем?

— Чьи деньги пропиваешь, спрашиваю! — подскочила Явдоха. — Потрепаться захотелось!

Августин стоял посреди двора поникший — боже мой, да неужели все напрочь забыли, что есть на свете праздник Ивана Купалы, когда костры жгут, чтобы набраться на целый год тепла, венки плетут, цветы папоротника ищут? Или это все умерло за эту войну, и никому не хочется не то что сказать — услышать доброе слово?

Явдоха заперла двери — ночуй, мол, возле пса, пьяница, либо иди, откуда пришел. И Августин поплелся к собачьей будке. Пес настороженно поглядывал на хозяина и не вылезал.

— Буржо, дай хоть ты лапу... Слышь, дай лапу.

Пес свернулся клубком и повернулся в будке хвостом к Августину.

И тут старика взорвало. Он пнул пса ногой, тот

взвизгнул и выскочил из будки, Августин бил его по спине палкой, и только когда Бурко уже еле скулил, Августин опомнился, отшвырнул палку в сторону и заплакал. Упал на колени, обнял пса и так, сидя, и заснул возле него.

В это время сын человека, которого мог бы вот так сыграть Копач,— тощий, в полотняных штанах паренек, тот самый, что в раннем детстве видел смерть последнего опрышка, тот, которого в сентябре тридцать девятого привел за руку в Первую городскую гимназию старый отец, который потом девять раз содрогнулся, когда расстреливали баудинстов, а вскоре сам очутился на грани смерти в подвале керамической школы,— пригнал корову с пастбища, неся в руке лукошко, полное земляники. Возле ворот, увидев офицера, остановился, сказал:

— Товарищ лейтенант! Идите сюда быстрее, видите, что я вам принес?

Начальник гарнизона взъерошил пареньку шевелюру.

— Чем же я могу отблагодарить тебя за твои вкусные подарки?

— Дайте разок выстрелить из вашего револьвера...

ПЕСНЯ ГАЛИ

Все это было в фильме, но не так. Нестор смотрел на Августина, который аппетитно закусывал вареником и вполголоса доказывал Копачевой, что из пустого человека ничего не выйдет, хотя бы он даже и родился в Вене, ведь пустое, как говорится, ни для работы, ни для еды, ни для уважения, а о рюмке — уже нечего и говорить, потому что за рюмкой каждый себя покажет, кто он: человек или свинья, а мудрый человек будет мудрым, даже если он торговал скотиной в Пацикове... Нестор слушал и с горечью сознавал, что та сцена вышла все-таки бледной.

А может, и нет... Но что-то вдруг случилось с Нестором. Он только что думал о том, что стал счастливым как никогда прежде, и это было правдой, ибо успех фильма в Городе принес ему большую радость: рукоплескания в зале были для него словно похвала матери. Такой похвалы, искренней, как материнская

любовь, он еще не знал. Да... Однако за этим ощущением счастья было не только удовлетворение сделанным, но и страх, что он уже не сможет создать лучшего фильма. Но сейчас вдруг все эти переживания, которые было сковали его, как гипс скульптурную модель, разом спали, обкрошились, и он снова стал тем податливым материалом, который можно бесконечно совершенствовать.

Нет, это еще не конец его работы. Это только доброе начало. Ткаченко прав: Галя... Вадим Иванович... Копач... Перцова... Новый Город, которому удивился, очутившись в сквере... И два шахматиста в поезде, их он тоже не знает... Глаза Нестора, перебегая с лица на лицо, остановились на Косте, и какая-то мысль, как зарница летней ночью, засветилась в его сознании. Он услышал, как Галя произнесла: «Где вы сейчас, Нестор?», однако не отозвался, хотя каждое ее слово было для него дорого. Боясь потерять эту еще не оформившуюся мысль, он не отрывал глаз от Костя и вдруг спросил:

— Почему у вас сегодня порвались струны на банджо?

Кость положил вилку, тяжелым взглядом посмотрел на «милостивого государя» и пропел:

Порвались струны в мой гитарі,
Гей, наливайте повні чари...

В эту минуту настежь раскрылись двери — шестеро актеров и актрис с шумом ворвались в буфет, неся в поднятых руках шампанское.

— Эй, наливайте полные чары! — воскликнул молодой актер, который играл главную роль, а после демонстрации фильма выступал со своими экспромтами. — Наливайте, потому что нашему деспоту сегодня сорок!

— Сногшибательно! — взвизгнула Перцова и вскочила с места. — И ничего мне не сказал! Неблагодарный...

Копачева всхлипнула:

— Ну, почему, почему такие люди тоже должны сареть...

— Не жалейте его, — успокоил Копачеву молодой

актер. — Сорок лет — это самый буйный период молодости.

— Зато — последний в молодости, — бросил Нестор.

— Все в мире относительно, Нестор, все относительно. Если спросить о вашем возрасте уважаемого Стефурака, то он назовет вас ребенком, если же спросить о том же ребенка, то он может назвать вас дедушкой. Если снимать сверху телевизионную башню, то на экране она покажется комнатной антенной, если же снимать снизу пакгауз, то он покажется небоскребом... За ваше здоровье, юбиляр!

— О,— поднял руку Нестор,— слава богу, ты кончил витийствовать, но хорошенько поразмысли и сам над этим. Мудро сказано. Разве мы все иногда не стремимся, чтоб нас фотографировали в фальшивых ракурсах? И разве не принижаем мы иной раз то, что создали другие, и не завываем иногда оценки своего «я»?

Его слова обрушились на всех неожиданно, как слепой дождь на разморенных солнцем пляжников, и все встрепенулись и замолчали, один только Августин Копач, который всегда был самым собою, никогда не лицедействовал и по самой своей природе не знал, что такое поза, продолжал давно начатый рассказ:

— ...Прибежал он ко мне и кричит в лицо: «Твой пес разорвал моего кота!» «А я при чем? — отвечаю ему.— Я же пса не подговаривал, или, может, как говорится, у меня собачий ум?..»

Августин замолчал, потому что стало слишком тихо, и он сам не поверил, что его могут так внимательно слушать после которой уже чарки.

А потом откуда-то, как нежный побег, проросла песня, печальная, как ветка плакучей ивы:

Чому-сь не прийшов, як місяць зійшов,
Як я тобі казала...

И только через какое-то мгновение присутствующие поняли, что поет Галя, склонившись на плечо старого Стефурака.

...Почему ты не пришел?.. Я давно тебя ждала и ждалась. Ты мне всегда снился, хотя я никогда тебя не видела, и был ты не таким — совсем другим. Твое

лицо я узнавала каждый раз, но только во сне, наяву вспомнить не могла. Знала я про тебя от папы Стефурака. Он часто рассказывал о пареньке, влюбленном в артистку Завадовскую, а ты думал, что это твоя тайна? Наивный, ведь знаешь, что в нашем Городе не существует тайн... Знала об этом и Завадовская. Ты был еще ребенком, а она любила только одного и с ним пошла на смерть. Но пожалела и тебя: чтобы не причинить тебе неизбывной боли, дала Городу меня, так похожую на нее,— чтобы ты мог отыскать. Я училась в той же самой школе, что и ты,— ее построили через десять лет после пожаров,— и как ты мог так надолго забыть отчий порог своей *almae matris*, что не наведаясь ни разу?..

...Почему я не наведаясь ни разу?.. Я долго не хотел возвращаться туда, где было распято, растерзано, растоптано мое детство. Так жутко было в Городе: черные пятна высохшей крови на рынке, трупный смрад, которым тянуло из Шипитского леса, и пустота, когда исчезла из Города твоя мать. А потом моя детская беззаботность прикончена была навсегда в фашистской тюрьме. Потом умер отец. Умер именно тогда, когда надо было жить. Он так хотел увидеть эту новую послевоенную жизнь: как расспрашивал о ней тогда, на Ивана Купалу! Но слишком много бед выпало на его долю — износился до времени. А мать, которая из-за нужды и забот никогда не сказала отцу ласкового слова, стала совсем беспомощной без него и угасла, — я учился тогда в десятом классе. Пришел домой, а она сказала: «Учись теперь один...» Вот я и ушел, чтобы больше не возвращаться сюда, в Город, принесший мне столько бед. И исполнил ее наказ — о, как я учился! Чтобы только найти себя и заполнить пустоту на месте проклятого мною самим детства. Я еще не знал тогда, что это детство все время будет жить во мне и когда-нибудь больно во мне заговорит. Я хватался за все, что попадало на глаза, часто фальшь принимал за золото чистой правды, заблуждался, находил, терял, и когда пришел к старой-престарой истине — простоте, детство, тяжелое, но правдивое, заговорило во мне, и тогда я понял, что с него, именно с него, начался я. Оно вернулось ко мне живым цельным образом, я ле-

леял его в душе, в мыслях, в воображении — пока не создал вот этот фильм. Почему же я не приехал, чтобы сверить с жизнью истинность этого образа? Боялся разрушить его. А теперь вижу, что он так же далек от подлинной жизни, как и я — от своего детства...

...Потом я училась в политехническом и уже знала, что режиссер Нестор — это ты; твое лицо я увидела на экране и в журнале, но снился ты мне и после этого тем, прежним, и я ждала тебя. Я закончила учебу, начала работать на нашем заводе в Городе и верила, что ты не забудешь отчий порог. Мы строили, творили, сами росли, но ты не менялся в моем воображении, а в твоей памяти, наверное, не менялся наш старый Город. Об этом ты сам сказал своим сегодняшним фильмом. Но хорошо, что ты вернулся, теперь ты увидишь нас по-настоящему, ты захочешь увидеть нас, правда? Ты пришел уже сейдой, и я давно стала взрослой...

...Это не ты говоришь, Галя, это я, размечтавшись, так думаю. У тебя была своя жизнь, она успела уже оставить след в твоих глазах, но я ее не знаю. Может, ты и слышала обо мне, может, и хотела встретить, но ведь вернулась в Город не ради меня. Верно, ради Стефурака и Вадима Ивановича? А потом, мы еще и сами не знаем: почему все возвращаемся к своему порогу. Но возвращаемся, и это хорошо, ибо так должно быть. Вернулся Кость, и ты, и я... И вот тот пышночубый мужчина тоже вернулся доиграть свою шахматную партию... Пой, пой, Галя.

Чому-сь не прийшов, як місяць зійшов,
Як я тобі казала?
Чи коня не мав, дороги не знав,
Чи тя мати не пускала?

Мелодия была гибкой и грустной, как ветка плакучей ивы, Нестор знал эту песню с раннего детства от своей матери, он радовался, что ее поет для него Галя, потому что всю жизнь ждал, чтобы этой песней упрекнула его когда-нибудь самая красивая на свете девушка. И хотя сознавал, что, вероятно, не ему адресуется ее дочь дочери Сотника, ответил песней:

Та я коня мав і дорогу знав,
Мати мені не спирала,
Найменша сестра, бодай не зросла,
Сіделечко сховала...

...Да, спрятала седло и подпруги, и я гонялся за неоседланным конем. Младшая сестра... Слава. Я долго добивался от нее, чтобы отдала мне седло, а она — неумолимая и жестокая — сделала это только тогда, когда я сам обуздал неоседланного скакуна. Поэтому я и опоздал. И, вернувшись, увидел, что не слава моя нужна, а труд, и я должен слиться с людьми, чтобы своей жизнью дополнить их жизни.

Гей, приїхав я до миленької
Та й став побіля двору;
Ой, вийди, вийди, мое серденько,
Най з тобою поговорю.

...Ты ничего обо мне не знал, ты тосковал по моей матери, не ведая о том, что она вместо себя послала к тебе меня, и я — посланница твоей любимой, ее продолжение, — должна узнать обо всех подробностях твоей жизни. Вот, например, я знаю, что ты когда-то отказался от своей первой роли, только бы не обидеть товарища.

...Ты этого не могла знать, Галя, хотя мне и хотелось бы, чтобы знала. Должно быть, уже тогда я понимал, что такое чистые руки. Я учился в Киеве, в театральном. Однажды ребята, товарищи по общежитию, разбудили меня утром:

— Вставай, кинозвезда! Тебя хочет послушать Сам.

— Это правда? Неужели я в сорочке родился?

Я вскочил, собрался и к девяти уже был у Самого.

— Вот вам текст роли, — сказал Сам, — посмотрите. И не дома, — остановил он меня, — садитесь вот сюда, и сейчас мы вас слушаем.

Я углубился в чтение и сразу «поймал бога за бороду», я тут же понял, как надо делать роль, и благодарил судьбу, что из десятков моих собратьев она избрала именно меня — мне тогда было всего двадцать четыре года.

Потом я заметил, что в кабинете Самого, в углу, сидит еще и третий. Это был честный и трудолюбивый

неудачник, старше меня, которого мы называли Невезучим. Я понял, что отбираю у него роль. Нет, не только роль — отбираю у него последнюю надежду стать артистом. «И правильно сделаю, — с беспощадностью сильнейшего решил я, — сделаю этим для него только добро: он сейчас поймет, что пошел не по той дороге, и успеет еще выбрать себе другую, свою». Я встал, чтобы прочесть роль Самому, а Невезучий смотрел на меня не с укором, а с тоской по зря потраченным годам, по таланту, которого не удалось в себе пробудить, по умершей надежде... А сыграть надо было именно человека, который не может высечь из себя огонь, хотя и есть он, этот огонь, в нем; это была роль неудачника, а Невезучий не мог ее сыграть. Я вышел на середину кабинета и в эту минуту ощутил боль от сознания того, что сейчас произойдет. Не на экране, не где-то там, перед зрителями, будет убит нераскрывшийся талант, а здесь, в кабинете Самого, и это сделаю я. И я вспомнил слова Страуса о чистых руках и ругань лейтенанта Скоробогатого; я подошел и остановился не перед Самим, а перед Невезучим и прочитал роль. Когда я кончил, Сам встал, хлопнул ладонями и этим хлопком решил судьбы — мою и моего коллеги. Я подошел к Невезучему, унылому и обреченному, и сказал:

— Неужели вы не знаете, как делать эту роль? Ведь знаете — и лучше меня.

Я отдал ему рукопись и вышел... И Невезучий сыграл. Он блестяще сыграл самого себя и поверил в свои силы. Этого актера ты знаешь, Галя. Его тут нет, но в сегодняшнем фильме он играл роль Цыгана, которого грабят Миндик и Штибель...

...И поэтому ты так поздно пришел ко мне... или не поздно?

Ой, рада би я, ти мій миленький,
Із тобою говорити,
Та вчула ненька, вчула рідненька,
Не хоче м'я пустити...

...Это правда. Не отпустит она и меня. Я в тебе всегда видел бы ее. Разве согласилась бы ты стать чьей-то тенью?

...Не знаю, Нестор, может, я слишком растрогалась сегодня. Такой вечер... Я увлеклась тобою, а вспомнила свое, и мне стало больно.

...Ты прекрасна, и я счастлив, что ты есть на свете. Что ты в моем Городе. Что в тебе — твоя мать. Что ничего не проходит бесследно. Благодарю тебя за твою песню, Галя...

Они смотрели друг другу в глаза, а старый Стефурак все время морщил лоб, должно быть, пытался что-то вспомнить, и тянулся через стол к Нестору.

— Как они спелись, что за пара!.. — снова вытерла глаза сентиментальная Копачева.

— Это еще неизвестно, как они спелись, — ответила Перцовичева. — Это будет видно потом.

Стефурак наконец нашел повод заговорить с Нестором. Нестор видел, как он тянется к нему, и опередил старика:

— Вам хочется знать, был ли я среди тех сорвиголов, кричавших: «Бейте его, это он играл Гриця!» Был, маэстро...

— Э-э, нет, я знал, что ты там должен быть... Я о другом... Почему ты не вспомнил в фильме о Гарматии? Неужели забыл: заложники, керамическое училище и его трагическая песня?..

— Разве можно забыть о таком, Иван Бонифатьевич? Но Гарматий... Он заслуживает отдельного фильма или только мучительной памяти.

СОЛЬНЫЕ НОМЕРА

— А помните, — Копачева тронула за локоть Стефурака: ее, растроганную дуэтом Нестора и Гали, потянуло на воспоминания, — помните, как это было в «Невольнике», когда вы играли слепого кобзаря? Неужели не помните? Ну, когда вы забыли слова песни и давай что-то там мурлыкать, а хористы стоят за кулисами и все ждут, когда вы начнете. Потом догадались, в чем дело, и запели одни. А в антракте вы как начали, как начали кричать — то на реквизитора, то на Августина: «Бандура же не настроена! Почему мне ее не настроили?» А эта бандура вовсе без струн...

— Было, было... — покачал головой Стефурак.

— Что было, то было, — заговорил Августин: он слегка подвыпил и был вполне равнодушен к тому, слушают его или нет и вяжется ли его рассказ с тем, что говорят другие. — Бывало, идет по середине Города паровичок, фыркает из топки черным дымом, ползет на Парище, как та черепаха, а по улице идут бабы с базара Машинист и кричит: «Садитесь, бабоньки, подвезу!» — «Э, разве что в другой раз, — отвечают бабы, — сегодня мы торопимся». А теперь уже паровичка нет — автобус ходит. И ничего...

— Ничего? — сказал Нестор. — А поставь вам сейчас паровичок вместо автобуса... Я и говорю: мы не всегда умеем справедливо оценить то, что у нас есть.

— Э, да я ведь о другом. Автобус ходит, как говорится, быстрее, да смеху нет. А я, скажу вам по правде, люблю посмеяться. Даже над смертью. Все вы знаете, что я — театральный человек, а мой сосед знает, что я еще и столяр. И вот приходит он ко мне и говорит: «Мастер, сделайте мне гроб, чтобы у моих не было из-за меня хлопот, когда умру!» — «Еще и себе-то не сделал, — отвечаю, — а я на два года старше вас». А он как ляпнет: «Видите, какой вы сосед, не лучше вашего пса, который у меня кота задушил».

В зале брызнул смех, только Перцова не смеялась, она и не слушала болтовни Августина. Снова думала о том же самом, вообще за эти два дня она передумала немало. Да... Этот Нестор, который сидит с трубкой в зубах, такой уважаемый и сосредоточенный, растревожил ее сонную жизнь своим приездом и своим фильмом, разбудил все то давнее, полузабытое и вроде бы никому не нужное... Перцова давно смирилась со всем: и с тем, что ни на кого уже не производит впечатления ее гимназический аттестат, и что никого больше не интересуют ее приятные воспоминания о визитах молодых священников и самого отца-профессора Баранкевича.

Покорная своей судьбе, она даже перстень прятала от чужих глаз и спокойно торговала пивом, но вот теперь все взвихрилось, все снова предстало перед глазами, и она должна все это по-новому оценить. Ведь что такое кокетничанье учеными словечками? Разве это мудрость? Слышали мы сегодня такую мудрость от

Миська Два Пальчика. Да, эта Копачева иногда злая как оса, но в этот раз, извините, у нее таки было основание. А что такое перстень? Перцова снова вспомнила, как он достался, и ей вдруг стало стыдно перед самой собой и перед этими людьми. Она заложила руки за спину и, закусив от боли губу, стащила перстень с пальца. Слава богу!.. Пусть пропадет он пропадом, думала она, засовывая его в карман фартука, и тут же промелькнула другая, скорбная мысль, что никто никогда не видел у нее на руке обычного обручального кольца... Ну, а что такое аттестат и этажерка с книгами? Они еще не свидетельствуют об уме их хозяйки, и что такое роман с отцом-профессором Баранкевичем? Разве кто-нибудь в молодости не грешил? А вот талант человека — это подлинная ценность, и если его у тебя немного, гордись тем, у кого его больше, — ведь настоящий талант принадлежит всем, не только одному человеку. Но гордись достойно, а не смотри на него телячьими глазами, как эта Копачева.

— Чего вы на него вытаращились, как на боженьку, — толкнула она локтем соседку.

— Потому что есть на кого, — отрезала Копачева.

«Что есть, то есть, — согласилась про себя Перцова. — Особенно если сравнить Нестора с этим кругленьким балбесом Миськом. Вот он снова вертится в кресле, небось не терпится поболтать».

— Если он сейчас начнет разводить турусы на колесах, я ему заткну рот вареником, — сказала Перцова.

— Вы что, сдурели? — шикнула Копачева. — Так он для того и приехал, чтобы что-нибудь нам рассказать.

— Да я не о Несторе... Вы, извините, сейчас похожи на неоперившуюся гимназистку, которая впервые увидела молодого преподавателя, и не латынь у нее в голове, а всякие глупости. Я о Миське...

Нестор поглядывал на Перцовичеву, слышал обрывки ее язвительных фраз в адрес Миська и думал: «Неужели она и впрямь изменилась? Или умеет приспособливаться? А что ее угощение — неужели искреннее? Должно быть, да... Только, милостивая государыня Анеля, вряд ли вы осознаете, что истинная хозяйка тут не вы — Галя. Молчаливая юная дочь героини

Гоголя. А вы, хотите этого или нет, все-таки — пережиток прошлого, который, возможно, и не вредит, но и не несет никакой активной жизненной функции. Впрочем, вы — колоритная фигура. На переломе эпох во все времена были такие трагикомические типы...»

А Мисько пил себе «сольно», и на душе его становилось все лучше и лучше... Ощущение своей ущербности по сравнению с Нестором, которое он хотел заглушить то красноречием, то сознанием близкой перспективы иметь собственную машину, сгладилось теперь выпитым. Мисько вспомнил, что кроме всех достоинств, которые у него есть, он еще и поэт, а Нестор не поэт. И он встал и объявил:

— В честь моего дорогого коллеги я прочитаю вам цикл своих лирических стихов!

Но артисты — то ли они не услышали, что конференсье объявил свой собственный номер, то ли с умыслом — начали скандировать:

— Со-ло на бан-джо! Со-ло на бан-джо!

Кость Американец отрицательно покачал головой, прикоснулся к банджо, но инструмента в руки не взял, и снова печаль тенью напозла на его сморщенное лицо. Нестор не сводил с него глаз и, когда шум стих, сам попросил:

— Сыграйте, Кость...

Но Американец и на этот раз не согласился.

Моментом затишья воспользовался Мисько. Он вскочил и, стоя на цыпочках, чтобы казаться выше, выбросил руку вперед, а взглядом мечтательно полетел в безграничность мирового пространства, и этому мечтательному полету не мешали ни шум гостей, ни плюшевые шторы на окнах:

Там, за рекою, запах сена
И маков алый цвет...
Я обнимал твои колени,
А ты сказала: «Нет».
Зачем промолвила ты «нет»,
К кому теперь пойдет поэт,
Печаль свою разделит с кем?
Ведь сердце извелось в тоске!
О, так, как я тебя любил,
Никто, никто на свете
Не сможет повторить тот пыл —
Ни средь зимы, ни летом!

— Так, может, весной или осенью все-таки кому-то удалось? — бросила Перцова.

Неизвестно, как реагировали бы на ее реплику гости, но в этот миг ворвался в буфет высокий мужчина с лицом патриция и захлопал в ладоши.

— Bravo, bravo! Я конфискую у вас это стихотворение и завтра же положу его на ноты. Оно не является, так сказать, образцом глубокомысленной поэзии, но ритмика его очень мелодична... Товарищи, имею честь представиться: композитор Паламарский!

— Я пишу так, чтобы понимал народ, — заявил обиженный Мисько.

Нестора передернуло. Он решил было про себя не вступать ни в какие дискуссии, однако не утерпел!

— Неужели ты думаешь, Мисько, что интеллект народа на уровне этого твоего стихотворения?

— Пардон, пардон! — взмахнул рукой Паламарский и схватил стоявший перед Миськом полный стакан. — Мы говорим, так сказать, о ритмомелодике стиха. Так я хочу поднять этот скромный тост за настоящую лирическую поэзию, за прекрасное искусство десятой музы и... — он галантно поклонился Перцовой, — и за вкуснейшие в мире украинские вареники!

— Виват, композитор! — воскликнул Августин Копач. — Выпьем за эти пироги, о которых поют: «Любил казак дивчину и с сыром...»

Перцова поклонилась Паламарскому и язвительно спросила:

— А эта песня тоже ваша?

— Что касается ее — то уж нет, — фыркнул Паламарский, — но минуточку внимания: я хочу пропеть уважаемым гостям мелодию моей новой песни. Минуточку... До-ми-ля-соль... Гм...

Колись весна така була,
черемха цвіла,
Кущами квітів слалася на нас...

Перцова встала и, заломив руки, пропела вторую половину куплета:

Від любощів і пахощів
душа п'яніла,
Як в казці був такий
чудовий час...

— Это, так сказать,— смутился Паламарский,— моя обработка, я добываю из глубин веков жемчужины народных мелодий и выношу их на дневной свет...

— И ставите под ними свою фамилию, — добавила Перцова.

«Ну и вьедливая же эта Перцова», — подумал Нестор. Он чуть не засмеялся, чем навсегда бы обидел Миська, который еще стоял в мечтательной позе, но в это время вдруг зазвучала песня.

Эта песня была о нем, Несторе, о его седине, прядью упавшей на глаза и напомнившей, что пора возвращаться домой, возвращаться и принести с собой то добро, что нашел на жизненных дорогах.

Нестор слушал, задумавшись: большая правда была в этих словах о далеких странствиях, которые каждого, кто честно их прошел, ведут в итоге к отцовскому порогу, и счастлив тот, кто в неизвестности жизненных странствий сумел сберечь самый драгоценный изначальный дар — любовь и тоску.

— Когда-то не так пели... — вздохнула Перцова. — Где-то наши романтические песни!.. Теперь уже другое поют... Но, скажу вам, извините, — снова повернулась к Копачевой, — не так уж и плохо!

Нестор встал. Его нахмуренное лицо просветлело. Под звуки этой песни в запутанном клубке мыслей высветилось главное: Копач, Перцова, Галя уже контурно очерчивались как персонажи нового фильма, и неразгаданным остался только один, может, главный — Кость Американец. И Нестор еще раз попросил Костя:

— Сыграйте ту песню, которая сорвалась у вас сегодня на сцене...

Кость не поднял головы. Тогда к нему подошла Галя.

— Почему вы терзаетесь, сосед? Ведь у вас все хорошо. Я забыла вам сказать... Только вы выбежали от Вадима Ивановича, оставив у него на столе чемодан со своим сокровищем, как он послал за мной в производственный отдел. Он ведь знает, что мы соседи. Когда я вошла, он сказал, покачивая головой: «Что за нетерпеливый народ эти галичане! Надо ведь подумать, вот... Надо подумать, куда его... Скажи, пусть зайдет ко мне на той неделе!» Слышите, Американец? Завтра в девять приходите. Пропуск на вас уже заготовлен. Возьмете в проходной. Успокойтесь. Сыграйте свое соло.

— И мне то же самое сказал директор, — поддакнул Нестор.

— Соло... — проговорил Кость, и глаза его заблестели. — А вы и не заметили, что я весь вечер наигрываю на своем банджо. Гм... Должно быть, слишком тихо играл...

Американец взял банджо в руки, ударил по струнам и рассыпал по комнате дробь живой коломыйки.

— Вы хорошенько смотрели? — нагнулась Перцова к Копачевой. — Он играл или нет?

— Так ведь сказал, что играет все время.

— Должно быть, мне уже нужны очки.

— И еще немножко слуха.

Кость пел, аккомпанируя на банджо:

Будь здорова, моя мила, бо я вже мандрую,
 Підступися до коника, най тя поцілую.
 Подай, мила, біле личко і праву рученьку,
 Та най я тя поцілую, бо йду в доріженьку.
 Ой місяцю-місяченьку, світи, не ховайся.
 Хоч поїдеш, мій миленький, борзо повертайся.

То ли прощальный мотив песни, то ли поздний час напомнил некоторым гостям, что пора расходиться: первым встал Ткаченко.

— Когда вы к своим пенатам, Нестор?

— Может, и сегодня.

— Ничего подобного! — тоскливо простонала Перцова. — Я ничего и знать не хочу о вашем глупом, простите, райзефибере¹. Не съедено, не выпито, так для кого же я...

— А за него управимся мы, нам не к спеху! — хором заявили артисты.

Мисько был более категоричен. Он сказал, что Нестор не уедет из Города до тех пор, пока Мисько не получит машину, а это будет не сегодня-завтра. Тогда они оба съезжают в столицу, и там Мисько сдаст экзамен на артиста.

— А дом на кого оставишь, Мисько, а свиней?

— Не волнуйся, Нестор, всем движимым и недвижимым имуществом ведает мама.

— Но ведь семья, Мисько, подумай, — забавлялся Нестор. — Неужели твоя жена, привыкшая к собственному дому, захочет жить в столичной тесноте?

¹ Лихорадка путешевий (нем.).



Мисько воровски посмотрел на Галю и, приложив лодочкой ладонь ко рту, прошептал, став на цыпочки:

— Volens nolens¹, сейчас я — вольная птица...

— А-а, ясно... Кость, — повернулся Нестор к Американцу, — проводите меня, будьте любезны.

Копачева всплакнула. Только Августин, самый рассудительный из всех, сказал:

— Кто должен ехать сегодня, пускай едет, потому что завтра, как говорится, может уже не уехать. Если бы я тогда, на второй день после лицитации, не забрал старуху в Город, то не было бы ничего из того,

¹ Хочешь не хочешь (лаг.).

что есть, и был бы нынче Августин Копач не театральным человеком, а обыкновенным босяком.

Нестор подошел к Гале.

— Не вернетесь... — проговорила она.

— Возвращусь... Должен возвратиться. А если сейчас не уеду, то завтра наведаюсь к Ивану Бонифатьевичу, — сказал Нестор, и снова ему показалось, что зеленые глаза Гали стали огромным кругом, озером, морем...

— Тогда приходите завтра в шесть в театр, у нас репетиция. Хорошо?

Перцова и Копачева издали наблюдали за ними.

— Какое это счастье, что он нашел ее, — вздохнула Копачева.

— Вы думаете, это ему впервой? — ответила Перцова.

— Э, не говорите, такой, как Галя, нигде нет.

— А верно, ведь нигде нет и такого Города, как наш.

— Слава богу, что хоть раз вы мне не возразили!

...В центре Города между двумя улицами, что разбегались вверх, беря свое начало от ратуши, пах медом треугольный сквер. Кость Американец привел сюда Нестора, они сели на скамейку, и только теперь Нестор узнал то, что ему очень нужно быть знать.

...Сестры уважали и опекали Костя, но с некоторого времени он стал замечать в глазах старшей жадную пылливость к его чемодану, и однажды она все-таки осмелилась спросить, что у него там, в этом самом тяжелом чемодане.

— Забудь о нем думать, — сказал с горечью Кость. — Это мое добро.

А несколько дней назад... Кость не знает, но должно быть, все это произошло так...

— Ну, зачем ему этот чемодан? — сказала старшая сестра.

— Не цепляйся, это ведь не твое. Все тебе мало, вечно тебе мало, спекулянтка! — не выдержала младшая. — Мы уже свое получили.

— Но на что деньги ему, старому грибу? Ведь у нас он ни в чем не нуждается.

— Да оставь ты его в покое, не возьмет он с собой в гроб этот чемодан.

— Да мы только посмотрим, что там.

— Я не буду. Смотри сама, если хочешь.

Старшая сестра взяла, наверное, топор, воткнула в щель чемодана лезвие, нажала, и скоба вместе с замочком выпрыгнула из гнездышка. Крышка отскочила, сестра посмотрела и, пристыженная, выскочила из комнаты.

Кость пришел домой поздно, слегка под хмельком: засиделся в буфете Перцовой на автобусной площадке. Он вошел в комнату и оторопел: выдвинутый на середину чемодан был открыт, а в нем нетронутыми лежали напильники, стамеска, лобзик, долота разных размеров, гаечные ключи и замусоленный комбинезон.

Он закрыл чемодан, обвязал его шнурком и вышел с ним из дому.

На другой день Кость отнес свое добро на завод, без стука вошел в директорский кабинет, поднял крышку чемодана и сказал:

— Я этими причиндалами зарабатывал в Америке доллары — как слуга. Думаете, у себя дома не смогу этим орудовать — как хозяин? — Не дожидаясь ответа, вышел и направился к знакомым расспросить, где можно снять квартиру...

— Вот и все мое «соло», милостивый государь, — закончил Кость свою исповедь. — А завтра начинается новая моя песня.

Нестор долго молчал, а когда на ратуше забили куранты, встал.

— Будьте здоровы, Кость. Желаю вам счастья.

— Благодарю. Даже не верится, что завтра засучу рукава. Как молодой! А вы все-таки сегодня едете?

— Не знаю...

Нестор пожал Костю руку и зашагал в гостиницу.

...В театральном буфете остались слегка погрустневшие друзья Нестора — так бывает в конце свадьбы, когда молодой уводит молодую: гости еще не расходятся, но и веселья уже нет.

Мисько Два Пальчика что-то нашептывал Паламарскому, украдкой поглядывая на присутствующих. Возле Гали сидел артист, игравший главную роль, и пытался развлечь ее своими экспромтами, она вежливо улыбалась, но мысленно уже возвращалась из нынешнего удивительного дня в свою привычную жизнь, которая была вчера и будет завтра; Стефурак дремал;

Августин Копач рассказывал о Вене и критиковал императора Франца-Иосифа, «потому, как тот, скажу вам по правде, меньше бывал в своей столице, чем простой мужик, торговавший скотом...». Копачева сидела грустная, как мать, проводившая сына в далекий путь. Глубоко вздохнув, она вдруг проговорила:

— Вы, Анеля, на сей раз молчите и не возражайте: от нас уехал гений.

Перцовичева, высокомерно посмотрев на Копачеву, сказала:

— Бесподобно! Гений! Гении рождаются где-нибудь, может, в Париже или в Коломые. А от нас уехал, извините, обыкновеннейший человек. И пусть едет. У каждого своя дорога, но каждая берет где-то свое начало... Это хорошо, ибо человек время от времени возвращается в те места, откуда отправился в странствия: напоминает сам себе, из какого теста слеплен. Но мы остались, дорогие мои гости, и добро не должно пропадать — мы обязаны все это вместе уничтожить...

УТРО

Город просыпается сразу. Как дремучая дубрава в мае после первого выстрела солнечного луча.

Такое сравнение каждый раз приходит на ум Августину Копачу, когда его будит рокот городского автобуса, отправляющегося со станции на Монаховку в шесть утра. Копач не раз сам удивлялся, почему это он, человек, проживший в Городе большую часть своей жизни, связывает такие несовместимые вещи: городской шум и щебет лесных птиц. Должно быть, единственно потому, что то и другое начинается с рассветом.

Только выедет автобус со станции и повернет вверх по Торговой к ратуше, спугивая тишину сонной улицы, как сразу же во всем Городе, от Монаховки до Заводской, поднимается шум: стучат двери, цокают каблучки по тротуарам, скрипят жалюзи, прогреваются моторы машин во дворах, потом на ратуше часы бьют шесть, и начинает все вертеться волчком.

И все же незачем, наверное, сравнивать одно с другим, потому что, как говорится, город — не село, а село — не город. Но разве же не так именно сорок лет

тому назад пробуждался дубовый лес в Залучье майским утром — вон там, за рекой, аж под первой цепью гор? Только-только выскользнет из-за горизонта скупой лучик солнца, как враз засвистит дрозд, будя сонное царство дубравы, зальются наперебой соловьи, их пение, безбожно фальшивя, подхватят скворцы, затем начинают продирать горла крикливые сойки, а дальше уже и не разберешь, кто что поет, только потом кукушка своим равномерным кукованьем, словно древние часы на ратуше, устанавливает в лесном гаме порядок и слаженный ритм.

Гей, гей!.. Может, звуки леса и города и разные, но начинаются они одновременно.

Копач просыпается вместе с автобусом. Сквозь сладкую дремоту мечтательно улыбается, и грезятся ему в это мгновение залучанские леса, в которых, наверное, и сейчас, как и сорок лет назад, так же пробуждаются птицы. Он слышит их щебет сквозь городской гул, но только развеется дремота — и смолкают лесные звуки, и исчезают очертания маленького села, разбросанного по холмам, да и слава богу, что исчезают, ибо зачем вспоминать то, чему нет возврата, и хорошо, что этого возврата нет: какая нужда Копачу — вахтеру городского театра, реквизитору, костюмеру, кассиру и привратнику, — какая нужда возвращаться в это далекое и уже нереальное для него село? А все-таки каждый раз, когда просыпается, что-то щемит в груди, что-то давящее подкатывает к горлу, ведь, как говорится, что в горшке закипит, тем и будет пахнуть.

Августин потягивается, чешет волосатую грудь, поправляет одеяло, сдвинувшееся с Каролины, которая еще спит, ибо некуда ей спешить, потом натягивает холстинные подштанники, к хлопковым так и не привык, завязывает тесемки, — сейчас он еще крестьянин, хотя сам об этом и не подозревает, но вот уже на нем брюки с кантом и полосатая рубашка, и галстук под накрахмаленным воротничком, и шляпа не прошлой моды, — вот теперь уже никто не узнал бы в нем бывшего залучанского столяра, теперь он настоящий, как говорится, человек из Города.

Каролина еще спит, а он уже позавтракал, уже собрался, уже выходит из дома, потому что, пока дей-

дет до театра, должен сделать свой ежедневный обход тех, кто встает еще раньше, чем он. Сначала завернуть в буфет Перцовичевой — не ради пива, а так, для «доброто утра», дальше — к Стефураку, которому каждый раз отчитывается обо всем, что произошло накануне в театре, хотя старый директор давно на пенсии, но все равно для Копача он и теперь единственный начальник, а уже потом — в театр.

Сегодня мог бы этого обхода и не делать, потому что вчера имел возможность наговориться со всеми вдоволь. но привычка — неизлечимая болезнь, кроме того, не терпится поделиться впечатлениями о вчерашнем вечере.

Августин выходит со двора и долго стоит на тротуаре, ждет, пока проедут машины. Сколько уже лет живет на этой Торговой, — до недавнего еще времени жил чуть ниже по улице в старой развалюхе, которую снесли, когда прокладывали автостраду, теперь — на втором этаже в новом доме, а привыкнуть к этому бешеному движению не может. Должно быть, этот тракт ведет во все города на свете, даже до самой Коломны! А как хорошо было в Залучье! Идешь себе посреди дороги, и никто тебя не заденет, фура и то объедет, даже если задним колесом в ров ее забросит, а тут — вечно берегись.

Чтобы кто-нибудь не подумал, что он — сельский недотепа. Копач наконец отваживается перейти дорогу: солидно делает несколько шагов по асфальту, но этой выдержки хватает у него только до половины шоссе, потом, не глядя ни налево, ни направо, бросается вперед, придерживая рукой шляпу. Где-то там — сбоку или позади — пронзительно скрипят тормоза, кто-то бранится, кто-то на той стороне улицы смеется, но это уже его не касается: залучанский мужик из первой половины двадцатого столетия существовал лишь одну секунду. По другой стороне улицы идет теперь именитый обитатель Города — Августин Гаврилович Копач...

И, как всегда, после этой метаморфозы, происходящей с ним каждое утро, вспоминается Копачу первое знакомство с теперь родным, а когда-то чужим и враждебным Городом. Ведь напротив, где сейчас автобусная станция и знаменитый буфет Анели Перцовой, шумел

когда-то базар, и он, Копач, стоял на нем однажды полдня с козой — униженный, растерянный.

На ратуше часы пробили семь. Августин поглядел в сторону буфета, видневшегося в конце автобусной площади; на двери висел замок.

«Отсыпается Перцова после вчерашнего, ведь засиделись-таки до полуночи», — улыбнулся Копач и направился вверх к Бляшному переулку, где жил Стефурак со своей приемной дочерью Галей.

Город дышал привычным размеренным ритмом. Стефурак, наверное, уже сидит за столиком, вода носом по исписанной бумаге: заканчивает свои мемуары. Сидит и, разумеется, ждет Копача, который вот-вот должен постучать в дверь.

Августин и на этот раз не слышал, как его ругает какой-то шофер, чуть не попавший из-за него в аварию, когда Копач на другой половине шоссе «превращался» из городского человека в залучанского мужика; не слышал, потому что опять вспоминалось ему то приключение, не будь которого он никогда не стал бы театральным человеком, а остался бы навеки обычным крестьянином.

Копач оставил свои воспоминания на Торговой, где-то там они смешались с рокотом, лязгом, скрежетом и угасли; в Бляшном переулке, тесном и глухом, было тихо, как в колодце. И Копач подумал, что такой квартал будто для Стефурака и создан — вот уже сколько лет старик пишет историю своей жизни, а это значит — историю Городского театра, который теперь называется народным, ибо играют в нем не профессионалы, а учителя, инженеры, рабочие, медики...

На Бляшном Копач совсем отвлекся от непрошенных воспоминаний, хотя они давно перестали быть горькими. Ведь все, что бесповоротно прошло, окутывается потом романтической дымкой, потому что происходило это в молодости, а еще — появляется гордость, что все претерпел достойно, без унижений. Теперь Августин жил уже нынешним днем, а конкретнее — сегодняшней репетицией «Маклены Грасы» Миколы Кулиша, с которой театр должен был выехать на гастроли во Львов.

Итак, есть о чем поговорить со Стефураком,

ГАЛЯ

Галя тихо возилась в своей комнате, собираясь на работу. Погожее утро новой недели уже мобилизовало ее, сняло праздничную расслабленность, охватившую ее вчера и выбившую из привычного рабочего ритма. Сегодняшнее утро было чистым и суровым, как чувство долга.

А в памяти, в мыслях с ней был Нестор. Он упрямо стоял перед глазами, но Галя заставляла себя отдалиться от него и трезво разобраться в себе самой: правда ли, что к ней, в ее двадцать девять лет, пришла любовь или это только минутное впечатление.

Уже не ждала никого, и никто ей не был нужен. Объявление в газете о премьере фильма с участием известного режиссера восприняла спокойно. Заинтриговали только слова Стефурака.

— Нестор? Да неужели! — произнес старик, отложив газету. — Это же он учился в нашем Городе... Галя, ты и не знаешь, Нестор еще подростком был влюблен в твою маму. Да, да! И в каком месте я об этом узнал — в тюрьме!..

— Во время оккупации?! — удивилась Галя. — А что же вы ничего об этом не говорили?..

— А-а, было такое... Ну, мы с ним вспомним свое!

Теперь уже Галя ждала премьеры. Какой же он — этот Нестор? Влюбленный в маму...

Потом, когда смотрела на него — молчаливого седоватого мужчину с внимательными глазами, — не могла себе представить его подростком, которого преждевременно сразила любовь. Вызывала в воображении маму и юношу-гимназиста, замиравшего при встречах на улице с красавицей артисткой. И было почему-то горько. То ли за маму, забравшую с собой навсегда его большое чувство, ведь он до сих пор одинок, то ли за Нестора, который отдал его артистке Завадовской и, может быть, никогда не сможет подарить такой любви другой женщине.

Спрашивала себя: хотела ли бы она его любви? Но нелегко было ответить даже самой себе, тем более что ничего и никого уже не ждала. Однако этот его взгляд, когда стояли вдвоем в фойе, и песня, которую он ей пел с такой знакомой тоской, растревожили ее, и избавиться от этой тревоги она уже была не в силах.

Нет, не стоит мучить себя, может, он уже уехал и, наверное, больше не вернется... Только заснувшую боль растревожил.

Готовила завтрак и пыталась думать о Несторе-режиссере. О нем и о Стефураке. Об учителе и ученике. О преемственности и новых человеческих качествах, которые не наследуются, а рождаются как результат опыта многих поколений. О работнике и изобретателе, о материале и творении. Четко обозначалась взаимосвязанность между этими людьми, знакомство которых началось в тюрьме.

Галя возилась тихо, хотя знала, что Стефурак давно уже не спит. Закутавшись в плед, сидит, наверное, за столиком и водит пальцем по мелко исписанной бумаге, в который уже раз перечитывая и правя свои записи. Простодушный старик надеется, что его мемуары опубликуют — пусть хотя бы после смерти. Галя читала кое-что из его толстой рукописи и снисходительно относится к его мечте. Жизнь Стефурака была намного интереснее, чем эти записи. Определенно. Жизнь каждого человека — это целая эпопея, но для нового поколения интересным в ней будет только то, что звучно новому мышлению. Сумел ли Стефурак это интересное передать на бумаге? К сожалению... Его воспоминания разве только у одного Августина Копача могут вызвать сопереживание, потому что он был свидетелем каждого события, свидетелем времени, когда эти события были не корявым словом, а живой страстью, гневом или смехом.

Зато жизнь Стефурака значила много для Нестора. И записи старика могли бы послужить режиссеру как материал, из которого он взял бы пусть хоть несколько мазков для своего нового произведения, взволновавшего бы не одного только Копача, а тысячи людей, которые могли бы сказать: «Это обо мне, о моем друге, любимой, о любви и ненависти моего современника».

Галя пыталась думать о Несторе спокойно, холодно, а он упрямо приближался к ней, словно молил, чтобы открылась ему: «Ведь материал для произведения — это не чьи-то записи, а живые люди, и я хотел бы знать о тебе, Галя, все не только как художник, но и как человек, мне нужно знать причину той боли, что легла тенью глубоко в твоих глазах...»

ПЕРВОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

В ранней юности я жаждала быть красивой, Нестор. Все девушки лелеют такую мечту. Только у меня эти стремления проявлялись несколько иначе, чем у моих подруг. Я не любовалась собою перед зеркалом, не допытывалась у старших, хороша ли. Возможно, если бы жива была мама, я бы доискалась правды наипростейшим способом, но ее не было, — знала только, что мама была красавицей, и мне тоже хотелось ощутить, в чем заключается смысл красоты. И когда я находила в окружающей жизни прекрасное, то задумывалась: а есть ли нечто похожее во мне? Ну вот: волна тумана ранним утром над рекой — эта легкость, задумчивость и чистота, — есть ли они во мне? Стремительный полет самолета в вечернем небе, — способна ли я на такую порывистость, целеустремленность? Вспышка молнии и внезапный гром, — могу ли я быть решительной и сильной? Яблоня в шуме весеннего цветенья, — я хотела быть такой же роскошной; ажурность стила древнего собора, — пусть судьба мне подарит такую грацию и стройность; поле молодого клевера в седых каплях росы, — таков ли цвет моих глаз; гроздь инея на деревьях, — такой мечтала стоять в свадебном наряде под венцом; осенняя тишина в загородном парке, — и мне хотелось быть ласковой и доброй...

Это трудно передать, как я ощущала окружающую красоту и как доискивалась ее в самой себе. Я всегда была недовольна собой, ибо, казалось, ничего этого во мне нет, но однажды услышала то, что жаждет услышать каждая девушка: «Ты красивая».

Было это мне сказано не в головокружительном вальсе, не в новогоднюю ночь за бокалом шампанского, не на свадьбе, когда я была подружкой невесты, а в очень прозаической обстановке — на вокзале, среди узлов, в нудном ожидании поезда, ночью.

Я ехала домой после окончания первого курса, из-за экзаменов некогда было заранее заpastись билетом, а на вокзале застала такую сутолоку, что про отъезд первым поездом нечего было и думать. Я должна была ждать следующего поезда, отходившего после полуночи, а потом почти полсуток трясущегося кружным путем, кланяясь каждому столбу.

Сидела возле кассы на чемодане — усталая, с пере-



сохшими от жажды губами, одурманенная специфическим вокзальным запахом. Думала я только о том, что буфеты уже позакрывались, а мне так хотелось пить, и вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Покосилась в сторону. Вторым или третьим за мной в очереди сидел на набитом рюкзаке мужчина лет под тридцать, с рыжей шкиперской бородкой, сероглазый. Он попивал из бутылки пиво и не отрываясь смотрел на меня. Поймав мой взгляд, отнял от губ бутылку, вытер ладонью горлышко и, подавая мне, сказал просто и как-то буднично:

— А ведь ты красивая!

Я была шокирована: все-таки существуют какие-то приличия...

Но возмущения хорошо воспитанной девушки из Города хватило только на мгновение, даже долю мгновения. Вместо этого меня охватила радость; кто-то и во мне, как я — в волнах тумана, в росистом клевере, в осенней ласковости леса, — увидел красоту, свое представление о ней. Так, значит, я красива!

Я взяла бутылку, жадно выпила несколько глотков и сдержанно спросила, будто речь шла о ком-то другом:

— Почему?

— Разве я знаю? — пожал плечом незнакомец. — Красивая, да и все. — И он наивно-радостно улыбнулся.

И правда, что за вопрос... Разве я могла бы объяснить, в чем красота тех предметов или явлений, которую ощущала я.

Но тут же радость во мне погасла. А чем, собственно, его слова отличаются от банальностей во время танца или на улице?

Я почувствовала, как мои губы уже складываются в постную мину. Но мне очень хотелось пить, и я снова наклонила бутылку, чтобы утолить жажду, однако успела сделать только глоток. Он протянул руку, забрал бутылку.

— А это уже не годится, тут еще есть жаждушие.

Мне стало неловко, потому что только теперь увидела двух парней, тоже сидевших на набитых рюкзаках, попросила извинения, но он лишь махнул рукой — мелочи, мол, и, глядя на меня усталыми серыми глазами, повторил:

— Правда, ты очень красива.

— Слава богу, — вздохнула я и почувствовала вдруг, что от моей неуверенности не осталось и следа. Это не было банальной фразой. Все у него вышло как-то просто и искренне: и то, что пожалел меня, дав напиток, и то, что отобрал бутылку для товарищей, и то, как он непосредственно высказывал свое впечатление обо мне.

Мне стало хорошо. А ведь не раз случалось, что в

обществе парня было мучительно трудно, приходилось выдумывать любую чепуху для поддержания разговора, иначе хоть беги. Сколько раз возникало желание вот так просто взять и убежать — от пустоты, вынужденности, натянутости. Я вспомнила, как мне трудно было вести себя в компании молодых нарочито солидных людей, собиравшихся иногда у папы Стефурака. Велись степенные, важные разговоры, нужно было заранее продумывать каждую фразу, чтобы вовремя ее вставить и чтобы она хорошо пришлась к месту... А как иногда хотелось — только воспитание не позволяло — громко посмеяться над патетичным признанием какого-нибудь настойчивого поклонника!

Теперь было даже странно: почему меня не раздражает поведение этого человека, почему мне приятно его восхищение, почему поверила ему? И почему, в конце концов, я не боюсь, что вдруг оборвется разговор и проскользнет между нами полоса отчужденности?

Мне стало уютно — от этих нескольких слов, от его открытого взгляда. Так уютно бывает, наверное, ребенку возле матери. Прежде я такого не знала. Доверчивый покой охватил меня впервые.

Я с благодарностью смотрела в его добрые глаза, мы долго сидели, не перекинувшись и словом, но молчание меня не угнетало. Я не смутилась, когда он встал, высокий и крепкий, провел ладонью по русой щеточке волос, переступил через узлы и присел с краешку на мой чемодан.

— Я в Долину, а ты — дальше?

— В Город.

— Жаль, потому что нам только в Долину... Мы нефтяники. Прилетели вот из Туркмении, возвращаемся в свой штаб.

Я нигде не бывала, кроме Львова, и мне это «из Туркмении», выговоренное так, словно они возвращаются от соседа, у которого гостили, показалось невероятным.

— Откуда, откуда?

— Из Небит-Дага. А это мои коллеги по работе, — кивнул он на ребят, дремавших, прижавшись плечами друг к другу.

— Вы часто так?

— Все время. С места на место, с места на место.

— Всегда в дороге... — проговорила я не то с сочувствием, не то с завистью.

А потом, незаметно для себя, унеслась с ним в далекие края. Время, недавно тянувшееся страшно медленно, заспешило поездами, самолетами, и была я уже не тут, на вокзале, а в каракумских песках, сыпучих и горячих, по которым, гордо подняв головы, бредут верблюды; проходила мимо саманных аулов, древних мавзолеев, стерегущих в безлюдных степях вечность кочевников; стояла на горячем такыре, как на раскаленной плите; видела, как, опаленные нестерпимой жарой, вгрызаются нефтяники в глубь земли... Дрожала от ночного холода, внезапно упавшего над Каспием, как только вонзился в песок расплавленный шар солнца, чувствовала глухое одиночество человека, которому в пустыне живой мир кажется нереальным... Я ходила в далекие рейсы с инженером Андрием, уже несколько лет ищущим какой-то особенно ценный новый сорт нефти.

Смотрела на него и видела, как он идет по земле, гонимый жаждой познания, идет трудно и с тоской всматривается: где бы найти ему пристанище, куда он мог бы каждый раз вернуться из путешествия, когда допечет его глухое одиночество и нереальным покажется живой мир...

Люди задвигались, окошечко кассы открылось, и мы вернулись из далекого странствия. Мне интересно было в обществе инженера Андрия. Нет, я в него еще не была влюблена, но мне с ним было хорошо, легко, и если бы он предложил сойти с ним в Долине...

В поезде мы стояли у окна, разговаривали. Андрий забыл меня познакомить со своими товарищами, да и ребята не изъявляли такого желания: усталые, они залезли на полки и заснули. Правда, я заметила, что один из них поначалу все же посматривал на нас сквозь зажмуренные веки, но я не обращала на это внимания — рассказывала Андрию о себе.

На станции в Долине Андрий сказал:

— Я найду к тебе, когда буду в Городе.

На третий день после нашей встречи он пришел. Я еле узнала его. Это был не тот сдержанный человек, в глазах которого только изредка вспыхивала радость, когда он смотрел на меня, — растерянный паренек, бегущий за поездом, отчаянный смельчак, бросающийся в охваченный пожаром дом, — таким он стоял на моем пороге и, увидев меня, затих, обмяк, а затем проговорил, переводя дух:

— Галина... Я за эти два дня... Ну, словом, мне показалось, и как это могло прийти этакое в голову, что ты... что ты не тот адрес мне дала. Ведь девушки так иногда шутят, знакомясь с ребятами в пороге...

— Зачем мне было это делать? — спросила я и в эту минуту поняла, что ждала его, что в нем была вся красота моего мира, потому что для него я была прекрасна и необходима.

— Мы едем в экспедицию в горы, собирайся.

И я ушла с ним.

...Это было давно, Нестор. Боль уже угасла, и я вся отдалась работе. Но ты растревожил эту боль, заглянув в мои глаза так, как когда-то он. И мне на какое-то мгновение показалось, что это вернулся Андрий. Через семь лет...

МАЭСТРО СТЕФУРАК

Августин Копач встретился с Галей на лестнице, когда она сбегала вниз. При виде ее у него всегда хорошо становится на душе. Эту Галю любят все, а Копачи даже слишком, может, из-за того, что нет своих детей.

Августин взял Галю за подбородок, покачал головой: «Понимаю, ой, как понимаю тебя, бедняжка. Сколько ты пережила, а тут, может, новое. Нестор... Появился, как молния, и исчез. Тебе грустно, ведь он хороший человек. Но, как говорится, свет, дочка, велик, и кто знает, приедет ли он еще сюда когда-нибудь... Потому как жизнь такая суетливая, столько в ней неожиданностей и случаев подстерегают человека, что не всегда он может собою руководить. Ну, разве то, что ты родился, не случайность? А то, что женился

на той, а не на другой; а то, что стал врачом, или же учителем, или рабочим, или, скажем, театральным человеком, — разве ж это все в какой-то мере не случайности? Мог ли бы я сейчас сказать, кем бы я был, если б не просватал лучшую в Залучье девушку, не говоря уж о том случае во время лицитации — с козой? Ну, а ты, голубушка, — если бы Вадим Иванович возглавлял гарнизон не в этом, а в другом селе, — не погибла бы ты еще младенцем? Так и с Нестором...»

— Августин Гаврилович, — в глазах Гали был укор, — вы... пожалуй меня хотите? Не надо...

— Да что ты, бог с тобой! — всполошился Августин. — Я только это... мне кажется, что он вчера не уехал, ведь как он мог уехать, не увидев тебя еще раз, — проговорил Копач запинаясь, и, сам не веря в это, обойдя Галю, заторопился по ступенькам вверх.

Нажал пуговку звонка. Ждал под дверью долго. Но вот послышался глухой кашель, и дверь наконец открылась.

Стефурак стоял перед Копачем, о чем-то размышляя. Потом, решительно подняв голову, сказал:

— О театральных делах позже... Я еще позавчера закончил свою писанину. И хочу, чтобы ты послушал. Ты умеешь слушать. Да... Дни мои сочтены, поэтому, когда я... чтобы ты мог сказать: «Старик оставил что-то там написанное. А ну как пригодится кому-нибудь». Мне будет жаль, если то, что я знаю, уйдет со мною... Да ты не чеши в затылке, я всего читать не буду.

Стефурак пригласил Копача в свой кабинет, посадил его в кресло.

— Ты вот, Августин, — заговорил маэстро Стефурак, перелистывая страницы своей рукописи, — ты в каждом случае, к месту и не к месту, всегда напоминаешь: «Я — театральный человек», а сам вовсе ничего не знаешь об истории нашего театра. Твоя Каролина одно твердит, что все началось с нашего Города: и техника, и наука, и культура, словом, Город — пуп земли. Над ней подтрунивают, но в чем-то все-таки она права. Театр, дорогой Августин, которому мы с тобой посвятили свою жизнь, зародился все-таки у нас.

— Потому, как говорится... — начал было свое Августин, но Стефурак нетерпеливо оборвал его:

— «Как говорится, как говорится!» Никто тебе ничего не говорил, и ничего ты не знаешь. Лучше послушай, так и узнаешь! Ибо все-таки в нашем Городе начал свою жизнь галицкий театр. Да... Давно, еще и меня на свете не было, жил тут писатель Иван Озаркевич, человек очень деятельный, болел душой за наш простой люд, за его культуру, растоптанную австрийским сапогом... — Стефурак будто читал лекцию, забыв, что перед ним не аудитория, а один Копач. — Ты помнишь полонизацию при буржуазной Польше, а я скажу тебе, что при Австрии, до революции 1848 года, было еще хуже — нас совсем не воспринимали как народ, а считали каким-то полудиким племенем, которое следует онемечить, чтобы превратить нас в послушных кнехтов. Но ведь, теперь это каждый знает, народ убить нельзя: вспыхнула в Европе революция, и подали голос за угнетенных русинов светлые головы во Львове, а в нашем Городе этот никому еще не ведомый Озаркевич создал любительский кружок, переработал известную тебе «Наталку Полтавку» покойного уже тогда Котляревского на гуцульский лад, назвал ее «Девка на выданье» и поставил. Это было событие! Народ валом валил, чтобы услышать со сцены родное слово. После окончания представления публика кричала «браво!», «бис!», «автора!»... Как известно, автор не мог выйти на сцену, ибо его давно уже на свете не было, а если бы и жил, то где Полтава, а где наш Город...

— Как говорится, где Рим, а где Крым... — заикнулся было Копач и тут же умолк, смешавшись под осуждающим взглядом Стефурака.

— ...а публика кричала свое: «Автора!» Тогда вышел на авансцену режиссер Лайтнер, вышел, чтобы объяснить причину отсутствия автора, но зрители приняли его за Котляревского и устроили ему получасовую авацию. Вот с тех пор и пошел слух, он еще гулял и в дни моей молодости: будто в 1848 году Котляревский был в Городе. Ну, а потом выросли любительские кружки во Львове, в Перемышле, из которых гораздо позже стараниями украинского культурного товари-

щества «Руська Бесіда» был создан профессиональный театр во Львове.

Августин Копач зевнул, но Стефурак сделал вид, что не заметил этого, и продолжал:

— Обо всем я тебе читать не стану, хочу только сказать несколько слов о себе, ибо умру, а ты и знать не будешь, откуда я взялся.

— Э-э, да почему бы не знать, — Копач лукаво прищурился. — Все мы, как говорится...

— Оставь, Августин, свои плоские залучанские шуточки, от них никому не смешно... Вот я тебе начал о театре «Руська Бесіда». Тяжелая была жизнь актеров, ездили они по нашим городам и городкам, как кочующие цыгане, голодали, помещений не имели, реквизит был нищенский, потому что все ломалось и портилось в дорогах, а все-таки выросли в этом театре такие светила, как Теофила Бачинская, Иван Гриневецкий — знаменитый режиссер и актер, Владислав Плошевский, тот, что, бедолага, от огромного нервного перенапряжения и недоедания сошел с ума на сцене. Да, да, буквально на сцене! Играл он в Станиславе шиллеровского Франца Моора, успех имел колоссальный, после пятого действия публика вызывала его пятнадцать раз. Он выходил на сцену, кланялся, но друзья заметили, что болезненная гримаса искривляет его лицо. Обезумевшего Плошевского забрали прямо со сцены, повезли во Львов, где он через две недели и умер... Выросли в этом театре и Катерина Рубчакова — звезда, скажу тебе, и ее муж Иван Рубчак, и — кто бы ты подумал, Августин? — талантливый комедийный актер Степан Стефурак — мой дядя!

— О, это уже другая пара галош! — произнес Копач и зевнул во второй раз.

— А что ты думаешь? — воскликнул маэстро Стефурак. — Это он меня вывел на сцену!

— Видите, вам было легче. Вас дядя за руку тащил в театр, а мы с вами бедного Нестора за воротник выносили — из театра.

— Да не укоряй уж... «Бедного Нестора»! Ему государство дало науку, готовенькое под нос поднесло, а мы... Да что там говорить... Ну, а в нашем Городе театральная жизнь не угасала. При филиале «Бесіди» существовал свой любительский кружок, было ка-

кое-то помещение, так сказать — база, и сюда изредка приезжал львовский театр. Тут Гриневецкий ставил «Довбуша» Федьковича, сюда однажды наведалься Микола Садовский, ставил «Бурлаку» Кропивницкого, «Суету» Тобилевича, а в «Наймичке» играла сама Мария Заньковецкая! Это уже было на моей памяти, тогда и я был нарасхват. Правду говорю тебе. То, что я пробовал играть Гриця, — это, конечно, глупость учинил, но комиком я был хорошим, от дяди этот талант унаследовал. Среди актеров-любителей никто лучше меня не играл Стецка в «Сватанье на Гончаровке» и возного в «Наталке». Из-за меня, не вру, перессорились однажды режиссеры кружков из Станислава, Стрыя и Черновцов...

— В это-то я верю, — снова перебил Стефурака Августин. — Если человек что-то может, то от желающих, скажу по правде, нет спасу. У нас, в Залучье, была некая-то там большая шишка, а так себе, обыкновенная Олена Езунина, но от парней и даже женатых отбиться не могла, а потом уже и не отбивалась. Как-то встретил ее староста, да и говорит: «Доколе ты, Оленка, будешь проститутничать?» А она всплакнула, вытерла фартуком глаза и отвечает: «Да разве я виновата, пан староста. что меня человеком считают?» Так и вас, а то как же...

— Ты уже кончил? — скривился Стефурак.

— Пока что кончил, — ответил Копач и зевнул в третий раз.

У Стефурака пропала охота рассказывать дальше, он понял, что жестоко просчитался, надеясь найти в лице Августина благодарного слушателя. Сказал:

— А остальное ты уже все знаешь обо мне. Ибо незадолго до того, как ты приплелся в Город с этой своей дурацкой козой, я стал директором нашего Городского театра.

— Вот видите, каждому свое. Но оба мы очутились в нашем Городе и не раскаиваемся... Я, Иван Бонифатьевич, очень внимательно вас слушал, а сам так думал: вы вот написали книжку, это, как говорится, не каждый умеет. Но, мне кажется, хотя я и не читал, ведь всего никто не способен прочитать, об этом кто-то должен был уже написать. А мне, простому театральному человеку, хотелось бы такое услышать, о чем

знаете только вы, потому как прожили, слава богу, почти сто лет, так должны что-то знать — больше, чем ученый. И хотя это может быть только ваше, но ежели подумать по мужицкому разумению, то и не ваше. Потому как принадлежите вы театру, и каждое ваше приключение это уже кусочек его истории...

— Э-э, Августин, я вижу, ты не такой уж этот... как я думал! — обрадовался Стефурак. — Так у меня тут описано не одно приключение. Но то, о котором я хочу тебе прочитать... Нестор о нем в фильме даже не намекнул и в разговоре почему-то не хотел вспоминать, но оно было... И кто знает, может, как раз из-за этого случая он такой теперь честный в искусстве. Ибо еще в детстве понял самое главное — цену человеческой совести. А все остальное — второстепенно... Жаль, если уехал, я так и не поговорил с ним... Я описал этот случай. Ты только слушай и не перебивай меня своими немудрящими репликами, а еще очень прошу: не зевай.

ОИ, ПУЩУ Я КОНИЧЕНЬКА В САД...

Визит Отто Вехтера в Город был явно неудачным. Расстрел девятерых парней из баудинста произвел совсем не тот эффект, которого ожидал губернатор дистрикта Галициен: на призывной пункт, где набирали добровольцев в дивизию СС «Галичина», явилось только несколько фольксдойчей и сынков полицаев, попытка запугать население провалилась. Вехтер был отозван, а вскоре из Кракова направился в свой последний вояж по городам округа сам генерал-губернатор Ганс Франк.

Это были тревожные дни. Каждый уже знал, что речей, парадов, шествий больше не будет. Начнутся облавы, аресты, насильственная вербовка в дивизию.

Кое-кто из старших гимназистов, пока еще мало шныряло патрулей, успел выскользнуть, потом Город закрыли, и молодых — от семнадцати до тридцати лет — задерживали на улицах, отправляли на вербовочные пункты.

За день до приезда генерал-губернатора в Городе взяли заложников. Неподалеку в горах находились ковпаковские отряды, и фашисты боялись нападения.

В душную и темную камеру — в один из подвалов бывшей керамической школы — ввели Стефурака.

Тьма присосалась к зрачкам. Он стоял посреди камеры, все еще не в состоянии осознать, что, собственно говоря, случилось, почему именно его... Потом, как слепой, протянув вперед руки, ступил шаг, другой. В потемках зашевелились тени, кто-то застонал, кашлянул, чья-то ладонь прикоснулась к его плечу.

— Идите за мной,— услышал Стефурак знакомый голос,— тут разостлано мое пальто, есть еще где лечь. Ибо к вечеру, кто знает, сколько еще наберется таких, как мы.

— Кто вы? — всматривался Стефурак в высокую фигуру узника. Глаза начали привыкать к темноте: над головой — низкий свод, камера узкая и продолговатая; маленькое зарешеченное оконце, затянутое войлоком, выпускало клочок неба с ладонь, под стеной, слева, сидели молчаливые тени.— Кто вы, пане-товарищ?

— Неужели не узнаете? Вы для меня в театре всегда бронировали место в ложе. Теперь у меня есть возможность отблагодарить вас.

— Страус! — ахнул Стефурак.— Профессор Страус! Ой, простите, я забыл, что у вас другая фамилия...

— О-о,— потряс сжатыми кулаками профессор — таким жестом он сопровождал обычно наименее эффективные цитаты из немецких классиков.— О, если бы у меня в аусвайсе было написано Страус... А впрочем, не-ет! Они распинают теперь и самого Гейне... О боже, я всего в жизни боялся, кроме книг, а не избежал самого страшного — гестапо!

— Если вы заложник, то, может...— Стефурак попытался утешить Страуса и себя самого.

— Мы все, мы все заложники, коллега. Мы ими родимся. Нам даруют жизнь для того, чтобы мы боялись ее потерять. Чтобы от страха за нее не давали воли непокорному духу... Какой я был осторожный! Как заботливо загонял свой дух в ветхие фолианты, чтобы он не вырвался на свободу, ибо за его даже самый скромный взлет надо платить жизнью... Но убогим был этот мнимый простор кованой клетки. Я увидел, как убивают, и мне стало стыдно, что в такое страшное время я нахожу в поэзии Гёте одно лишь эс-

тетическое наслаждение, а не гнев, не боль, не протест. И я сказал на уроке...

— Кто-то донес?

— Наверное. Почти в каждом классе учатся сынки фольксдойчей. И чтобы не производить лишнего шума арестом известного германиста, меня взяли теперь якобы как заложника. И скажу вам: я боюсь не самого акта насильственной смерти, а ее глупости, ненужности, противоестественности...

— Не служите панихиду, профессор.— Стефурак опустил на разостланное пальто.— Если вы сказали такое слово, что разозлило врага, то определенно оно тронуло и что-то юное честное сердце... А это уже кое-что значит. Да я за каждую смелую мысль, провозглашенную со сцены, готов сто раз умереть!.. Правда, для меня все это тоже неожиданность. Забрали прямо с репетиции. Видно, и моя работа стала им поперек горла... Ну, а кто, кто теперь вложит в уста моих актеров пафос вольнолюбивых призывов Назара и Гната?

— Да, да, вы правы. Я одного ученика благословил в актеры. Вы знаете, он у меня на уроке прочитал на память монолог Карла Моора на немецком языке. И как прочитал! Это прирожденный талант. И я сказал ему: иди в театр. Может, он и придет к вам. Если... Если выберетесь отсюда, приглядитесь к мальчику. Его зовут Нестором. А другой, сорвиголова и двоечник, услышав мою крамолу, поклялся бороться с врагом. При всех поклялся. И исчез, нет его... Вы правы, наверное, не пропали даром мои слова, и мне не так уж безнадежно жаль жизни...

— Да не каркайте. Франка никто не убьет, и нас выпустят.

Стефурак присматривался к узникам, сидевшим под стеной. Их было трое. Двое, закутанные в один кожух, дремали. У третьего — со свежим красным шрамом на лице — были ясные, не омраченные страхом глаза. Он останавливал их то на Стефураке, то на Страусе, его безмятежный взгляд впускал и им спокойствие.

— Они сейчас начнут спрашивать...— донеслось бурчание из-под кожуха.— Кум, слышь, снова лезят квартиранты...— Один высунул голову, откинул полу



кожуха.— Давай за работу, слышь? — Он сбросил рубаху и начал шарить пальцами по швам. Вылез и другой и тоже разделся.

— Кто они? — прошептал Стефурак.

— Я слышал, как этот узник со шрамом, что сбоку сказал им: «А вы так стараетесь, что вас не только выпустят, а еще и барахло вернут». Я не совсем понял его слова, но, видно, попались на торгах в гетто.

— Гниды!.. А этот кто?

— Не знаю.

Стефурак помолчал, потом спросил:

— Интересно, много ли набрали заложников?

— Во всех камерах есть,— проговорил узник со шрамом.— Перестукивались... Да вы бейте, бейте своих вшей! — прикрикнул он на тех двоих.— Не разевайте рот на каждое слово. Знаю уже, зачем вас сюда подбросили.

— Хи-хи! — запел один.— Он все знает... Так, может, знаешь и где твои товарищи. Скажи немцу — бить перестанут... Девять у меня!

— Двенадцать! — воскликнул второй.

Вдруг лязгнул замок, открылась дверь, и в камеру втокнули мальчика-подростка. Тот споткнулся и упал лицом на цементный пол. Страус и Стефурак вскочили:

— Дошло уже и до детей?!

Вошебой громко захохотали, но потом и они стихли: мальчик лежал навзничь и громко рыдал.

Узник со шрамом встал и, прихрамывая, подошел к нему, взял на руки, как ребенка, положил возле себя.

— Не плачь,— сказал он.— Слушай дядю Гарматия из Желобов, и тебе ничего не будет страшно. Я, парень, тут уже три месяца жду смерти, ко мне подсылают таких вот,— показал он на вошебоев,— и ничего... Страшна не смерть, сынок, а подлость. Тебя же выпустят: в чем и перед кем ты мог провиниться? Ну, успокойся... Лучше запоем, хорошо?

— Разве что реквием,— сказал Страус.— По себе...

Тихо, словно из подземелья, зазвучала тоскливая песня. Дрожала и с трудом вырывалась из больной груди узника, но крепла и, будто сама родившись из боли, убаюкивала боль, придавала сил певцу. Голос его креп и раздвигал стены тесной тюрьмы.

Ой, пуцу я кониченька,
Ой, пуцу я в сад,
А сам піду к вітцю на порадоньку,
Отець мій по садочку ходить...

Это была песня свободы, и все потянулись к ней. Пел Стефурак, подтягивал и Страус, хотя услышали они эту песню впервые. И разлилась песня половодьем, и на миг не стало тюрьмы, а паренек смотрел в темноту зачарованными глазами, и растерянности уже не было на его лице.

— Schweigen! — гаркнул вахман в глазок.

¹ Молчать! (нем.).

В камере стихло. Гарматий спросил:

— Как тебя звать, сынок?

— Нестор...

Паренек увидел, как у противоположной стены рывком вскочили двое и сквозь сумрак приблизились к нему: один круглый и низкий, другой высокий, худой. Оба склонились над ним, и Нестор узнал своего врага Стефурака и свое божество Страуса.

— Ты почему здесь? — спросили они в один голос.

...Нестор видел все из окна своего класса. Как раз началась большая перемена, ученики разбежались по коридорам, по двору. Нестор повторял Цицерона — готовился к сдаче экзамена. И вдруг заметил: два гестаповских офицера подошли к парадному входу гимназии и остановились, широко расставив ноги. Через минуту в вестибюль вышел Миндик, щелкнул каблукми, выбросил вперед руку, о чем-то кратко доложил. У Нестора екнуло сердце. Восьмиклассник Миндик, тот, что принимал участие в карательных акциях в гетто, тот, что грабил цыгана во время колядования в бурсе, неспроста рапортует гестаповцам. Кого-то заберут перед приездом Франка. По городу уже пошли тревожные слухи: фашисты хватают заложников. Прямо на улицах, среди белого дня. Старых, молодых — не выбирают. Не пришли ли они за кем-нибудь и в гимназию?

Потом из ворот вышел с высоко поднятой головой, прижимая к груди сжатую в кулак правую руку, величественный Страус. Увидев гестаповцев и Миндика, он не остановился, а только замедлил шаг, будто споткнулся, и пошел дальше не оглядываясь. Миндик кивнул головой, гестаповцы быстро зашагали за профессором.

Нестор прилип к подоконнику, словно его привязали. Он видел, как Страус вынул из кармана документ, как упирался, когда его вели к машине. У Нестора точно отнялись руки и ноги, но он собрался с силами и оторвался от окна. Страх за любимого учителя, за самого лучшего и самого мудрого на свете человека, переборол собственный испуг, и Нестор стремглав бросился по лестницам к выходу.

— Страуса взяли! Страуса взяли! — кричал он.

Растерянные учителя останавливались, ученики бежали за Нестором, но за ворота выскочил только он один.

— Zurück!¹— крикнул Миндик и потянулся к карману. Ученики остановились, Миндик схватил Нестора за воротник, смерил его ненавидящим взглядом.

— Ну, теперь ты уже у меня поколядуешь! — толкнул паренька вперед и, выхватив из кармана блестящий браунинг, прикрикнул: — Vorwärts², а не то сделаю тебе пиф-паф! Прекрасно, есть еще один заложник.— И повел Нестора в гестапо.

...Нестор вскочил, стал, опустив руки. Именно в такой позе он останавливался в гимназическом коридоре даже во время самой неистовой шалости, когда рядом проходил Страус, именно так он вскакивал с кресла в театре на галерке, когда появлялся директор, вылавливавший безбилетников.

Ему стало легче на душе — он не один тут, в тюрьме.

— Erzählen Sie mir...— горько произнес Страус свою обычную фразу, которой всегда начинал урок, и замолчал, опустив голову на грудь.

— Профессор! — выкрикнул сквозь слезы Нестор.— Профессор, я расскажу... я буду отвечать вам, перед вами... за вас... где бы вы ни...

— Каждый будет отвечать за себя,— покачал головой Страус.— Мы очень скоро предстанем перед самым тяжким экзаменом на аттестат зрелости...

— Ну, не падайте духом, профессор! — ударил в сердцах Стефурак ладонью по колену.— Надо думать о жизни, надо каждое пережитое мгновение, даже тюрьму, использовать для дела. Отовсюду извлекать опыт, детали. Потом ваше пребывание в заложниках выльется в знаменитую серию красочных эпизодов, которыми вы на уроке захватите утомленную вашей германистикой аудиторию и пробудите силу духа у ваших учеников!.. Гарматий, слышишь, Гарматий, я возьму тебя в театр, в хор, ты знаешь, какой у тебя голос!

— Хорошо, директор,— усмехнулся узник.— Я выступал солистом в сводном хоре на олимпиаде в со-

¹ Назад! (нем.).

² Вперед! (нем.).

роковом году. Вы были председателем жюри. Почему тогда меня не заметили? Ой, тяжкая у нас сейчас репетиция. И слишком неакустичный зал. Не знаю, сможете вы меня взять или нет, но песню мою не оставьте тут...

И он тихо запел:

Ой, пушу я кониченька
В сад...

— Чудесная песня.— Стефурак помрачнел.— За что тебя?

— Колонну запрутских активистов отбили... Десятерых шущполицаев казнили.

— Освободили коммунистов?

— Да... Я недооценил врага. Заночевал в Желобах, с собаками там и нашли. Что так смотрите? Удивляетесь, что до сих пор жив? О других хотят выпытать. А у меня, как назло, память отшибло. Ни одного вспомнить не могу.

Загрохотала, открываясь, дверь.

— Гарматий, на допрос! — крикнул вахман.

Узник встал, кривясь от боли. Проходя мимо Стефурака, прошептал, кивая на вошебоев:

— Будьте осторожны, это — подсадные утки...

Мертво стало в камере. Нестерпимо медленно тянулось время — самый страшный враг узника. Вошебоев продолжали свое соревнование:

— Восемнадцать!

— Двадцать шесть!

Страус сидел на разостланном пальто, молчал; Стефурак прохаживался по камере.

— Да уж было бы не жаль, если бы кто-нибудь, эх-эх... — разговаривал он сам с собой.— А то можно так и в самом деле ни за понюшку табаку пропасть.

— В природе ничто не пропадает, — сказал Страус.— Нас вывезут в Шипитский лес, и знаете, какие потом летом уродятся лесные орехи... Но ты-то как сюда попал? — обратился он к Нестору.

— Я бежал за вами...

— Добрым человеком вырастешь, юноша... А в театре должны работать только добрые люди.

Нестор исподлобья взглянул на Стефурака. Тот остановился и долго всматривался в паренька.

— Тридцать два!

— Сорок! — донеслось из-под стены.

Стефурак пристально смотрел на Нестора и никак не мог совместить его, теперешнего, с тем безбилетником, который так осточертел ему в театре.

«А все-таки,— упрекнул себя режиссер,— почему я не подумал, что паренек, так рвущийся в театр, несет в душе нечто иное, нежели тот сорванец, что перелезает через забор, чтобы попасть на футбольный матч».

— Нестор,— произнес он тихо,— ты уж прости меня... Клянусь Мельпоменой, на каждый спектакль бронирую тебе ложу.

— Мою забронируйте, директор,— вздохнул Страус.

— Профессор, перестаньте!

— Нет, нет, я знаю... Самых осторожных всегда подстерегает самая жестокая судьба.

— Пятьдесят.

— Шестьдесят три!

— Да замолчите вы! — не стерпел Стефурак.

— Посмотрим, не будете ли и вы завтра так же лупить вшей на своих манжетах. Проф-фессора! — заворчали вошебои.

Взволнованный Нестор подошел к Стефураку. Он еще не мог побороть удивление, что находится теперь на равных правах с самим директором театра — недосягаемой персоной, самым лютым его врагом и большим мастером своего дела.

— Удивляешься? — прочел его мысли Стефурак. — Тюрьма, как и смерть, уравнивает всех...

— Директор,— замялся Нестор.— Я... я... давно не видел Завадовской. Почему она не играет?

— Завадовской? Ее уже нет в театре.

— Как — нет?! — вскрикнул Нестор.

— Нет, и все,— развел руками Стефурак.— Исчезла Оленка.

Нестор долго стоял неподвижно, он не мог сразу постичь смысл этих страшных, убийственных слов, а когда постиг, то розовое марево рампы, к которому он так упрямо тянулся, погасло, и театр, и весь мир сразу утратили свои чары, он тихо опустился посреди камеры на колени, обхватил голову руками и так сидел сторбленный, без всхлипа, без плача, и тяжело было смотреть на это немое отчаяние.

— Разве вы не поняли, директор? — сказал через минуту Страус, показывая на Нестора.

— Понял... Но где же Оленка?

— Молодежь решительнее нас. Так и должно быть. Я же вам говорил: из моего класса исчез гимназист Генюк.

— Генюк? Василь? — переспросил Стефурак. — А-а, теперь для меня кое-что прояснилось...

— Девяносто!..

— Сто!

Ночью в камеру, словно мешок, бросили избитого, окровавленного Гарматия.

Вошeboи спали, а может, прикидывались спящими: Стефурак, Страус и Нестор кинулись к Гарматию. Он был жив. Они положили его на пальто и молча сидели возле него, прислушиваясь, дышит ли он, а когда их веки начал было сковывать сон, чисто и тихо прозвела песня:

Ой, пуцу я кониченька
Ой, пуцу я в сад...

— Боже, дай мне такую силу в последнюю минуту, — проговорил Страус.

Нестор что-то шептал и гладил слипшиеся от крови волосы Гарматия.

...А сам піду к вітцю на порадоньку...

— Так есть ли в мире сила, чтобы убить его, нас, всех! — заскрипел зубами Стефурак.

Отець мій по садочку ходить,
За поводи кониченька водить...—

крепла все сильнее песня.

— Schweigen! — гаркнул вахман в глазок.

— А вот и не замолчу, нет! — крикнул Гарматий и потерял сознание.

Утром после завтрака — жесткого хлеба с половой и воды — Гарматия снова вызвали на допрос. Идти он сам не мог, и два вахмана потащили его под руки.

Бросили Гарматия в камеру перед обедом. На его теле не осталось живого места — все в свежих и запек-

шихся ранах. Гарматий не дышал. Страус взял его руку — пульс еще бился.

— Убили! — простонал Нестор. — Убили!..

Гарматий шевельнулся, открыл глаза и чуть слышно прошептал запекшимися губами:

— «Ой, пуцу я кониченька в сад... а сам піду к вітцю на порадоньку...» Возьмите мою песню.

И умолк.

— Возьму, — Нестор припал головой к груди Гарматия.

Августин вытирал слезы. Стефурак читал, шмыгая носом.

— Мне вы об этом не обмолвились ни единым словом, — упрекнул Копач Стефурака. — Я только знаю, что вас брали заложником.

— А что было рассказывать... Сколько людей погибло, но мы все-таки вышли. Франка не убили... Нестора отпустили раньше, а нас потом. Но перед освобождением всем заложникам привили противотифозную вакцину. Какой гуманизм у палачей, удивлялся я, все-таки помнят, что сидели мы во вшивых камерах. Но это не были противотифозные уколы — нам ввели здоровые бациллы. Страус, как тебе известно, умер. Я выжил. А Нестора с тех пор я не видел. До вчерашнего дня.

— Я видел его в последний раз на похоронах профессора, — вспомнил Августин. — Страшно было смотреть на него. Черный был, а я и не знал почему.. Сколько вдруг свалилось на его голову! Он не плакал, только мрачным взглядом провожал гроб, а когда его опускали в яму, взял комок земли, но не бросил, а губы все время беззвучно шевелились.

— Наверное, пел своему профессору реквием — песню Гарматия...

НА ЗАВОДЕ

Кость Американец поправил фуражку, принял независимый вид, с подчеркнутой молодцеватостью вынул из внутреннего кармана паспорт и подал в окошко на проходной. Два раза он уже приходил на завод и

каждый раз должен был ждать, пока куда-то там позвонят, пока разрешат пройти, а вот теперь он имеет готовый пропуск — пусть не совсем пропуск, но документ, уравнивающий тебя со всеми людьми, что спешат один за другим, крутя выкрашенную в белый цвет вертушку. Он прошел по двору мимо нового блока цехов и уже не как посторонний, а по-хозяйски, оценивающе окинул взглядом высокое из бетона и стекла здание, причмокнул:

— Сногшибательно, сказала бы Перцова!

Вспомнив Анелю, он тепло улыбнулся. Привык уже к ней. Да, надо будет после работы зайти похвалиться и чарочку опрокинуть.

Костю было приятно идти по заводскому двору, хотя он тут и не впервые. Вот хорошо знакомый двухэтажный домик с флигелями и балкончиками, похожий на музейный экспонат, среди новых корпусов. Теперь на нем висит табличка «СКБ», а ведь это же бывшее помещение той знаменитой фабрики братьев Бискупских, что изготовляла плуги и соломорезки. Здесь Кость еще маленьким пареньком не раз подрабатывал как грузчик.

Сколько же времени прошло, даже страшно подумать! Какой промышленный гигант вырос из кузницы! Сколько поколений рабочих и инженеров выросло тут, а его, Костевы, годы, так бесплодно пролетели на чужбине. Кем он мог бы стать, если бы не пустился в океанские странствия?.. Да что уж теперь гадать... Хорошо, что хотя бы в старости сможет доказать себе и людям, что еще нужны его руки.

«Но погоди, Кость, ты еще не был у директора, и на работу тебя никто еще не зачислил...» И он повернул к административному зданию.

— Добрый день, заморский музыкант, — ответил на приветствие Костя Вадим Иванович, не поднимая головы от бумаг. — Так вот, пора братья за дело... Вы фрезерный станок видели когда-нибудь?

— Такое скажете, что хоть поворачивайся и уходи. Разве я вам не говорил?.. Да мне за ним стоять — что кассиру на вокзале выдавать билеты. Я же первоклассный слесарь.

— Ну, если так, то идите к Галине Васильевне, она вам расскажет, что и как...

— Спасибо, товарищ Скоробогатый! — поклонился Кость. — Но... Я не знаю, кто такая Галина Васильевна.

— Начальник производственного отдела. А разве вы не знакомы — это же Галя, Стефуракова...

— А-а, — даже хлопнул себя по бедрам Кость. — Она — Васильевна?

— Ну, идите, идите... Да, одну минуточку... Вы были вчера в театре, когда выступал режиссер?

— О, я с ним целую позавчерашнюю ночь просидел, товарищ Скоробогатый. Это мудрый инженер. Он вчера уехал, должно быть, ночным.

— Инженер? — уставился Вадим Иванович на Костя. — Ну что ж... Может, и инженер. А я не мог прийти. Если бы знал! Помните, в этом фильме — я успел вчера только на последний сеанс — есть такая сцена: мальчик хочет выстрелить в аиста, а молодой офицер выбивает у него пистолет из рук... Это, как бы вам сказать... Этот офицер — я. А-а, черт побери, вечно эта работа! Был же он вчера у меня, вот здесь, но ни я его, ни он меня не узнали. Ах, какая это могла быть встреча!.. Мальчик с лукошком земляники... Я так хорошо помню... Как сегодня... Так он уехал, говорите?

— Не могу сказать точно. Когда мы прощались, он еще колебался: ехать или нет.

— Ладно. Я позвоню в гостиницу. А вы идите, Кость, идите, я спешу в сборочный.

«Вот какие неожиданные встречи бывают, — думал Американец, идя по длинному коридору в производственный отдел. — За одни сутки. И ко всему этому Галя оказалась Галиной Васильевой...»

Галя ждала Американца. Ее только что вызвал директор в сборочный цех, так заодно она проводит и Костя к начальнику инструментального.

— Я вас оформлю потом, а сейчас идемте, покажу вам станок. — Галя закрыла кабинет и пошла впереди Костя по лестнице вниз. — Видите, а вы огорчились. Так когда на магарыч пригласите?

— Сегодня, Галина Васильевна, сегодня, — впервые обратился Кость к Гале официально. — Дайте только прикоснуться к фрезерному.

— Не надо, Кость, пусть я для вас буду и дальше Галей... Где же вы банкет устроите?

— Банкет не банкет, а по рюмочке у Анели выпьем... Придешь?

— До конца смены еще далеко — целый день, и мы еще не раз встретимся, — ответила Галя уклончиво.

Американец помолчал, потом остановился.

— Вы что-то хотите сказать? — спросила Галя. — У вас такой таинственный вид...

— Да вот взбрело в голову... Слушай, Галя, что бы ты сказала, если бы я взял да и женился? Вот было бы смеху, правда?

— А что тут такого? Я тоже еще думаю... — Галя осеклась, пораженная тем, что может об этом говорить так просто.

— Ну и сравнила! Я по годам старик, хотя в общем-то не слишком растрачивал себя в долгой своей жизни, а ты...

— У вас — по-другому. Захотите — найдете, — по-мрачнела Галя. — А мы должны ждать, как на вечеринке, чтобы кто-нибудь пригласил на танец...

— Не надо слишком перебирать.

— Что вы знаете, Кость...

— Ничего не знаю, но мне кажется, что хватит тебе в печали ходить. На твоём месте я этого режиссера не упустила бы...

— Да перестаньте! — вспыхнула Галя. — Что вы все — сговорились? Вот ваш инструментальный, — произнесла она холодно. — Видите вон того мужчину? Это начальник цеха. Подойдите к нему. Я ему уже о вас говорила.

Обескураженный Кость пожал плечами, виновато развел руки, круто повернулся и заторопился в инструментальный цех.

— Так ведь и разговоры пойдут, — пробормотала раздраженно Галина, глядя вслед Американцу. Но в ту же минуту слова Костя снова прозвучали в ее сознании. «Он прав. Сколько я еще должна жить одна?».

Она уже слышала это не раз. Сама молодость звала ее, но никто не пробудил в ней отклика — даже в мыслях не могла она допустить близости с кем-то, кроме Андрия. Одиночество как будто не тяготило ее. А теперь? Почему так естественно просто возник вопрос: «До каких пор?» Почему едва встреченный человек не кажется ей сейчас чужим? И совсем иначе, с искренней теплотой вспомнился другой... Его звали Марко. Андрия уже давно не было на свете. Но как

возмутило ее тогда признание Марка: «Я буду тебе настоящим другом, Галя...» А теперь она будто вновь увидела пышноволоосого юношу с гитарой, и ей захотелось знать, что с ним.

Что же с ней сделал Нестор? Освободил ее от добровольных пут одиночества... Но для кого — для себя или для нее самой?

Встревоженная ощущением свободы, неожиданно нахлынувшей на нее и давшей ей право распоряжаться своей жизнью — бросать вызов прошлому, отдавая ему, как подачку, обещание доброй памяти, — Галя упрекнула себя в легкомыслии, черствости. Да, такой она себя еще не знала. Облегчение и горечь смешались. Галя быстрым шагом пошла куда глаза глядят, стремясь убежать от самой себя. Перешла двор, с кем-то здоровалась, проходила по цехам, забыв, в какой должна была зайти, не замечая людей. Стук, лязг были точно кстати, заводской шум плотно окутал ее, отдалив от всего окружающего, дав возможность углубиться в себя.

— Да, до каких пор? — произнесла она вслух. — До самой смерти?

Острая боль по утраченному еще раз пронзила сердце и утихла. А на месте этой тоски появилась пустота, в которую сначала робко просочилась, а потом тугой струей ударила жажда радости, утешения, счастья, ласки. Галя отчетливо увидела глаза Андрия, но не те, что все время зывали к ней из небытия, умоляя о верности и одиночестве. Нет, это были живые глаза, в которых раз за разом вспыхивал свет, будто они неустанно что-то искали и находили. Галя поняла, что смотрит на нее уже не Андрий, его давно нет, а Нестор. Смотрит и зовет к жизни ее — молодую, крепкую, здоровую. А за ним где-то очень далеко проступает силуэт буйночубого юноши с гитарой, говорящего с упреком: «Я мог бы тебе стать хорошим другом».

И она устремилась навстречу зовущим глазам Нестора, ища в них совета, но вдруг защищавший ее от окружающего гул машин разорвал скрип передвижного крана над самой ее головой.

Из кабины крана выглянула девушка, повязанная под подбородком малиновой косынкой, помахала рукой.

— Привет, Мартуся! — крикнула Галя.

Кран проплыл над головами людей в другой конец деха, а Галя вдруг подумала настороженно:

«А разве не может случиться так и у меня... Если бы я... Так, как у Марты? Нет! Но жизнь не сплошной праздник... Да и Мартуся — разве она могла тогда знать, что выбирает себе не Михайлу Аполлоновича, а всего-навсего Миська Два Пальчика!»

МАРТУСИНА ИСПОВЕДЬ

Как-то вечером, было это ранней весной, к Гале домой зашла неожиданная гостя. Неожиданная потому, что с Мартой Галя не дружила, жену Миська-конферансье она знала лишь в лицо. Мисько всегда, когда вел концертную программу, приходил в театр с ней. Марта сидела в ложе, отдельно от всех, чрезмерно пышно одетая, надменная.

Галя порой присматривалась к ней, пытаясь понять, откуда у нее — молодой да еще и не работающей — это высокомерие? Что она успела хорошего сделать, чем ей гордиться? А между прочим, не следовало бы над этим и задумываться — надменность порождает безделье или низкая культура человека. Однако в красивых глазах Марты — когда удавалось перехватить ее взгляд — Галя улавливала какую-то скрытую печаль, и тогда ей казалось, что эта женщина глубоко несчастлива.

После концерта Мисько входил к Марте в ложу, помогал ей одеться, и оба — она, стройная, с безупречной фигурой, он, круглый, одутловатый, на высоких «платформах» и все равно на полголовы ниже своей жены, — выходили из театра и долго стояли, ожидая машину на стоянке такси — в автобус они никогда не садились. Люди, проходя мимо, здоровались. Марта отвечала чуть заметным кивком головы, Мисько же стоял возле нее набычившись, с выставленным вперед подбородком.

Такая манера — ждать такси, пока зрители выйдут из театра, — была Миськом давно и тщательно продумана. Ведь в зале его талант оценивала масса, а масса в театре аплодирует, как известно, всем. Тут же он

принимал признание индивидуальное: лишь одного ёго из всей этой толпы узнают, кланяются, это видит Марта и небось преисполняется гордостью за своего мужа. Вот все прошли как тени — неизвестные, серые, — он же, городская знаменитость, стоит, заложив правую руку за борт пальто или пиджака, будто на своеобразном параде, а рядом — красивая, шикарно одетая, украшенная изысканными драгоценностями женщина, равной которой в Городе нет.

И вот она пришла. Зачем? Взволнованная, растерянная, с уже знакомой печалью в глазах, остановилась на пороге, расстегнула воротник замшевой шубки, сняла норковую шапочку и так, в нерешительности, стояла, не зная, видимо, как объяснить причину своего визита.

— Да вы раздевайтесь, садитесь, — пригласила Галя.

— Благодарю... У вас есть немного времени? Я прошу выслушать меня... Не удивляйтесь, что хочу исповедоваться именно вам: я знаю вас давно, правда, издали, но вы почему-то всегда вызывали во мне доверие. Кроме того, мне известно, какое горе постигло вас, вот я и подумала, что сможете меня понять...

— Пожалуйста, рассказывайте...

— Не знаю, с чего и начать... Словом мне казалось до нынешнего дня, что я ко всему этому со временем привыкну, что в конце концов мне понравится. А сегодня испугалась: что будет со мной, если такая жизнь когда-нибудь меня устроит?.. Мне нужен совет, помощь, а все уклоняются от меня. Собственно, уклоняюсь и я, да и как я могу сблизиться с людьми, когда меня сделали не такой, как все. Во всем... В поведении, в мышлении, даже в этом... — Марта смяла в руке шапочку. — А я совсем иная и для той жизни, в которой очутилась, совсем не гожусь. Вам странно, почему я вышла за... Случилось все это как в плохоньком водевиле. Наша Подгорская школа принимала участие в смотре художественной самодеятельности. Я училась тогда в десятом классе. Исполняла какой-то сольный номер на сцене Городского театра. В школе я занималась в драмкружке, пела — там это получалось. А тут — зал большой, голос у меня слабенький, хотя и чистый... А он вел концерт...

— *Ad maiorem gloriam!*¹ — воскликнул Мисько Два Пальчика, когда со сцены за кулисы выбежала Марта, раскрасневшаяся от стыда — провалилась! На самой высокой ноте в финале не хватило дыхания, и только преждевременные аплодисменты спасли ее от срыва. Не поклонившись публике, она покинула сцену и вот теперь оторопела от непонятных слов конференсье.

— Что, что? Майор, какой майор?

— *Sancta simplicitas*². К высшей славе, как говорили древние римляне. К славе, богиня вокала!

Мисько взял Мартусю за галию и, пока не стихли еще аплодисменты, вывел ее на сцену, заставив тактичную публику поаплодировать еще раз. Подняв руку Марты, он водил ее по сцене, отходил в сторону, галантно жестикулировал: Мисько умел заморочить головы зрителям. Смущенная, взволнованная, Марта была очаровательна, и молодежь, забыв, что и как она исполняла, бурно аплодировала ей, теперь уже за красоту.

Председатель жюри, преподаватель музыки из Первой школы, не мог понять причины такого ажиотажа и кивнул Августину, чтобы опустил занавес.

— Консерватория, опера, аншлаги! Травиата, Кармен, Маргарита! Вас ждет большое будущее, украшение сцены! — не умолкал Мисько за кулисами.

— Это была первая ложь, в которую я поверила. А потом принимала уже каждое его слово за чистейшую правду. Я не завоевала никакого места на смотре, он же убедил меня, что завистливые бездари всегда зажимают настоящие таланты. Вот хотя бы и он, Мисько, — артист, поэт, а должен прозябать в провинции. Разве это справедливо? Но как сказал поэт: «Настоящий талант к славе дойдет по шпалам босиком!» Есть такое неписаное правило. И я поняла, что люди злы и им не надо доверяться — только себе самой.

Мисько не отступал от меня ни на шаг. Чуть ли не ежедневно приезжал в Подгорки и на коленях молил меня о любви. Я долго не могла привыкнуть к его

¹ К наивысшей славе! (лат.)

² Святая простота (лат.).

внешности, но меня прямо-таки одурманивала его эрудиция. Ведь сколько я потратила времени, чтобы выучить один только отрывок из «Фата моргана» или роль Наталки. А он цитировал на память монологи Гамлета, Отелло, Ивана из «Суеты», сыпал латинскими поговорками, как из лукошка. Рыльского называл не иначе как Максимом, Корнейчука — Сашком, говорил, что встречался почти со всеми поэтами и композиторами республики, с некоторыми даже пивал кофе с коньяком.

Я была ошеломлена, оглушена. Мисько открывал передо мной, наивной девушкой, увлекательный большой мир, и я видела себя рядом с этим талантливым человеком на широкой дороге к славе. И я пошла за ним...

После выпускного вечера Мисько Два Пальчика повел Мартусю в Городской дворец бракосочетаний.

Перед этим были смотрины: мать Миська, старая, сморщенная, с великосветскими манерами женщина, холодно посмотрела на Марту, склонила набок голову, проговорила:

— Хорошенькая, да... Но мне кажется, очень простая. Правда, это не страшно. Обтешется. Ведь входит в хороший дом.

После смотрин девушка спросила:

— А когда свадьба? Венок...

— И музыка, и пьяные парни? — резко оборвал Мисько робкое притязание нареченной. — Это же провинциальщина, тебя бы в Европе засмеяли!

Свидетелями были местный композитор Паламарский и его молчаливая жена.

Сентиментальная тетка произнесла заученное напутствие молодым, написанное когда-то для брачных церемоний самим Миськом, а потом свидетели проводили их в буфет, на что Мисько совсем не рассчитывал. Однако если Паламарский приглашает...

— Ты слышала, какие нежные и глубокие слова она говорила? — прошептал Мисько на ухо Мартусе, идя с нею вслед за Паламарским. — Это я их сочинил!

— Шампанского! — взмахнул рукой Паламарский, зацепив фату на голове новобрачной. — Пардон. Я так скажу: за молодых — пенные бокалы, чтоб через

кра-а-ай ли-и-ло-оо-сь, — пропел он и искоса бросил взгляд на Миська, кивнул ему, чтобы шел за бутылкой.

Тот дернулся, отбежал от молодой, поднялся на носочках и, приложив ладонь лодочкой ко рту, прошептал Паламарскому:

— Не надо шампанского, наше шампанское — суррогат, прескверно действует на общий тонус... Сухого вина! — Мисько подбежал к буфету и, молниеносно окинув глазом витрину, попросил того, чего не было:— «Бычьей крови»!

— А может, женьшеневой настойки? — хмыкнул Паламарский. — Для повышения общего тонуса молодого?

— О-о, это вещь! — причмокнул Мисько. — А еще я пробовал в Косове экстракт корня гавъяза. Этот тонизирующий напиток дает больший эффект, чем кока-кола и пепси-кола, смешанные вместе!

— Тогда так скажу: давайте нам пепси-колу в чистом виде, ибо от смеси наш молодой начнет очень брыкаться, — снова взмахнул рукой Паламарский и на этот раз сбил шиньон на голове своей супруги.

Буфетчица подала им кислый рислинг.

— «Хороший дом» — двухэтажная вилла — достраивался. Пороги высокие, окна большие, а света, на который я летела, не было. Нигде! Я его доискивалась в душах людей, к которым пришла, но дома Мисько был совсем иным. Об искусстве, сцене, учебе — хоть когда-нибудь — ни словечка. Все разговоры в доме сводились к расходам на строительство. Старуха считала деньги, а в свободное время учила меня хорошему тону, причем эта наука сводилась к уяснению преимуществ людей интеллигентных над неинтеллигентной массой. Я ждала радости в интимной жизни, но и там встречала лишь обязанности. Мечтала о материнстве, и уже была надежда на это, но мне велели пойти к врачу — дом еще не готов, не до детей. Я послушалась, потому что понимала — трудно... Но нет, нет! — вскрикнула Марта и прикрыла ладонью рот. — Нет... Студентки и те рожают, хотя не знают, куда их направлять на работу, ибо что может быть дороже, лучше, светлее, чем ребенок... В конце концов я начала при-

выкать, находила даже какое-то удовольствие в этой жизни. Сначала радовалась одежде — каждая женщина любит красиво одеться. Тешилась новой мебелировкой, Мисько раздобыл венгерский гарнитур, — ведь каждая хозяйка мечтает о домашнем комфорте. Потом спросила себя: а на что такая пышность, если к нам никто не приходит? Мисько провожал меня, разодетую, на концерты, но только тогда, когда вел программу сам, — чтобы я была свидетелем его успехов. И я наконец их оценила... Эга его эрудиция, которой он когда-то меня оглушил, умещалась буквально в нескольких десятках фраз, которые он где надо и не надо однообразно повторял, не меняя ни одного слова. Я все это выучила наизусть и от этого не стала ни на йоту умнее. Спрашивала себя: для чего мне эта одежда, если не приходится бывать среди людей. Даже в театре я сидела отдельно, в ложе, как манекен на витрине.

И эти свиньи, свиньи, свиньи, которых кормила приходящая домработница Каська, а продавал на рынке Каськин муж!..

А дома — ни одной книги, только буклеты с видами европейских столиц, магнитофон с записями шлягеров, проигрыватель и гора пластинок, персональный журнал старухи «Кобета и жице» и Миськовы «Шпильки» — единственные источники культурной информации в этом доме.

Вечер. У Миська — выходной.

— Мисько, приехали бандуристы из Киева. Пойдем... — просит Марта.

— Должен я отдохнуть, как ты думаешь? — учтиво отвечает Мисько. — Бандуристы, говоришь, приехали? Так у меня есть колоссальная запись.

Мисько включает магнитофон.

— Ну, так на речку... Я так давно не слышала щебета птиц.

— Щебета птиц? — Мисько удивлен: что за детские прихоти? — А кого ты там услышишь? Свистнет дрозд два раза, застрекочет сорока... Погоди-ка, я и забыл! Милая моя, мне когда-то подарили пластинку — на вес золота. Запись одного профессора-орнитолога. Всех птиц мира записал. Вот послушай.

Мисько достает пластинку, включает проигрыватель.

Входит старуха. Несет альбом семейных фотографий.

— Мартусенька, я нашла фотокарточку, которой ты не видела. Взгляни.

Марта видела уже все. Прежде всего портрет на стене гостиной: Мисько в позе Наполеона. В альбомах: Мисько на руках у мамы. Мисько на руках у папы. Мисько идет к первому причастию, Мисько — ученик первого класса гимназии. Второго... третьего... Мисько на коне в казацком строю с саблей на боку. Мисько в гриме Назара Стодоли. Играть не играл, но загримировался для снимка. Мисько произносит речь у рампы...

— Ты только обрати внимание, Мартуся, какой у него взгляд, какая незаурядность — это наш Мисько!

Мисько здоровается с выдающимся поэтом, проведшим Город, Мисько выжимает штангу, Мисько в боксерских перчатках.

Все Марта видела. И не один раз. Но этой фотографии — еще нет.

— Мисько на ночном горшке. Какой милый!
Старуха вытирает слезы.

Мисько лежит на кушетке, читает «Шпильки». Изредка громко хохочет. Самые пикантные анекдоты зачитывает вслух. Иногда встрепенется — это когда натывается на фотографию полуголой девицы.

Показывает маме и жене.

Старуха считает деньги. Вздыхает: мало. На машину еще надо тужиться и тужиться.

— А ты знаешь, мама, я протяну эскалатор — с первого этажа на второй, — изрекает Мисько из-за «Шпилек» новую идею.

— Ой, не говори: денег нет.

Мисько достает из тумбочки трехпроцентную сберкнижку, заглядывает в нее.

— Протяну. Такой, как в киевском ЦУМе. Только поменьше.

Старуха зачитывается новым номером «Кобеты». Чигает долго, вздыхает, мизинцем потирает уголок глаза.

— О, прошу вас! — презрительно сжимает смор-

ценные губы.— Как пишут! А у нас, что — у нас? Какая новелла!.. Прекрасная, просто чудесная. Не понимаю, почему наши писатели не умеют так писать...

Протягивает журнал Марте.

Невестка читает заглавие, фамилию автора и непонимающе смотрит на свекровь.

— Это же перевод, мама. Автор — киевский новеллист. Его книжки продаются и у нас. Только у нас нет денег на подобные расходы.

Старуха в замешательстве.

— Все равно в переводе новелла звучит лучше...

— Вы же не читали оригинал.

Со стены смотрит орлиным взглядом «Наполеон Бонапарт».

Живой Мисько Два Пальчика уже сопит, накрыв «Шпильками» лицо.

...— Я просила разрешить мне учиться на филфаке — заочно. Нет. Мисько в силах обеспечить семью. Еще учительницы не хватало в доме... Сказала, что пойду на работу. Куда — на завод?! Жена сына адвоката — на черную работу? Позор...

А время шло, проходили месяцы, годы, и я начала чувствовать, как меня засасывает эта жизнь. Ведь что, собственно говоря, мне еще надо? Все есть! И машина будет, разве это плохо? Мы на ней будем ездить к морю... Мне в конце концов стало нравиться сидеть в ложе. И вдруг наступило просветление...

Этот свет, которого когда-то так ждала Марта, загорелся на сей раз в ней самой и пробудил ее от медленного угасания.

«Нет, нет,— обрадовалась она,— так будет не всегда. Дом, слава богу, достроен, а детский плач, лепет растревожит тишину в этих глухих стенах, улыбка ребенка согреет наши сердца, и мы станем человечнее, ближе к людям, более похожи на них».

Вчера перед сном призналась мужу. Он не ответил, наверное, уже спал. А сегодня утром за завтраком, не отрываясь от тарелки и что-то жуя, проговорил:

— Тебе снова надо пойти к врачу.

— Что, что?! — вскрикнула Марта, и весь мир для нее вдруг стал фиолетово-синим, как опухоль.

— Ты не поняла? К врачу пойдешь,— повторил Мисько, не поворачивая головы.— Сперва купим машину, а потом уже...

— Я пришла к вам, Галя. Я ничего не умею, но все равно — помогите устроиться на завод. Какую угодно работу дайте, а потом буду учиться. Квартиру найду сама...

— Хорошо, Мартуся,— проговорила Галя.— Вы мудро решили. А о своем неуменье не беспокойтесь — не боги горшки обжигают.

ГАЛЯ

Она стояла на том же самом месте, кран снова пронесся над ней. Марта, занятая работой, больше не выглядывала из кабины.

Ах, да... Ей нужен диспетчер сборочного цеха. Десять машин надо сегодня упаковать и отправить. Но ведь она же стоит у сборочного... Поискала глазами диспетчера. Его нигде не было видно. Ничего. Подождет. Да и Вадима Ивановича еще нет...

Вспомнила исповедь Марты, и ей стало неловко, что в ее мысли вплелся и этот Мисько.

Но что поделаешь — жизнь в будни не такая, как на празднике любви. В ежедневных хлопотах чувства притупляются, утрачивают щемящую остроту. Пылью забот и времени покрывается воспоминание о первой вспышке чувства, и если не избавиться от нее вовремя, то может случиться так, что она вьется в душу, и покроется та серой коркой равнодушия.

Было ведь такое и у них с Андрием. Через два года после знакомства. Андрей тогда уже работал во Львове в геологоразведочном институте. Галя заканчивала политехнический.

Когда Андрей еще жил в Долине, они встречались изредка и, оба истосковавшиеся, отдавались при встречах только любви. Тут же пришлось делить будни и в буднях узнавать друг друга. Галя жила в общежитии, но была хозяйкой и в его холостяцкой квартире. Без брака стала ему женой. И вот с какого-то времени она

начала вдруг замечать непонятную для нее перемену в Андрие. Из ласкового, уравновешенного он превращался все больше и больше в нервного, замкнутого, раздражительного. Знала: все это началось еще в то время, когда она впервые с ним выехала на нефтеразработки. Как никогда Андрий тогда был уверен, что наконец-то найдет новый сорт нефти. По его окончательным расчетам, это должно произойти. Но опять пошла обыкновенная — черная. Неверно составил структурный план, мала ли глубина или вообще ее, черт возьми, нет?

Сначала по этому поводу даже шутил, называл себя Дон Кихотом, но упорно, на протяжении года, он вел теоретические моделирования в институте, иногда выезжал на разработки и каждый раз возвращался все более неудовлетворенным. Сетовал, что засиделся, что его место не в кабинете, а в поле...

Галя просила, чтобы брал ее с собой в экспедицию. Пусть она ничем не поможет, но у него хоть будет с кем поделиться. Андрий молча выслушивал Галины просьбы и уезжал один. После возвращения прибегал к ней в общежитие с таким видом, будто век не видел ее, но проходило немного времени — и он снова мрачнел, замыкался в себе.

Галя доискивалась причин. Разлюбил? Нет. В этом была уверена. Заскучал? Возможно. Может, ему действительно надо поехать куда-нибудь далеко, чтобы потом с тоской возвращаться к ней. Но оживлять любовь разлукой тоже вечно нельзя...

— На этот раз я поеду с тобой, — сказала Галя, когда он собрался на две недели за Карпатский перевал.

— У тебя же дипломный проект...

— Я закончила. До защиты еще много времени. Поеду с тобой.

— Тебе там нечего делать...

— Ты остываешь, Андрий. Я боюсь за нас. Как так — нечего делать? Мне до всего должно быть дело, до всего, чем ты живешь. Как и тебе — до меня. Я поеду лишь для того, чтобы проверить: нужны мы друг другу или нет. Андрий, тебе кажется, что ты отчуждаешься от меня только в работе, но ты забываешь, что в работе проходит почти вся наша жизнь.

— Ах, оставь меня в покое... Поезжай, если хочешь.



ВТОРОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Служебный автобус мчался к Буркутскому перевалу, чтобы засветло проскочить его и добраться до места новых работ. Андрей сидел впереди, сзади Галя и молодой инженер Марко со своей неразлучной гитарой.

По правой обочине шоссе шла девушка. Услышав рокот мотора, она остановилась, подняла руку, видимо, ей очень надо было поскорее очутиться на перевале. Андрей кивнул шоферу, чтобы остановился.

Двери открылись, девушка встала на ступеньку

и заглянула внутрь. Внимательно оглядела людей, сидевших сзади, за связанными палатками и рюкзаками. Буйночубый парень с гитарой развалился на сиденье, положив ногу на ногу; рядом с ним слева сидела загорелая женщина с длинными, спадавшими на плечи густыми волосами. Девушка заметила, как большие, зеленые глаза женщины вспыхнули добрым блеском...

— Какая славная! — воскликнула Галя.

Девушка благодарно улыбнулась, она хотела пройти в конец автобуса, но напротив, возле ступенек, стоял, нагнувшись, мужчина с рыжей шкиперской бородкой и пристально всматривался в ее лицо. Девушка подняла голову и увидела, как его серые глаза вдруг потемнели, словно вобрали в себя черноту ее взгляда.

— Вы куда едете? — тихо спросила она.

— На Байкал, — серьезно ответил Андрий и показал ей место у окна. — Слышите, на Байкал! — Голос его звучал раздраженно, будто он бросал вызов. — На трассу из тупика!

— И мне туда, — в тон ему ответила девушка.

Галю больно поразил этот его тон — словно приготовленный для нее свадебный подарок Андрий передает кому-то другому. Она обхватила голову ладонями и заслонилась русой завесой волос.

Девушка заметила это, смутилась и тихонько присела у окна.

Не співайте мені сеї пісні,
Не вражайте серденька мого,—

завучал баритон Марка под надрывные звуки гитары.

— Не надо, Марко, — прошептала Галя.

— Не буду... Хэ, Байкал — подумаешь! Я там месяцами скучал, попивая чешский портер и закусывая...

— А я не доеду. Мой билет передали другому пассажиру...

— Глупости, он даже не смотрит на нее.

— Да разве я про нее... Я — о нас обоих...

Андрий, должно быть, не слышал их разговора, потому что не реагировал никак на слова Гали.

Автобус вырвался из темной лесной полосы, сноп

света упал через ветровое стекло на переднее сиденье, отделив Андрия и девушку от Гали и Марка.

Они не разговаривали. Андрий только время от времени поглядывал на свою соседку, будто удивлялся ее красоте.

— Ты сидел рядом с ней, как тюлень, хотя бы заговорил. — сказала потом Галя Андрию.

— Я разговаривал все время. Молча. Но не с ней — с тобой. Или с самим собой.

— О чем?

— Когда-нибудь расскажу...

Когда-нибудь он уже не успел рассказать. Только из предыдущих разговоров с Андрием, только анализируя тогдашнее его настроение, Галя может догадываться, о чем он думал. Вероятно, это было так...

Автобус несся, не притормаживая на крутых поворотах, девушка затаив дыхание смотрела в окно — за белым частоколом придорожных столбиков проваливались в бездну леса и горы, и в этих провалах, будто ракушки на дне отвесных берегов, появлялись белые домики среди зеленых рифов черешневых садов.

Взгляд Андрия прикован к профилю девушки, но это не смущало ее, наоборот — придавало ей уверенность и чувство независимости.

«Вы впервые тут?» — заговорил наконец Андрий.

«Почему же впервые? Я еду к тетке на омуля...» — с издевкой сказала она.

«В самом деле?..» — Андрий зажмурился. Ее черные глаза, как только она ступила на подножку автобуса, запечатлелись в его сознании, словно на фотопленке. Это было удивительное ощущение. Он все время перебирал мысленно детали ее внешности: коротко остриженные, до половины уха, волосы, черную челку на лбу и полные, пересохшие от жары или от волнения губы. Это был облик незнакомой девушки, а вот глаза ее... Когда он зажмуривался, то видел их, узнавал, но не мог вспомнить, где видел их, встречался раньше.

«Да, да... Мы сейчас проскочим через сорок туннелей, а когда позади нас останется Саянский хребет, мы увидим внизу огромный глаз земли, синее синевы неба, холодный и тихий, и тогда остановимся, чтобы посмотреть на это чудо природы издалека и осознать его

красоту еще до того, как сможем прикоснуться руками к непорочной глади озера».

«А когда уже съедем вниз и взбаламутим байкальскую воду, вы, успокоившийся и более прозаичный, расскажете, как пропадает в Байкале омуль, как мелеет в нем вода и что делают наши ученые, чтобы сбереечь, продлить его неповторимую красоту, а потом запоете известную песню и будете объяснять тоном образованного знатока, что баргузин — это не реликт какого-то таинственного племени, а обыкновенный восточный ветер. Правда?»

Девушка внимательно посмотрела на попутчика: он был длиннолицый, со щеточкой русых волос, серые глаза были решительные и упрямые, она подумала, что такие люди всегда и во всем добиваются победы, и это ей понравилось.

«А что ж, — спокойно ответил Андрий. — После первого потрясения красотой неминуемо приходит проза познания. Плохо только, когда в одном случае человека сопровождает фальшивая экзальтация, а в другом — скепсис пресыщения».

«У вас только что был фальшиво экзальтированный вид. Как и тогда, когда воскликнули: «На Байкал!» А у меня, должно быть, деланно опытный. Нам следовало бы поменяться местами в нашем диалоге, и тогда тон разговора был бы естественным. Мечтательница и практик... Так, очевидно, и есть... Вы были на Байкале? Расскажите, без экзальтации и скепсиса, а просто как вы его видели».

«Как я его видел?.. Как я его видел? Было ли это?»

Дорога вползла в ущелье, в автобусе стало темно, светлый круг, который освещал было переднее сиденье, погас.

— Марко, о чем ты говоришь? — слышался в автобусе приятный, бархатный альт Гали. — Какая-то ничего не значащая фраза могла бы испортить мне настроение? Я не потому...

— Поэтому, поэтому... Ты же сама сказала.

Галя натянуто засмеялась:

— Все это глупости, Марко.

— А любовь?

— Любовь тоже изнашивается — как подошва.

Мощные звуки гитары мгновенно заглушили реплику Гали, Марко запел:

У чорную хмару зібралася туга моя,
Огнем-блискавицею жаль мій по ній розточився...

Он вдруг умолк и сказал умышленно громко, чтобы услышал Андрий:

— Галя, не корчи из себя слишком многоопытную... Скажи только одно слово, и я увезу тебя. Мне там знакомы все стежки-дорожки. От Селенги до Ангары. И мы бы нашли то, что ищем так долго тут.

— Милый Марко, брось...

— Да, да, я нашел бы. Для тебя...

...Автобус вырвался из ущелья, и снова сноп предзакатного солнца упал на Андрия и незнакомку.

«Это очень талантливый парень. Работает у меня инженером, — сказал Андрий. — Этот Марко, знающий бесчисленное количество песен и сам импровизирующий под гитару свои мелодии на слова Леси Украинки, — только он один еще верит, что мы найдем тут белую нефть. Что это такое? Это конденсат, залегающий в глубинных пластах в парогазообразном состоянии. На поверхности превращается в жидкость. Достигает уровня бензина. Его нашли уже на Яве, потом в США, а мы ищем у себя... А эта сникшая девушка — моя нареченная. Должно быть, наскучил ей Марко своей настойчивой и достаточно несерьезной любовью».

«Откуда вы можете знать — серьезна она или нет?»

Андрий промолчал. Он удивлялся, что свет глаз соседки так четко запечатлелся в памяти — словно был все время, всегда. И подумал: будет жаль, если это когда-нибудь исчезнет.

«Я вас спросила, были ли вы на Байкале?» — напомнила девушка.

«Однажды в этих горах, — заговорил Андрий, будто не слышал вопроса, — мы бурили пятикилометровую скважину — искали эту самую нефть... Как-то я поздно возвращался на квартиру, которую снял у молодой вдовы. Женщина эта была удивительно скупа — таких редко встретишь на Гуцульщине, — какая-то нелюдимая, никто к ней не приходил, и меня кормила постновато. Я уже собирался сменить квартиру... Ну, так вот

возвращался я и гумал о том, что хозяйка сейчас станет ворчать, что поздно пришел, как вдруг возле ручья неподалеку от хаты вдовы я наткнулся на мужчину, который сидел на берегу; нагнулся — мужчина был в погнутости, я хотел было его обойти, но он заговорил: «Извините, я не очень пьян, иду от кума своего в Затынку, и черт меня попутал. Вижу, что не найду дороги, а ведь ночь... Пустите меня переночевать». Трудно мне было это сделать, но ведь не оставишь же человека ночью под открытым небом, и я повел его... Спозаранку я снова ушел на объект — гость еще спал на лавочке. Когда же я вернулся, то так и оторопел от удивления: скупая хозяйка принесла целую миску вареников, поставила на стол бутылку водки, и не успел я еще и рта раскрыть, как на пороге появился одетый словно с иголочки мой приблудившийся незнакомец и сказал, смущенно потирая ладонью лоб: «Вот видите, никто не знает, где его ждет беда, а где счастье».

«И вы увидели радость на их лицах и праздничность...»

«Я бы не сказал. Наоборот... Мне показалось даже, что они уже успели поспорить — так победно вдовушка секла его глазами — и теперь пьют при мне мировую. Жизнь — удивительная штука: и в своей поэтичности, и в будничности».

«Байкал... — прошептала девушка. — Тайга водоподом ринется в темно-синюю глубину, в бездонность опрокинутого неба... А на берегу в ларьках продается омуль — свежий и с душком. У каждого — свой Байкал... Я недавно в Яблунце присутствовала на товарищеском суде. Рассматривался иск немолодой уже женщины к ее соседу — тоже немолодому человеку — за то, что он возвел клевету, будто она ведьма: портит, мол, женщин, отбирает у парней силы, даже коров лишает молока. Представляете, в наше время! Тени забытых предков... Суд, конечно, помирил их, пристыдил, они вышли вместе из сельсовета, и я услышала, как сосед-враг сказал соседке-врагу: «Не скажу больше ни слова на людях, только теперь тебе: все ты высушила во мне, седая ведьма, все — и молодость, и стыд, и гордость, а мне хотя бы капельку, хотя бы капельку на старость отдала, только бы утолил жажду своей душой».

«Еще неизвестно, что ценней, — сказал Андрий, — сама любовь или тоска по ней...»

«Вы часто говорите о Байкале?»

«Часто? Никогда... Это Марко. Я там не бывал...»

«А может, забыли?.. Вы для кого-то обдумывали это, неужели для меня? Гм... А я, наверное, именно в тот момент грезил о непостижимом чуде, о той тайне и мечте, что называется Байкалом. Поэтому так спокойно, будто давно была готова к этому, ответила вам в тон...»

«Вы сентиментальны: почему — непостижимое, почему — тайна, почему — мечта? Это же не озеро Титикака, не Ниагара, а наш Байкал. Нужно только взять билет на самолет или на поезд...»

«Итак, мы наконец определили место каждого в нашей беседе. Вы — практик, я — мечтательница. Ну и пусть... Ну, а если я скажу: «Давайте поедем».

«Сейчас?»

«Конечно».

«Но я же на работе. Я могу только после экспедиции».

«Такие дела не откладываются. А вы твердите, что это так просто, что Байкал — не мечта и не тайна».

«Я не говорил — со мной. Я имел в виду саму возможность...»

«Но Байкал — это только с вами. И туда сегодня позвали меня вы».

Андрий крепко стиснул веки, и снова перед ним были странно знакомые глаза девушки.

«А знаете, когда вы рассказывали об этом своем приключении, я закрыла глаза и увидела самое себя. Вам так не случилось — почувствовать другого человека так, будто себя самого? Слиться с ним в мыслях?»

«Случалось! — шевельнул Андрий пересохшими губами. — Когда увидел девушку, с которой должен... в которой хочу поехать на Байкал».

«Это вы обо мне или о ком-то другом? Если обо мне, то давайте договоримся: вы будете для меня таким, словно до сих пор самостоятельно еще не жили. Во время нашего путешествия, а оно может быть долгим, вы не вспомните ни разу о белой нефти, которую найдет без вас Марко, — я ведь всего этого не понимаю, не хочу понимать. Я никогда не увижу в вашем взгля-

де отблеска больших, как озера, глаз. Вы никогда не захотите погладить длинные русые волосы, которые спадают на плечи, потому что у меня таких нет. Вы будете заново открывать свой мир — со мной и во мне».

«Вы жестоки. Это невозможно — забыть все!»

«А разве не жестоко будет, когда в мой мир, а я ведь только начинаю жить, вы будете вносить свою тоску, свой опыт, своих людей, от которых никогда не сможете освободиться. А я буду вашим слушателем, исповедником...»

Мотор начал работать на первой скорости — автобус брал перевал. За зубчатым частоколом белых столбиков, далеко внизу, сбежались к реке домики небольшого села.

«Вот где мое начало мира, — кивнула головой девушка. — А ваше аж за хребтом, правда?»

«Да, но только не начало».

«Но ведь и не последняя остановка».

«О нет, еще рано... Но почему вы так категоричны? Если бы эти ваши требования стали вдруг правилом для всех, люди никогда не могли бы сблизиться».

«Это правда. Но когда слишком легко сближаются, то вряд ли всплывает у них хоть раз в жизни мечта о Байкале. Как знать, что ценнее — сама любовь или тоска по ней. Так вы сказали?.. Ну, я уже дома. Остановите машину».

«Подождите... Мы рассказали друг другу истории, свидетелями которых был каждый из нас. Случайное счастье и горе, порожденное целью причин. Как же поступить, чтобы обойти горе?»

«А это еще надо знать — кому счастье. Тому заблудившемуся, которого запрягла скупая вдовушка и, может, к этому времени вытравила в нем способность любить людей и ее самое, или клеветнику, который до смерти любит?»

«Что толку от этой любви, если она обернулась мукой?»

«А разве велико то счастье, что досталось людям так просто, что его даже не заметили».

— Галина Васильевна, вы меня ищете? — вывел Галю из задумчивости мужской голос. Перед ней стоял диспетчер сборочного цеха.

— Вас, а то как же. Идемте к машинам. Вадим Иванович там?

— Только что пришел.

Кран, без остановки курсировавший вдоль цеха, снова остановился.

— Галя, — высунула голову из кабины Мартуся, — вы сегодня заняты после работы?

— В театр пойду, на репетицию... А ты тоже приходи. В семь.

— Я? Зачем?

— Да так, развеешься. А может, роль тебе дам.

— Ну, такое скажете... — Кран медленно поплыл назад, Марта выглянула еще раз. — Хорошо, я приду — посмотреть.

МИЗАНСЦЕНЫ

Вчера вечером Нестор упаковал свои дорожные вещи в портфель и уже собрался было выйти из номера — он уладит в Киеве неотложные дела и сразу же вернется в Город, — но в эту минуту в его памяти всплыл трехэтажный дом на бывшей улице Розенберга, опоясанный полоской коврового узора из голубого кафеля, и Нестор подумал, что не может уехать, не увидев места, где стояла, а может, стоит и до сих пор керамическая школа, которую фашисты превратили когда-то в страшный гестаповский застенок. Что сейчас там — школа или жилой дом? Возможно, в скверике перед входом цветы? Хотя там от крови должна засохнуть любая зелень и даже семена одуванчика и спорыша не смогли бы прорасти. А может, там пустырь? Лучше — чтоб пустырь...

Утром Нестор шел безлюдными улочками, со щемящей болью всматриваясь в ту сторону, где должен был возвышаться над домиками белый дом, опоясанный узорчатой голубой каемкой. Он увидел его издали и ускорил шаг.

Ну что, что может быть там, где погибло в муках столько людей? Почему не разрушили его — это белое снаружи и черное внутри здание? Как может там кто-то жить или работать, если в каждом камне, в полу,

в углах, в потолке застыли стоны пытаемых и впиталась живая кровь? Нестору показалось кошунством само существование этого дома в зеленом, добром Городе...

Он со страхом подходил к нему. Еще издали увидел табличку с золотой надписью, приблизившись, прочитал: «Городская фармацевтическая фабрика». Нестору стало легче: нет, не живут тут люди, не спят, не шепчут слова любви, не начинают и не рожают тут детей, не звучат в праздники здесь песни, не пьют вино...

Двери были закрыты — еще рано. Вот сюда его, Нестора, привели, толкая в спину прикладами. А вот зарешеченное оконце подвала... Тут... тут умирал Гарматий и плакали над ним Страус и Стефурак, тут замолкли последние слова песни про кониченька... Заглянул внутрь подвала — он был завален пакетами до потолка. Что в них — лекарства? Наверное... А скоро, через час, придут сюда лаборанты, наденут белые халаты и начнут, как и каждый день, бороться за жизнь. Парадокс или закономерность? В обители смерти — битва за жизнь. Тюремь становятся больницами, музеями.

С удивительным чувством очищения, обновления, облегчения Нестор ушел отсюда и весь день блуждал по пригородным полям, обошел весь Город вокруг — как садовник свой сад весной. Все чисто в саду, сохранился сад, и черви, забравшиеся было в корни, и тля, упавшая на листья, и прожорливая гусеница издохли — значит, будет плод, и будет радость, и отдых от труда под сочными густыми кронами.

Под вечер Нестор пришел в театр, чтобы увидеть там Галю.

После работы Кость Американец еще раз встретился с Галей — в проходной.

— Галя, без преувеличения скажу, — это был первый полноценный день в моей жизни. Плана, правда, еще не выполнил, но приучил станок к послушанию, подтянул, отрегулировал и все-таки выточил несколько штампов. Наконец-то я устроен, и отсюда, сударыня, меня разве что вынесут... Да... Ты же обещала прийти на магарыч.

— Спасибо, Кость... Но в другой раз, хорошо? Мне

вечером на репетицию. Считайте, что я выпила за вас.

— Это как просил кум кума: «Приходите, кум, ко мне на обед». — «Большое спасибо, но я вроде бы уже пообедал». — «Тогда выпьем, кум, приходите». — «Спасибо, но я вроде бы уже и выпил». — «Ну, тогда я к вам приду». — «Но вы же вроде были уже у меня».

— Да нет, Кость, вы к нам заходите, — улыбнулась Галя. — А мне что там делать? Анеля ведь ждет не меня, а вас.

— Думаете? — прищурился Кость. — Ну, если так, то надо идти.

Американец, на этот раз впервые без банджо, переступил порог буфета на автобусной площадке, и не так шумно, как всегда, а тихо, скромно и солидно поздоровался с Перцовой.

— Вы такой праздничный сегодня, Кость, — проговорила Перцова. — Лицо у вас прямо светится, а вот костюм...

— Да я же с работы, Анеля...

— Сногшибательно! Неужели и правда вы стали этим...

— Одним словом, Анеля, я человек с положением. И думаю я... — Кость замялся, умолк.

А Перцова и не слушала, что говорит Кость, по старой привычке она подала своему постоянному клиенту пиво и закуску. Но, к ее удивлению, Американец сидел, сложив руки на коленях, точно скованный и совсем был не похож на прежнего неутомонного болтуна. К пиву и еде даже не притронулся.

— Что с вами, Кость? Какая-нибудь новая беда?

— Налейте и себе, Анеля, пива. И давайте по рюмочке крепкой. Я хочу отметить этот день, когда я впервые почувствовал себя, так сказать, хозяином в Городе. Садитесь...

Перцова принесла графинчик с водкой, еще один бокал пива, присела.

— За ваш завод, Кость! — подняла она бокал.

— Анеля... — снова замялся Кость. — Хочу вам кое-что сказать. Я каждый день прихожу к вам сюда питаться. Так не лучше ли было бы... — Он проглотил слюну и быстро выпалил: — Так не лучше ли было бы, если бы вы мне готовили у себя... у нас дома?

— Сногшибательно! — пропела Перцова, скептически смерив взглядом Американца.

Но вот ее взгляд остановился на вздувшейся пивной пене в бокале, что, брызгая попусту, быстро оседала. Перед глазами Перцовой вмиг пронеслась ее жизнь, как эта пена, бурная и в конце концов такая же пустая, потому что обошло стороной Анелю обыкновенное человеческое счастье. Она медленно поставила бокал на стол и раздумчиво, тихо проговорила:

— А почему бы, собственно, и нет?

Кость склонился над ее рукой, но она ее отдернула:

— Целование ручек, прошу меня извинить, сейчас не ко времени!

— Ах, Анеля, Анеля! — восторженно глянул на нее Американец. — Как вы на глазах меняетесь...

— А вы думали, что я уже такая отсталая, недалекая, да?.. Ну, ступайте, Кость, ступайте! Я дома буду в одиннадцать. Да не забудьте привести себя в порядок. — Она отвернула ворот сорочки Костя, провела пальцем по вылинявшему пиджаку и прижалась к его груди.

— Кость, Кость... Почему счастье пришло к нам так поздно?

Уже затемно к Перцовой зашла Копачева. Она в отличие от Августина обходила знакомых под вечер.

— Перцова, слышите, Перцова, — заговорила Каролина, едва вошла. — Я сейчас из театра. Перцова, чувствует мое сердце, будет свадьба!

— Типун вам на язык! Вы, Копачева, такая же, как этот... Ну, я ему задам! Не успел за порог выйти, как всем разболтал. Не будет свадьбы, я не так уж молод, чтобы фату надевать.

— Что вы плетете? — устала на нее Копачева.

— Так ведь уже знаете что. Ну, сделал мне предложение Кость, ну, я согласилась. Так нет же — трубит по всему Городу! Ишь, свадьбы захотелось старому грибу!

Копачева опустилась в кресло и долго вздохнула, смеялась, а когда наконец успокоилась, пристально посмотрела на подругу и глубокомысленно произнесла:

— К Перцовой один раз в жизни пришел разум, да и то тогда, когда она его потеряла!



Помолчала, а потом медленно, как ребенку, который не сразу может уяснить все, что ему толкуют, объяснила:

— Я о вашей свадьбе ничегошеньки не слыхала. Костя и близко не видела. Заходила только что в театр и кого, вы думаете, там застала? Нашего Нестора. Не уехал-таки!

— Ну и что с того? При чем тут свадьба?

— А при том, что сегодня он не на ваши вареники

посягает, а пришел в театр, чтобы встретиться с Галей. Из-за нее и остался, вот что!

— Сногшибательно!.. Правда, может быть свадьба... Ой, даже две! — Перцова схватилась за голову. — Но где же я наберу столько денег? У себя гостей принять, все-таки не так уж и стара, подарок молодым купить... Разорение, Копачева, чистое разорение!

— А вы перстень продайте.

— О, чего нет — того нет, — отрезала Перцова. — Этот перстень счастья никому не принесет.

Они долго еще сидели — тихие, умиротворенные. Перцова — озабоченная своей судьбой, Копачева — мечтой о счастье Гали и Нестора.

— А знаете, — сказала наконец Перцова, томно закатив глаза. — Кость — моя первая и последняя любовь.

— Гм... — подавилась Каролина смехом. — Что последняя — это да. А первой, извините, сударыня, вы и сами не помните.

Марта сдала смену и заторопилась в гардероб. Переодеваясь, взглянула на себя в зеркало.

«Нет, еще не заметно, можно пойти и на люди, — решила она, вспомнив о приглашении Гали. — Надо пойти. Я же когда-то мечтала... Конечно, роль брать не буду, но хоть посмотрю...»

В памяти всплыли школьные годы, драмкружок, дебют на сцене актового зала в роли Наталки, скандирование ребят-старшеклассников, ободряющие улыбки учителей.

«У тебя, Мартуся, есть сценические данные, — сказал потом учитель литературы, — только надо их развивать. Не забывай, когда поступишь в вуз, что и там существуют драмкружки. Не думай, что все актеры и певцы учились в специальных учебных заведениях. Гмыря кончил сперва инженерно-строительный институт, Мордюкова пришла в кино из самодеятельности, Ларису Кадочникову режиссер перехватил прямо на улице, когда она шла с лекций домой, и пригласил на съемки в «Генях забытых предков».

Марта скромно отмахнулась, мол, куда мне до них, но художественной самодеятельности тогда не оставила и втайне мечтала о сцене до тех пор, пока ее мечты

не разбились о двухэтажную мещанскую цитадель в предместье — гнездышко Миська,

Содрогнулась, точно прикоснувшись к холодному слизняку, вспомнив длинные пять лет духовной тюрьмы. Но разве уже все пропало? Из зеркала смотрела на нее красивая женщина с испуганными, чуть подведенными глазами, Марта улыбнулась ей и, решительно махнув рукой — будь что будет, — вышла из гардероба.

Смелость покинула ее, когда она остановилась перед театром. Надо подождать Гаю, одной заходить неудобно. А может, Галя уже там? Протянула руку к дверям, но они открылись сами.

— Добрый день, — поздоровался учитель музыки, режиссер народного театра, тот самый, что остановил овации, когда Мисько устраивал вокруг Марты ажиотаж. — Вы к нам? Но ведь Михаила Аполлоновича нет...

— Вы же знаете, что я не к нему, — резко ответила Марта. — Зачем? Я хотела... Позвольте мне присутствовать на репетиции.

Режиссер смутился, виновато опустил глаза: нехорошо получилось, зачем было так говорить, все же знают, что Марта оставила Миська. Он засуетился, пытаясь загладить свою бестактность:

— Да вы входите, входите. Почему же нельзя? Даже надо. Я давно ищу кандидатов для второго состава. Галя играет Маклену, но она такая занятая. Пошлют куда-нибудь в длительную командировку, и что тогда? Вот и сейчас ее нет, а Падур ждет. Заходите... Заходите, не пожалеете. Вы будете репетировать в присутствии настоящего кинорежиссера... Вы не были вчера на премьере фильма? Жаль. Непременно посмотрите фильм. Не пожалеете, уверяю вас. Автор этого фильма сейчас здесь. Тоже хотел встретиться с Галей...

— Но я, — покраснела Марта, — я не могу играть. Вскоре... пойду в декрет...

— Ну и что из этого? Не думаете ли вы, что мы так быстро снимем с репертуара «Маклену Грасу»? Идемте быстрее. Наш Падур, врач Остролуцкий, торопится на ночное дежурство. Я подам вам несколько реплик, чтобы он мог повторить сцену около собачьей будки. Августин Гаврилович, свет! — крикнул режис-

сер, когда они с Мартой в потемках вышли на сцену.— Вот так...

Нестор, увидев незнакомую женщину, удивленно привстал.

— Только что звонила Галя,— развел руками режиссер.— У нее какие-то гости, и в театр она не придет. А я вот дублера привел. Вы, наверное, знаете адрес Стефурака. Но, если желаете, побудьте минутку на репетиции. Искренне благодарю... Марта, вы знакомы с доктором Остролицким? Чудесно. А-ну, Падур, залезайте в свою будку. Вы, Мартуся,— дочка бедного работника Грасы. Нежная, наивная, но начинаете осознавать классовую несправедливость. Потом Маклена станет борцом. А пока она еще берет урок у музыканта Падура... Вы подходите к будке и зовете своего любимого пса. Повторяйте за мной.

«Маклена. Ну, почему это так, Кундя? Почему мне показалось, что я смогу достать денег?..»

Падур. Осторожнее с душевными тайнами — тут, кроме собаки, есть еще и человек.

Маклена. Ой! Кто там?

Падур. Я! Мировая субстанция,— неумирающее — Я!

Маклена. Ах, это вы, тот, что играл на дудке перед паном Зарембским?»

— Ей-богу, хорошо! — хлопнул в ладоши режиссер и посмотрел на Нестора.— Правда?

— Естественно, во всяком случае. Работать стоит,— вежливо ответил Нестор, а лицо его было спокойным.

— Августин Гаврилович! — крикнул режиссер.— Свет на Маклену! Слышите? Где же вы, Августин?

Но Копача в прожекторной будке не было. Куда же это он вдруг девался?

В это время за кулисами послышались голоса. И на сцену вышел Августин, за ним — композитор Паламарский.

— Вы захлопнули двери и не слышите, а он под дверьми лялякает до-ре-ми...

— Вот что я скажу,— взмахнул рукой Паламарский, — я вынашиваю для вас музыку. Музыкальное оформление спектакля, уважаемый, гм... портье, — это его душа, а сам спектакль...

— Тело без души, — закончил за Паламарского Августин.

— Именно так, очень удачно сказано, уважаемый, гм... реквизитор... А-а, кланяюсь, — кивнул Паламарский, увидев Нестора. — Для нас большая честь! Вот, товарищи, партитура, я уже начал... — Композитор вынул из кармана нотную тетрадь. — Прошу взглянуть, режиссер... Нет, не вы, хотя я считал бы тоже за честь писать музыку и для кино... Взгляните, титульный лист вам о чем-нибудь говорит: «Маклена Граца» М. Кулиш. Музыка Паламар-Паламарского». Вас удивляет, что моя фамилия стала длиннее? В творчестве я всегда увеличиваюсь, расширяюсь — становлюсь необъятным. Итак, вся моя музыка будет в тональности до-мажор. Утверждающая, возвышенная. Где ваше фортепьяно, режиссер? Ага, благодарю. До-ми-ля... кгм... Кто там мешает? До-соль-ми... Ну, кто там трубит? Вы что, не слышите? Кто там, у входа, подает скрипучее си, которое не является доминантой в моей музыке? Вы правда не слышите? Какой-то нахальный таксист сигналил перед самым храмом Мельпомены. Ре-ми-до... Да пойдите же, Августин, прогоните его, это он умышленно, это диверсия против искусства, это саботаж!

— Я не слышу, — проворчал Августин. — Гершкова лошаденка в ухо меня лягнула, когда я был маленьким.

— И вы работаете в театре?

На сцену вбежал Мисько Два Пальчика. Копач направил на него сноп света.

— *Viri illustri*¹, приветствую вас! — выкрикнул Мисько. — Августин, чуть меньше света. Достаточно... Да не отводите прожектор. Вот теперь хорошо. Любимые друзья! Хочу с вами поделиться большой радостью. Вы слышали, какой божественный звук? Лучшая нота в многоголосом оркестре нашего сегодня, труба прогресса, не дающего нам зачерстветь в серой прозе будней, гобой, зовущий в светлое будущее! Это сирена «Фиата». Милые коллеги, я наконец получил машину, так прошу вас выйти посмотреть и надлежащим образом оценить. Фотоаппарат есть? О-о, кого я

¹ Выдающиеся мужи (лат.)

вижу! Нестор, какое счастье, что ты не уехал. Я же тебе говорил! Завтра, пардон, послезавтра, едем в столицу!

Августин почесал в затылке.

— Ай-я-яй, я же поклялся Каролине, что сегодня не выпью ни рюмочки, что вчера выпил и за сегодня, а тут, как говорится, имеешь воз и перевоз...

— Уважаемый, кгм... кассир, — Паламарский поднял голову к прожекторной будке, — наш конференсье пьет только настойки из горных трав и еще ерш из кока- и пепси-колы. Так что вы сегодня придете домой трезвый и в отличном тонусе.

Копачу действительно было не до рюмки. Весь день он видел перед собой замученного гестаповцами Гарматия, плачущих над узником Нестора, Стефурака, Страуса. Да, чего-то не договорил старик, что-то должен был еще сказать, история эта будто бы с середины начата... Мысли не дают Августину покоя, ему кажется, что где-то существует ее начало, будто он сам пережил ее, но вот вспомнить не может. Хорошо, что Нестор не уехал, надо с ним об этом поговорить. Но как вызвать его на такой разговор? Может, и правда за рюмкой?.. Только разве же от такого, как Мисько, дождешься? Августин отвел прожектор, оставив конференсье в тени, свет упал на Марту, застывшую рядом с Падуром — Остролуцким.

Увидев Марту, Мисько сразу лишился дара речи. Он хватал ртом воздух, как рыба на берегу, и лишь через минуту смог проговорить:

— Марта! Ты — здесь?

— Здесь я, Михайло Аполлонович, — ответила Марта ледяным тоном, — здесь. Вам странно, что я среди людей?

— Нет, нет. — Мисько снова обрел дар речи. — Я рад, я безгранично рад, ибо, как говорил поэт, «подлинный талант — к славе...». Мартуся, я сам хотел тебе сказать, чтобы ты... Только не знаю, где живешь. — Он подбежал, пытаясь схватить Марту за руку, но она, высокая и грациозная, отступила назад. — Ты репетируешь Маклену? О, я никогда не сомневался в твоём таланте! Да! Любимая, я хотел тебе сказать, что все домашние хлопоты уже позади, я получил наконец «Фиат», или, как его называют, «Жигули» и теперь —

*pereat mundus fiat ars!*¹. Мы сможем отдать все свое время благородному служению искусству!

— Нет, уважаемый Михайло Аполлонович, поезжайте уж лучше без меня на своей машине сквозь тернии к звездам, как любите вы сами выражаться.

— Да, как говорится, скатертью дорога, — послышалось из прожекторной будки.

Мисько подошел вплотную к Марте и, приложив ладонь лодочкой ко рту, зашипел:

— Неблагодарная... Теперь ты на сцене, тебе дают роли. А кем ты была, пока не вошла в мой дом, колхозница? Кто бы знал о тебе, если бы я не забрал тебя из сельской глухомани в Город? Кто бы посмотрел на тебя, девку в юбке с фалдами, если бы я не вывел тебя в ту ложу — в платьях, шубах, золотых клипсах и кольцах! — Мисько говорил свистящим шепотом, его все слышали на сцене, и Марта от стыда закрыла лицо ладонями. — Кто это сделал — он? — бросил Мисько презрительный взгляд на Остролуцкого. — Вот до сих пор носишь мой браслет!..

— Да сгинь ты вместе со своим браслетом, погань! — послышался гневный возглас из прожекторной будки, и все оторопели, ибо никто еще никогда не видел Августина в гневе. А он уже спускался вниз. «Люди добрые, был же на свете Гарматий! Да что же он — за твои браслеты отдал жизнь?» Августин сошел на сцену, взял Марту за руку, отцепил браслет и направился к Миську. Тот попятился к кулисам, заслоняясь руками.

На помощь Миську подоспел Паламарский, он схватил его за плечо и толкнул впереди себя к выходу.

— Вот что я скажу: *finita la commedia*², как сказал великий Леонкавалло. Садись за руль и гони на всех парусах.

— *Voleps poleps*, — проговорил Мисько, на ходу поворачиваясь к Нестору. — Забери меня в столицу, коллега, ибо, сам видишь, мне нечего тут делать. Жизнь дала трещину...

Вслед Миську застучал по подмосткам сцены золотой браслет. Конферансье вырвался из рук Паламарского, нагнул, поднял вещицу и исчез.

¹ Искусство будет жить, если даже погибнет мир. (лат.)

² Комедия окончена (итал.)

Глухая тишина повисла в театре, только пучок света прожектора бесцельно блуждал по кулисам.

— Если бы я где-нибудь прочитал о таком негодяе, сказал бы: выдуманно, — нарушил первым молчание Остролуцкий.

— К сожалению, таких в книгах обходят, как пьяного посреди улицы, — произнес Нестор.

— В книгах... — поморщилась Марта. — В жизни обходят.

У парадного заурчал мотор. А через мгновение тишину прорезал скрип тормозов, потом что-то задрезало.

— Что случилось? — встревоженно спросил режиссер вошедшего Паламарского.

— Гром с музыкой в ре-миноре. Авария!

— Жив?

— А то как же! Конферансье вечен, — патетично провозгласил композитор. — Но даже и ему, как и всем нам, нелегко преодолевать тернии на пути к звездам. На первый раз он поплатился фарой и ветровым стеклом, не заметив такой мелочи, как газетный киоск на углу. Но впереди, скажу я вам, еще много умопомрачительных успехов и, конечно, досадных и неожиданных приключений у нашего незаменимого конферансье...

ГАЛЯ

Галя спешила домой, чтобы переодеться и успеть на репетицию. В душе теплилась надежда, что Нестор все-таки не уехал и придет в театр. Еще раз спрашивала себя все о том же... Нет, нет, не могла так внезапно прийти любовь! Но с нею произошло то, на что и не надеялась: пришла свобода от себя самой. Она освободилась от прошлого и от боли, угасшей и ставшей теперь лишь дорогим воспоминанием... Поэтому ей хочется встретиться с Нестором, чтобы он увидел ее — новую, не ту, какой была вчера.

И опять, в который уже раз сегодня, вспомнился ей пышночубый Марко, а в памяти так выразительно прозвучала песня, которую он любил петь в сопровождении гитары по вечерам у костра:

А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг...

ТРЕТЬЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Андрей был тогда растерян, но решительно сказал: «Собирайся, мы едем в экспедицию». Сама теперь удивляюсь своей смелости, я же видела его только второй раз, но не колебалась ни мгновенья, словно всю жизнь была готова к его призыву, будто с давних пор знала, что ко мне идет именно этот человек — идет издалека, упрямо, уверенно переступая через свое детство, юность: идет, палимый жгучей тоской по мне, через леса, пустыни, болота, а я лишь должна расти, созреть, умнеть и ждать. Это было долгое и сладкое ожидание. И он пришел. Как могла я не пойти с ним?

Папа Стефурак во взглядах на женскую свободу придерживался целомудренных галицких правил. Услышав о моем решении, схватился за сердце. Как так, ехать с геологами в экспедицию — в горы, с ночевками? Откуда ты его знаешь? Познакомилась на вокзале? И это говоришь ты, Галя? Он замахал руками, нос его побагровел, посинел, а я, такая счастливая и от счастья добрая, прижималась к нему, что-то ему говорила, утешала, обещала, и старик, взяв меня за плечи, проговорил, превозмогая спазму в горле:

— Господи, это что — наследственное? Ведь твоя мама так... так же точнехонько...

Мы выехали затемно поездом, потом до места добрались на грузовике — по проселочной дороге через Черный лес. Андрей был молчалив, я слышала от него только одно: сейчас или никогда он возьмет пробу белой нефти и в бутылке из-под «Московской» поставит ее на стол перед министром.

— Скажи, Андрей, ты тщеславен? — спросила я.

— Да. Только я жажду не рекламной славы с фотографиями в газетах и специальных журналах — это болезнь некоторых артистов и писателей. Моя слава — это — подтверждение моих возможностей самим фактом находки. Слава не на публику, а для себя самого — как доказательство способностей моего мозга. Неудача для меня — это не потеря ступеньки на лестнице моего роста, не материальная потеря, а большая досада на свою недееспособность.

— Я же еще так молода, Андрей, и мне страшновато идти в жизнь. Ты говоришь, а я думаю про себя: сумею ли я за свой век совершить что-нибудь большое...

— Все большое, все! — перебил меня Андрей. — Большое все то, что ты доказываешь своим умом. Белая нефть... Ее давно нашли за рубежом. Но я знаю, что где-то, среди тысяч месторождений, есть она и у нас, и я поклялся найти ее.

— Это твоя цель?

— Моя цель — искать и доказывать себе и людям, что мы можем безостановочно и бесконечно проникать в извилины собственного мозга. Кажется, если бы имел десять специальностей и три жизни, прощупал бы всю планету, каждый камень, и ставил на стол образцы: есть, есть, есть!

— В бутылках из-под «Московской»?

— И в консервных банках из-под бычков. Мы еще так мало знаем, так мало имеем! Мы с Марком, будто кони в упряжке, вот уже несколько лет где только не бурили! Его носило даже на Байкал...

— Ты горишь, Андрей...

— А ты желаешь тлеть?

В лесной чаще тут и там виднелись шпили вышек. Вдруг совсем недалеко над верхушками деревьев вырвался огромный язык пламени, и я вздрогнула от грома, потрясшего землю и лес.

— Что это? — спросила я испуганно.

— Не бойся — это факел. Пока скважина войдет в эксплуатацию, сжигают газ, чтобы не отравлял воздух.

Мы проезжали недалеко, и сквозь просеку видна была дуга вспыхнувшего пламени, вырывающегося из трубы рядом с вышкой. Мы чувствовали жар, пахло паленой смолой, на фоне огня виднелись силуэты буровщиков. Меня охватила непонятная тревога: огненный язык, казалось, высунулся из пасти твари, сидевшей где-то там, в подземелье, и рвущейся к людям, обезумевшей и разъяренной за то, что те посмели посягнуть на ее царство.

— Андрей, а бывали случаи...

— Я однажды был свидетелем, как один пассажир допытывался у члена экипажа, не разобьется ли самолет, который находился уже в воздухе. И тот ответил: «Если и разобьется, то лишь для того, чтобы избавить человечество от такого труса, как вы».

— Прости, Андрей...

Перед обедом мы въехали на утоптанную трактора-

ми, машинами и ногами поляну, посреди которой стояла нефтяная вышка. Навстречу нам вышли два парня в замасленных комбинезонах. Я узнала их. Это были те самые ребята, с которыми Андрий не успел меня познакомить на вокзале. Один, пышночубый шатен, оценивающе приглядывался ко мне, словно взвешивал, чего я стою, и меня смутил его цепкий взгляд, другой, смуглый, гладковолосый, с восточным лицом, распростер руки и воскликнул:

— Ай, джаным! Спасибо, что приехала. Наш Андрий совсем вышел из формы, а шеф не в форме — плохой шеф. Я — Анвар Саяр, сын узбекского народа!

— Быстрее, быстрее знакомьтесь, — торопил Андрий. Глаза его горели, я тогда впервые увидела в них тот блеск одержимости, что вспыхивал так же неожиданно, как и угасал, оставляя в них то детскую нежность, то неприступную тяжелую суровость. Он теперь не думал ни обо мне, ни о товарищах. — Анвар — наш инженер по обследованию скважин. А Марко — по аппаратуре... Ну, быстрее, быстрее говорите, черт вас возьми, что там?

— Продуктивный горизонт пробит, — доложил Марко.

— Пластоиспытатель опускали?

— Опускали. Черная...

— Что за чертовщина?.. Скажите, пусть бурят до проектной глубины. Или я сам... Дайте мне комбинезон. Не может этого быть. Должен пойти конденсат. По всем моим расчетам...

Андрий переоделся, кивнул мне:

— Ты располагай собой до вечера как тебе заблагорассудится. Хлеб и все прочее там, в кабине машины. — Он говорил это мне, как отец дочке, напросившейся с ним на работу, а теперь мешающей ему.

Но я не обиделась. Андрий всегда был таким же непосредственным; и когда забирал у меня недопитую бутылку и когда вбежал в мою комнату, испуганный тем, что я дала ему фальшивый адрес.

Я показала в сторону леса:

— Туда?

— Да, да. Там не соскучишься. Взгляни, какая вокруг красота. Ну, идемте, ребята, да побыстрее.

Я побрела по тропинке в извечный сумрак елей,

продиралась сквозь засохшие цепкие ветви; где-то далеко ревел факел, но вскоре он стих за стеной леса. Под ногами прогибался упругий войлок игольного настила, из него пробивались белый ряст и морошка, кое-где чаща становилась реже, и тогда из темного леса выходили к тропинке бледно-зеленые березы и ольхи, как девушки после купанья на берег. Я снова, как когда-то, остро воспринимала окружающую красоту, но в этот раз, отрешившись от себя, потому что сама слилась с природой, была частью ее, и эта красота была и моей красотой тоже.

Я забрела далеко, времени прошло уже много. Мне вдруг показалось, что этот Марко оставил работу и идет следом за мной — сопровождает меня своим беспокоящим взглядом. Нет, я не боялась беды, мне только не хотелось, чтобы кто-нибудь посторонний даже тенью становился между мной и Андрием. Я пошла назад той же тропинкой. Проходя просеку, увидела Андрия: он оглядывался вокруг, нервно щелкал пальцами и выглядел очень смешным. Я улыбнулась.

«Неужели это тот же самый человек, что несколько часов назад прогонял меня от буровой?» — подумала я.

Потом я привыкла к его импульсивности, к внезапным переменам настроения, хотя и не очень-то легко было привыкать: их, Андриев, было в нем десятки, сотни, объединяло лишь одно — естественность в любом положении.

— Андрий! — тихо окликнула я.

— Вот ты где, — проговорил он так, будто и не искал меня. — Хорошо тут, правда? А у нас снова неудача... Я еще до отъезда в Небит-Даг составил структурный план, его утвердили... Оконтурил наиболее вероятное место для закладки глубокой скважины. По всем расчетам должен был пойти конденсат... Ну, ничего, черная нефть — тоже золото, — стал утешать он себя. — Однако где-то тут она есть, знаю, что есть...

— Что делают ребята? — спросила я, чтобы переменить тему разговора. Мне сейчас не хотелось говорить о белой нефти. Я ждала: он подбежит, порывистый, пылкий, ведь он так жадно озирался, ища меня, но Андрий только на мгновение прижал мою ладонь к своему лицу, взял меня за плечи и повел по просеке вверх.



Потом я поняла: в моем присутствии он был спокоен, уравновешен, даже слишком. Иногда казалось — холоден, и мне не раз было обидно. Но как только отдалялся от меня — за работой или в поездках, — то как бы утрачивал точку опоры, и я часто замечала, как он панически боится остаться без меня. Такова была его любовь...

— Ребята? Готовят ужин... Это чудо-парни. Анвар пристал к нам в Небит-Даге. А Марко... Этот пришелся по душе еще в институте. Я был на пятом, он — на втором, после первого же разговора с ним я решил: как
6 Р. Иванычук.

только стану на ноги, возьму его к себе. И забрал — с третьего курса. В следующем году он будет защищать диплом — заочно. Этаким балагур, зато какая широта взгляда у парня! На все... Это растет мой конкурент, — улыбнулся Андрей.

— Вижу, очень любишь его.

— Мы необходимы друг другу... Но он пойдет дальше. Марко далеко пойдет.

Я слушала, а в мыслях выстроился вот какой ряд: Стефурак, Вадим Иванович, Андрей, Марко и я. Мы с Марком последние, после нас вскоре придут другие, но их еще не знают. Мы с Марком в самом младшем классе среди взрослых. За одной партией. Нет, не надо настораживать себя против него...

Мы шли под гору, обходя пни, натыкались на папоротники, и Андрей, вот так же между прочим, рассказал мне тогда эти две истории — о скупой вдове и о товарищеском суде; тогда я впервые услышала и его слова о любви и тоску по ней. Но осознала я их позже, когда он воскликнул в автобусе: «На Байкал!» Его всегда тянуло в неизвестное, потому что только в тоске он мог постичь цену тому, что нашел.

— Знаешь, — заговорил Андрей, — по этой просеке можно идти и не возвращаться. За ней дальше выются неведомые дороги, звериные тропки, и всегда впереди будет что-то новое...

Я молчала и слушала, ибо уяснила уже тогда: он до сих пор никому еще не признавался в том, что его безостановочно гонит по жизни неудержимая тяга к познанию неизведанного.

— Вот станешь на вершине горы, — продолжал он, — а видишь другую. И тебе хочется утвердиться еще и на ней. Именно так — утвердиться. Я не понимаю туристов, которые всюду и все фотографируют, мучат своих спутников, заставляя их становиться в позы на эффектном фоне... Дома у них разбухают альбомы от фотографий, стеллажи наполняются туристскими буклетами, а другие просто удовлетворяются этими копиями живого мира, и им кажется, что и они видели это все знают...

— Но ведь надо кое-что и зафиксировать...

— Конечно — для науки, искусства... Но для себя самого — к чему эти эрзацы?

— Чтобы вспомнить потом, детям показать. Не надо впадать в крайности, Андрий.

— Дети пусть сами приучаются к путешествиям, а не сидят перед телевизорами и за альбомами. Потом вырастают из них такие книжные мудрецы: все им известно, хотя ничего и не видели. Да, боже мой, можно и фотографировать, даже нужно... Но путешествие — не коллекционирование впечатлений с целью похвальбы: вот где я побывал! Для меня поездка прежде всего проверка: живет ли во мне человек — крепкий, цепкий, пытливый? Конечно, я не могу всего объять, но когда мне удастся хотя бы малое, то это удастся не только мне — всему человечеству. Я понимаю Магелланов, Маклаев, Санниковых... Вот Тур Хейердал дважды устремлялся в путь на папирусном судне. Во имя чего? Для утверждения человеческого в человеке, и ничего больше.

— С этой целью ты так упрямо ищешь и белую нефть?

— Возможно... Я не экономист. Не знаю, как с ней обойдутся, если все-таки найду ее. Может, она не так уж и нужна. Но я за то, чтобы каждый человек что-то искал и что-то находил. Хотя бы маленькое: новый минерал, живительный родник, свежее слово, мысль, образ, картину. Чтобы человек выявил в другом его способности, возможности, чтобы ребенка воспитал, механизм усовершенствовал, песню сложил. Я не терплю ученых, почерпнувших знания только из чужих книг, этих всезнающих снобов, которые к человеческой мудрости не сумели прибавить ни капли своей, этих знатоков с кислыми минами, этих мешков с информацией... А-а, хватит. Белая нефть... Белая нефть — это символ.

В мою душу закрадывалось сомнение. А кем я буду для Андрия в жизни? Исповедальницей, слушательницей его категоричных сентенций, с которыми не буду согласна? Его тенью? Но ведь и у меня должно быть нечто свое, что не должен вытеснить мир Андрия. Иначе я стану неинтересной и ему, и себе самой. Во мне тогда впервые зародился протест против его силы, властности, и если я сегодня чего-то достигла, то только благодаря этому. Я испугалась, не захотела стать лишь пристанью, к которой возвращается корабль из штормовых рейсов...

Андрей остановился.

— Возвратимся, Галя... Все равно не дойдем до края земли. Я тебе такого наговорил... Я сам, веришь ли... Сам себе я всегда кажусь тем маленьким мальчиком, которого папа ведет за руку на косовицу в поле. Мне интересно с ним идти, потому что там я увижу что-нибудь новое и удивительное, а вместе с тем хочется вырвать руку и бежать самому...

— Мне минуту назад именно так же хотелось вырвать свою руку...

— Мы взрослые дети. И хорошо, если будем ими долго. Не терплю юных дедушек и бабушек.

— Ты эгоцентрист. Все измеряешь радиусом круга, в центре которого — ты.

— Чувствуется третий курс политехники! — засмеялся Андрей и сразу посерьезнел: — А как же иначе? Ну, как иначе?

— Но ведь можно и ошибиться иногда в собственных размерах...

— Ошибаются эгоисты, а не эгоцентристы. Все мы эгоцентристы, однако живем не одни, не в скорлупе. Вокруг люди, друзья. Сотни, миллионы человеческих орбит, и все они удивительно гармонично переплетаются, пересекаются, все зависимы друг от друга, словно небесные тела.

— У тебя всегда есть друзья?

— Всегда хочу иметь их. Без них человек становится эгоистом и словно блуждающая звезда, что выбилась из космической гармонии, — непременно разобьется.

Мы возвращались к скважине. С поляны доносился протяжный тоскливый звук свирели. Хотя нет, голос свирели легкий, нежный, а это — будто кто-то кого-то зовет, просит отозваться, кричит.

— Что это? — спросила я.

— Узбекская флейта — най. Это Анвар разговаривает с кызылкумскими песками, с садами Ферганы. Так и я, только молча, тосковал по тебе...

— Ты же меня не знал...

— Знал, Галя, — Андрей остановился. — Я чуть не забыл тебе сказать: я люблю тебя.

— Разве обязательно говорить? Ты... поцелуй меня.

Тихо дрожал звук най. Очень тихо. Но его так отчетливо было слышно, словно эта дрожащая мелодия

звучала где-то тут, рядом, на краю просеки — среди стволов елей. Опускались сумерки, шумели вершины деревьев, где-то внизу журчал ручеек, перекинулись сонные птицы, а небо еще ясно, простреленное последними лучами солнца, и во всем этом шуме, перекличке птиц, сверканье неба жил, как дыханье, этот звук, принадлежавший мне уже давно.

Андрей нагнулся ко мне, его губы шевельнулись, он что-то сказал, но я слушала лишь звук ная, которым он звал меня давно и теперь. Я спросила:

— За что ты меня любишь? За то, что красивая?

— Да...

— И все? А не будет ли этого потом мало?

— Мало? Красоты, если она настоящая, никогда не может оказаться мало в человеке.

— Ты сможешь мне находить ее?

— Да, если ты этого будешь хотеть.

— Буду хотеть. Ты мне нравишься, с тобой хорошо и интересно... Поцелуй меня, почему ты боишься? Сядь возле меня...

— Боюсь покоя, который наступит потом...

— Не будет у тебя покоя никогда. И я знаю — мне будет трудно. Но я все приму от тебя. Я ведь тебя ждала.

Звук ная стих. Все вдруг замолкло, будто природа онемела в ожидании радости, чтобы потом — через минуту или уже утром — облегченно вздохнуть и снова отозваться тугим шумом верхушек деревьев, громкими ручьями и птичьим щебетом. Все затаило дыханье надолго, и вдруг в этой тишине беззвучно, как стрелы, спущенные с тысяч тетив, мелькнули из лесных сумерек в розовое небо гладкоствольные ели... Андрей смотрел на меня виновато и счастливо, я же, не помня себя от радости, без стыда и раскаяния, праздновала свой и всей природы праздник...

— Почему твои глаза стали темными? — спросил он потом. — Теперь уже нет, теперь снова зеленые...

— Может, от чрезмерного счастья?..

— Может...

Мы шли напрямик через лес на качающееся пламя костра, слизывавшее сумерки в просветах между деревьями.

Стемнело. Я остановилась, нерешительная и скованная, на краю поляны, далеко от костра. Я была теперь

иной и еще не свободной в этом моем новом качестве, а из-за пламени ловил меня взгляд Марка. Я стеснялась, будто провинилась перед ним, незаметно, медленно отступая назад к стене леса... Андрий стоял впереди, он не видел моей растерянности и тоже молчал, и если бы не Анвар...

— Вай-вай! А я уже подумал: нет конденсата — пропал Андрий, ибо что такое Андрий, если нет конденсата, — затараторил Анвар. Он был веселый, беззаботный, словно и не он только что грустил на нас, беседуя с кем-то далеким и самым родным. — Но это хорошо, Андрий, что ты так упорно ищешь, — сколько мы попутно этой обыкновенной черной нефти добудем! Каждая идея-фикс во все времена приносила пользу. Алхимики не нашли философского камня, зато заложили основы сегодняшней химии. А кто мы — без химии? Ай, джаным, чем будем ужинать? Лагман, чучвара, шурпа — все сделаю для тебя!

Я благодарно улыбнулась ему, подошла ближе к костру.

— Если бы я знала, что это такое...

— А шашлык знаешь?

— Знаю.

— Будет шашлык!

Анвар раздувал угли, а Марко неотрывно смотрел на меня. Я стала смелее и не отводила уже взгляда. Что там у него в глазах: осуждение, восхищение, жалость? Он, видно, понял, что я хочу понять, о чем он думает, прищурился, протянул руку за гитарой и нервно, как бы мстя мне за то, в чем я не была виновата, ударил по струнам:

Есть только миг между прошлым и будущим.

Именно он называется «жизнь»...—

запел он, вкладывая в мелодию и слова нарочитую развязность и скепсис.

Мне стало легче, и я откликнулась пренебрежительно:

— Ловить момент? Утешаться сегодняшним днем? Это ваш девиз, Марко?

— Только так! — бросил он, не прерывая песни, и с видом беззаботного соблазнителя, подмигнул мне.

Почему я только сегодня поняла его? Почему толь-

ко теперь осознала, что он очень любил меня?.. Все перевернул Нестор своим приездом...

После того как не стало Андрия, Марко сказал мне: «Галя, я буду тебе хорошим другом».

«Как ты можешь так... А он еще называл тебя своим лучшим приятелем, Марко...»

«Он не ошибся, Галя».

«Но ты хочешь воспользоваться его отсутствием», «Как ты смеешь?»

Марко долго смотрел мне в глаза, ждал, что я возьму свои слова обратно, но меня жгла нестерпимая боль, и я не могла его понять.

И он ушел из моей жизни навсегда.

Интересно, где он теперь, что с ним?

А тогда Марко бегал пальцами по струнам, напевая о быстротечности жизни, голос его театрально-трагически надрывался, всхлипывал, а в последнем куплете вдруг затих, и я встрепенулась от слов, которые он прошептал для меня, как предупреждение, как предосторожность:

А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг...

Я тревожно взглянула на Андрия: он смотрел в огонь, был углублен в себя, возможно, и не слышал песни. Я коснулась ладонью его локтя, молча умоляя, чтобы он рассеял недоброе предчувствие, неожиданно охватившее меня. А Марко глумился, снова и снова повторяя последнюю строчку куплета:

Есть только миг, ослепительный миг...
Только миг...
Только...

— Довольно! — крикнула я. — Хватит!..

— Что с тобой? — очнулся Андрий.

— Ах, ничего, — смутилась я. — Анвар, сыграйте на своем нае...

— Джаным, — ответил Анвар, — мой най не играет. Он разговаривает, но только тогда, когда его слушает один человек. И не каждый понимает, о чем говорит най...

— Я поняла.

— Ты себя поняла. А моя песня разговаривала не с тобой.

— Она хороша?

— Юлдуз? Как лепесток розы, как гиацинт, как...

Он зажмурил глаза и долго говорил про свою Юлдуз, а слова песни Марка не умолкали в моей памяти, хлестали, терзали... И тогда, и потом. Я несла в себе эту песню как предсказание беды, жила с ней, вживалась в нее до тех пор, пока...

ЧЕТВЕРТОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

— Остановите автобус,— попросила девушка, повернув голову от окна.

Андрей кивнул шоферу, а сам сидел неподвижно и даже не посмотрел ей вслед, когда она сошла.

— Галя, слышишь, Галя!— он резко повернулся, когда автобус тронулся, но Галя, склонив голову на плечо Марка, дремала.— Галина...

— Что, Андрей, приехали? Нет еще? А я так сладко заснула... Та девушка уже сошла? Очень милая девушка. Только ты сидел возле нее, как тюлень. Хотя бы заговорил...

— Я разговаривал все время. С самим собой...

— О чем?

— Когда-нибудь расскажу...

Андрей встал, прошел в конец автобуса, присел возле Гали и стал пристально всматриваться в ее лицо.

— Галя, у этой девушки глаза темные, с радужными прожилками...

— Ну и что же?

— Я не мог вспомнить, где я уже видел такие глаза. Глубокие, тревожные. И только теперь, только теперь... Я видел их однажды, одно мгновение. И забыл... Прости меня, Галя...

Андрей посмотрел вперед: на дне глубокого провала, слева от шоссе, виднелась буровая вышка, оттуда доносился рокот мотора. Автобус стремительно съезжал с перевала.

Андрей провел рукой по русому водопаду Галиных волос.

— Галя,— проговорил он тихо,— ты бы хотела поехать со мной куда-нибудь далеко...

— На Байкал? — оборвала она. — Нет, не хотела бы. Да он у нас уже и был, хотя ты его так не называл. А может, и не заметил. Ничего... Через денек-другой вы пробурите твердые глубинные пласты и найдете белую нефть. Я верю, что найдете. А это для тебя сейчас основное.

Марко пробежал пальцами по струнам гитары, напевая:

Мрія, не зрадь, ти так довго лила свої чари
В серце жадібне мое...

И, оборвав песню, раздраженно сказал:

— В поисках надо находить, а не терять!

Галя не шевельнулась. Андрей опустил голову и поднял ее только тогда, когда автобус остановился возле объекта.

— Послушай, — проговорил он, — мы поедем. Мы уже в дороге. Байкал — самое глубокое озеро в мире. И к нему можно возвращаться дважды.

В тот вечер он был мягкий, нежный. И Галя должна была привыкать к нему заново, ибо до сих пор знала его экспансивного или холодно-замкнутого, безудержно-пылкого или раздраженного, недовольного.

Ребята спали в палатке, а они вдвоем долго ходили по леваде. Он гладил ее волосы и говорил:

— Как водопад... И как я мог бы быть без них. Галя, я вижу тот твой взгляд только тогда, когда зажмурюсь...

— Я люблю тебя, Андрей. Нам нельзя терять друг друга. Нам будет очень тяжело.

— А разве тебе со мной легко?

— Велико ли то счастье, что достается людям так просто, что его даже не замечают?

— Я боялся слишком много своего вносить в твой мир, чтобы не вытеснить твоего собственного.

— То, что мое, ты не вытеснишь. Наоборот, приумножишь. Если бы не ты, я не работала бы так упорно над собой... Я уже тебе говорила: мне дали назначение в Город, на завод. Как ты думаешь — справлюсь?

— Ты там найдешь себя. Я верю в тебя. Ты очень добрая. А добрые люди умеют находить добро... Галя, как только вернемся отсюда, сразу же и поженимся. Я возьму отпуск, ты защитишь дипломный проект, и

мы все-таки поедem на Байкал — в свадебное путешествие. Я еще там не был. И хочу туда — с тобой.

— Это мечта. Но пусть мечтается... Андрий, почему меня все время преследует песня Марка?

— А ты знаешь, что Марко тебя любит?

— Андрий, почему меня преследует песня о звездах, что сорвались и падают?..

— Все мы звезды, что сорвались и падают. Поэтому надо ярко гореть, чтобы оставить свет. Звезды гаснут, а свет идет и идет. Где-то рождаются новые звезды, и от них свет тоже когда-нибудь дойдет к нам. Если они звезды, а не холодные астральные тела.

— Ты сегодня экзальтирован.

— А ты слишком приземлена. Мы сейчас поменялись местами.

— Возможно... Я подумала сейчас обо всех, кого знаю: от самых старших до себя самой. Все мы обожжены, закалены. Стефурак — двумя войнами. Вадим Иванович — одной. Опалено огнем твое детство. А мы с Марком рождены войной. Мы — сильное поколение. Какое же придет после нас?

— Тоже сильное. Какими были предшественники. Такая хорошая почва.

— Я люблю тебя, Андрий.

— И я...

Утром Андрий с ребятами начал опробовать скважину. Галя еще спала, когда услышала радостный крик Марка:

— Есть конденсат!

Галя выбежала из палатки. Андрий стоял у вышки — удивительно спокойный и уставший, как бегун после финиша.

— Ну, все, — проговорил он. — Есть.

— Так что же ты... — развела руками Галя, возмущенная его спокойствием.

— Почему не прыгаю, не кричу? А что теперь кричать? Есть... Можно наконец и успокоиться. Ну-ну, — вздохнул он вытирая пот со лба. — А Байкал?.. Там, говорят... Я там поищу...

Он вдруг замолчал, затем резко оттолкнул Галю назад. Взгляд его был прикован к трубе, покрывшей-

ся белым налетом инея. Шевельнулись задвижки, и Андрий закричал:

— Прочь от буровой!

Бурильщики, Марко, Анвар стояли на местах как вкопанные.

— Прочь, кому я говорю! Вон, за холм! — еще раз крикнул Андрий.

Он бросился к крайней задвижке, налег на нее, чтобы завернуть. Галя отступила назад, она видела, как от чудовищного давления трубы скручивались, словно змеи.

Когда все уже стояли на бугре, Галя, приложив ладонь к губам, крикнула:

— Андри-и-й!

Он метался от задвижки к задвижке, потом выпрямился и прокричал:

— Все в порядке!

И тут раздался взрыв.

— Есть только миг, ослепительный миг... — прошептала Галя, поднимаясь по ступенькам в свою квартиру.

«Почему она снова отозвалась, эта песня? Только не с отчаянием, а с надеждой, радостью... Надо ли себя за это осуждать?»

— У папы Стефурака есть для меня какие-то новости? — спросила Галя, закрыв за собой дверь. — Такой странный вид у нашего любимого маэстро... — Она поцеловала старика в щеку.

— К тебе гости, Галя. — Стефурак показал рукой на ее комнату.

— Нестор?

— Нет, не он. Я не знаю этого человека. Но он попросил разрешения подождать тебя...

— Интересно... — проговорила Галя и порывисто направилась к двери своей комнаты.

ПЕРВЫЕ ХОДЫ В НОВОЙ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ

Марко ждал Галю долго. Больше часа. Боялся уйти, чтобы не разминуться, потому что знал: другого раза уже не будет. Он смотрел на фотографию Андрия на

стене и с угрызениями совести вспоминал разговор с Анваром, когда поезд преодолевал последние километры своего пути.

— Оригинальный тип и, конечно, из мира богемы, — кивнул Анвар головой в сторону Нестора, стоявшего на насыпи и продолжавшего игривый диалог с проводницей. Поезд тронулся, Анвар помахал незнакомцу рукой.

Марко улыбнулся. Ему вспомнилось, как не терпел Андрий этого, по его мнению, словесного мусора: тип, кайф, предок, старик... Да и верно, плохой это жаргон, однако же, как ни странно, он, утратив свой первичный плоский смысл, служит часто молодым людям броней против красноречия, патетичности. Прimitивная это броня, но Марко считает, что тратить порох для борьбы с ней не стоит хотя бы потому, что не всегда она свидетельствует о духовной пустоте человека. Ведь нередко эта пустота прячется и под блестящей словесной оболочкой... Андрий же воевал. Одержимый в поисках, он вообще не признавал ничего, что не укладывалось в систему его взглядов на вещи.

Марку стало неловко перед самим собой за то, что ни с того ни с сего привязалась к нему эта неприязненная мысль об Андрии, которого вот уже сколько лет товарищи вспоминают с глубоким уважением, однако эта мысль, раз уже появившись, множилась, как бактерия, будила в душе Марка раздраженное чувство протеста против огульного обожествления Андрия, ведь у того было множество недостатков! Как и у каждого человека...

«Не надо, это я из-за Гали... Неправда, я ему никогда не завидовал... Но больно было... Ну и что? Я всегда его уважал, любил, однако эгоцентричности его никогда не терпел... Не надо о мертвых...»

— Да, о мертвых — или хорошо, или ничего, — произвольно сказал вслух Марко.

Анвар перевел на него удивленный взгляд.

— О каких мертвых, и вообще, что это ты...

— Обо всех, — смутился Марко. — Это правило, придуманное римлянами, довольно-таки порочно. Я за девиз: о живых и о мертвых — только правду.

— Странный поворот разговора... А к тому же я давно чувствовал, что ты недолюбливаешь его.

— Что значит недолюбливаешь, любишь? Любить человека — это прежде всего знать его. А я знал Андрия. Знал его чистоту — до пуританства, трудолюбие — до одержимости, добропорядочность — до ортодоксальности. И любил его. Не за пуританство и ортодоксальность — за одержимость. А не любил — за холодность, эгоцентризм. Почему я не могу об этом сказать сегодня, если говорил ему в глаза... Андрию хотелось, чтобы все были такие же, как он: в отношениях с людьми — сдержанные, в любви — рассудочные, в оценке искусства — только интеллектуальные, в познании — исключительно объективные, даже в поисках нефти не признавал никого и ничего.

— Вижу, он тебя раздражает и сегодня, хотя его нет уже семь лет.

— Невзирая на то, что ты вполне современный человек, Анвар, все-таки твое домашнее воспитание дает изредка себя знать. Беспрекословное преклонение перед пророками и аксакалами. Словом, перед авторитетами. А я на всех и на все хочу смотреть открытыми глазами, иметь свой собственный взгляд. Ну, что в этом плохого, если я признаюсь, что, по-моему, «Крейцера соната» отдает ханжеством, а в повести «Борислав смеется» вижу следование «Жерминалю» Золя? Разве из-за этого я меньше уважаю Толстого и Франко, чем те, кому нравятся эти произведения? Так почему же я не имею права вспомнить недостатки Андрия, хотя он для нас с тобой авторитет?

— Какой же ты неофит, какой левак! Сердитый молодой человек! А может, кому-то это твое левачество тоже не понравится, может, кому-то оно покажется примитивным оригинальничаньем? — уже сердился Анвар.

— Ну и пусть. Я никого не заставляю думать так, как думаю я. Так нет же: футбол — зрелище для язычников, бокс — мордобой, телевидение — эрзац-искусство, коллекционирование — прихоть бездельников, современные танцы — дикарство. И все молчали, поддакивали, чтобы не раздражать его, однако буги-вуги танцевали аж пыль столбом, билеты на футбол заказывали за месяц вперед, коллекционировали даже этикетки от бутылок, а от телевизоров не отрывались.

Так почему же не сказать: «Мне это нравится, слышишь?»

— «Мне это нравится» — тоже эгоцентризм, дорогой мой. «Мне это нравится» служит часто оправданием для глупостей. Тебе как-то в Полтаве у одного собора понравилось звонить в колокол, и когда он тебе за это дал взбучку, ты назвал его трусом.

— Потому что он убежал. Нет, не ушел, возмущенный моей выходкой, а именно убежал. Да, да...

— Но ведь не убежал, когда скручивались трубы у вышки, не убежал же тогда!

— Поэтому и незаурядный, но не святой, не икона, которую ты хочешь из него сделать... Извини, Анвар, я немного раздражен... Скажи мне, увижу ли я Галю? Анвар пожал плечами.

— Как это на тебя мало похоже... Столько лет ты...

— Не могу без нее. Я уже знаю.

— Не пойму, за что ты ее так сильно полюбил? И когда?

— За что... Знаешь, за что? За любовь к Андрию. За эту решительную, безоглядную, безоговорочную любовь. Такой любви ждать надо всю жизнь. И стоит жить до ста лет, если она придет на девяносто девятом... А он... Не люби так свою Юлдуз, Анвар, не люби так...

— Это уже слишком... Будь справедлив, Марко, ведь он любил ее.

— Ты не знаешь, Он любил только свои поиски, а она была для него обителью слез, когда его постигали неудачи. Да, он не мыслил себя без нее, ибо она была для него причалом. Он эту свою любовь раздувал иллюзией утраты, как кузнец раздувает в горне уголь. И мне было больно это видеть: ее любовь стоила того, чтобы отдаться ей полностью... Ты спрашиваешь — когда? Помнишь, они вышли тогда из лесу, и я понял, что Галя уже принадлежала ему. До этого она была очень хороша, а в этот момент прекрасна — такой женщина бывает раз в жизни. Меня охватила тогда какая-то отрешенная радость, будто она принадлежала только что мне, и я готов был праздновать их праздник, пусть чужой... А он, успокоенный разрядкой после неудачи, сидел у костра, создавая мысленно новое техническое моделирование, и не думал о ней. А был же праздник! И я тяжело полюбил ее тогда за то, что

в ней, только в ней, а не в них, жила настоящая любовь, которую я искал, которую желал, на которую достойно ответил бы и которая в тот момент обошла меня...

— Город! — крикнула проводница.

Друзья наконец встали из-за столика. Пассажиры толпились в тамбуре.

— Я вспомнил слова твоего деда-аксакала, — сказал Марко, укладывая в чемодан шахматную доску. — «Если не веришь в аллаха, пойди на Тянь-Шань и уверуешь, увидев, что он сотворил». Хорошая пословица, только я немного изменил бы ее: «...встретить женщину, без которой ты не можешь обойтись».

— Я тоже так сформулировал бы эту пословицу. Я уже давно сделал это.

— Ты счастливый, Юлдуз — шербет, рахат-лукум, сахарин. Что тебе...

В тамбуре Анвар спросил:

— Ты не подумал, что Галя могла выйти замуж?

— Думал.

— Что дети есть...

— И об этом думал.

— Что изменилась, подурнела...

— Нет.

— А что ты дашь ей вместо спокойной жизни, которую она, вероятно, ведет?

— Я дам ей Байкал.

...Марко сидел в Галиной комнате, ждал. Он еще ничего не знал о ней, и вместе с тем знал главное — она одинока. Комната обставлена по-девичьи: одна кровать с вышитой подушечкой, трюмо, на стене портрет красивой женщины, очень похожей на нее, вероятно матери. А ниже, под портретом, — маленькая фотография Андрия.

И это было для Марка ошеломляющей неожиданностью. Он долго готовился к решительному ходу и верил в свою удачу, потому что не верить было свыше его сил. И застал Галю свободной. Хотя нет — Андриевой. А с Андрием он воевать не мог.

Стало стыдно за ту борьбу, которую он начал против него в поезде, стараясь отделить в характере Андрия мелкое от значительного. Там он боролся с Андри-

ем в самом себе, проверяя цену своей любви. Теперь Марко должен сдаться. Галина любовь проверялась тут годами, и принадлежала она не ему, а его сопернику, и Андрий, видно, был достоин ее.

Вчера квартира была закрыта. Марко блуждал допоздна по улицам, — подумалось, может, Галя давно уже уехала из Города? — и вокруг веяло пустотой. Он вспомнил Тянь-Шань, Кызылкумы, где целых пять лет странствовали они с Анваром, ища эту же белую нефть по методу Андрия. Что теперь делать? Возвращаться в Среднюю Азию или остаться тут и искать ее, Галю?

А сегодня все так просто. Она в Городе. И в этой простоте — труднейшая сложность.

Чувство страха перед встречей, не с чьей-то, а с Андриевой Галей, с каждой минутой ожидания овладевало им все сильнее.

И вдруг — голоса в прихожей, и рывком открывается дверь.

Неужели для нее не существовало времени?.. Та самая, какую увидел тогда у костра, только глаза, большие зеленые глаза, как бы устали, стали меньше, а может, это от неожиданности? Рука Гали, загорелая, с длинными пальцами, единственный раз лежавшая у него на плече, когда она в автобусе заснула, остановившись в резком движении, рывком опустилась.

— Вот это да... — произнесла Галя. — Ты же мне сегодня весь день мерещился, Марко...

— Я думал о тебе.

— Но как... как это так, что ты здесь? И почему так долго не появлялся?

— Я же не знал, что ты свободна...

— Свободна, Марко. Сегодня уже свободна... Ну, что ты стоишь, гривастый баламут, поздороваемся же...

На улице уже стемнело, когда Нестор вышел из театра, оставив там Копача, Марту, доктора Остролицкого и режиссера.

Августин вышел вслед за Нестором, догнал его в служебном проходе, остановил:

— Не принимай этого близко к сердцу, Нестор... Такого кина и я не ожидал. Это, скажу тебе, такой че-

ловек, что дай ему копейку, так до самого Пацикова будет тянуть старого козла за хвост...

— Очень колоритный образ, Августин. В жизни мешает, но для кино — какая находка!

— Я знаю, ты зря и шагу не ступишь. Вот так среди людей ходишь, тебя, как говорится, за дорогого гостя принимают, а потом только держись — когда-нибудь этот гость так тебя намалует, что и содой не отмоешься...

— Сам не рад, Августин. Такой уж наш хлеб: собирать у людей по крупице чужое и создавать из него новое — уже свое.

— Эх, да и своего у тебя дай боже каждому. Я сегодня весь день мучаюсь... Стефурак мне рассказал... Сам кое-что про это знаю, а вспомнить не могу. Уже ходил сегодня к этой керамической школе, но вернулся тупой как пень... Может, не побрезгуешь, зайдешь ко мне — на оладьи из картошки...

— Зайду, Августин, но когда-нибудь позже. Я еще успею всем вам надоесть... Сегодня я тоже ходил туда. Фармацевтическая фабрика там. Гм... Смерть и жизнь. Стены не виноваты. А в тех подвалах — склад с медикаментами. Чтобы жизнь от смерти спасти... Августин, вы в шахматы играете?

— А почему же нет. Играю. Но так, не по книжке. Да это глупости — играть по книжке. Я тебе скажу по правде: ежели кто что умеет, тому и книжки не нужны, а глупому и книжки не помогут...

— Интересно, откуда это у вас все берется?.. Ну, до свидания.

Августин потряс руку Нестору, сказал:

— Только ты не иди в Бляшный отсюда напрямик, там все разрыто, а иди мимо ратуши.

— Все-то вы знаете, Августин. Даже то, куда я собираюсь пойти.

— Потому что, как говорится, у одного книжный, а у другого природный ум...

Нестор шел и думал, что должен сейчас же ехать в Киев, чтобы, уладив там некоторые формальности, быстрее вернуться сюда, в Город: ведь новые хлопоты могут порвать еще не крепкую паутинку замысла.

Он почувствовал, что поймал для произведения основной стержень — переключка поколений. И у него

уже готовы были прототипы: Стефурак, Копач, Кость Американец, Перцова, Вадим Иванович, а с другой стороны — Галя, Марта, доктор Остролуцкий, Мисько Два Пальчика и еще два шахматиста из поезда, для которых жизненную линию надо придумать, потому что он больше их не встретит. А потом для всех надо создать новую художественную судьбу, гармонирующую с их жизнями.

Герои стояли перед глазами Нестора, как шахматные фигуры, готовые к походу, надо лишь умелой рукой удачно сделать первый ход...

«Постой, а почему бы не начать именно так? — чуть не вскрикнул Нестор, шагая по улице. — Идет поезд. В купе два человека за шахматами. Расставлены фигуры, идет упорная игра. Неверный ход... Проигрыш... Еще одну партию? Да, еще одну, но и она не может быть последней... Каждый выходит на свой турнир. Бывают неудачи. Но обязательно придет победа, если есть вера... Затяжная партия у Костя Американца. А у Гали? Что-то случилось у нее, раз живет одиноко... Да, начало есть. За разговором шахматистов — столько сцен!..»

Обрадованный находкой, Нестор шел к ратуше и, остановившись на перекрестке, почувствовал вдруг, что, найдя эту деталь, тут же потерял что-то свое, личное, что могло принадлежать только ему одному — на радость и счастье. Творчество, как молох, снова отбирало у него самое дорогое, чтобы никогда не вернуть обратно, а отдать людям. Вчера и сегодня он жил под впечатлением встречи с Галей, в сердце входило то самое чувство, которое коснулось было его еще в ранней юности, а теперь новая художественная жизнь, только еще рождавшаяся в воображении, поглотила это чувство, ибо без него не сможет жить новое произведение, и уже дочь дочери Сотника воспринималась не как девушка, возлюбленная, жена, а как героиня произведения, — и Нестор в который уже раз проклял свою профессию.

Город затихал...

Город затихал постепенно. Как дремучая дубрава весной после захода солнца.

Такое сравнение всегда приходит на ум Копачу,

когда он вечером возвращается из театра домой. И опять Августин сам себе удивляется, почему это он, человек, проживший в Городе большую часть своего века, сравнивает совсем несовместимые вещи: Город и дубраву. Это, должно быть, из-за того, что и там, и здесь вечерний покой тоже наступает одинаково — постепенно.

Пробьют на ратуше старинные часы шесть вечера, простучат по Торговой набитые людьми до отказа автобусы, неохотно и устало опустятся жалюзи на витринах магазинов — и Город сразу становится ласковым, тихим. В сквер входят люди, они теперь другие, нежели днем, — медлительные, праздничные: стены каменных домов темнеют, только крыши самых высоких зданий еще греются на солнце, а потом остывают и они; то тут, то там раздастся вкрадчивый сигнал машины, и хорошо слышно металлическое гудение самолета в небе. Потом вспыхивают огни, пустеют тротуары, в окнах, на занавесках, качаются тени, а дальше — одно за другим — окна гаснут, и Город засыпает крепким, натруженным сном.

А разве не так же сорок лет назад засыпал дубовый лес летом в Залучье? Только спрячется за горизонт краюха солнечного диска, как падает свежая прохлада вместе с росистой порошей на листву, на мох и папоротники; верхушки деревьев еще пылают, но и они быстро тускнеют. С лесных тропок, как из туннелей, выходят насытившиеся вволю коровы, важные, как матроны, а за ними, изредка покрикивая, идут с сопельками пастухи-парнишки и с зажженными трубками — пастухи-деды. Кое-где отзовется, зашевелится в гнездышке сонная птица — и опять тишина, а потом опускается темнота, которую просвечивают скупые огоньки из сельских хат. Затем и они гаснут, и все впадает в сон.

Э-гей... Хотя, как говорится, город — не село, а село — не город, но засыпают они одинаково — постепенно.

Августин идет домой, вспоминает свое далекое, уже нереальное, село за рекой, и что-то щемит у него в груди, — ведь что в горшке кипит, тем и пахнет...

Копач шагает медленно — спокойный и удовлетво-

ренный прожитым днем: с утра до вечера он что-то делал, о чем-то думал, говорил с добрыми людьми, утихомиривал, пристыживая разгневанного, чей-то теплый взгляд, чья-то умная мысль легли ему добрым приобретением в сердце. Да, богаче, чем был, возвращается Августин к своей Каролине, которой до поздней ночи будет рассказывать в подробностях обо всем — от «добротного дня» до «будьте здоровы».

Он идет и слагает в уме свой рассказ, пересыпая его шутками: Августин знает, что Каролина выслушает каждое его слово, хотя и не каждому поверит — на другой день он о том же самом расскажет совсем иначе. Копач умеет из одной детали создавать целую историю, ведь «если нет большого, то откуда возьмутся мелочи, как ежели нет стебля, то не будет и снопа».

Но что бы он ни говорил и что бы ни выдумывал, в каждом слове будет звучать нотка гордости: и за режиссера народного театра — учителя музыки, и за доктора Остролуцкого, отдающего каждую свободную минуту искусству, и за Мартусю, нашедшую в себе силы вырваться из мещанского омота, и за Галю — сильную женщину, сумевшую, неся тяжесть своей судьбы, заслужить высокое доверие на заводе, — за всех. А все-таки больше всего — за Стефурака. Какой актер, режиссер и писатель! Гордость Города! Сегодня Копач узнал о нем много нового. Скромность старика просто поразила Августина. Сколько на его месте другой уже бы нахвалился, а он... И Нестор — хотя бы слово... Но, слава богу, не уехал. Он еще с ним поговорит, он ему такой сценарий подскажет!..

Копач останавливается на той самой тротуарной плите, с которой начинается путь каждое утро, чтобы пересечь улицу. Теперь он не торопится. Утром вынужден — чтобы меньше людей видело, как он на середине шоссе смешно «превращается» из горожанина в залучанского крестьянина. Сейчас Августин мог бы продемонстрировать свою городскую солидность, но вечером же никто не увидит. Так можно и постоять.

Окно его квартиры на втором этаже, по ту сторону улицы, светится. Склоненная тень Каролины качается на стене — она готовит ужин.

А Копачу вспоминается... Нет, не коза, чтоб ее черт

побрал, коза взбредает на ум только утром. А по вечерам к Августину приходят тяжкие воспоминания.

Перед глазами Копача двигаются черные толпы людей, идущих на смерть. Одна за другой — каждый день. Плачут дети на руках у матерей, еле волочат ноги старики, идут исхудавшие девушки с большими от страха глазами, тяжело ступают понурые мужчины; задние тянут бочки с негашеной известью — на тачках; по бокам щуполицаи со свастикой на рукавах и орнунгполицаи — с шестиугольными звездами.

А вот идет большая колонна — человек тридцать. Как сегодня видит их Августин. Он наблюдал тогда в окно, заклеенное крест-накрест бумажными полосами. Каждый вечер, когда возвращается с работы, видит их. По обеим сторонам около десяти фашистов с автоматами. Колонна проходит через пустырь, заросший густым ивняком, за которым спряталась Торговая площадь.

Идут мужчины в рваной одежде, кто с непокрытой головой, кто в шляпе. Вечереет...

Каролина сказала: «Отойди от окна!»

Но он не мог. Кто эти люди? Не из Залучья ли?

И вдруг какие-то тени — их было много — выскочили из-за Августиновой халупы, из ивняков. Как коршуны кинулись они на щуполицаев. Послышались тупые удары, автоматные очереди. Колонна — врассыпную. На дороге — распростертые трупы. Сирена... облава... крики... В домах — обыск.

Так четко видит все это Августин каждый день... Только почему сегодня все время какая-то неясная догадка упрямо блуждает в мозгу, а в нужную ячейку попасть никак не может? Вот и сейчас. Была весна... Приезжал Вехтер... Заложники... Нет, заложников брали, когда приехал Франк. И их на расстрел не вели... Тридцать человек в сельской одежде...

— Гарматий! — воскликнул вслух Августин. — Это был он!

Копача потрясло его собственное открытие. Ведь он знает то, чего не знают ни Стефурак, ни Нестор. Они видели Гарматия избитого, в кровоподтеках — жертву. Он же видел его в действии. Перед глазами Копача предстал отважный мститель, борец. И теперь рассказ Стефурака зазвучал для него по-иному — он

стал звеном в единой цепи событий, на одном ее конце был Гарматий, освобождающий сельских активистов, на другом — Нестор, принимающий как дар песню Гарматия.

И Нестор об этом молчит! Но почему! Неужели безразличным стало ему это событие? Или он спрятал его глубоко в тайники своего сердца как реликвию! Стерлось в памяти или вызревает в душе, чтобы возродиться когда-нибудь в кино и потрясти старой болью человеческую память? Покрылось золой повседневных забот или хранится как запас, который нельзя расходовать до подходящего мгновения?

Почему не хочешь вспомнить об этом, Нестор? Неужели ты мог потерять по дороге звуки песни про кониченька? Или вырвался от тебя твой конь, и ты уже не можешь его поймать? А комок земли, который ты взял со Страусовой могилы? Растерся в пыль и развеялся?

Да разве ты имеешь право забывать об этом, со своим талантом, наблюдая поколение Гали, Андрия, Мартуси? Почему не передал им песню Гарматия, а спрятал для себя, как скряга? Но нет... Ты ходил почему-то сегодня в бывшую керамическую школу... Я знаю: старая боль просто созревает в твоём сердце...

Августин надвинул шляпу и быстро, как по утрам, перебежал улицу.

Что сказать Каролине? Ведь этих мыслей, что так нахлынули на него, он не сумеет высказать, потому что, как говорится: знаю, видел, а объяснить не способен...

Копач вошел в дом, постепенно успокаиваясь. Домашний уют всегда утихомиривал его взбудораженную раздумьями душу.

Каролина жарила на сковородке оладьи и вся так и потянулась к Августину, потому что знала, он должен был принести ей какие-то новости.

— Ну что, встретились молодые? — не утерпела она.

— Ежели кого-то ждет встреча, то от нее, как говорится, никто никуда не денется, — подошел Копач к жене. — Ты про Нестора и Галю? Не встретились сегодня — встретятся завтра. Он, вижу, и не собирается уезжать. Потому как зачем, ежели его тут ждет готовенький сценарий. Как с иголочки.

Каролина с глубоким уважением смотрела на своего мужа, который всегда был для нее первым авторитетом, а вот теперь он еще больше вырос в ее глазах, ведь видит же она по его лицу: Августин знает что-то такое, чего не знает никто, даже она — первая его поверенная. Да, еще больше вырос авторитет Копача, и Каролина даже слезу утерла, когда услышала его слова:

— Каролька, поищи в своих ящиках, где-то там валяются старые шахматные фигуры. Я сделаю из картона доску. Нестор обещал прийти ко мне на партию шахмат!

Нестор стоял на краю тротуара, собираясь перейти улицу. Он видел, как из Бляшного переулка, где жил Стефурак, вышли двое: разговаривая и смеясь, они подходили к углу Торговой и, когда вышли на свет фонаря, он узнал Галю. Очаровательная дочь Сотника с распущенными на плечах русыми волосами держала за руку пышночубого мужчину, и был он тем самым шахматистом из поезда, что допытывался у своего друга: «Скажи, я встречу ее?».

Нашел... Галя!

У Нестора в груди остро защемило, он отступил назад, Галя с шахматистом шли, разговаривая, перебивая друг друга, никого не замечая и, должно быть, не желая замечать. Перед Нестором все больше и больше распутывался клубок его замысла, он находил все новые и новые детали, теряя при этом, как всегда, то, что могло принадлежать ему лично.

Он смотрел им вслед, пока они не исчезли за сквером, и, горько улыбнувшись, произнес про себя:

— Вторично исчезаешь из моей жизни, дочь Сотника.

...В гостинице, когда Нестор укладывал вещи в портфель, зазвонил телефон.

— Режиссер Нестор? — раздался в трубке мужской голос. — О, как хорошо, что я вас еще застал. Вас беспокоит Скоробогатый.

— Скоробогатый? — переспросил Нестор. — Какой Скоробогатый?

— Подождите минуточку, Я живу рядом. Сейчас буду у вас.

«Нет, не может такого быть, — думал Нестор, держа руку на телефонном аппарате. — Откуда он мог бы тут взяться?.. Но кто же это мне тогда звонил?»

Через несколько минут открылась дверь, и на пороге возник директор «Сельмаша» — взволнованный, запыхавшийся, с протянутыми вперед руками.

— Вадим Иванович? — оторопел Нестор. — Почему вы... Мне только что звонил какой-то Скоробогатый...

— Я — Скоробогатый, Нестор, я... Ну, дай-ка я обниму тебя, мальчик с лукошком земляники!

Поезд мчался сквозь ночь к столице. Нестор, дымя трубкой, стоял у окна, взбудораженные чувства и мысли его постепенно успокаивались под равномерный стук колес.

«Побыстрее бы, побыстрее... Туда и обратно, туда и обратно, — произносил он мысленно в такт перестуку колес. — И не жалея, что немного больно, не жалея. Без боли мы пустые, без боли немощные и скучные...»

Нестор высунул голову в окно и всматривался сквозь темноту в ту сторону, где остался обыкновенный для постороннего глаза, для него же вечно интересный и до конца не познанный, маленький на планете, как пяточок, наивный в своей непоколебимой вере в великое призвание и великий в осуществлении этой веры, всегда родной и всегда чужой в своем безостановочном обновлении — его Город.

● ВМЕСТО ЭПИЛОГА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Они возвращались с киносъемок. Спор достиг высшего регистра. Но вдруг оборвался: в ветровое стекло ударилась густая прядь тумана, сползшего с перевала, и высветлила предвечерние сумерки. Автомобиль вошел в него, как в воду. Нестор включил фары.

— Только этого нам не хватало, — вздохнул Леонид. — И так опаздываем, а в нашем багажнике и закуска, и выпивка...

Дорога круто пошла в гору — до перевала оставалось не больше пяти километров. Нестор замедлил скорость, склонился к рулю — впереди ничего не было видно, только плотный туман клубился густой пеной, оседали капельки влаги.

— Глупости... — сказал он после недолгого молчания. — Что вы сразу скисли?.. Итак, мы спорили о памяти. А знаете, что отчетливее всего врззалось мне в память из всех военных лет? Лютая зима, далекий гул канонады, а я в хате... — Голос Нестора звучал теперь примирительно, и все в машине слушали не перебивая, словно этот туман моментально сблизил людей, разобщенных спором. — Теплая пахучая печь, растопленная буковыми поленьями, закопченная керосиновая лампа, за столом — мой отец в очках, перевязанных на затылке веревочкой, перед ним раскрытая по-

желтевшая Библия... и откуда это свалилось, была же погода, как золото... а я стою, опершись спиной о печку, и так ощутимо воспринимаю теплую и уютную благодать, и так мне хорошо. что я еще маленький, что хотя отец прихрамывает, но мать еще крепкая, и я не мерзну, не пропадаю, не истекаю кровью — живу, в это мгновение живу...

— Смирение паче гордыни. От Матфея, — бросила с заднего сиденья Адриана.

— Кто знает, может, и от Иезекеила, — раздраженно сказал Леонид и тут же пожалел, что изменил своему стоическому покою именно тогда, когда все остальные утратили охоту спорить. Защитная снисходительная улыбка легла на его полные губы, Леонид погладил по руке свою молодую жену Нилочку, сидевшую между ним и Адрианой и всю дорогу молчаливую. — Как ты думаешь, Нилочка?

— Нас в школе не учили закону божьему, — покраснела молодая женщина.

— И нас — нет. Это только уважаемый Нестор имел удовольствие посещать уроки закона божьего у отца-профессора Баранкевича. Ну, а наша кинозвезда Адриана все знает... Степан, не дремлите, — Леонид дотронулся до плеча коренастого мужчины, сидевшего возле Нестора. — Наберитесь терпения, выслушайте еще одну сентенцию режиссера, и тема разговора сама переменится: мы за это время выедем на перевал, где в экзотической хижине «Беркут» ждут не дождутся актеры и операторы.

— Я не сплю, — ответил Степан, — я думаю.

Под колесами загрохотало, и машина пошла по ровной, мягкой дороге. Нестор сторбился над рулем.

— Это последняя ступенька, братцы, — обрадовался Нестор. — Мы сейчас... Но погодите, тут же был асфальт...

— Ничего удивительного, начали ремонтировать, — сказал Степан.

— Значит, вам нужна еще одна сентенция... — Нестор ослабил руки, двигатель работал на малых оборотах. — Не знаю, какое впечатление у нашего нефтяника после сегодняшних съемок на буровой, буду говорить только от себя — я ведь тоже один из прототипов. Твой сценарий, Леонид, острый, динамичный — одним словом, вполне профессиональный. Но еще в

коломыйском павильоне я понял, что мы взяли не ту тональность. Все это было, мой дорогой, только несколько иначе. Как тебе сказать... Во времени, в напряжении, в жертвах, в подвигах — так. А вот в психологии, во внешних ее проявлениях — намного проще, более приземленно и довольно-таки обыкновенно. Ты же везде поставил своих героев в исключительные обстоятельства...

— Обстоятельства все исключительные, Нестор. — Полные губы Леонида собрались в трубочку. — И то, например, что сейчас нас не четверо, а пятеро в твоей машине, — тоже, ведь моя Нилочка поехала с нами случайно.

— Ой, не трогайте меня, — снова покраснела женщина. — Я вне ситуации, я тут ничего не решаю...

— Кто знает, кто знает... — Адриана оперлась лицом на ладонь.

— Дело в том, что люди никогда не готовятся к исключительным ситуациям... — Нестор говорил, не поворачивая головы, был напряженно-сосредоточен. — Не заготавливают впрок для них ни своего поведения, ни фраз, как это кое-где получилось у тебя... Я могу тебе теперь откровенно признаться: когда в эту коломыйскую тюремную камеру с заложниками гестаповцы бросили полуживого Гарматия, я не выкрикивал над ним: «Возьму твою песню!», я не мог вести себя так в этих исключительных обстоятельствах.

— А как, скажи, пожалуйста? Что ты чувствовал?

— Ничего, кроме оцепенения... Было ощущение безнадежного горя, но это сейчас я так называю то свое состояние. А тогда... тогда это горе муторно пахло загноившимися ранами узника, и меня тошнило... — Нестор опустил окно и всматривался в сизую изморось, через которую не проступали даже силуэты деревьев. — Так-то вот, дорогой... А когда умер мой отец, я бежал из города домой в село, и ноги у меня подгибались. Я падал, но вместо выдуманных тобою клятв в моем мозгу вертелась, как личинка майского жука в пласте вывернутой плугом земли, подленькая мыслишка о том, что отцовская куртка останется у меня...

— Ну, знаешь, это уже слишком! — вспыхнул Леонид. — Так давай выведем такого маленького подлеца...

— Леонид, — Адриана оторвала подбородок от ла-

дони, — а вы читали «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста?

— Не дочитал! Так же, как и вы... И довольно, довольно уже этого бахвальства своей интеллектуальностью. Вы еще, чего доброго, сейчас назовете «Исповедь» Руссо и «Доктора Фаустуса» Томаса Манна. А вы и эти произведения тоже не дочитали!

— Может, и так, — спокойно ответила Адриана. — Страшно скучные вещи... Зато правдивые, потому что там в исключительных обстоятельствах люди ведут себя, как и полагается людям, слепленным господом богом из глины, а не как бесплотные и безгрешные ангелы, выдуманные первобытными сценаристами.

Спор снова обострился, а туман становился все непрогляднее, машина уже слишком долго шла по ровной неасфальтированной дороге. Степан забеспокоился.

— Вы уверены, что мы правильно едем? — спросил он у Нестора.

— Ах, как вы, инженеры, рациональны. — Адриана не оставляла фривольно-иронический тон. — Уверены-не уверены... Это было бы даже интересно — заблудиться и спорить до утра.

— Вы бы первая... — Леонид не закончил фразы.

— Не каркайте... — Нестор уже явно нервничал, дорога пошла ухабистая, о днище бились камушки. — Ведь и машина у меня еще не обкатана...

Степан посмотрел на Нестора и в это мгновение впервые заметил, что его длинные поседевшие волосы довольно-таки редкие, желтовато-восковые залысины виднеются сквозь пряди, режиссер был теперь намного обыкновеннее, чем на съемочной площадке, где он играл себя самого и по сценарию должен был предстать величественным, чуть ли не иконописным олимпийцем; тогда, на съемках, он понравился Степану, но теперь, едва ли не под влиянием спора между Адрианой и Леонидом, эта будничная ипостась Нестора была для него привлекательнее. Он перевел взгляд на спутников, сидевших сзади: Адриана нервными пальцами приглаживала свой мальчишеский чуб, Нилочка спряталась в смущенно-вежливую улыбку, как в раковину, Леонид гладил ее руку — это, очевидно, придавало ему равновесия и уверенности в словесной дуэли.

— Вы еще ничего не потеряли, — заговорил Степан, — зачем же так остро спорить? Работа только началась, и режиссер, если захочет... Я во всем этом мало разбираюсь, может, и напрасно вы пригласили меня консультировать артиста, играющего Андрия... Но вот думаю: зачем эта моя смерть на буровой? Ведь все было иначе. Я действительно первым увидел, как скручиваются трубы, покрываясь инеем, я действительно приказал всем бежать за бугор, но к задвижкам не подбежал, поздно браться за задвижки, когда скручиваются трубы... Я сам убежал, только и всего, что последним. Ну, меня немного обожгло... Однако нужна ли зрителю моя смерть?

— Нужна, крайне нужна, — подчеркнуто иронически произнесла Адриана. — Надо же было дать возможность Гале, которую я играю, покочетничать с Нестором и выйти замуж за бурильщика Марка.

— С вами невозможно работать, — махнул рукой Леонид. — Неореалисты...

Туман совсем окутал машину, прижал к ветровому стеклу свет фар — два желтых кружка медленно ползли впереди, ослепляя водителя, машину подбрасывало на выбоинах, и Нестор остановился.

— Что-то подозрителен мне этот ремонт асфальта... — Он высунул голову в окно и воскликнул:

— Люди! Мы и правда не туда заехали!

— Так почему же ты... — Леонид еле сдерживал злость. — Адриане не удивляюсь, но ведь Степан же предостерегал... А там нас ждут — голодные товарищи в холодной хижине.

— Почему, почему! — дернулся Нестор. — Степан, кстати, первый сказал, что это ремонтируют асфальт. А ты можешь перекусить, если так уж проголодался. Не умрут они и не замерзнут, — сказал он мягче, — мы сейчас... — Он вышел из машины, обошел вокруг, приглядываясь, и безнадежно присвистнул. — Выходите, братцы, — сказал он. — Мы в тупике.

— Это для вас, Леонид, — не упустила возможности съязвить Адриана. — Материал для еще одной героической сцены.

Все вышли из машины. Вечерние сумерки, смешанные с туманом, тяжело легли на горы; справа сквозь густую непроглядность едва угадывались контуры высокой скалы, впереди маячил еловый лес, в который

уходила дорога, сузившись до тележной, слева проселок обрывался: глубину пропасти можно было только угадывать по далекому журчанию ручья.

— Подавай назад, Нестор, — сказал Леонид.

— Какое там — назад?.. — Нестор вынул из кармана трубку, молча набил ее, рассыпая табак. — Мы въехали в эту западню, еще когда я провозглашал последнюю сентенцию, будь она проклята. Километра три проехали, какое там — назад... — Тон, говоришь, не тот... — Нестор умышленно вернулся к прерванному разговору, чтобы переждать, пока не уляжется волнение, — надо же что-то решать. — У каждой ситуации — своя тональность: иной раз торжественная, а иной раз и нет... На одном уроке (я учился тогда в девятом классе) учитель объяснял нам гекзаметр. В качестве примера он взял строку из стихотворения Ивана Франко «Весна, ты мучишь меня, рассыпаешься солнца лучами». Он учил нас скандировать, и я, восхищенный эмоциональностью стиха, задекламировал, отвечая: «Весна!!! Ты мучишь меня!», и получил двойку, потому что говорить нужно было не об эмоциях, а о метрике стиха. Следует найти настоящий тон...

Леонид сосредоточенно слушал.

— Настоящее — это еще не найденное, — сказал он. — Найденное в первое же мгновение своего появления уже нуждается в совершенствовании.

— Ха... — Адриана размяла в пальцах сигарету и нагнулась к трубке Нестора, чтобы прикурить. — Один мой знакомый поэт никак не может найти рифму к слову «морковь». Неужели для него вот это найденное — «настоящее»?

— Оса... — улыбнулся Нестор. Лицо его было уже совершенно спокойным. — Ну, хорошо. Гасите сигареты и садитесь. Степан, поменяйся местами с Адрианой, она легче. Нужен вес на задний мост. Попробую развернуться.

— А не лучше, чтобы вы одни, — неуверенно проговорил Степан. — Дорога узкая и...

Именно эти же слова чуть не сорвались с губ Леонида, но он вовремя увидел Нилину реакцию на предложение Степана и сказал, глотая неприятный привкус стыда за свою трусость:

— Видите, как иногда может понизиться тональность...

— Бывает... — Нефтяник опустил широкие плечи и первым шагнул к машине.

Он сел справа, отчужденный и смущенный, упрекая себя за профессиональную осторожность. В его распоряжении много людей, техники, он всю жизнь обязан придерживаться одного правила: как можно меньше человеческих и материальных потерь. Как им объяснить, что в этот момент он думал не о себе, а о женщинах — дорога ведь узкая, там пропасть. И вообще — что за глупости, ради чего рисковать, если можно переждать здесь до утра, те, в хижине, и правда не поумирают...

Адриана села возле Нестора, вопросительно посмотрела на него, она тоже хотела сказать, что, может быть, рисковать не стоит, но лицо режиссера было спокойно, как на съемках, когда все шло удачно.

Нилочка чувствовала себя уютно и в безопасности возле Леонида: он держал свою ладонь на ее запястье.

Леонида все настойчивее мучила мысль, что Степан был прав: ведь во время опасных переездов солдаты выходят из машин, оставляя за рулем одного водителя. Им начало овладевать глухое недовольство Нилочкой, которая своим укоризненным взглядом задала ненужный тон.

Нестор включил двигатель.

— Вот вам и исключительная ситуация, — сказал Леонид. — А вы...

— Это только ее начало, и никто еще ничего не знает, — сказала Адриана нарочито спокойно.

— Но мы могли бы ее избежать. — В голосе Леонида слышался нажим.

— Тогда бы мы разминулись с настоящим. Каждый с собою — настоящим.

— Это что — эксперимент?

— Не говорите глупостей, — отозвался Нестор. — Задний мост хорошо тянет, мы сейчас... Не торчать же нам тут до утра.

Машина ударилась задним бампером в отвесную скалу, передние колеса стали вровень с краем дороги, из-под них глухо покатались в пропасть камни.

Все затаили дыхание, слышно было далекое журчание ручья внизу. Нестор оглянулся, изучая взглядом лица друзей, потом склонился над рулем.

— Это действительно неразумная затея,— сказал он сокрушенно.

— Так поставьте машину на прежнее место,— Степан выбрался из вязкой трясины отчуждения.

Его голос был властным, каждый теперь признал, что он был прав: ради чего?

— Поздно, Степан,— глухо ответил Нестор.— Теперь все равно, в какую сторону разворачиваться. Я виноват...

Смеркалось. Беловатая темнота была густая и глухая, ни один звук, даже журчание ручья, уже не пробивался сквозь мягкий войлок тумана.

— А чем не площадка? — через минуту сказал Нестор, пытаясь разорвать подавленное молчание.— Да еще какая! Только что некому снимать.

— А жаль! — бросила Адриана.

Леонид принял это как вызов. «Она надеется, что я испугаюсь. И за что только так не любит меня эта экстравагантная девица, я в тысячный раз продумываю все наши разговоры, столкновения, непонимание и недоразумения, и в своем поведении не нахожу ничего такого, что могло бы вызвать антипатию ко мне. Это просто не уживаются наши темпераменты, характеры, мы смотрим по-разному на одни и те же вещи: я — восторженно, она — скептически, это еще не грех — ни мой, ни ее, и все равно мне хочется теперь, чтобы она по-настоящему испугалась, чтобы она предстала перед нами такой, какой была до того, как выдумала самое себя.

— Конечно, жаль,— подчеркнуто иронично произнес Леонид, и Адриана тоже приняла это на свой счет.

Нестор сколько мог дал задний ход, машина прижалась к скале, даже скрежетнуло, дальше она не отойдет от пропасти ни на миллиметр. Белые пряди, медленно вытягивавшиеся и создававшие завихрения над провалом, несколько отделились — Адриана ощутила, как стало легче на сердце, теперь она поняла, что боится.

— Скажите, Леонид, что в жизни настоящее, что

подлинное? — спросила она с придыханием. — Мы сегодня уже начинали разговор на эту тему...

Леонид не откликнулся.

— Не знаете?

— Знаю. Настоящее — хлеб.

— Боже, как парадно. Он настоящий, пока его не съели. А непреходящее настоящее, постоянный контроль поступков, мышления, состояния...

— Так скажите, раз знаете.

— Страх — это настоящее.

— О! — обрадовался Леонид. — Я так и знал! Скептики всегда становятся первыми трусами.

— Подождите... Да, в это мгновение я почувствовала, что боюсь, но сразу же меня охватило еще более острое чувство — страх, что я могу испугаться — не только здесь, а вообще — и сделать что-нибудь недостойное. Я бы хотела, чтобы этот второй страх всегда был бы у меня настоящим.

— Не дай господи, чтобы такое чувство руководило поступками всех людей. Нравственность, порядочность, героизм — под кнутом унижайшего...

— Тогда объясните мне, что такое совесть. Разве это не кнут страха перед самим собой?

Нестор осторожно выруливал направо. Пять сантиметров вперед, пять назад, и уже — тупик, потом еще и еще... И дернул же меня черт... Нет, Адриана тут явно переборщила. Совесть — страж, а не страх. А может, «страж» и «страх» происходят от одного корня? Есть нечто общее между этими понятиями, но они далеко не одно и то же... Человеку же свойственно самое обыкновенное чувство страха, сомнения, нерешительности. И Леонид, конечно, не свободен от этого, он сейчас боится точно так же, как все мы, однако в творчестве такой пуританин. А сколько раз мы побеждали себя!

...Однажды весной в понедельник ранним утром я шел через лес в Коломью, нес в сумке кукурузную лепешку и кусочек брынзы — еженедельный отцовский паек, долженствовавший придать мне сил учиться, потому что того постного супа, которым потчевала меня Перцовичева, не хватало даже на дорогу из Монаховки до гимназии — не то чтобы выдержать шесть

уроков за филиппиками Катона и комментариями Цезаря о Галльской войне. Я шел и радовался, что вокруг весна, что мой отец хромым и его не заберут на работы в Германию, что мать еще сильная, а я учусь, хотя по свету ходит смерть. Эту смерть я видел, но издали, она еще не прикасалась ко мне... Я шел и на-свистывал веселую коломыйку, потому что во мне крепкая юность, а в сумке перекатывалась из стороны в сторону кукурузная лепешка и упирался в спину тугой комок брынзы. И в этот момент юношеского ощущения радости бытия я споткнулся о мертвого. Его голова была заслонена кустом, а ноги вытянулись на лесную тропинку, я споткнулся об эти ноги, и панический страх, что здесь, на этом месте, убивают и меня тоже могут убить, толкнул меня в спину. Я бросился бежать, как сумасшедший, зеленые круги катились перед глазами, я бежал до крайнего изнеможения и лишь внизу, когда передо мной заголубела лента Прута, вспомнил: ночью трещали недалекие выстрелы, а отец шепотом говорил маме, что это немцы прочесывают лес в поисках ковпаковцев. Я остановился, и меня пронзил совсем другой страх: может, этот человек был еще жив, а я оставил его. Я подумал, что сказали бы о моем поступке отец, мать, сосед, учитель Страус, и тогда повернул обратно, добежал, припал к груди человека, лежавшего под кустом: теперь я уже не боялся ни мертвеца, ни самой смерти. Человек был еще теплым, я прижал ухо к его груди — сердце не билось, а кровь была совсем свежая... Может, Адриана права?.. А Леонид... Он сделал бы единственный вариант на эту тему: я несу полуживого партизана, тащу его, спасаю ему жизнь. Это тоже правдивый вариант. Но ведь художнику нельзя быть все время однозначным. Почему же не признаться, что был момент, когда совесть победила в тебе низменный страх?

Машина топталась на месте: рывок вперед — рывок назад, она уже стала наискосок дороги. На душе у Нестора полегчало: еще чуть-чуть — и развернется. И тут же мелькнула мысль и сразу обжег стыд, хоть это была мимолетная мысль: он на мгновение обрадовался, что машина уцелеет — такая новая, такая необкатанная...

Степан выглянул в окно, он решил, что опасность

миновала, и, удобнее располагаясь на сиденье, проговорил:

— Настоящее — это состояние человека в момент опасности.

— А что вы чувствовали, когда увидели, что взрыв на скважине неизбежен? — спросила Адриана.

— То, что каждый почувствовал бы на моем месте, — страх. Симптомов катастрофы никто, кроме меня, не заметил, оставались считанные секунды, а все были на своих местах... Меня же бросило назад, я пятился и видел только одно: трубы скручиваются, как змеи, металл покрывается инеем, и я закричал. Вы знаете, я закричал с перепугу, хорошо, что не лишился голоса, — меня услышали все и успели отойти. Только Марко, этот олух, он не хуже меня знал все тонкости нашего дела, заметил мою растерянность и, видите ли, как солдат, берущий на себя командование в разгаре боя, взялся подменять меня, загорланил: «Все за гору!» Я примитивно матюкнулся, подбежал к нему, толкнул в грудь, давая ему понять, кто здесь начальник, — моментально сработала моя амбиция...

— Совесть, страх, — перебила Адриана.

— У меня такое впечатление, что вы уже дважды жили на свете, — недовольно поморщился Степан. — ...И когда Марко все-таки исполнил мой приказ и я увидел всех своих на бугре, тогда я сам побежал, стараясь держать голову как можно ниже, спасся, как видите. Таково было мое состояние. Я вовсе не думал подбегать к задвижкам, как это у вас в сценарии...

— Мне начинает казаться, — пожал плечами Леонид, — что вы умышленно взялись избавить моих персонажей от способности к добрым поступкам. Я понимаю — есть человеческие слабости, но почему я должен копаться в низменном, пренебрегая тем большим, на которое способен, должен быть способен человек? Что это за тенденция — занижать человеческие возможности...

— Дорогой Леонид, — Нестор беспрестанно включал то переднюю, то заднюю скорость, терзая руль, — нам всем хочется возвеличить человека, но не с помощью котурнов, а проведя его через правду к правде. Жизнь так многозначна, ты же берешь только одно значение — положительный результат. А его

надо доказать, вот сейчас, типун мне на язык, если что-нибудь... ты не станешь изрекать сентенций о жертвенности, ты схватишь жену за руку и...

— Оставьте, — охнула Нилочка.

Она боится, подумала Адриана. И я боюсь. Еще больше, я же вижу обрыв... И мне все время, как перед концом, вспоминается одно и то же, словно оно было самым важным в моей жизни. А это не так, далеко не так... Но почему — может, это и было самым ярким? Или самым болезненным?

...Два года он преследовал меня, выныривая передо мной то в городе, то в театре, иногда в троллейбусе, — один или со своим сыном; мне приятно было его видеть, разговаривать, но и только... Однако эти встречи стали потом привычными, и я заметила, что мне чего-то не хватает, когда долго не вижу его. Я стала раздражительной, все чаще и чаще у нас с мужем разгорались ссоры. И однажды случилось то, что должно было случиться... Нам казалось, что мы сбежали сами от себя, от своих будней, но этот день кончался, и надо было возвращаться домой. Я вспомнила, что в доме нет хлеба, он подумал о том же, мы вошли в магазин, и продавщица, не задумываясь, подала нам один хлеб на двоих. Мы не хотели ее разочаровывать, стояли молча и долго смотрели на этот хлеб, который нам никогда не доведется есть вместе. Магазин опустел, продавщица посмотрела на нас и поняла все. Она подошла, разрежала хлеб, и мы разошлись, не попрощавшись — грустные и подавленные. Что же было тогда истиной, что? Горячие поцелуи или этот хлеб, разрезанный пополам?

Машина внезапно качнулась. Из-под правого переднего колеса снова зашуршали камушки.

Нилочка не услышала этого тревожного сигнала. На ее запястье теплая и мягкая ладонь Леонида — это защищало ее от любой тревоги. Она пыталась думать о чем-нибудь, совсем не относящемся к путешествию.

Машина еще раз угрожающе качнулась. Нестор нагнулся вперед, под правым колесом, над самой пропастью сдвинулся, выворачиваясь из своего гнезда на дороге, большой камень. Нестор перестал рулить, замер.

Эту расщелину, еще неглубокую, увидела и Адриа-

на. Странная ломящая боль охватила сначала ноги, потом спазмой сжала грудь, а мозг онемел от безнадежно-тоскливой мысли о таком бессмысленном и ничем не оправданном конце. Она нагнулась к Нестору, со всхлипом втянув в себя воздух. Степан, сидевший позади нее, мгновенно понял причину этого всхлипа. Он посмотрел в окно, тоже увидел расщелину и властно — так, наверное, он говорил с подчиненными в критических ситуациях — сказал:

— Все из машины, быстро! Ну ее к черту...

— Мы не можем оставить машину, — сдавленным голосом ответил Нестор. — Собственно, выйти можете вы и Адриана. Нам с Леонидом стóит только на килограмм уменьшить тяжесть...

— После нас выскакивайте вы — на ту сторону вместе.

— Нилочка не успеет.

Морось сгустилась, туман лениво кружил над пропастью. Адриана, между прочим, подумала, что святые в библейские времена ходили по таким местам пешком — это была дань ее скепсису, основная же мысль, очень трезвая и конкретная, была о том, что у нее есть возможность выйти из машины. А право? Раз есть возможность, то можно найти и право — Адриана уже однажды так поступила, это было, когда она решила, что настоящее для нее — не половинка хлеба, а поцелуи на траве... Она оставила мужа, чтобы не походить на ту половинку. Право быть цельной позволило ей тогда «выйти из машины»...

Он же этого не сделал...

Адриана нерешительно протянула руку к ручке дверцы. Она еще обдумывала свое право выйти, потом сразу нашла его: без нее станет легче правая сторона машины, наклонившаяся над пропастью, она должна выйти, чтобы другая сторона крепче осела на твердое; Адриана однажды уже так сделала, и той, второй половине, ее бывшему мужу, сейчас совсем неплохо, вероятно, даже и легче, она тогда поступила, как и надлежало, почему же этого не сделал он, не сделал и остался раздвоенным, как тот хлеб...

Нажала на ручку дверцы, и в то же мгновение мозг пронзила мысль, что она наверняка останется жива, а те, что в машине, еще неизвестно, а может,

именно это подумал и он, решив остаться вместе с теми, с кем был до сих пор, потому что не был уверен, что они осядут на твердь, побоялся, что спасется только он один? Чей поступок был мужественнее — его или ее?

Адриана бросила взгляд на товарищей: каждый теперь углубился в себя. Рука на ручке дверцы ослабла, потом опустилась.

Степан был спокоен, не шевелился. Его мозг упрямо работал, ища какое-то новое решение; на предложение Нестора выйти он не отреагировал и сам себе удивлялся: почему не реагировал? Почему тот страх, который овладел им тогда, на буровой, не мучает сейчас? Однажды лишь возник, чтобы дать возможность победить себя и подготовиться к подвигу? Да, это так. Пчела, пока получит возможность летать, должна пройти много стадий. Много испытаний надо пройти прежде, чем получишь право и станешь способным летать, а не ползать.

— Почему вы не выходите? Вам можно... — заговорила Нилочка.

— А может, я пересажу вас через мои колени и выброшу на дорогу? — улыбнулся Степан.

— Мой вес должен быть на стороне Леонида, мне нельзя..

— Но ведь тогда придвинусь к нему я.

— Нет, нет! Зачем мне быть там одной? Я останусь с Леонидом, с ним не страшно...

Нилочка почувствовала вдруг, что руке стало холодно: Леонид отнял свою ладонь. Нила поискала его руку, но тут ее обжег резкий голос мужа:

— Не будь такой нудно-сентиментальной, хотя бы на людях...

Она съежилась, замолчала. Но все же отыскала руку Леонида — теперь рука его дрожала, он весь дрожал. Чувство беззащитности охватило ее.

— А ты знаешь, Нестор, — Леонид пытался побороть волнение и говорить равнодушно, — это все-таки любопытная деталь: сын бежит домой, узнав о смерти отца, в душе отчаяние, а мысль вертится вокруг отцовской куртки.

— Интересно, почему тебе только теперь стало понятно это подленькое чувство... — раздраженно про-

говорил Нестор, у него самого только что мелькнула мысль о машине, но он вернулся тут же к людям, которых поставил лицом к лицу с опасностью, как тогда над Прутом возвращался к раненому партизану... «Все в свое время...» — уколола Адриана, и Нестору стало тоскливо, потому что он видел, что Леонид приближается к состоянию, которое он, Нестор, уже поборо. Он понял, что на него ложится ответственность не только за жизнь, но и за душевное состояние людей, сидевших в машине, нужно немедленно выходить из этой переделки. Теперь Нестор боялся только за них.

Он попробовал еще раз вывернуть руль влево, камень под правым колесом угрожающе покачнулся. Нестор заглушил мотор, вытер пот со лба.

— Я мог бы... — сказал он, — я мог бы сейчас сильно рвануть, если бы был уверен, что этот второй камень, который за этим, держится крепко. Если он стоит твердо, то мы проскочим... Адриана, а ну-ка выйди, взгляни.

Что ж, подумала Адриана, мне приказывают. Я не придумала для себя права выйти, мне велели... Ее рука снова потянулась к ручке дверцы, и если бы не это ощущение эгоистичного облегчения, может быть, и вышла; чувство это было слишком властным, оно вытеснило все остальное. Адриана увидела себя там, под скалой, одну — стоит одна, и больше никого нет, ведь это так страшно: были все — и нет никого! Ручка обожгла ей ладонь, она отдернула руку, закричала:

— Чего вы от меня хотите, чего, чего?!

Никто не понял этого крика. Нестор с яростью посмотрел на Адриану.

— У нее нервы сдали, у нее только язык крепкий... Выходите, Степан... Вы что, не слышите? — крикнул он.

— Мы с Адрианой сидим с правой стороны, вы забыли об этом, — ответил Степан. — И перейти на другую сторону не можем. Разве что по кузову.

— Так лезьте по кузову, черт вас возьми!

— Это еще опаснее.

Воцарилось долгое и тяжкое молчание. Нестор снял руки с руля и откинулся на спинку, Адриана подперла голову ладонью, Степан морщил лоб — он еще искал выход из положения, Нилочка гладила Леонида

ладонью по запястью... Сеялась густая изморось. Каждый молча готовился ждать до утра и каждый думал о мёроси, от которой до утра может размокнуть дорога, а машина уже висит одним колесом над пропастью...

От чьего-то глубокого вздоха машина чуть шевельнулась, подвинулась. Леонид выдернул свою руку из Нилиной ладони, ухватился за раму открытого окна, высунул голову, будто хотел выпрыгнуть в него. Нила замерла, ее рука так и повисла в воздухе: это заметила Адриана, но не успела она осознать все, как произошло нечто совсем неожиданное. Это было лучшей развязкой, единственным выходом, спасением — надо же было додуматься до этого!

Леонид рывком распахнул дверцу, нагнулся и, напрягшись и кряхтя, поднял на колени огромный камень — в другую, спокойную минуту вряд ли он смог бы сдвинуть его с места. Осторожно встал, сдвинул камень с колен на сиденье, подтащил к камню Нилочку. Она не поняла, что он задумал, только ощутила под ладонями вместо его дрожащей руки холодный, мокрый и грязный камень. Леонид снова выскочил из машины, подбежал к краю обрыва, опустился на колени, нагнулся и с надрывом закричал:

— Скала выпуклая! Камень не двигается!

Он повторил это несколько раз, голос его переполнял избыток радости, он размахивал руками, показывал куда ехать, командовал: «Левее, левее руль!», будто Нестор мог забыть и повернуть руль направо. Натужно заурчал мотор, машина рванулась с места и, выскакивая на твердую дорогу, задним колесом завалила надколотую кромку. Глухой рокот отозвался со дна глубокого провала.

— Ну, все.. — хрипло проговорил Нестор. Сбросив пиджак, ощупал себя: сорочка была мокрая.

Леонид, довольный своей находчивостью, возился возле сиденья, с трудом сбросил с него камень, заботливо вытер носовым платком грязь и, садясь, обнял за плечи Нилочку.

— Испугалась немножко... Бедная ты моя!.. Едем, Нестор, нас ждут. Газуй!

— Как он только додумался до этого, — пробурчал Нестор, включая скорость.

— Хе, — взмахнул рукой Леонид. — Мне почему-то вспомнился анекдот с бородой... В поезде один выдумщик подошел к стоп-крану и долго возился, делая вид, что не может повернуть рычаг. Простачок смотрел, смотрел на него, потом отстранил выдумщика и показал ему, как это делают. Поезд остановился, простачку пришлось заплатить штраф. Тогда выдумщик сказал, сперва показав на бицепсы, а потом на лоб: «Коллега, надо иметь не только тут, но и тут!»

Леонид посмотрел на друзей и замолчал. Понял, что анекдот сейчас некстати, люди еще не расслабились, только потом они оценят и ситуацию, в которую попали, и его поступок. Он положил ладонь на Нилино запястье, но она высвободила руку.

— Ты такой холодный...

— А как же иначе... Камень мокрый, в грязи...

— Камень? — переспросила Нилочка.

Машина тем временем выехала на асфальт и помчалась сквозь поредевший туман к перевалу.

Нестор размышлял над уже отснятыми сценами и над теми, которые еще предстояло отснять. А если бы тут стояли операторы и снимали? Все равно ничего бы не схватили: мы были за стеной тумана. Им удалось бы заснять только однозначный результат. Только само происшествие... Нет, это фальшиво. В новом сценарии надо вывести героев из тумана. И пусть мальчик берет в камере для заложников песню Гарматия, пусть спасает партизана, но перед этим должен одержать победу над своим страхом. Кто напишет такой сценарий?.. Только тот, кто имеет на это право!

Степан дремал и в полусне думал о том, что исключительных ситуаций нет вообще. Есть жизнь, в которой человек постоянно проявляет свою силу и свои слабости. Что же такое настоящее, подлинное? Вероятно, мужество побеждать безволие?

Адриана думала о человеке, который когда-то не мог оставить близких в одиночестве над пропастью. Взвешивала все и не могла решить — трусость это или мужество?

Леониду представлялась сцена: пятеро над пропастью, и спасает всех он один.

— Даже подумать страшно, что мы все сегодня

могли.. — сказал он, складывая губы в трубочку. — Все...

Никто не ответил ему. А когда въехали на перевал и силуэт хижины проступил из-за тумана, Адриана пробормотала нечто совершенно неуместное:

— Кроме одного. Кроме одного...

Никто не отреагировал на ее слова. Все они были друзьями, и все в конце концов привыкли к ее экстравагантности...

Над смыслом ее слов задумался, может, только один Нестор; он анализировал теперь поведение каждого и свое собственное, но не осуждал никого, не давал себе такого права... И вообще, можно ли написать абсолютно точный сценарий? В людях и ситуациях столько сложного и неожиданного, что никак невозможно пройти по дорогам жизни и искусства заранее обдуманно ходами.



НОВЕЛЛЫ



ЗЕЛЕНый ШУМ

Вот здесь, на вогнутом береговом укреплении, которое врезалось наискось в пену Черемоша, здесь, где ты стоишь за теодолитом и прицеливаешься перекрестьем в другой берег, станет левая опора высокой плотины. Это произойдет вскоре, и вечно дикая река сразу остановится в бешеном беге, и тихие воды постепенно наполнят эту долину, наполнят до отказа — от буковинского до покутского берегов. Сперва поверхность рукотворного озера взъярится в бессильной злобе, и яростные водовороты закружатся посредине, увлекая в свой последний танец рогатые пни и вымытый из недр щебень, окаменевшие колоды, остатки плотов, мусор со дворов и ил, втоптаный в землю тысячелетними ливнями и снегами, и будет вода черной от удивления и злобы, но пройдет немного времени, и она очистится и успокоится, а в глади отразятся мириады новых, невиданных огней, и люди, переселенные на берег огромного озера, вскоре забудут свою печаль по насиженным местам и не передадут ее в наследство внукам.

А сейчас здесь зеленый шум воды и лесов... Везде этот зеленый шум да удивительная, красноречивая тишина: и склоны гор, и потоки, и небо, и дикая река — все в этом шуме. Стена лесов тугая, налитая. Эта зе-

лень позднего лета гордо уверена в своей силе и зрелости, и вечной ей кажется ее мудрость, и не видит она, еще не хочет видеть первых рябых пятен осени, что уже кое-где упали на листья, и думать не хочет, что эта позолота вскоре расплзется тысячью оттенков, чтобы в роскошной красоте воспламениться напоследок и с тихой печалью войти в зиму.

Зеленый шум зрелости... Уверенный, добрый и тяжелый от изобилия плодов. Фиолетовые шишки на елях темнеют и топорщатся от набухших зерен. Птицы доклевывают засохшие ягоды диких черешен. На безлесных вершинах гор расцвел остроконечный вочуг, доносится приторный запах его густых цветов; и клепают косы косари, потому что, когда цветет вочуг, который не ест скотина, надо, чтобы легли в покосы сладкие травы. Ольха уронила в воду коричневые гроздья семян, потемнел лесной орех, темно-желтой, как кудри волос белокурого ребенка, стала пряжа на кукурузных початках. Вся природа такая щедро-спелая, что просто удивительно, как и почему возле твоих ног проклюнулись из старой еловой ветки молодые липкие побеги. Их можно бы и не заметить. Но ты увидел, и вдруг запоздалая примета молодости природы одним только воспоминанием омолодила весь лес, и горы, и долины, жесткая летняя зелень словно сразу омылась весенним ливнем, талым льдом запахла река, покрылись бледно-зеленой травкой полонины, черешни набухли еще не распустившимися цветами, и стало все вокруг на мгновение таким, как в пору вешнего расцвета, когда еще не буйствовал лес, и воды были мутны, и листва липка от сока, и еще далеко-далеко было до этой уверенной, мудрой и тяжелой летней зрелости с первыми крапинками осени на листьях.

Ты почему-то увидел эти молодые еловые побеги, почему-то захотел их увидеть, ты оторвал взгляд от тетрадки, в которой ежедневно записываешь измерения, в это мгновение тебе стало безразлично, что ты можешь допустить ошибку и тебе потом придется все проверять заново. Неужели тебе стало жалко, что исчезнет под водой эта благословенная тихая долина, что совсем другой, железный шум родится среди этих гор, и он будет не шумом тишины, а шумом напряженного труда,—и эта перемена явится плодом твоей

и твоих друзей мысли? Или тебе стало жалко, что не увидишь тут больше зеленых побегов, которые поздним летом напомнили тебе раннюю весну?

И ты вдруг вспомнил...

...Ели выпускали первые липкие побеги, а по разбитой обочине дороги у подножий скал и круч против течения Черемоша янулся хортистский обоз, и ты, потеряв уже надежду, что вырвешься когда-нибудь из этой страшной орды, тихо покрикивал на отцовских лошаденков, реквизированных оккупантами, сидя на ящиках со снарядами. Солдаты были мокрые, голодные и злые. Ты робко озирался, потому что тебе не было еще и пятнадцати, а позади тебя, свесив с вoза ноги, сидел твой стражник с карабином между колен, и тихо, чтобы никто не слышал, напевал украинскую песню про камень, что растет без корня, про солнце, что всходит без семени, про сердце, что плачет без слез. И, обрывая песню, говорил тебе шепотом:

— Не грусти. Нам бы только за перевал, а там драпанем. Я к своему отцу, а ты вернешься к своему...

Но ты не верил. Потому что за тобой ужом тянулся черный обоз со снарядами, полевыми кухнями и пушками и промокшие офицеры яростно ругались. И этому, что называл себя украинцем из Закарпатья, ты тоже не мог доверять: на нем был чужой мундир, а вояки в этих мундирах стреляли в твоих односельчан над Прутом.

Твоя ранняя весна пришла к тебе по разбитой колесами и сапогами оккупантов дороге, которая вилась болотным месивом вверх по-над Черемошем, и эту раннюю весну будили крики «маркитантки» Миронячки, которая не боялась волочиться за обозами деморализованной хортистской армии и за самогон выменивать у солдат алюминиевую посуду, ремни и парусину. И вдруг на крутом повороте, где дорога спускалась к самой воде и только переплетенное крепкими канатами береговое укрепление спасало ее от гибели, вдруг сбоку, из впадины затрещали автоматные очереди, из лесу на просеку выбежали четверо или пятеро советских солдат в полосатых защитных плащ-палат-

ках и послышался такой неуместный и смешной крик «маркитантки»:

— Да куда же вы стреляете? Ой-ой, да подождите! Дайте спрятаться! Да я же не хортистка, а Миронячка из Хороцева!

Вы вместе с закарпатцем соскочили с воза и вмиг очутились за береговым укреплением по пояс в ледяной воде; погонщики поворачивали коней, ломались дышла и оси, возы наезжали один на другой и с шумом скатывались в мутную воду Черемоша; ржали кони, рвали построжки; хортисты беспорядочно стреляли из карабинов. Разведчики, ликвидировав огромный обоз, вернулись обратно в лес. Когда перестали ржать искалеченные и уцелевшие лошади, вы вместе с закарпатцем выползли из-за берегового укрепления и с жалостью смотрели на женщину, лежавшую на обочине.

— Никак живая! — вдруг вскочила «маркитантка» и перекрестилась. — Ой, Василек, правильно ты говорил: не ходите, мама, за пустым, а я не послушалась, — жаловалась женщина, не видя их, и вытирала руками долгополый кожух. — Пуля продырявила, как же буду ходить? Смотри — и тут дырка. В чем же я теперь в церковь пойду? Да пускай бы пропало это вражье добро, мудро ты сказал, Василь... — И вмиг оторопела, увидев перед собой хортистского солдата.

— Не бойтесь, мы свои, — поспешил успокоить женщину закарпатец. — Ведите нас в свою усадьбу и найдите что-нибудь сухое переодеться.

— Господи, да ведь есть Василево старое дранье, — с облегчением затараторила «маркитантка». — Идем, идем!

Когда прошли не больше пятисот метров по дороге, по которой убежали хортисты, и свернули на тропинку к Хороцеву, ты увидел под развесистой пихтой, посаженной возле двора, красивого кудрявого парня, который лежал навзничь и был очень бледен, без кровинки в лице. А возле него, как статуя, стояла тоже красивая молодая женщина с распущенными черными волосами и с застывшими, протянутыми вперед руками.

— Василь! Сыночек мой! — пронзительно закричала «маркитантка».



...С утра, до восхода солнца, ты выбегаешь из своей квартиры к реке. Парует Черемош, воздух пахнет холодной росой, настоящей на травах, из-за буковинской горы Турнас выстреливает, будто из мощного прожектора, конус горячего света и выхватывает из утренней мглы влажную гору Лысинку, что на покутской стороне,— примеряются давнишние соседи-вершины, как бы перепрыгнуть друг к другу и запрудить реку.

Идешь по тропке по-над Черемошем к своему береговому укреплению, где потом, после завтрака, снова

будешь вести измерительные работы, привязывая к местности проект плотины.

Это не рабочий выход: тебе хочется еще и еще раз убедиться, что все произошло именно тут. Это было так давно, что уже в памяти стерлось, и когда ты несколько дней назад остановился над узким речным коридором, между Лысинкой и Турнасом, местность была для тебя совсем чужой, только вогнутое береговое укрепление почему-то показалось знакомым, где-то ты видел такой мол, наискось вогнанный в реку, переплетенный грубыми канатами: шум реки вдруг начал отбивать ритм песни про камень, что растет без корня, да утонули клочки неясных воспоминаний в зеленой пене.

Только потом — молодая ветка среди позднего лета...

Молодая ветка пихты, посаженной возле подворья, с еще прижатыми к стеблю, не расклеившимися иглами, уткнулась в лицо Василя и ласкала его. Ты видел, как «маркитантка» тормозит тело своего сына, расстегивает киптарь¹ на нем, а думал совсем о другом: так, как Василь, спало вчера это дерево, а сегодня проснулось, и ты думал о том, что наступает весна. Миронячка разорвала рубашку, и покраснел побег пихты, выпачкался в крови.

— Софья! — закричала Миронячка, и ты увидел глаза молодой женщины. Они были зеленые, как пучочки иголок пихты, и отчаяние, которое было в них, не убивало их красоты, и ты снова не мог думать о черном горе вдовы, а думал о том, что наступает весна.

Софья стояла неподвижно, закарпатец снял с головы гонведскую фуражку, швырнул ее оземь: губы Софьи искривила гримаса, словно она была готова засмеяться, и снова закричала Миронячка, припав к расплывшему животу невестки:

— Опомнись, ребенка погубишь!

Тогда Софья проговорила:

Ну что, мама, разбогатели? Это же он вас шел искать. А хортисты пулей его остановили.

¹ К и п т а р ь — расшитая орнаментами гуцульская меховая безрукавка.

Только теперь, после этих ее слов, так спокойно сказанных, ты понял, что случилось, и почернела медовая зелень на пихте и в Софьиных глазах.

Этот взгляд пошел следом за тобой. Много лет спустя, когда в памяти стерся образ Софьи и забылось ее горе, ты иногда, остановившись перед своей зеленоглазой любимой, улавливал гревожную тень в ее беззаботных глазах и знать не знал, откуда знакома тебе эта извечная женская тревога, которая таится где-то глубоко в зрачках даже тогда, когда впереди расстилается счастье.

Закарпатец сказал на похоронах:

— Я приведу ее в память, ребенка усыновлю и тут останусь.

Рыдали трембиты, а Софья — нет.

Она молчала, ответила мать:

— Нет, возвращайся. Вижу — зачахнет она. Такая любовь была у них, которой горы еще не видывали...

Ушел и ты с гор домой. Шел, словно вброд переходил раннюю весну. Терпко пахла она. Живицей, рястом и грибницами. Ты шел мимо сломанных возов и вздутых туш убитых лошадей, минуя пожарища. Ты брел по пояс, по шею в человеческом горе, и стремились за тобой, как символ народной боли, темно-зеленые глаза молодой красавицы вдовы, и из моря этой боли ты взял каплю в свою жизнь — как предостережение.

Наколдовала непогоду Лысинка. Закипел на ней белый туман и перелился через ее вершину в долину, как молоко из подойника в миску. В то же мгновение закурились и соседние вершины, и в глубокую чашу села полился отвесный дождь. Ты сидишь на пороге без дела и смотришь, как дымятся вокруг гор мокрые пожары, гаснут под дождем, снова грохочут белыми клубками, а село притихло внизу, словно на дне погасшего кратера, и задыхается от пахучих испарений.

Жив ли хоть кто-нибудь из них: «маркитантка», Софья, ее сын или дочка, закарпатец? На месте Миронячкиной хаты не осталось и следа жилья, сейчас там растет картофель: неужели вся их жизнь лишь того и стоила, чтобы вы с закарпатцем взяли из нее по капле печали?

— Здоровы будьте... — услышал ты сквозь вкрадчивый стук капель затихающего дождя.

Возле ворот стояла старенькая высохшая бабуся со стеклянной банкой молока в руках.

— Спасибо вам! — ответил ты.

— Подойди-ка... Давно приехали к нам?

— Да нет...—сказал ты нерешительно, потому что после всего вспомнившегося тебе показалось, что ты и не уезжал отсюда никогда, и было странно, что никого не узнаешь.— Недавно, бабуся.

— А, так вы из этих, инженеров. Слыхала, село будете затоплять.

— Это еще не скоро,—сказал ты и, прикинув бабусин возраст, совсем успокоил ее:— Спите спокойно, это еще не скоро...

— Так возьмите у меня это вот молочко—за помин души.

— Благодарствую,—сказал ты и услышал:

— А они мертвые, тоже едят, потому что живут—там,—старуха кивнула головой не в небо, а в землю,—и страшного суда ждут, и воскреснут, и придут. Придут мои Василько и Софийка...

— Миронячка! — воскликнул ты.

— Я, я,—прошамкала старуха.

Ты подбежал к ней, тебе хотелось обрушить на нее град вопросов, но остекленевшие от старости глаза и успокоенное перед вечностью лицо не свидетельствовали о крепкой памяти бабуся, и ты только спросил:

— У вас... у вас есть внук?

— А почему же не быть — есть.—Старуха пожала острым плечом, словно удивляясь, почему это о такой очевидной вещи должны спрашивать.—Есть внук, а то как же, на сплаве работает, завтра проведет плоты и придет. Есть, почему бы не быть,—бормотала она, идя со двора, ее, видно, все-таки взволновало: почему кто-то, зная, что живет на свете Миронячка, сомневается в существовании ее внука.—Конечно, есть, куда же бы делся...

И у тебя на душе стало светло и хорошо, и мучительные воспоминания о затоптанной весне успокоились: так бывает, когда в вечерней тревоге ждешь возвращения сына, и наконец открывается дверь...

Идет к осени спелое лето над Карпатами. Где-то проклюнется молодой побег как воспоминание о весне, но это не весна. Бьются горячие лучи о жестко-зеленую сень лесов, звенят и сеются на листья осенние рябинки. Весна придет потом — новая, другая. Она восполнит прошлогодние утраты: расцветет то, что тогда не расцвело, уродятся новые плоды на побитой градом и размытой половодьями земле. Поэтому без тревоги и сожаления надо идти в осень со своими приобретениями и утратами.

Ты стоишь за приборами на линии Лысинка — Турнас и с затаенной грустью смотришь на зеленую ложбинку села, где когда-то упокоился первый день твоей ранней весны... Ну, не будь ханжой, скажи, признайся, что тебе жаль этого клочка земли, этой грозди карпатской природы. Разве ты не грустишь порой, глядя на взрослого сына, по его прежнему наивно-милостивому детскому лепету?

Но в природе все целостно—и осень и зима. И зрелость человека целостна. И плод ее мысли — тоже. Вёсны повторяются — для природы и для человечества, но ни одна не будет похожа на свою предшественницу.

...Идут последние плоты по Черемошу. На первом стоят три дюжих сплавщика, налегают на шесты, натужно скрипят рули.

Плотогоны здороваются с тобой, что-то кричат, но ты не слышишь их из-за рева вспененного Черемоша. Вечный шум, зеленый шум, или уже отголосок...
Который из них Софьин сын?

Перевод *Вадима ВЛАСОВА*

СЛЕДЫ ЖИЗНИ

Когда Ясенюк рассказал об этом, я оторопел, потому что уже однажды в жизни слышал буквально те же самые слова:

«Он был огромного роста, быка удерживал одной рукой за шею. Когда шел на войну, сказал матери: «Не печалься, меня разве что прямым попаданием снаряда убьет». А не вернулся».

Я смотрел на своего друга и молчал: мог ли я до сих пор даже подумать, что когда-то в тех далеких краях говорилось именно так про его отца и что знаю я о нем больше, чем сам Ясенюк? А может, это и не про его отца, но ведь точь-в-точь те же слова: «Не печалься, меня разве что прямым попаданием снаряда убьет».

И я поехал туда еще раз — вместе со своим другом Ясенюком.

Растрескавшаяся, сожженная жестоким солнцем степь дышит знакомым зноем в лицо, я высовываю руку из окна вагона, чтобы уловить в скорости поезда хоть немного прохлады, но ощущаю лишь жару, от которой сохнет и шелушится кожа: степь ежится перекати-полем, блестит заплесневелыми шкурками солончаков, а дальше такыр не выдерживает жары. — крошится в песок, и уже курятся песчаные дюны от

легкого ветра, как миниатюрные кратеры, и только зеленые купола гробниц-мазаров, разбросанные кое-где в пустыне, и стада верблюдов свидетельствуют, что и тут живут люди.

Все это мне знакомое и даже родное, ведь я в этой степи провел три года своей юности, понял здесь цену капли воды и кусочка тени под саксаулом, научился побеждать не только лень, но и крайнюю жажду, находить в себе неизведанные запасы сил и радоваться заработанному отдыху.

Мой друг молчит, он сейчас там — на конечной станции нашего пути, у тех людей, наблюдавших, возможно, последними неизвестные ему следы отцовской жизни. А я узнаю все вокруг, хотя бури не раз перевернули тут пески, засыпавшие и мои собственные следы — тоже дорогие мне. Перекати-поле промчались в безвестность по степи почти два десятка раз с тех пор, как стояли тут наши солдатские палатки, но все выглядит неизменным на этой желтой неоглядности. Недостижимо далеко виднеется каемка Читкальских гор, манивших нас к себе тогда полноводьем и зеленью, как обетованная земля.

Где-то здесь, а может, вон там стояли каждое лето наши военные лагеря и учебные казармы. Минареты, медресе и торговые купола Бухары казались мне тогда сказочными, потому что так всегда в пустыне: живой мир кажется нереальным.

Вот, здесь! Здесь!.. Глубокий каньон, протянувшийся от далеких гор, словно въезд в степь, — это же в нем стояли наши машины и зенитки: вот полустанок, железнодорожный домик, а возле него колодец, из которого мы брали воду, и увядшая зелень вокруг него — будто оазис...

Поезд мчится, не останавливаясь, у колодца женщина стирает белье, — так было и тогда, только это уже другие люди... И сразу становится отчетливо видно, как рисунок углем: наводчик из моего зенитного расчета Хамракул брызгается водой у колодца, наслаждается и покряхтывает: «Друг, друг, не лей больше — вода в сапог поехал!»

Так выразительно прикосновение к прошлому, будто время повернулось вспять и я ступил вторично в тот же самый след, давно засыпанный песком. Я уже

шел по той дорожке, что где-то там, в Читкальских горах, должна была пересечься со стежкой отца Ясеюка.

Я чуть не вскрикнул, чуть не сорвал стоп-кран, на который оперся локтем, но поезд простучал на полной скорости, станционный домик уменьшился, и снова лишь Хамракул остался со мной...

Хамракул из Хумсана — зеленого кишлака в Читкальских горах, сын Асама-ака. Он пришел в наше подразделение на год позже меня, был высокий, как жердь, и горбился, сутулился среди нас, крепко сбитых, приземистых хлеборобов: ему было неудобно за свой рост, которого он, наверное, не замечал, бродя по ущельям за овечьими отарами. По-русски он знал не более десятка слов, и его широкий нос расплющивался в смущенной улыбке, когда командиры опускали руки, не умея с ним объясниться: карабин он держал, как чабанскую палку, и поворачивался в строю каждый раз не в ту сторону.

Хамракул был добрым: на все трудности, даже на кухонный наряд он реагировал одним словом — «хорошо», в людях видел только хорошее, плохого вообще для него не существовало. Все понимал, все прощал, кроме одного — непонятную, но, должно быть, крепкую ругань цедил он сквозь зубы, глядя, как наши наводчики, стреляя по мишеням, безбожно «мазали». Когда над полигоном пролетал самолет, буксируя за собой конус-мишень, узкие глаза Хамракула остро напрягались; он — заряжающий, который сперва даже снаряды подавал не тем, что надо, концом, каждый раз после очередной серии выстрелов всплескивал руками и, выругавшись, сокрушенно жаловался: «Вай, вай...»

Не знаю, когда это произошло, но я полюбил его, и он стал моим другом.

Однажды Хамракул сказал:

— Поедешь со мной в Хумсан.

Это было не приглашение, а утверждение того, что должно совершиться, и как бы в доказательство, что в Хумсане и правда стоит побывать, он показал на силуэт высокой горы, бледно синевшей на горизонте:

— Видишь, орел над Кукьюлем летает... Не ве-



ришь, что вижу орла? Поставь меня один раз наводчиком — сам убедишься...

Он несколько раз просил меня об этом, и я самовольно посадил его однажды за калиматор на боевых стрельбах. Тогда произошло чудо: Хамракул с первого же выстрела рассек конус — только клочья розового шелка упали на полигон.

Примчался на газике сам командир полка, послал нас обоих умываться к нашему колодцу у стационарного домика: Хамракул получил десятидневный отпуск, я — трехдневное увольнение.

— Вода в сапог поехал! — смеялся и кряхтел Хамракул, умываясь.

...Ясенюк, очевидно, почувствовал, что я, путешествуя по своим следам, приближаюсь к тем, которые волнуют и его; он тронул меня за плечо, сказал:

— Расскажи еще раз поподробнее все, что ты узнал от Асама-ака...

И я перешел со своей дороги на последнюю тропку отца Ясенюка.

...Хамракул постучал в калитку, вмурованную в высокий дувал, и мы долго ждали, пока она открылась. К нам вышел, опираясь на костыль, седоголовый человек, похожий на Хамракула, только пониже ростом; увидев сына, он причмокнул языком, удивляясь, наверное, не столько его появлению, как военной форме на нем, потом заковылял впереди нас по тропинке в сад.

Тяжелые от абрикосов и слив ветки сгибались до земли, из виноградных кустов выглядывали медовые гроздья, а через просветы между деревьями виднелись синеватые, поросшие кустами большеголовые холмы, нависавшие друг над другом, как огромные ступеньки к островерхому Кукьюлю. Я засмотрелся на это настоящее, после однообразных и безмолвных песков, чудо, и Асам-ака сказал, улыбаясь:

— А ты откуда будешь?

— Тоже с гор. Карпатских...

— Земляк! — всплеснул руками Асам-ака, уронив костыль. — Земляк! Ваша кровь — моя кровь...

Он закричал что-то по-своему, из дома вышла женщина с младенцем на руках, певучим голосом поздоровалась с Хамракулом, отдала ему запеленатого малыша, а сама засуетилась, вынося в сад тарелки с фруктами и кувшины с вином. Хамракул нянчил младенца и тоже говорил нечто непонятное мне:

— Твоя сестра, в ней тоже ваша кровь.

Асам-ака наливал в пиалы вино и говорил быстро, будто боялся, что его перебьют:

— Ты найди, когда вернешься домой, найди его сына, он говорил, что у него есть сын... Вай, забыл его фамилию... От Тернополя шли мы вместе, а в Карпатах я наступил на мину. Всю одежду сорвало с меня взрывом, только ремень остался на теле, смотрю, а ноги

нет... А потом он дал мне кровь, моя чуть не вся вытекла. У него ее много было, он был такой, как мы вместе втроем, и почти вся кровь во мне — его кровь...

Асам-ака умолк,пил вино из пиалы, а затем, пристально глядя на нас с Хамракулом, снова заговорил о прошлом:

— Братья? Братья... Вы тут, а мы там были братьями. А может, ты его сын? Нет... Вай-вай, как его звали? Дерево такое крепкое растет у вас — карпатский саксаул... Память стала у меня плохая после контузии. Он говорил всегда: «Меня ни осколок, ни пуля не возьмут, меня разве что прямым попаданием снаряда убьет...»

— Что же с ним случилось? — осторожно спросил я.

Асам-ака схватился за голову обеими руками и закачался. Он долго качался в тоске с боку на бок, а потом сказал:

— Его убило на перевале... прямым попаданием снаряда. Ничего не осталось от него... Найди его сына, скажи, что отцовская кровь и память живут в Читкальских горах. Вай-вай... Как его звали? Дерево такое растет у вас...

— Это был отец... — прошептал Ясенюк. — Дерево, как саксаул. Ясень! Это был мой отец — Василь Ясенюк...

За окном вагона промелькнули желтолистые тополя, а дальше зелень пошла гуще, поезд замедлил ход — мы подъезжали к станции, за которой нависали друг над другом головастые холмы, как огромные ступеньки к островерхому Кукьюлю.

Когда-то Хамракул на прощанье сказал мне: «Приедешь — самого лучшего барана зарежу». Мы обещали друг другу обязательно встретиться, и оба не верили в свои обещанья...

И вот идем с болью в душе — я и Ясенюк. Дорога спускается под гору, суживается, становится крутой тропой выющейся среди дувалов, я узнаю тут каждый поворот, каждый угол. А Ясенюк настороженно присматривается к незнакомым местам, будто хочет поскорее найти след своего отца и взять из него что-то важное и необходимое для своей жизни.

Хамракул даже не вскрикнул, увидев меня, — такие уж уравновешенные и спокойные узбекские пастухи! Мы тихо обнялись, и он пошел впереди, качая головой, в сад, к тому самому месту, где мы когда-то пили вино.

Я смотрел на него, искал перемен в его лице, не знал, с чего начать разговор, но меня опередил Ясенюк:

— Где ваш отец Асам-ака?

Хамракул согнулся, неопределенно развел руками, прошептал:

— Нет уже Асама-ака...

Я увидел, как вздрогнули плечи у Ясенюка, померк взгляд: для меня тропка воспоминаний словно разматывалась, и я сегодня пойду по ней в долгой беседе со старым побратимом, а для Ясенюка окончилась — потерялся след...

Хамракул крикнул в сторону дома, на крыльце появилась девушка в цветастом платке.

— Мухаббат, неси в сад обед — брат приехал, — сказал он и повернул голову ко мне: — Младенцем тогда была моя сестра...

Мухаббат подавала на дастархан ароматные блюда и напитки, и когда мы уже сидели, разговаривали, Ясенюк сказал девушке:

— Ты тоже мне сестра...

И ступил в живой отцовский след, на его тропку, сразу продолжившуюся, и конца ей не будет.

Перевод *Вадима ВЛАСОВА*

НАСТУНЯ

В горах никого не удивляет, если на свадьбе появится чужак. Турист, или ученый-фольклорист, или просто зевака: стой себе, хочешь — танцуй, даже за стол тебя посадят, честь окажут, лишь бы ты был скромен и не учил хозяев и гостей уму-разуму.

Я спустился с Грегота перед вечером, расспросил в Завуялове, где дорога на Брусторы, — там собирался переночевать, и, найдя тропку, поспешил навстречу июльским сумеркам, но вдруг услышал удары бубна и приглушенный ритм дробной коломыйки. Чуть поколебавшись, я свернул на эти звуки, нашел двор, где справляли свадьбу, и вошел в переполненную горницу.

Ох, и играли же музыканты!

Такой музыки я не слышал, должно быть, лет тридцать — со времени Настуниной свадьбы. Музыканты играли, как одержимые. Пальцы цимбалиста метались по струнам так, что даже удивительно было, как в таком бешеном ритме он находит нужную ноту и ни разу не сфальшивит. Я его видел впервые, но он был для меня Дмитрием из Химчина. Смычок извлекал из струн надрывную мелодию, от которой обычно неистовствуют в пляске свадебные гости, а молодая плачет. Скрипач приоптывал ногой и раскачивался, будто беспрестанно кланялся людям, и был для меня не кем иным,

как Климом Запоточным из моей молодости, которого, наверно, уже и на свете нет. Свирельщика я не знал — его не было у Настуни на свадьбе, а бубниста, что так громко бухал колотушкой в собачью шкуру и рассыпал под обезумевшие от музыки десятки ног дробь коломыек, я назвал про себя Пантелой Бобиком. Все они напомнили мне давнишних химчинских музыкантов.

В просторной горнице стояла пыль столбом, хотя пол был вымыт: курилась скорее не пыль, просто хата была переполнена движениями, горячим дыханием, возгласами, песнями, и сквозь эту сумятицу едва можно было разглядеть молодую и молодого, которые сидели за столом в красном углу, — им потанцевать сегодня по-человечески так и не придется. Только что оттанцевали положенное: она свой последний девичий танец, а он — холостяцкий, и теперь им лишь сидеть и красоваться, потому что свадьба — для гостей, а не для молодых.

Музыканты, которых я про себя назвал по-своему, подмигивали мне, приглашая к танцу, но я неподвижно стоял у окна и не отважился войти в раскрученный музыкой круг: мне почему-то приятнее было наблюдать чужую радость, чем радоваться самому. Может, боялся, что не выдержу до конца неистовой гуцулки, но вероятнее всего — угнетала меня и теперь та самая упрямая мысль, которая не давала мне покоя уже столько времени: кто она, та, что приходит ко мне почти каждую ночь во сне и идет за мной, и любит, и хранит меня, как сама судьба, кто она, кого я узнаю в снах, а наяву не могу даже вспомнить ее лицо: может, это женщина, с которой я разминулся когда-то в жизни, недолюбил, не оценил или обидел?

Эта назойливая мысль зашевелилась сразу же, как только я увидел музыкантов и назвал их музыкантами с Настуниной свадьбы, — может, это Настуня снится мне? Возможно, что и она, потому что ее лицо я уже давно успел забыть, — около тридцати лет прошло с той поры, как засидевшийся в парубках Юрко Гойда примчался в Збудов из Жабьего верхом на вороном, чтобы не лишиться выгодной сделки: никчемный Липкалюк предложил ему свою дочку — самую красивую в округе девушку — с четырьмя моргами полонины в придачу.

Но почему именно тут, на этой чужой свадьбе, вспомнилось мне все это? Музыканты напомнили?

Сбоку, передо мной, стояла повязанная цветастым платком женщина — мать невесты. Я видел ее острый профиль — наверное, в молодости была красива. Она сложила на груди руки и, грустная и счастливая, говорила вполголоса своей соседке — ласковой на вид бабусе:

— Не ожидала, и в мыслях такого не было... Пустила на квартиру, ведь ему некуда было деться, когда приехал сюда учительствовать. Нас только двое — место было. А он... Да разве ж я знала, куда он исчезает из хаты, когда она шла на полонину овец доить? Ученый как-никак, а моя простая. А потом пришли вместе, да и сказали... Я — в слезы, потому что уже приметила себе в Брусторах сына крепкого мужика.

— Ой, такое говоришь, — перебила бабуся, — очень ты в молодости с хозяйским сыном пожила в довольстве! Поди, с каких пор гниет в земле, которой все мало было... А этот умный, да еще и с зарплатой. Теперь такое время — лишь бы любили друг дружку. Может, и она ученой возле него станет...

— Твоя правда, но раньше иначе думалось... — вздохнула мать невесты и опасливо оглянулась.

От ненароком подслушанного этого разговора повеяло на меня новой волной воспоминаний... Женщины разговаривали словно и не о женихе, а обо мне — тогдашнем. Я сделал вид, что не слышал их разговора и отступил на шаг. Мать невесты задержала на мне взгляд и равнодушно отвернулась: я заметил ее пополневшее от возраста лицо, выцветшие голубые глаза и горький разрез губ, и почему-то снова втемяшилась в мой мозг мысль о прозрачной, как дымка, красивой девушке из снов.

...Уже была ночь, в свадебной хате — полутьма, а на улице все четче обрисовывались контуры гор — всходила луна; когда же над горой засеребрилась ее половина, квадратный кусочек синеватого света упал на цветастый платок хозяйки, на ее щеку, и мне почудилось, что женщина покачнулась, словно под дуновением ветра, и это легкое движение снова что-то разбудило в моей памяти. Я напряг мысли, чтобы поймать хотя бы тень конкретного образа, но тщетно —

мои мысли и дальше беспомощно барахтались, и вспомнить лицо девушки из сна я не мог.

Полная луна взобралась уже на гору, и ее свет упал на свадебный стол, и тогда мне показалось, что цимбалист испортил мелодию, умолкла скрипка, в последний раз простонала, пронзительно взвизгнув, свирель, а бубен нестройно прогудел и уставился на меня желтым донышком, словно и он хотел узнать, кто это приходит ко мне во сне.

А гости продолжали танцевать, видно, они слышали своих музыкантов, это только для меня одного вдруг перестали играть мои — с Настуниной свадьбы.

...Мои музыканты настраивали инструменты перед заводинами. Дмитро из Химчина подкручивал ключом струны на цимбале и бренчал не в лад отрывки каких-то мелодий, Клим Запоточный натирал смычок канифолью и пиликал на одной струне, Пантела постукивал в бубен, изредка позванивая по медной тарелке, — у него инструмент всегда в порядке. Свирельщика не было — тот еще позавчера хватил лишнего на соседской свадьбе. Девчата плели венки и напевали. Я сидел в темной комнате, опустив голову на квадрат синеватого лунного света, который падал в окно на стол, и слушал, как музыканты настраивают инструменты. Дмитро бил пальцами по моим оголенным нервам, смычок Клина пилил по ним, и скреб их, и рвал безжалостно, а удары бубна тупо стучали по голове и злобно издевались: «А вот тебе, а вот тебе, а вот тебе!» И в это мгновение я ничего не видел, кроме постыдной картины, которая появилась перед моими глазами, как только девчата начали плести венки, и не исчезала: я пылал от стыда, видя, как губастый Юрко срывает с Настуни белую льняную сорочку, оголяет ее белое, как бумага, тело — все это являлось мне не раз в горячечных снах — и мнет его, кусает, я видел затуманенные Настунины глаза, и боль ее, и отвращение...

Потом я услышал приглушенный голос:

— Учитель!..

Я даже не оглянулся, потому что знал, что он родился в моем воображении, не могла же Настуня теперь меня звать, не имела права, не должна была. Этот голос лишь вернул мои воспоминания к тому мгнове-

нию, когда в тесную комнату, в которой я квартировал, приняв в Збудове начальную школу, однажды утром вошла нежная, как прядка льна, девушка с льняными волосами и с глазами голубыми, как цветы льна, и вся, словно стебелек льна в утренней росе, и сказала:

— Учитель...

Я стоял тогда перед почерневшим осколком зеркала и завязывал галстук — готовился к первому своему жизненному экзамену: шел на уроки. В ту минуту я был еще пареньком, который только что кончил школу в городе. Однако в кармане был приказ о моем назначении на учительскую работу, потому что села, израненные войной, требовали хлеба и науки — люди из городов должны были идти в села помогать пахать землю и открывать запущенные школы; меня вызвали в районный отдел народного образования и не спросили даже, хочу ли я, сказали только: «Ты сможешь». Я все еще ощущал себя пареньком с выгона, гимназистом-бурсаком из предместья, школьным балагуром, которому за хорошие оценки прощались тогда и прогулы, и куренье трофейных сигарет в школьном туалете... Накануне я обошел село, наказал родителям прислать детей в школу — с книжками они или без книжек, в целых штанах или рваных, знают хотя бы азбуку или нет. На меня, юношу, смотрели с нескрываемым удивлением и с насмешкой измученные войной бабы и мужики, а я ходил от хаты к хате, записывал в тетрадку фамилии детей школьного возраста и тщетно пытался убедить самого себя, что я уже не паренек, а учитель.

Я завязывал перед почерневшим осколком зеркала галстук, пытаюсь побороть страх перед первым моим жизненным экзаменом. В те дни я боялся всех и вся, даже старого подслеповатого Липкалюка, который еще вчера послал меня, как батрака, в сарай нарубить дров — никто не считал меня учителем... И вдруг эта девушка в дверях и ее слова:

— Учитель!.. Подмести у вас в комнате?

Я был взволнован и поражен этим. Слова девушки неожиданно вернули мне уверенность и равновесие: она так просто и непосредственно, без иронии, как должное, закрепила за мной мое первое звание,

которое пока что значилось только на бумаге — в приказе района.

— Ты кто, школьная уборщица? — спросил я.

— Нет. Я дочь Липкалюка.

Мне теперь вспомнилось, что в тот день, когда меня послали из сельсовета на квартиру к вдовцу Липкалюку, я, войдя к старику, был поражен чистотой и свежестью в хате, будто только что перед моим приходом тут похозяйничала женская рука, но мне и в голову не пришло, что у него может быть дочка.

— А почему я тебя до сих пор не видел?

— Отец... — и не досказала, из сеней послышался недовольный, ворчливый голос:

— Настуня, слышь, Настя!..

— Да я же подметаю, — ответила она и, согнувшись, провела веником по полу, и я впервые в жизни увидел белые крепкие девичьи ноги...

Моя рука приросла к недовязанному галстуку, и я не знал, что мне с этой рукой делать, — боялся опустить ее, чтобы не спугнуть девушку, и вдруг выскочил из хаты и понесся в школу по расхлябанной осенней улице, и где-то только на полдороге сообразил, что я больше уже не паренек, что я учитель и что... и что я уже не тот, кем был, потому что сегодня впервые увидел женщину!

...А музыканты все-таки играли на этой свадьбе в Завуялове! Гости уже выдыхались в танце, а молодые важно сидели за столом; синий квадрат лунного света побледнел, пожелтел на цветастом платке хозяйки.

...Я сидел, опустив голову на синий квадрат лунного света, заводины уже начались, девчата перестали петь, и вдруг Дмитро, Клим и Пантела заиграли такое, что хата пошла ходуном, и тогда я снова услышал тихий голос:

— Учитель!

Нет, нет, это не Настуня, не может этого быть, она не имеет больше права меня звать, и зачем звать теперь, когда согласилась выйти замуж за Юрка? Девчата скоро сплетут венок, положат его на вышитую



подушку и с песней — такой, что сердце может разорваться от тоски, — поднесут молодой, а потом надедут ей на голову — и все... Нет, это не она меня зовет, это отзывается болью воспоминание.

Я видел Настю лишь по утрам, а долгими осенними вечерами, когда на другой половине хаты становилось тихо, мне оставалось только ждать ее и молить, чтобы она пришла ко мне.

И она пришла. Скупое светила керосиновая лампа, и ее фигура в двери была белой, как привидение, руками она ухватилась за косяки, словно порывалась ко мне и сдерживала себя. Я бросился к ней, и радость оттого, что впервые в жизни поцелую девушку, была сразу же убита стыдом моего разбуженного желания. Я остановился, будто пойманный на постыдном поступке, а она, медленно опуская руки, прошептала:

— Учитель... Я хочу, чтобы вы учили и меня. Потому что темная я, а вы... а вы... такой ученый... Хорошо? Я завтра приду пораньше. Доброй ночи...

И лег между нами стол. Этот самый стол, устланный теперь синеватым покрывалом лунного света.

...Началось с «а, б, в...». Я пропадал целыми днями в школе, я работал как вол, а под вечер летел домой, потом приходила Настуня, послушно садилась за стол и училась писать. Прядь льняных волос падала с ее лба на бумагу, она отводила ее рукой, робко поглядывала на меня голубыми глазами, будто просила прощения за свои закорючки, а мне мое учительство не позволяло хотя бы погладить ее длинную косу: между нами лег стол, а передо мной летели вперед мои годы... И в этих грядущих годах я видел себя самого за учебой, потому что я еще так мало знал, а рядом со мной училась Настуня, ведь она знала еще меньше; перед нами расстилались широкие дороги...

Настуня быстро постигала мою науку, но ближе мы не становились. Между нами границей пролегал стол, и я не спешил переступить эту границу, потому что знал, что у нас все впереди. Я знал, а Настуня каждую встречу становилась все грустнее.

Старый Липкалюк во время наших занятий вошел в сенях, недовольно кряхтел и все звал: «Настя!» А однажды, когда я сидел в комнате один, он открыл дверь и, прищурив глаз, проговорил:

— Не баламуть девку, учительишка. Кто-то для бумаг родился, а кто-то для земли... — И, пока я собирался ответить, он хлопнул дверью, чем-то от злости загрохотал в сенях, и сквозь этот грохот я услышал слова: «Голь перекатная!»

А потом он отправил Настуню в другое село к тетке и сам где-то пропадал два дня...

Ученики посещали школу плохо. Ни одежды, ни

хлеба, ни охоты. Я ежедневно ходил по хатам, просил, приказывал, пугал.

И вот, когда учеба в конце концов все-таки наладилась, хотя некоторые ученики в первом классе были старше, чем четырехклассники, кто-то положил в мой классный журнал клочок бумаги, на котором недетским почерком было написано: «Проваливай из села, пока не поздно!»

Меня сперва пронзил страх, но он быстро исчез: убежать из села мне не позволяла совесть, мне же поверили, что я — могу, я и сам поверил в свои силы; нет, нет, убежать из села я не имел права, разве не назвала меня учителем Настуня?!

Я пошел на риск: созвал в школу родителей. Женщины, дядьки, деды и молодежь заполнили классную комнату так, что иголке некуда было упасть, такого сборища я не ожидал; толпа была молчалива, и я понял: люди откуда-то знают, что мне угрожали, и я сокрушено подумал, что они теперь скажут мне: «Ступай, чужак, откуда пришел!»

Я встал, прочитал анонимную записку и спросил: — Хотите, чтобы я ушел от вас?

Люди молчали, будто о чем-то сговорились. Я обвел взглядом лица и в сочувственных глазах женщин прочитал: «Ступай отсюда, парень, ступай... Пока не поздно».

Но тут вышел вперед седой Думитрак. Недавно он привел в школу на ремне своего непослушного сына и при всех учениках торжественно заявил: «Бог свидетель, что не пожалуюсь никому: учите и бейте. Но бейте не по штанам, потому что их я ему купил, а по голому заду — это его имущество!»

— Не наша та рука, что эту записку писала, — сказал Думитрак. — Я был в Жабьем и слышал там, что на тебя кто-то покушается. А если уж кто-то взял тебя на мушку, то лучше — уйти. Время теперь такое...

Я почувствовал, что бледнею, но еще не сдавался. Сказал:

— Поднимите руки, кто хочет, чтобы я ушел от вас.

Никто не поднял руку.

Думитрак спросил:

— А ты... ты не боишься?

— Не боюсь, — ответил я.

Тогда в классе поднялся шум:

— Не пустим! Пусть учатся дети! Не дадим в обиду! — и люди начали что-то класть передо мной на стол.

Я растерялся: они клали хлеб, яйца, масло, брынзу. Я отодвигал эти подарки, отказывался от них, пытаюсь перекрычать шум, но Думитрак поднял руку и, когда стихло, сказал:

— Мы хотели с этим проводить тебя. Но коль ты такой, что не боишься, то съешь это добро у нас. Ты же еще растешь, а уж должен так тяжело работать. Ешь хорошо, парень, чтобы была сила детей наших довести до ума.

В тот день вечером забежала ко мне Настуня. Она не подошла к столу, как раньше, только переступила порог — бледная, встревоженная — и заговорила быстро-быстро, сбиваясь:

— Не учите меня больше. Это все ни к чему... Не надо... даже не смотрите. Ой, боже мой, что они задумали!.. — и, плача, выбежала из комнаты.

А на другой день... Я стоял на пороге и видел, как въезжал Юрко во двор на вороном, сильный и злой, с отвисшей, как у его жеребца, нижней губой. Он привязал коня к плетню, прошел мимо меня, смерил взглядом и невежливо толкнул локтем. А потом на другой половине хаты весь вечер громко разговаривали и звенели стаканами. Настуня была там и не выходила...

После этого целый месяц ее не было в Збудове, и пришла она уже на обручение со своими подружками.

Ох, и играли же тогда музыканты!.. Я заткнул уши, потому что это было издевательством — так весело играть на похоронах моей первой любви; синий квадрат убежал из-под моих локтей, я протянул руку, словно хотел его удержать, и в это мгновение услышал стук в стекло и пронзительный стон:

— Учитель!

Я оглянулся: на фоне морозной ночи ее фигура, распятая в окне, походила на силуэт подстреленной белой птицы. Я выбежал во двор, музыканты играли, а Настуня — белая, в венке — подбежала ко мне с протянутыми руками, припала к моей груди и проговорила:

— Будьте... здоровы...

— Бежим отсюда! — крикнул я и потянул ее за руку; я еще не сознавал хорошо, куда мы можем убежать, где нам спрятаться, а знал только, что убежать еще можно, но Настуня вырвалась от меня.

— Настуня, — бросился я за ней, однако она испуганно отступила к дверям. Я не понимал, отчего ей страшно: от этих моих слов или их угрозы. — Настуня, ты боишься за меня?

— Теперь уже нет... Отец с Юрком притихли, как только село стало на вашу сторону. Я не их боюсь, а вас, вас...

— Что ты говоришь? Опомнись... Я люблю тебя!

А она продолжала отступать к дверям и заслоняться от меня руками, заслонялась и шептала:

— Да разве же я вас не люблю?.. Да вы мне мир загородили, как только стали на наш порог... Но что от этой любви, если я темная, темная, темная! Куда мне с вами? На посмешище? Я тоже глупая, думала: выучусь, а доучилась лишь до того, что поняла: где мне до вас!..

Настуня отступала все быстрее и быстрее по скрипучему снегу, затем резко распахнула калитку и утонула, белая и прозрачная, в неистовой, жестокой музыке.

...Завуяловские музыканты и не думали останавливаться. Они упрямо подмигивали мне, я снова взглянул на мать молодой и уже было решился пригласить ее на танец, чтобы исполнить волю музыкантов, но она продолжала разговаривать с соседкой, и я услышал:

— Правду говорите, сыта я была по горло... Сколько раз только одно и слышала: поля, поля, поля. А как забрали отцовскую полонину в артель, да будет ему земля пухом, то оставил меня муж, ушел в леса и уже не вернулся. А я с малой на руках...

— Но зато какую красавицу выпестовала! — приветливая бабуся вытерла губы концами платка.

В это мгновение лунный свет сполз с лица хозяйки и упал на ее сложенные на груди руки и выбелил натруженные длинные пальцы, и были они точно такие, как у Настуни, когда она...

...Уже шла свадьба. Юрко Гойда с «боярами» загалдели под дверями — приехали забирать молодую. «Бояре» ворвались в хату; я стоял, как вот сейчас, возле музыкантов. Юрко снял шляпу, поклонился через стол нареченной и высыпал на ее голову пригоршню бумажных денег: покупал у молодой ее девичий танец. И заиграли музыканты.

Настуня стала на лавку, потом шагнула на стол. Юрко ждал, гордый и самоуверенный, а она протянула вперед руки, и пальцы ее были длинные и белые. Настуня соскочила со стола и, обойдя Юрка, шла ко мне — легкая и стройная, как лань.

И заиграли еще сильнее музыканты. Настуня положила мне на плечи руки и повела меня в танец. А играли тогда химчинские музыканты, как эти теперь в Завуялове, длинный танец, как сегодняшний, и вздыхали ласковые бабуси: «Ему бы такую краляю...» Я танцевал и просил ее на всю жизнь в мои сны, а когда музыка прекратилась, пальцы Настуни коснулись моей щеки, и я услышал еще раз...

— Будьте... здоровы...

Она еще мгновение смотрела на меня, потом повернула через плечо голову и сказала Юрку:

— Бери меня с моей полониной... Я уже свое отгуляла...

...Завуяловские музыканты все-таки обнаглели: чем это я им так бросился в глаза, что они не перестают подмигивать мне. Я смотрел на выбеленные лунным светом натруженные руки хозяйки и узнавал их, и вспомнился мне сразу образ Настуни, только теперь наяву увидел я ту, что приходит ко мне во сне, — это была она, Настуня... Я обнял за талию хозяйку и повел ее в танец.

Она пошла покорно, невеста и жених улыбнулись из-за стола, музыканты, которых я называл Дмитрием, Климом и Пантелой, заиграли медленнее, потому что на середину горницы вышли старшие танцоры, гости расступились, и кто-то сказал: «Ну и пригожая пара!»

А тогда...

..Юрко крикнул «боярам»: «По коням!..» Взяв на руки Настуню и смерив меня ненавидящим взглядом, он двинулся с ней к дверям, но двери сами отворились настежь, и на пороге встали гурьбой сельские парни, один из них выступил вперед и крикнул:

— Давай выкуп, пан молодой!

Юрко, сильный и злой, схватил парня за ворот кожуха и швырнул его на пол. «Голь!» — взвизгнул он и схватил другого. Парни растерялись, потому что такого еще не бывало, чтобы жених не дал за невесту выкупа, и исчезли с порога. Юрко вынес на улицу Настуню и посадил на коня, «бояре» примостились позади него... Я смотрел в окно и вдруг почувствовал, как холод неожиданного страха пронзил мне грудь, я выбежал во двор: Юрко с «боярами» уже вырвался за ворота, где-то там, за огородами, возле моста через Березовку, зловеще перекликались сельские парни, и меня тоже понесло туда.

Мост был разобран, а Юрко мчался на вороном диким галопом, он прижимал к себе закутанную в белую овчину Настуню, за ними неслись «бояре». Я бросился навстречу, подскочил к вспененной морде жеребца и повис на удилах.

Очнулся во рву, в снегу, куда бросил меня конь.

Я встал. Юрко, сердито сопя, сводил жеребца к броду. Настуня сидела в седле, она оглянулась в мою сторону и сказала:

— Зачем это вы? Пускай бы уж...

..Медленно играли завуяловские музыканты, потому что посреди горницы танцевала немолодая пара, мать невесты: была красивая и гибкая, я узнавал ее: она смотрела на меня — сперва равнодушно, потом удивленно, встревоженно, и, наконец, горькая улыбка легла на печальный излом ее губ.

— Вы — Настуня? — спросил я, когда бубнист победно забренчал по медной тарелке, и музыка стихла.

— Настуня — там, — вздохнула хозяйка и кивнула в сторону счастливых молодых. — Я уже давно Настя, учитель...

Перевод Вадима ВЛАСОВА

АИСТЫ НА СЕМЕНОВОЙ ХАТЕ

Над Семеновой усадьбой пролетели аисты. Было их несколько пар, и хозяин, опустив грабли, которыми сгребал на подворье просохшую после зимы солому, долго всматривался в небо, глаза слезились от солнца, а он пытался распознать своих, потому что такого быть не могло, чтобы его птицы не возвратились из теплых краев. Но аисты описали широкий круг над Лысой горой и полетели дальше — исчезли за полосой елей, которая отделяла Семенов пригорок от села.

И почему-то снова:

Та на Петра вода тепла,
На Ивана студена...—

завучала в нем песня, губы и не шевельнулись, только мелодия пела в душе, словно вытекла из свирели, и была она грустной, хотя кто-то когда-то сочинил ее для веселья, — это, должно быть, потому, что аисты пролетели и скрылись за полосой елей... А может, в устах Семена она всегда звучала тоскливо, поэтому и Василину, да будет земля ей пухом, вечно эта мелодия раздражала...

На Івана студена
 Ото мені сподобалась
 Дівчина Олена...

— Ой, замолчал бы уж и не выл, — сказала как-то Василина. — Какая-то Олена втемяшилась тебе в голову, а я за тебя должна думать, куда Осипа приткнуть, и Софийку, и Василя, и Ганнусю... Столько этих ртов в хате, что не всегда и сосчитать можно, а ты только поешь каждый день про своего Петра да своего Ивана...

— Осип в кузницю к мехам поїдет, — ответил тогда Семен, взглянув на уставшую жену, и стало жалко ее, потому что доброй была к нему Василина, — больше не пел, хотя мелодия продолжала звучать в нем, и он смущался от этого — порой казалось, что поет вслух, и мысленно укорял Василину: «Ведь не жалею ни рук, ни сердца для тебя и для детей, а ты мне песню пожалела. Да ведь никуда от тебя не денусь, но эта песня пускай уж будет при мне. Ты же знаешь: только и греха моего перед тобой, что эта песня...»

Семен смотрел в ту сторону, куда полетели аисты, и его охватила грусть, хоть и понимал: всякое могло случиться в дальней дороге, не все же возвращаются. Но только бы не его. Донесется иногда слух, что где-то там, в чужих краях, погибли от наводнения сотни людей, страшен этот слух — жалко их, но еще больнее, когда погибают знакомые... Вот прошлым летом убило в лесу молнией Илька Потяка, и сердце затопила жалость, что так нелепо ушел человек из жизни... Семен вспомнил про Илька и снова ощутил, как в груди больно зазвенела, будто на хорошо натянутых цимбальных струнах, эта самая песня:

Ото мені сподобалась,
 Кинулася в очі,
 Та я вчора не вечерав,
 Та й нині не хочу!

И стыдно ему стало, что эта песня, вопреки желанию, будто вынуждала радоваться смерти Илька, но мелодия все равно звучала, а от нее возрождалась молодость в теле, хотя к Семену пришла уже шестидесятая весна.

...Конь под Семеном испугался и стал на дыбы, Семен рванул удила и выругался: «А чтоб тебя... Ведьма бешеная, какая змея тебя укусила, что выскакиваешь из кустов, как...» — да и не доругался. На тропинке, держа в руке полный кузовок земляники, стояла раскрасневшаяся девушка с деревянной шпилькой в волосах и такая красивая, что Семен растерялся и медленно сполз с седла.

— Извини, Семен, — сказала девушка, — это я. Мне показалось, что там кто-то есть... Собирала ягоды, а он меня вот тут схватил, — провела руками под грудью.

— Кто? — Семен всмотрелся и с трудом узнал Бойканюкову Олену с Груни.

— Не знаю кто...

— Да ведь нет никого.

— Ты есть...

Пахла земляника, и сок травы, и волосы, выжженные солнцем, и шепот ее тоже пахли земляникой.

— Почто не хотел меня до сих пор видеть?

— Вот и не видел, Оленочка...

— А я плакала на твоей свадьбе... Хочешь — заплачь на моей: иду за Илька Потяка.

...Не прилетели аисты... А весна такая ранняя! Бывало, в эту пору еще свищут тут ветры, курится метель, и нигде ни проталины, даже не поскрипывают пихты, и вороны сидят нахохлившиеся на ветках, а аисты, гляди, верной парой опускаются на крышу, потом спрыгивают во двор, как куры с насеста, направляются к порогу и, мокрые и грязные с дороги, вытягивают длинные шеи — стучат красными клювами в дверь...

Ой, Семене, Семене,
Не ходи ти до мене,
Бо у мене чорний пес,
Як укусить, то умреш...

Большеглазая и худущая девчушка пасла корову над рекой и швыряла в него еловыми шишками, когда Семен, уже с усами, водил к реке купать коня... Знал, чья она, но не обращал внимания, потому что зачем на девчушку поглядывать взрослому парню. А потом, когда они с Василиной сидели на своей свадьбе и женщины напевали невесте жалобную свадебную песню, Се-

мен заметил, что в углу горько плачет, заходится от слез худощавая девчушка. Он знал, что это та самая, что швыряла в него шишками, но не удивился, потому что кого же не разжалобят свадебные причитания. С тех пор он ни разу не видел ее. Только вот тогда, на земляничной вырубке, когда возвращался из Утроп с солью. Тяжелая это была встреча...

Куда Софийку пристроить, Василия куда, а Ганнуся?.. Торговал солью, торговал табаком, сколько раз сбрасывал мешки с седла и спасался верхом от жангармов в черные чащобы, а эти рты не каждое утро успевал сосчитать. Василина же чахла и корила:

— Кого-нибудь небось приглядел себе на радость на стороне, вот и поешь.

Молчал. Нечего было сказать. Ведь ни разу больше не встречал ее. С Ильком ходил на вырубку, но Олену не видел ни разу, боялся... Ой, Василина, не жалею мне этой песни, потому как если б не она, то, может, и приволокнулся, как какой-нибудь бродяга, ведь сколько раз дома не ночую, но не могу изменить этой песне.

Семен отложил грабли, присел на пенек у поленницы; пахло колотой пихтой, а от ручья несло терпким запахом мокрого снега — ручей еще прогрызал себе дорогу в старых сугробах, а над берегом, где кончается коричневой стеной полоса леса, проклевывались синие проталины и дрожащие колокольчики подснежников, а тропка, которая сбегала вниз, к ручью, высохла совсем, даже потрескалась, и Семен подумал, что не сегодня, так завтра пойдет в село к сыну и скажет ему, что остается уже у него, а с усадьбой на горе пусть делает что хочет. Осип усмехнется: «Наконец, папа, образумились, ведь то, что вы задумали, все-таки пустое — она к вам не придет, ваше времечко прошло, а тут будете пасти корову, потому что дети в школу ходят, Мария в лесничестве работает, а у меня в колхозной кузне работы сверх головы...»

Василина лежала в постели иссохшая и желтая. Вяло махнула рукой Семену, тихо окликнула. Он всхлипнул и ударился лбом об пол возле Василининой постели — она была к нему добра и ничего не жалела ни для него, ни для детей, разве что эту песню.

— Да что ж ты теперь... когда жить можно и дети на хорошей работе. Зачем?

— Износилась, Семен..

...Пролетели аисты над Семеновым подворьем и не сели. Ну, теперь уже все. Нечего тут больше делать. И ждать безнадежно. Осип правильно говорит...

Семен смотрел на горизонт, подпертый частоколом елей, и вдруг заметил, что одна птица возвращается. Она летела прямо к хате. Семен восторженно, оглядывая небо, — где же другая, но другой не было. Аист покружился-покружился над хатой и наконец легко сел на старое гнездо и протяжно заклекотал, подняв к небу голову.

— Овдовел, бедолага, — проговорил Семен и подумал, что он все-таки должен пойти к сыну, потому что очень тяжело будет жить двум вдовцам в одном дворе. Завтра же пойдет.

А на крыше без умолку клекотала птица, и ее жалоба рассыпалась далеко по горам...

...Конь спокойно остановился, когда из той же вырубki, где когда-то ранним летом сладко пахла земляника, вышла женщина и застыла посреди тропинки; конь ткнулся мягкими губами в ее руку, она погладила белую звездочку на его лбу и сказала:

— Ты не был у Илька на свадьбе, да и на похоронах не захотел побывать...

— Не мог, Олена.

— Занедужил, спаси тебя бог?

— Занедужил... — и не сказал ничего больше, а хотелось соскочить с седла и исповедаться перед ней, еще молодой и красивой, обо всей своей жизни: об этой песне, что напевал день за днем смолоду и поныне, и что эта черная жизнь пахла ему все время земляничкой, и что Василина была к нему добра, а Илько был побратимом, но прийти к нему попрощаться не мог, чтобы Олена не подумала: мол, обрадовался Семен. Но молчал и с коня не слезал, а конь трогал мягкими губами Оленину руку, другой она гладила белую звездочку на его лбу; тропинка была узкая, и разминуться они не могли.

— Олена, — заговорил Семен немного погодя. — Ты год вдовствуешь, а я — два. Приду к тебе.



Она улыбнулась.

— Ой, Семене, Семене, не ходи ти до мене... — произнесла тихо, и он вдруг снова увидел большеглазую девчушку, которая кидалась в него еловыми шишками на берегу реки, и заплаканную худенькую девушку на своей свадьбе увидел. Только не было тут чертовки с лукошком земляники в руке.

— Поздно, Семен... Да и люди скажут, что мы только и ждали своего вдовства.

Она обошла коня краем тропинки, проводя рукой

по его животу, по крупу; конь двинулся, и Семен сказал:

— Буду ждать в своей хате хотя бы и до смерти.

Птица все клекотала. Семен поглядел на высокую Грунь, что далеко-далеко за оврагами смотрела на мир окном Олениной хаты, в душе зазвучала еще раз песня и стихла: пришел и ей конец. Семен подумал, что ему не вмоготу до завтра слушать этот отчаянный клекот, и птицу прогнать не сможет, а поэтому сегодня же спустится в село и скажет Осипу, что будет жить у него, а с хатой на горé пускай делает что хочет...

Когда солнце повисло над Грунью, Семен с переметной сумой через плечо вышел из хаты. Клекот не умолкал до сих пор. Семен поглядел на аиста, который махал крыльями и клекотал еще настойчивее, огляделся и увидел: из-за лесной полосы летела другая птица — прямехонько к усадьбе. Птица несмело опустилась на край крыши — грустное подворье сразу повеселело — и настороженно пошла к гнезду, где стоял вдовец. Сперва они приглядывались друг к другу, потом вытянули шеи, прикоснулись клювами и сразу радостно закричали. И Семен подумал, что рановато умолкла его песня, что к сыну он успеет прийти еще в козовицу или же перед зимой, незачем торопиться...

Аисты на его хате. Значит, весна будет красна!

Перевод *Вадима ВЛАСОВА*

СЕДАЯ НОЧЬ

Иван и Марья, успокоенные годами, добрые и щедрые дед и бабка, до сих пор помнят ту первую их седую ночь, хотя и не вспоминают о ней вслух.

До этой ночи были иные: на протяжении долгих лет они разрывались надвое между ласками и попреками.

— Если б знала, где он, нашла бы и уничтожила, как жабу, — шептала Мария пересохшими губами. — Тогда бы мы снова стали прежними и жили бы, как и раньше...

Иван молча принимал свое: где-то все-таки жил его ребенок, а Мария забеременеть не могла...

В этот же раз, уставшая от Ивановых ласк и от своего неизбывного желания стать матерью, Мария лежала рядом с мужем, словно обмолоченный сноп жи, — чистая, белая и бесплодная.

— Если бы знала, то... — вздохнула Мария, но недосказанная угроза прозвучала теперь из ее уст как-то тихо и совсем не грозно, так, будто Мария намеревалась не страшное злодейство учинить, а одарить гостинцами эту свою непойманную жертву.

Иван удивился. Он вспомнил про седые пряди, вкравшиеся в черные Мариины волосы, — не они ли

это дают себя знать? Устала, должно быть, горемычная, и от злобы и от прожитых лет...

На мгновение Ивану стало немного легче, потому что почувствовал, что с сегодняшнего дня не будет допекать уже его Мария колючими упреками, не будет больше часами простаивать на коленях перед образами, смешивая молитвы с проклятиями. Но сразу же стало и муторно Ивану, потому что понял он и то, что нынче навестил их первый день старости, которая источит Мариину красоту, а глубоко в ее сердце замурует черствую и неизлечимую злобу к памяти пастушки Даринки, что понесла от Ивана плод, который должен был бы принадлежать Мариину бесплодному телу; понесла да и потеряла его где-то среди людей, поторопившись на вечный покой под смереками на вершине горы.

Ночь была необычно тяжелой без Марииных упреков, которыми Иван упивался так же, как ее ведьминой красотой; глухо стонала тишина, откликаясь молчаливым равнодушием Марии, которая почему-то вдруг обуздала свою злобу, а, похоже, и любовь. Тишина эта порождала в душе Ивана обиду на нее, кого любил лишь за красоту, а эту красоту вот сейчас уже начинает подтачивать старость, ее и его старость, что соединит когда-нибудь наконец их седые ночи воедино безнадежным одиночеством.

Иван искоса взглянул на Марию, она лежала навзничь с закрытыми глазами, видно, уже спала; спокойный ее сон раздражал Ивана. Мария без своей ревнивой злобы показалась ему вдруг чужой, а он ощутил себя преданным и одиноким, из мести вызывал перед собой до яркой яви сладкий грех с Даринкой, случившийся тогда, когда Мария, ловя отнятое злой судьбой материнство, ходила к ворожеям глубоко в горы.

Греховная эта явь вспыхнула и погасла, Иван снова взглянул на Марию, в сером сумраке обрисовывались контуры ее лица, оваянного дурманящей красотой.

Боже милосердный, ведь никогда не было и мгновения, даже в том сладком грехе с Даринкой, чтобы я не любил тебя, Мария. Это только отцовская неутоленная тоска бросила меня тогда в горячую пропасть греха,



а еще умоляющий шепот сироты Даринки, приблудившейся как-то летом после войны в село и попросившей пасти корову за молоко и кулеш: «Я прочь уйду, Иваночку, лишь бы не одна, разве кто путный возьмет меня, бездомную, а вас я полюбила навсегда и подарок хочу только от вас иметь».

Мария ровно дышала, лежала с зажмуренными глазами, не хотела их раскрывать, чтобы не видеть крутого лба Ивана, орлиного носа, пышных его усов, потому

что боялась, что снова могут сорваться с ее губ потоки едких упреков, а ей сейчас почему-то вдруг стало не до них.

Я еще тогда догадалась, но не могла поверить, потому что меня ты готов был на руках носить. За то, что ребеночка не имела, никогда не укорял, я сама этим мучилась. Да разве же могла я подумать... Но у девки талия начала меняться, лицо располнело, а при встречах со мной ее глаза блуждали по выгону. А потом исчезла куда-то, неся под укоротившимся фартуком твой подарок, Иванку...

Она исчезла, а мне не с кем было тоску разделить: вроде и рад был, что ушла с глаз долой, потому что только позже опомнился, что наделал себе стыда на все село. Но Даринка исчезла бог весть куда, и никогда мне не дознаться, какой же он, этот мой, которого с Марией не суждено было иметь...

Все это было, да так и позабылось бы, если бы Иван сам себя не выдал. Но однажды сельский гробовщик Андрийко брел на вершину, где погост и где мы у дорожки на своей делянке картошку окучивали. «Бог в помощь», — сказал Андрийко. А Иван спросил ненароком: «За чью душу надо молиться?» — «Приймачка старой Юзихи, что на Прилуках, вчера от чахотки померла, — ответил Андрийко и добавил: — Да вы ее должны знать, когда-то пастушила у вас». — «Даринка?! Откуда же бы ей взяться там?» — аж подскочил мой Иван, и тляпка выпала у него из рук. Я разогнулась, от удивления платок на затылок сдвинула: почему бы это у Ивана вдруг так руки онемели? А он сгоряча сболтнул — поздно язык прикусил: «А где ребенок?» Пожал Андрийко плечами, потому что о ребенке не знал ничего, да и кто тогда ходил из села в те далекие Прилуки в Юзихину халупу, что затерялась в зарослях, только иногда реденький дымок из замшелой крыши дает знать, что там кто-то живет. Совсем-таки изумился Андрийко: почему вдруг ни с того ни с сего о каком-то ребенке Иван спрашивает, зато я все поняла...

Мария взглянула на Ивана: он тихо спал, словно убитый. Ее вдруг начало разбирать зло на него. Мог бы не спать, должен бы не спать...

...Как это он может спать? Верно, старость приходит, раз такой равнодушный. А может, всегда был равнодушный... Ведь только вскрикнул о ребенке и выдал себя, а искать не искал... А я побежала. Не знаю, что сделала бы... Не знаю... Но Юзиха, сколько я ни допытывалась, только качала головой: «Не было у нее ребенка». Да чуяло мое сердце тогда, чует и теперь: где-то он есть, этот байстрюченочек Иванов...

Где же этот ребенок теперь? Я ведь на другую же ночь, когда Мария заснула, выскользнул из хаты и при луне побежал в Прилуки. Юзиха призналась, что есть ребенок, но где, не скажет — уж очень злые у Марии глаза.

Иван всматривался в черные матицы, изредка поглядывая на точеный профиль умиротворенной сном Марии, и все сильнее брала его досада на то, что Мария спит спокойно, спит себе, словно многодетная труженица мать, а его вот мучит тревожная бессонница.

Если бы я хоть на крупицу меньше любил Марию, то ушел бы тогда с насиженного места за Даринкой, где-нибудь в другом селе поставил бы хатенку, да и пестовал бы теперь своих деток. А Мария такая, что на другой же день заимела бы десяток женихов.

Если бы меня бросил тогда Иван, я бы на другой же день померла с тоски. Какую-нибудь смерть-таки нашла бы себе. Я и потом все время боялась, что Иван уйдет к ребенку... Это хорошо, что Юзиха не призналась, может быть, и грех на душу взяла бы. А напрасно. Вишь спит, пес, так спокойно, словно этого ребенка уже в люди вывел, и даже совесть его не гложет.

Если бы я не побоялся ее проклятий и угроз, то все-таки допытался бы у старой Юзихи, где этот ребенок, да и кормил бы его за хатой. Но страх был большой, что Мария возьмет на душу тяжкий грех.

Ты спишь, Иванку, тебе возле меня хорошо и тепло, ты и забыл о том, что ходит где-то по свету сирота. Ой, ведь лучше было бы, если бы я его нашла да и задушила, чем вынужден он теперь мыкаться по чужим людям, и тебя, каина, проклинать... А вот сейчас так как-то мне стало, что все бы тебе в один момент простила, но этой бессердечности — это же твой родной ребенок! — не прощу, наверно, и в гробу.

Такая меня злость берет сейчас на тебя, Мария, что вот вскочил бы тут же и задушил бы, как змею. Своих детей не сумела мне дать, моего же сиротку разограла бы, как лягушонка.

Уже моя самая тяжкая боль прошла. Это не разум мой, это моя любовь к тебе, изменник, впитала столько проклятий. Ты вот спишь и даже не представляешь, что я надумала теперь. Возьму вот да и рызницу этого ребенка и буду ходить к нему ежедневно, потому только, что он твой, Иванку. Буду давать хлеба и конфеток, да еще и денег на книжки. Война прошла, люди начали жить по-человечески, а он, может, еще и в школу не ходит, потому как где этой старой Юзихе додуматься до этого. А я его в люди выведу, аж в самый Львов в институт пошлю, а потом приведу в хату и скажу ему при тебе: «Целуй этого дядю в руку, это твой папа», — чтоб ты, Иван, провалился сквозь землю со стыда.

Схожу я все-таки еще раз к Юзихе. Прижму ее, постращаю... Или же денег дам. И буду ходить к этим людям, что прячут моего ребенка, научу его говорить «папа», а когда вырастет, приведу к старой Марии да и покажу. Может, не выгонит из хаты...

Ой, все-таки не виноват ты, Иванку. Это я, это мое пустое тело виновато. Покарай меня, боже, за то, что проклинала этого ребенка. Еще я поплачу по нему, когда придется к старости приймака в хату брать!..

Кару я приму не за грех с Даринкой, а за то, что от своей крови и плоти ради спокойной жизни отрекся. Ведь такому человеку не то что воды подать в старости, а разве что в глаза плюнуть!..

Лежали неподвижно, и обоим казалось, что никогда уже им не соединить вместе ни одной из предстоящих ночей. А когда порозовели черные матицы и ночь рассыпала свою седину на головы этим двум людям, что не спали, два точеных профиля из силуэтов превратились в живые лица и встретились серые, как этот расцвет, Ивановы глаза с синими, словно утреннее небо, Мариинными. Долго всматривались две пары глаз друг в друга, пока не уразумели, что эта долгая ночь была общей для них обоих и что они впервые за много лет не разорвали ее пополам.

Встали с постели, молча оделись в праздничное, хотя начинался обычный будничнй день, молча вышли из хаты и, протаптывая росяную тропинку, поспешили в Прилуки к старой Юзихе.

Мария впереди, Иван — за ней..

Перевод *Вадима ВЛАСОВА*

ЗА СПАСИБО

«Пу^Пускай только отвихрится мартовская метель, а то, вишь, опять снегу намело, до автобуса не дойдешь, только бы обочины подмерзли, чтоб под ногами болото не чавкало, — и поеду, — думала бабка Мария, укутывая ноги в полу старого ко^Кжуха, который давно уже служит в этой хате одеялом, ой как давно! — еще Анечка топталась на нем, а после нее те двое чужих, которых Мария вынянчила просто так, за спасибо. — Пускай только потеплеет, тогда уж поеду в город, к Анечке, — меньшого внука выхаживать. Что ни говори, своя кровь».

Старый кот сидел, подобрвав хвост, в ногах у Марии и снисходительно поглядывал на бабку зеленоватыми глазами: чудит его хозяйка, никуда она не поедет; слышал он про этих родных внуков давно, еще когда малым котенком, Мурчиком, карабкался вверх по шерстяному одеялу, что вон висит на жердочке. Вечно о внуках говорила, а чужих детей нянчила. «Всегда куда-то едешь, хату продаешь соседям — пугаешь старого мурлыку, но ты, бабка, добрая, да и халупу свою тебе тяжело будет покинуть».

— Брысь! — шикнула Мария на кота, но не согнала его с постели. «Добра в этой хате отроду не бывало, так и жалеть не о чем, а там, у Анечки, — светлые ком-

наты, электричество и вода на кухне, не надо по воду к ручью бегать. А у Анечки маленький Ромчик недавно родился, он-то для меня дороже, чем эта покосившаяся хата, крытая дранкой. А как же...»

Кот тоскливо зажмурился и свернулся клубком у бабки в ногах. Вдруг он резко поднял голову — бабка уже дремала, — насторожился: скрипнула дверь в сенях, отворилась дверь в комнату. Белые клубы пара вкатились в хату, и в этих клубах, будто Саваоф в облаках, тот, что на потемневшей иконе над кроватью, явился сосед Гаврило, весь в снегу.

Мария приподнялась, свесила с печки жилистые, натруженные ноги. Она обрадовалась, что пришел Гаврило. Томится он от зимнего безделья. Года три назад овдовел, остался с махоньким Васильком — дал бог под старость ребенка, а мать прибрал. Гаврило живет в достатке, есть у него и хлеб и к хлебу — рулевым на сплавах хорошо платят, только скучно ему зимой в своей хате.

— Письмо вам принес, Мария. В село ходил, почтальбона встретил, он и попросил меня передать вам письмо.

Мария поспешно слезла с печи — от Анечки письмо! Йой падоньку!¹ Уж наверняка клянет старуху, что не едет к дочке.

— Читайте, Гаврило, — торопит она, оправляя теплый платок на молочно-белой голове. — Читайте, сосед, меня что-то знобит.

Гаврило уже обогрелся, расстегнул куртку. Матовый свет от заснеженных окон скупо осветил мелко исписанный листок бумаги, застывшие Мариины влажные глаза...

Гаврило читал письмо от дочки Анечки, которую Мария первой вырастила в этой хате.

Слушает бабка Мария, а письмо длинное-предлинное, это такое письмо, что в одном написанном слове — целая тысяча ненаписанных, за одну минуту Гаврилова чтения пробегают годы. Это очень длинное письмо.

«Я одна у вас, мама, и не знаю...»

«Одна, это верно, что одна... Не пошла я замуж после того, как отца твоего полицейские избili за

¹ Йой падоньку! — горемычная я! (букв.: судьба несчастная).

табак. За десять стеблей бакуна¹, что он вырастил за хатой, потому что на монопольный денег не было (вечно этих денег у хлопа нет, и почему оно так?), за эти десять стеблей, боже мой милый, высекали его вот тут, на дворе, как зловредного пса, и ушли. А он проскрипел еще с год, курить ему уже не хотелось, да и умер. А я так и не вышла замуж, потому что никто не позарился на бедную и не такую уж видную из себя, а гулять я сроду не гуляла, одна ты у меня и была...»

«И не знаю, что вас там, в горах, держит...»

«Кабы кто знал, дитя мое, что это за сила такая гуцула в горах держит? Сойдет в долину — хлеба там дунаем², и руки рабочие всегда нужны, а он поглядит, поработает, мешок зерна на плечи — и обратно к себе, на каменистые склоны, в горы, — овец пасти, лес рубить, песни петь да смотреть на небо...»

«Ну, было время — мучились люди, так вы...»

«Как у людей, так и у меня, дочка. Все под одним небом ходим, так и должны делиться горем и счастьем. Тогда у каждого своего хлеба хорошо если до нового урожая хватало, а у нас все же легче было. Кормильца давно уже нет, боль притупилась, а у других еще была как свежая рана: того в Германию вывезли, другого здесь замучили, тот на войну пошел, и по нем только похоронную прислали, а были такие, что тут, в своем селе, такого натворили, что от стыда глаза девать некуда было... Юлина — кто бы мог подумать — тайник у нее в риге нашли, пустой уже. И засудили. А малую Настеньку я взяла. Дозволили взять. Какие там у Юлины еще грехи были, не знаю, но ребенок-то чем виноват? А ты уже к этому времени высокие школы окончила, замуж вышла, жить вы стали хорошо, — одно только, что с первой моей внучкой трудновато вам приходилось. Но там у вас и ясли и садочки, а здесь этого еще не было, пропала бы Настенька. Так разве я могла поступить иначе?..»

«Потом... вы какая-то странная, мама. Что вас заставило взять второго ребенка — из хаты, от родителей?»

«Бог ведает, Анечка... Есть что-то в сердце у человека — век о нем не знаешь, а оно, глядь, и отзовется

¹ Бакун — простой табак (укр.).

² Дунай — разливное море (букв.: разлив реки).

и скажет тебе: «Должна так поступить». А он, этот Филипп, пусть ему бог простит, от этой водки совсем обеспамятел. Гафию в чахотку вогнал, а она не признавалась, чтобы в больницу не забрали, — боялась, как бы дитя с голоду не померло при таком отце. Настеньки у меня уже не было, — вырастила ее, хорошей девушкой в свет выпустила. Теперь она в Косове ковры ткёт, да и старуха, мать ее родная, вернулась. Ты тогда как раз вторую девочку родила, и я уже совсем собралась к тебе, да подумала: у вас там и ясли и садки, а у нас этого не было... Филипп замерз пьяный в лесу, Гафия в больницу должна была ложиться, ну, я и взяла ее девочку к себе...»

«Гафия выздоровела, ребенка забрала, а вы... То хату не на кого оставить, а может, кота жалко?.. Ромчику третий месяц пошел, отпуск кончается, скоро в школу пойду, а Ярослав мой на заводе целыми днями пропадает. Главным инженером недавно назначили, в доме он редкий гость. Опять к ребенку чужого человека зови, словно у меня родной матери нет...»

Мария энергичным движением сдвинула платок на шею, ее влажные глаза выражали решимость.

— Возьмите, Гаврило, чернила и ручку с подоконника, вот вам бумага, и пишите, пожалуйста: в понедельник пускай встречаются. Сегодня четверг, как раз успею собраться.

Мяукнул кот на шестке, соскочил на глиняный пол, потерся боками о Мариину ногу.

— Брысь!

Кот посмотрел на нее зелеными глазами и скорбно опустил голову. Только сейчас заметила Мария, что кот уже очень-очень стар.

— Муркá заберите к себе, Гаврило. А хату, если хотите, возьмите под конюшню. Плетень свалите — и как у себя на подворье.

— Я только что об этом подумал, Мария. Завтра сплав начнется, деньги у меня будут. На рассвете пойду на шлюзы.

К субботе Мария уже собралась в дорогу. Мешки дорожные с разным домашним скарбом лежали на лавке, опустела кровать, оголилась вешалка над печью, только властно смотрел со стены сидевший среди облаков Саваоф да кот подремывал на печи, лежа на старом кожухе.

...В окно увидела Мария Варвару, что живет над речкой. Она вела за руку Гаврилова Василька, хлопчик почему-то плакал. Мария вышла на крыльцо.

— Ты ко мне, Варвара? Заходи, заходи, посиди, поговорим. Потому что завтра меня уже тут не будет. К дочери уезжаю.

— К вам, тетушка, к вам... — Варвара была почему-то встревожена. — Вы ничего не знаете?

— А что случилось? — встрепелась Мария.

— Вчера Гаврилу деревом придавило на шлюзах.

— Падку! Жив?

— Да жив... Только ногу сильно помяло. Тетушка Мария... Я б Василька к себе взяла, да вы же знаете, у меня шестеро в хате... Пускай он эту ночь у вас переспит, а я в сельсовет пойду. Они хлопца к кому-нибудь пристроят.

Мгновение Мария стояла неподвижно на пороге, потом ступила к мальчику, прижала его к себе, он уткнулся головой в подол ее юбки.

— Варвара, — сказала Мария тихо, — не надо в сельсовет, там своих забот хватает. Вот... бегите лучше на почту в Ославы. Далековато, но вы успеете. И телеграмму моей Анечке дайте... Возьмите этот конверт, тут адрес. Скажите, что приеду, как только Гаврило выздоровеет. Пускай еще маленько потерпят. У них там и ясли и садики, а у нас этого пока еще нет...

Старый кот тихо ластился к бабке, спал Василько под старым кожухом, сидела Мария на скамье, опершись на увязанные мешки, и шептала:

— Прости меня, Анечка. что не одна ты у меня. Ой, дочка, среди людей живем. А нам, как видишь, все же легче, чем другим...

Перевод Юрия САЕНКО

ДОМ НА ГОРЕ

С юда, на эту Лысую гору, выпятившуюся над селом, не доносился извечный шум далекого бора, смешанный с неугомонным журчаньем речки, — тут всегда было тихо, как в запертой церкви; солнечный луч никогда не простреливал раскидистых крон яблонь, обступивших подворье Пантелы, накрывая ветками и крыши домов, — тут всегда было сумрачно. Двор Пантелы стоял чужаком в стороне, окруженный со всех сторон буйным густым садом, не то гордый, не то потаенный, словно предназначенный для ведьминских шабашей, только сквозь листву пробивалась к небу острая спица колодезного журавля и маячила на горизонте, как виселица.

За садом — мертвое поселение предков Пантелы, потому что никто из них не покоился рядом со всеми людьми на кладбище возле деревянной церквушки — другой это был род, другого колена.

— Я тебя, Настя, не держу, мир широк, — часто говорил дочери Пантела. Но это так, лишь бы сказать, потому что знал: Настя его крепко вросла корнями в эту гору. Даже от Юрка отреклась...

Село лежало вдоль речки до самой скалы, под которой свили себе гнездо бывшие кочевые цыгане, а оттуда речка текла уже одиноко и была нежной, ти-

хой, умиротворенной: по ее берегу к Поточью ежедневно поутру пробиралась в контору лесничества Пантелова Настя — чужой проходила через чужое село, чужой возвращалась на свою, укутанную в молчанье гору, на которую не ходили люди.

Так как-то уж повелось у Пантелы, что никто в селе не был ему нужен. Предкам нужны были, а ему нет. Его предкам покорялись люди, Пантеле уже не хотели, а равным быть — это как-то не подобало его роду. Прадед разбойничал, на людей с гор смотрел; дед — этот уже с пушкарями на разбойников охотился — тоже с высоты полицейского участка на чернь гордо взирал; отец артельничал на полонине, сын же его, Пантела, простым смертным был, но извечный горор в нем остался.

Да и на что Пантеле эти люди? В колхоз объединились, пай делят, а у него все свое. Правда, иногда он облюбовывал какую-нибудь вещь у односельчан. Да разве обязательно просить или торговаться? Можно и дожидаться — терпеливо, чинно, и, смотришь, сама в руки придет. Вот, например, такой черешни, как у учителя, что на пенсии, ни у кого не было и никто подобной не видал: ягоды коричнево-белые и большие, почти с грецкий орех. Они пользовались бы большим спросом по пятницам на базаре, а у учителя даром пропадают. Одни воробьи от них жиреют. Пробрался как-то Пантела ранней весной к этой черешне, срезал веточку, привил к своей, да не прижилась. А вот помер старый учитель, вдова в город перебралась — не возьмет же черешенку с собой, — так и перекочевало дерево вместе с кубометром прелой земли на гору к Пантеле...

Пантела не гнался за чужим добром. Разве только какая-нибудь мелочь, которую когда-то случайно заметил, а теперь она валялась без дела: то ли это французский замочек на обвисшей скобе, то ли собачий ошейник, то ли колун, забитый намертво в поле. А когда осенью падали в его саду яблоки и некоторые катились с горы по покатоному склону, то Пантела епешил за каждым отдельно, пусть даже до самого низа, и складывал их в мешок — люди видели это и уже не пожимали плечами, потому что пообвыкли. И еще встречали старика каждую пятницу в городке на

рынке с разным хозяйственным товаром: от меда в деревянных бочонках до выпрямленных на наковальне изношенных лошадиных мундштуков.

А как же иначе, если без людей должен жить? Прадед брал у богачей, как свое, дед у бедноты брал под страхом наказания, отцу пай давали, Пантела же сам должен себе копейку добывать — от собственных яблонь до найденной скобы...

А годы бегут, как быстрые кони, бежит вниз речка через Поточье, убегает молодость от Насти, а сваты все не идут на гору, потому что так уж повелось, что люди к Пантеле не ходят.

Но нет, один все-таки ходил — Юрко. И как любили друг друга с Настей! Да настоял он на своем: не пойдет к покойникам жить, а Настя тоже уперлась: «Никто из нашего рода никуда отсюда не ушел». — «Так ты уйди, ты же молодая, а он пускай себе умирает единоличником». — «Нет, не уйду...»

— Ты себе как хочешь, Настя, я тебя тут не держу, — часто напоминал дочери старик.

Что же держит? Стучат лишь ветры на горе зимой, заметают сад и дом; летом свет из окон не пробьется сквозь гущу зеленой чащи; в конюшне из года в год одиноко жует жвачку коровенка и возятся в хлеву ягнята; под окнами кудрявится огородная мята, которая растирается под ногами и обрызгивает камни завалинки зеленым соком...

Это держит? Или, может, держит страх жить о бок с соседями? У них все общее — и поле и беседы, а она не умеет так. Бог его знает, но никто отсюда никуда не ушел — ни живой, ни мертвый.

— Ты иди, Настя, подавайся на сторону, время теперь такое, что дети летят в свет, как семена пихты. Лишь бы на меня не жалилась...

— А почему сюда никто не идет, папа?

Пантела смотрел на дочку — красивая была, но уже отцветает, и Юрко, который уже и спал с нею в риге на чердаке, теперь живет с другой в долине, потому что на гору идти не пожелал...

— Ты сбеги, сбеги вниз, бедняжка, чтобы в девках не поседела, разве я виноват, что от века мы тут, что от века род наш нелюдимый...

Но не могла Настя сойти с дедовской горы в чу-

жой мир, в котором не бывала ни в детстве, ни в юности. Перехватывали ее иногда парни и тут, на Поточье, а теперь уже и перестали.

— Не уйду я отсюда, папа.

— Ну, смотри.

Но вот как-то, идя вверх по-над речкою из Поточья, Настя посмотрела на свою гору, и кольнуло ее в самое сердце острие черной спицы колодезного журавля, высунувшегося из темной шапки деревьев, как виселица. И резанула мысль: все — под корень, поставить новый дом в два этажа, голубыми большими окнами привлечь, цинковой крышей блеснуть. И тогда придут, придут...

Пантела не перечил. Денег накопил, потому что с яблоками каждую весну в Котлас ездил, да и свой базар давал какой-то доход — отдал все. А только ли не перечил? Он не раз мечтал, чтоб и самому как-то подняться над людьми — одна нелюдимость не удовлетворяла прадедовскую спесь. Но как? В артельщики не брали — отец нажил лихую славу, богатство не в моде, да и некуда тратить — полонину теперь не купишь. Слава богу — дочь додумалась. А как же? Двухэтажный, да еще и с навесом, а комнат столько, что на каждого по одной. На кого — на каждого? Э, тогда уже будет на кого: на зятя, на внуков и правнуков — и все тут, все тут!

Упали срубленными старые яблони, растопталась сочная мята, потеснились овцы и коровенка — Пантела с Настей перешли жить в конюшню, а хата их взметнулась в небо столбом пыли и вместе со спицей журавля легла кучей хлама.

Смотрело село, теперь уже удивленно, и пожимало плечами: «На что это Пантеле сдалось? Уж не заплесневелая ли Настя жениха ловит, клетку для него строит?»

А мастера тюкали топорами, а пилы свистали в телах добротных смерек, клался цементный фундамент, ложились дубовые крестовины. Настя оставила работу в лесничестве — возила материал, работала как вол и увяла, постарела и иссохла от хлопот, как осина.

Бегут годы, как быстрые кони, бежит вниз речка через Поточье, убежала молодость от Насти. Поднялись на горе хоромы, и смотрит старый Пантела на



дочку: запали груди, ноги опутали узлы жил, морщины покрыли паутиной лицо. Эй, люди, а сможет ли она еще ребенка родить, если бы ее даже кто и захотел взять в жены?

Поднялся этаж один и другой, да еще и мезонин с узорчатым балконом, блеснули большие окна на сельские окрестности — ну, идите же, сваты, торопитесь, женихи лакомые!

Как же так — и теперь не идут!

Да как-то так уж повелось в Пантелевом роду, что не ходят люди к ним, на гору.

...Пожилой печник, приглашенный из Косова, ставит кафельные печи в Настиных комнатах. И хотя и вдовец а еще веселый, кладет печи с прибаутками и песенками. Настя подает ему кафель и не жалеет магарыча, торопит его, но не так, как, бывало, других мастеров — лаской подгоняет, а он как-то чудно поглядывает на нее, когда она нагибается к нему с кафелем в руках.

— Куда так спешишь, молодница, или это... прости, господи... — сказал да и запнулся.

А Настя даже не рассердилась: разгорелась, румянец разгладил морщины, и поблекшая молодость заблуждала в зрачках синеватыми отблесками...

А когда все было сделано, печник помыл руки, заглянул в Настины глаза — господи, сколько же лет с этой силой, потраченной на возведение этих хоро, она могла бы еще прожить, сколько ночей с мужем проспать, сколько детей народить! — и отодвинул на край стола пачку денег, что дала ему Настя.

— Это уже будут наши сбережения, хозяйка. Желюсь я на тебе.

Вспыхнула, встрепенулась Настя, кровь бросилась ей в лицо, ахнула и потеряла силы от неожиданного счастья — опустилась на скамью.

— Вы... вы правду говорите, Петро?

— А почему бы я должен брехать? Собирай хоть сейчас свое добро, попрощайся с отцом и — айда...

— Куда? — вскрикнула Настя, и мертвенная бледность растеклась по ее лицу.

— Как это — куда? Ко мне. ^Сын уже большой, прочь из хаты подался, домик у меня теплый, там и маленького своего вместе тихо будем убаюкивать.

— А это? Для кого же я...

— А... Пускай себе старик роскошествует, мы в гости как-нибудь к нему приедем. Многовато для нас этих комнат да коридоров, что нам — собак гонять по пустым покоям? Это все только обойти ежедневно — одуреть можно. А работать когда? У меня теплее. Там среди людей будем...

Настя не дала ему договорить, взвизгнула, как безумная сдвинула платок на затылок, утопила пальцы в волосах, в бешенстве дернула косы, потом швырнула печнику деньги в лицо и вытолкала его из дома.

На крик вбежал Пантела. Испуганно смотрел на

дочку, которая тряслась от хохота и рыданий, пытался подойти к ней, да ноги вдруг отказались повиноваться. Понял, что случилось, и от ужаса у него навсегда остановилось сердце...

Настя одна похоронила отца здесь же, на горе, без попа, без людей. Потому что так уж повелось, что никто отсюда в долину не спускался и оттуда сюда никто не приходил.

А потом село видело, как каждую ночь горел свет во всех Настиных покоях до рассвета, а кто проходил по дороге под горой, слышал, как выводила она свадебные песни.

Однажды ночью дом на нелюдимой горе вспыхнул разом со всех сторон. Впервые сбежались сюда люди, но воды начерпать не успели, потому что колодец остался без журавля.

Только скотину успели вывести. А Насте не было нигде.

...Бежали годы, как быстрые кони, бежала вниз речка через Поточье, на горе кудрявился молодой сад над пепелищем.

Откуда-то в село пришел слух — но правда ли это, никто не мог достоверно сказать, — будто бы кто-то видел в Косовском предместье Настю — живую Настю с ребенком на руках...

Перевод *Вадима ВЛАСОВА*

НЕ РУБИТЕ ЯСЕНЕЙ

Сам не знаю, как это случилось, что я не успел подсчитать своих лет, морщин на своем лице, рубцов на сердце. Обо всем этом напомнили мне сегодня два стройных ясеня, заслонившие своими густыми ветвями обветшалый готический домик на окраине города.

Остановился я перед ними, свернув сюда с широкой дороги, постоял на тропке своей юности и посмотрел вдаль. Далеко-далеко убежала эта тропинка, теряясь в травах, в цветах, в воспоминаниях весенних.

Когда это было? Вчера? Кажется, вчера, только ясени из тонких саженцев раскидистыми деревьями стали.

Происходило это в последний год войны. В когда-то зеленом, теперь в черных пепелищах, небольшом городке над Прутом только-только начинала пробуждаться новая жизнь. Она поднималась в опустошенных кварталах, на заброшенных улицах, шла рядом с сиротством, нищетой и беспризорностью, постукивала на восстановительных работах, теплилась в стенах разрушенных школ, в детских садах и неодолимо шла вперед.

...Налево от дороги, кравшейся задворками предместья и терявшейся в прибрежной гальке Прута, напротив старого готического дома с небольшой верандой, раскинулся поросший бурьяном выгон. Сюда каждый вечер сходилась компания уличных мальчишек. Среди подростков особенно выделялись четверо неразлучных друзей. Пятнадцатилетние братья-близнецы Петр и Мирон — круглые сироты (их родителей гитлеровцы схватили во время оккупации и вывезли в Германию) — жили у старшей сестры-вдовы. Иван, которому шел уже семнадцатый год, ютился с матерью в уцелевшей каморке разбитого снарядами дома. Отец его был на фронте. Немногим старше Ивана, Грицько был главой семьи. С тех пор как фашисты на глазах у всех расстреляли его отца, мать лежала, разбитая параличом. Сын должен был заботиться о ней и о маленьком своем братишке.

Грицько командовал ребятами не потому, что был старшим: он имел перед друзьями особую заслугу. После смерти отца готовил фашистам кровавую месть, целый год собирал тол и сам сконструировал мину. Когда гитлеровцы отступали, он вместе с ребятами подложил ее под центральную арку моста, перекинувшегося через Прут. Спрятавшись далеко в прибрежных кустах, мальчишки кипели от радости, глядя на ошалелых от страха фашистов, когда мост взлетел на воздух. За это Грицька признали вожаком.

Сразу же после освобождения ребята два дня подряд ходили на кладбище, где в то время хоронили замученных фашистами людей. После этого мальчишки надолго перестали смеяться. Потом зарабатывали деньги на строительных работах. Осенью открылась школа в полуразрушенном здании гимназии. Занятия проходили с перебоями: не хватало учебников и тетрадей. Поэтому время до обеда ребята кое-как проводили в школе, а потом снова на улицу. Собирали на развалинах топливо, курили солдатскую махорку и враждовали с девочками. Это с тех пор, как две школьницы с улицы Сенкевича — из тех, что с подкрашенными губами ходят в десятый класс, — обозвали хлопцев сорвиголовами. За это им досталось! Девушки чуть не одурели от «серенад», которые ребята устраивали им под окнами. А вообще — кто такие девчонки? Муж-

чины воюют, мальчики помогают матерям, а они только варят обеды из готовенького, штопают старые тряпки да еще от мальчишек на улице отворачиваются или убегают. А посему здороваться с девочками было строго запрещено, и что-либо похожее на любовь считалось среди ребят позором. Да и не удивительно. Никто из них не думал о модной одежде, никто не трудился над прической и не брил густого моха, сползавшего от висков по щекам. Не принято было у них и дружить с девочками. И никто не смел думать о пустяках, когда отцы и братья сражались на фронте.

Сильна была мальчишеская дружба, скрепленная лихолетьем. Прочно привязала она ребят к улице, а та держала их в своих жестких объятиях, не желая отпускать. И вдруг нежданно-негаданно эта дружба дала трещину.

В готическом домике, смотревшем своими узкими окнами на поросший бурьяном выгон, на сборища ребят, поселилась какая-то девочка. Она не дразнила мальчишек, только всегда тоскливым взглядом сопровождала их шумную компанию, когда ребята оставляли выгон.

Казалось, всем было не до нее. Но неприметно и даже непонятно, как это существо с черной кудрявой головкой и большими круглыми глазами начало занимать все больше и больше места в жизни всей мальчишеской компании. Или это потому, что не училась она вместе с ребятами в одной школе, или, может быть, оттого, что вместо пренебрежения, которым их потчевали другие девочки, она посылала им вслед всегда тоскующий, печальный взгляд?

Мало того, что Петр и Мирон засматривались иногда на маленькую, застекленную зелеными окнами веранду, но даже Иван, самый яростный ненавистник девчат, начал как-то странно вести себя. Когда она сидела у окна, он незаметно отставал от компании и шел последним, сердясь на товарищей за их развязность. Думал парень, что этого никто не замечает. Да и в самом деле, Петр и Мирон не смогли бы ответить, почему они смотрят на ее окно. Не видели они никаких настораживающих изменений и в поведении Ивана,

разве только стали обращать на себя внимание непонятные споры между старшими.

Не удалось Ивану скрыть свои потаенные чувства от наблюдательных Грицьковых глаз. Но Грицько, который первый поднял бы «бабника» на смех, почему-то молчал, над чем-то думал, стал неразговорчив. Ребята знали — люди говорили, — что Грицько ранней весной спас ребенка из охваченного пожаром дома. Но об этом он упорно не хотел говорить.

Грицькова скрытность до боли обижала Ивана. Что он таит и почему? Почему всех интересует эта девушка (Иван-то хорошо видит), лишь один Грицько так самоуверенно-равнодушен? Однако не смел спрашивать и не мог. Как-то мальчишки подняли страшный шум на выгоне, начали браниться. Грицько вдруг насторожился, будто прикрикнуть хотел на них, а потом и вправду крикнул:

— Замолчите!..

Ивана словно кто иглой уколол.

— Это почему же? Кого стыдишься? — бросил он.

— Себя постыдишь, болван!

— Интересно, с каких это пор ты стал таким святым?

— С завтрава! Но тебе лучше бы не допытываться, Иван.

Стояли друг против друга: Иван — нежный с лица, как девушка, круглолицый, синеглазый; Грицько — неуклюжий, нахмуренный, с постоянно злыми глазами. Так и смотрели один на другого настороженно, словно спрашивая: «В чем смеешь меня подозревать?»

Это недоразумение закончилось миром. Собственно, потому, что оно только для Петра и Мирона было недоразумением. Грицько и Иван договорились не говорить больше об этом, а поглядывать на веранду готического домика и на черноволосую девчонку с большими глазами — запрещалось. Разве нет сейчас других дел?

А события развивались действительно чрезвычайные.

Была последняя военная весна. Все уже знали: скоро придет Победа. Кто ее не ждал? Кто не хотел, чтобы к этому дню ушли из города черные пепелища?

Работали все, от стара до мала. Грицько возглавлял бригаду подростков первой школы по расчистке

самого центра города. Рядом работали ученики ремесленного училища.

Кое-кто из жителей иронически улыбался, когда толпа подростков — юношей и девушек — останавливалась перед огромными грудями битого камня и бетона.

— Машины бы сюда, не детей, — говорили.

Но молодежь думала иначе.

Утомленные, почерневшие от пыли, ели свой постный завтрак. Отдельно — хлопцы, отдельно — девчата. Неподдалеку завтракали ремесленники — те сидели все вместе.

— Ты посмотри, — шепнул Мирон Ивану, — фабзачники все начисто обабились.

Иван стрельнул исподлобья на Грицька, но тот о чем-то думал и словно не слышал их разговора.

— А интересно, что построят на расчищенном месте? — спросил не столько ребят, сколько самого себя.

Вопрос вызвал интерес. А и в самом деле — что?

— Здесь будет клуб для молодежи, — высказал Петр свою собственную мечту. Он всегда мечтал о зеркальных залах, светлых комнатах, о полках, полных книг.

Мирон возразил. Клуб для молодежи — это хорошо, но работает здесь не только молодежь, почему же ей такие привилегии?

— Клуб для всех, — уточнил свою мысль Мирон.

— Могла бы здесь разместиться и школа с большим кабинетом техники. Чтобы на механика сразу выучиться, — включился в разговор Иван.

— Школа будет там, где и сейчас, — категорически заявил Грицько. — Я посадил бы здесь деревья, чтобы парк был.

И продолжал:

— В парке одни только каштаны и ясени. На клумбах пионы, васильки (а сам думал: «Такие вот, как на могиле отца. Те — сами выросли»). Посередине — аллея, а по краям — скульптуры героев.

— Каких?

— Да разве мало героев? Один, например, двумя руками душил фашиста. — Грицько растопыривает пальцы, глаза горят ненавистью — будто он сам душил. — Другой закрепляет красный флаг на башне магистрата...

— И еще один раненого солдата спасает, — увлекается Иван.

— Или танк подрывает связкой гранат, — добавляют вместе братья-близнецы.

— И такой, что ребенка из пылающего дома спасает, — слышится в стороне звонкий девичий голос.

Все оглянулись. Невысокая, стройная, черноволосая девушка, сказавшая эти слова, пристально смотрела на Грицька, будто хотела увидеть в его злых глазах искорки доброты, а на хмуром скуластом лице улыбку.

Грицько вскочил. Ничем не оправданное смущение смешалось с неожиданной радостью, — но лишь на мгновение. Сразу же это неясное чувство погасло. Взгляд его скользнул по зачарованному лицу Ивана, который стоял, дурашливо улыбаясь, глядя в ясные глаза девушки.

— Тебя кто сюда звал?

Опустила голову, смутилась.

— Никто... сама...

Ребята захохотали.

— Го-го! Хлопцы, смотрите, Грицька беда в юбке опутала! Скоро к Грицьку бригада девчонок прилетит!

Девушка убежала к своим, а Грицько, красный от стыда и злости, крикнул:

— А ну, тихо, черти...

В этот вечер Иван не выдержал. Червячок ревности впервые ощутимо зашевелился в его груди. Грицько знает эту девушку!

Разговор начал дипломатично.

— Ты не знаешь, случайно, Грицько, что это за синица в окошке? — кивнул головой в сторону веранды.

Грицько смерял Ивана взглядом с головы до ног. Но должен был ответить. Поссориться с Иваном — значит разбить всю компанию.

— Неизвестно откуда взялась, племянница тетки Фрузи, что в детдоме работает, — сказал небрежно, подчеркивая свое полное равнодушие к черноволосой девчонке. — В ремесленном учится.

Иван так и подскочил на месте. Вон оно что! Выходит, он давно с нею знаком и все это утаивает от товарищей!

Грицько почувствовал, что проговорился, и, стре-

мясь рассеять всяческие подозрения, тут же выдал себя окончательно:

— Ты только ничего плохо не подумай. Я, паря, в этом деле, того — железо.

Иван деланно рассмеялся.

— Ты, может, и имя ее знаешь, Грицфоня?

— Знаю, ну и что? Маруська!

— О-о, ты даже ласково ее называешь! Хлопцы, — обратился Иван к говарыщам, настороженно слушавшим весь их разговор, — слышали?

Ребята молчали, удивленные.

Никто не мог допустить, чтобы Грицько влюбился. А тот, грозный, подошел к Ивану.

— Мне бы следовало заехать тебе...—прошипел он, скрывая злость. — Доказательств хочешь?

— А хотя бы и так! — задирался Иван, не представляя себе, как Грицько сможет доказать свое равнодушие к этой девушке.

— Хлопцы! — скомандовал Грицько. — «Серенаду» поем Марусе! — А у самого был такой вид, будто на родную мать руку поднял.

Иван побледнел. Он этого совсем не хотел. Чем заслужила Маруся «кошачий концерт» под своими окнами, такое позорище?

Мальчишки не смели противиться, хотя приказ в данном случае был явным безрассудством. Послушные и смущенные, шумной гурьбой остановились они у живой изгороди перед верандой и уже начали постукивать железкой в жестяной лист.

— Стойте! — вскрикнул Иван, увидев, как Маруся отпрянула от окна. — А ну, все по домам!

«Серенада» оборвалась. Удивленные и злые, ребята уставились на Ивана. «Вот что ты за птица!»

Грицько выступил вперед, сгиснул зубы.

— Болван! Бабник! Братва, за мной!

Иван остался у живой изгороди, один в вечерних сумерках. Свист и крики говарищей давно умолкли, а он все еще стоял и не мог собраться с мыслями. Впервые в жизни задумался, как без друзей жить, одному.

Кто-то коснулся его плеча. В голове мелькнула мысль: «Грицько!» Иван вздрогнул и уже поднял руку, чтоб дать ему наотмашь, но прикосновение было таким несмелым, чувствовалось, как ладонь дрожала на его плече.

Он понял и робко обернулся. Вечер сразу стал светлее, словно из-за тучи вышел полный месяц. Звезды замигали, улыбнулись и ярче засияли на своем темно-синем ковре. Перед ним стояла Маруся.

— Это все из-за меня... — прошептала она.

Иван молчал.

— Но мы пойдем к ним вдвоем. Не бойся, они тебя не оставят. — Приблизилась к нему и лишь одним дыханием вымолвила: — Спасибо.

Иван пожал ей руки. Порывался сказать, что он совсем не хочет возвращаться к друзьям, что ему хорошо с нею.

Маруся, словно угадала его мысли, спросила:

— Почему Грицько хотел это сделать?

Холодок пробежал по сердцу. Иван вздохнул. Грицько ее интересуется. Она ведь давно знакома с ним, а теперь, наверное, поссорились. Значит, он будет всего-навсего посредником между ними.

— Почему хотел сделать? — переспросил Иван, чтобы выиграть время и собраться с мыслями.

— Почему он такой нехороший? — несколько поиному повторила Маруся вопрос.

«Кто нехороший? Грицько нехороший? Да разве ты знаешь, какой Грицько? Он мост взорвал, ребенка спас», — хотел сказать Иван. Но это так бы возвысило Грицька в ущерб другим...

— Грицько хороший, — проговорил скупно. — Это он после смерти отца стал таким злым. А в сегодняшнем я виноват, — признался откровенно. — Он не котел.

И сразу же Иван разговорился. Он неуклюже взял Марусю за руку и начал рассказывать о своих товарищах. Пусть не думает, что они и впрямь какие-то сорвиголовы... Это их так называли белоручки с соседней улицы, которые не знают даже, откуда хлеб берется. А вообще девчат они, это правда, не почитают. Разве паренек, который водится с девушками, способен на героическое дело? Куда там...

Иван увлекся, позабыв, что сам идет с девушкой. Маруся напомнила ему об этом.

— А разве девушки не воюют на фронтах? — возразила она. — Ты этого не слышал?

Сколько она сама испытала горя! Хотя тетя Фрузя ей как мать родная, все ж она сирота. Брат в армии еще с сорокового года, она одна осталась изо всей

семьи. Сто километров пешком шла в этот город. Выбилась из сил, упала на дороге, голодная, и если бы не солдаты... А теперь она тетке помогает и учится. Хочет всю жизнь учиться. И любит веселую компанию. Пришла бы к ним, только...

— Да ты не смотри, что Грицько такой, ну... — горячо заговорил Иван.—У Грицька доброе сердце. Я же говорю тебе, он этой весной ребенка спас от смерти, как тогда тебя солдаты. Об этом все знают, хотя он и утаивает...

Иван заметил, как прояснилось лицо девушки и она мечтательно улыбнулась.

— Ты что?

— Так...

Вновь холодок пробежал по самому сердцу, и Иван вздохнул. Для Грицька эта улыбка, не для него.

Маруся развеяла холодок.

— Ты завтра придешь, как стемнеет? — услышал он и не поверил. Может, почудилось? А пока опомнился, Маруси уже рядом не было. Только дверь хлопнула.

Он стоял как замороженный минуту или целую вечность, потом, сдерживаясь, чтобы не закричать от радости, помчался стрелой по темной улице, футболя мелкие камешки.

Тетя Фрузя спросила Марусю:

— Знакомилась с героем? — и лукаво посмотрела на девушку.

— Ваш герой чистейший грубиян, — отмахнулась.— Он на всех смотрит так зло, как на врагов. Я с другим, с Иваном, говорила, — промолвила вполголоса, будто тайну открыла. И смутилась.

Тетка покачала головой: рано, мол, еще с парнями по вечерам встречаться.

— Вы, тетя Фрузя, не думайте... Он такой славный. И за что только он этого Грицька так расхваливает?

— Видно, есть за что.

...Тетка лежала в постели и мерно дышала — спала, а Маруся ворочалась с боку на бок. Совсем пропал сон.

«Разве есть за что хвалить?»

Как-то еще ранней весной постучался к ним в дом

незнакомый парень с посиневшим от холода и черным от пыли маленьким ребенком на руках.

— Где тетка Фрузя? — спросил он Марусю, сурово взглянув на нее.

— На работе.

— Возьми этого ребенка и отдай ей. Да только смотри, ворона, если что случится...

Потом окинул ее взглядом, будто видит впервые, да так странно, что ей не по себе стало.

— Ты откуда здесь объявилась, такая черная? — спросил погода. — Как зовут?

— Маруся... — Хотела сказать, что ее недавно, полуживую, принесли так же, как он сейчас этого ребенка, но не решилась. — В ремесленном учусь.

— Скажешь тетке, что Грицько принес. Она меня знает. Ну, не стой, а помой да обогрей ребенка! — прикрикнул он.

После этого при встречах на улице он всегда смотрел на нее тем самым странным взглядом, как тогда, а она смущалась. Не могла и сейчас никак не может его понять.

Веки слипаются, тревожный сон пролетает перед глазами неясными видениями. Это на развалинах суетятся люди, дети. Потом все исчезает. Она идет по асфальтированной дорожке зеленого парка.

— А посмотри, — слышит голос Ивана, — скульптура бойца с ребенком на руках!

Она останавливается в удивлении:

— Иван, это же Грицько!

Но Ивана уже нет около нее, только Грицько улыбается с постамента, будто он не каменный.

— Я и не знала, что ты умеешь смеяться, — шепчет Маруся и крепко засыпает.

Утром Иван проснулся с ощущением солнечного света в сердце. Хотелось бежать по улице к Марусиному дому, встать перед верандой, окликнуть и спросить, как ей спалось, ведь вчера было первое свидание с любимой девушкой. Он обнял двумя руками подушку. Есть у него тайна, большая тайна, которую он будет хранить.

В школе Иван встретился со своими друзьями. Ему было горько и стыдно. Ожидал, что Грицько плюнет сквозь зубы в его сторону и снова назовет бабником.

Он даже хотел этого. Иван тогда б признался во всем Грицьку, и они бы наверняка помирились.

Но Грицько мимоходом поздоровался, будто боялся, что Иван заглянет ему в глаза и увидит в них не злобу, а печаль.

Остальные ребята тоже как-то притихли. Ходили молчаливые. С болью в сердце понял Иван, что дружба с ребятами лопнула и он во всем виноват. Готов был все что угодно сделать для друзей, чтобы восстановить прежние отношения с ними, но знал: придется убеждать, что он не бабник. Разве это можно было сделать сейчас?

Иван и Маруся продолжали встречаться. Только он никак не мог убедиться, действительно ли она ради него выходит по вечерам за калитку. Выбежит из-за живой изгороди и исчезнет. Если бы не окликнул, кажется, и не отозвалась бы. Робко подходил к ней, и они молча шли наугад — бродили по берегу реки или уходили далеко в поле, пробираясь густыми зарослями ивняка. Но казалось, что они не одни, что всегда с ними идет кто-то третий.

Иван ожидал встречи весь день. Долго обдумывал, что скажет Марусе. Сколько смелых планов роилось в его голове! То он представлял, как зажмет в своих ладонях ее смуглые щечки и горячо прошепчет: «Люблю до смерти»; то до боли сожмет в объятиях ее, хрупкую и нежную, спрашивая: «Любишь или балуешься?» Но при встрече вся его смелость таяла, как дым на ветру. Думать, мечтать — дело одно. В мыслях можно стать гигантом, а в действительности ты — обыкновенный человек. Не прозвучат ли комично в твоих устах великие слова?

Иван молчал. Иногда обращал внимание Маруси на волшебство лунной ночи, но и это было лишним. Разве нужно говорить о том, что несравненно красивее самых пышных слов?

Маруся обстоятельно рассказывала о прошедшем дне, а потом тоже умолкала. Друзей не вспоминали ни одним словом.

«Кто нам мешает?» — спрашивали они себя молча и не находили ответа.

Проходило время. Каждый день был насыщен волнующими событиями. Советская Армия добивала врага в Берлине. Иван затосковал по товарищам. Хлопцы

уже не собирались на выгоне. В школе он с ними встречался редко, потому что учились в разных классах, а на работы больше не посылали. Что они делали, где теряли время, Иван не знал. Только из случайно услышанного разговора узнал, что хлопцы собираются отметить победу большим взрывом.

Как-то майским вечером Иван сказал Марусе то, что не давало ему покоя уже много дней:

— У тебя брат на фронте, у меня — отец. Чем мы отметим День Победы?

Маруся уловила легкий упрек в его словах. Он и сам его почувствовал. Ему страшно не хватало компании хлопцев, с которыми прегерпел не одну тяжелую минуту в жизни. Теперь бы он мог вместе со всеми готовиться к великому, всенародному празднику. Иван даже представил себе, как это будет. Вечером хлопцы разожгут на берегу Прута четыре костра и в каждый бросят по большой коробке с толом. Тол теперь легко достать. Пламя поднимется вверх, мириады искр полетят над рекой, а потом осядут и станут звездами в ее вечерней глубине. И громкое «урра-а!» потрясет вечернюю тишину. А как же они с Марусей отметят эту дату?

— В День Победы, — сказала она задумчиво, — посадим два деревца, два ясеня возле моей веранды. Я их уже заприметила.

Если бы такое сказал кто-либо другой, Иван поднял бы того на смех. Но это скромное желание, высказанное Марусей, приобрело глубокий смысл. День Победы — конец войне, взрывам, смерти, страданиям. Не лучше ли именно в этот день дать начало молодой зеленой жизни?

Иван схватил Марусю за плечи и хотел сжать ее в своих объятиях, но тут же они увидели, что возле Марусиного окна кто-то стоял: на дорогу падала длинная тень. Присмотрелись — узнали Грицька... Тень качнулась и пропала.

Иван долго молчал, а потом спросил глухим голосом:

— Вы давно знакомы?

— С тех пор, как он спасенного ребенка к нам принес.

И она до сих пор молчала!

Сейчас Маруся рассказала все-все. Перед Иваном Грицько предстал в новом свете.

Полный раздумий о своем близком товарище, о дружбе, возвращался Иван домой.

Маруся крикнула вдогонку:

— Грицько!.. Иван!!

Застеснялась и подумала: «Обидится».

Когда Грицько пришел домой, мать уже спала. Он бережно прикрыл ее одеялом и склонился над братиком, который тоже засыпал.

— Ты ужинал сегодня, Славочка? — спросил как никогда ласково.

Малыш удивленно посмотрел на брата.

— Ужинал... А ты? Где ты был так долго, Грицько?

— Спи, спи, плакса малая...

Уже засыпая, Грицько убеждал себя самого: «К черту мне все эти любовные дела... Я только извиниться, попросить прощения у нее хотел за ту «серенаду».

Следующий день начался необычно.

В городе гремели выстрелы, солдаты выпускали в воздух автоматные очереди — конец войне. Целый день не утихал веселый шум на улицах. Люди обнимались, щебетала детвора, из раскрытых окон неслись песни, веселый смех, музыка — праздновали Победу.

Целый день Иван не находил себе места. Противоречивые мысли не давали ему покоя. Перед вечером увидел друзей. Они собрались на улице, о чем-то посоветовались и подались к Пругу.

Иван, забыв о всякой осторожности, прибежал к Марусиной веранде и позвал ее. Она быстро отворила окошко веранды, выглянула и стрелой выбежала на улицу.

— Знаешь что, Маруся, — заторопился Иван. — Я решил... я думаю... вот что: пойдём к хлопцам, будем вместе с ними. И ясени посадим все вместе.

— Неужели?! Иванко! — вскрикнула Маруся и закрыла ладонями покрасневшие щеки.

Иван радовался вместе с нею, но ее радость была большей, и он с болью почувствовал, как невидимый барьер возник между ними раз и навсегда и никто из них не перешагнет его.

На покрытом мелкой галькой берегу пылал костер. Грицько сидел посередине, освещенный пламенем, по сторонам — ребята, задумчивые, серьезные. Только теперь заметил Иван, как они все изменились за последнее время. Изменился, конечно, и сам Иван. Еще издали всматривался он в лицо Грицька: что-то новое, не только задумчивость, было в нем. Постоянная ненависть, озлобленность, жестокость, осевшие в глубоких темных глазах, сменились серьезностью и легкой грустью. Все вспомнилось Ивану: мост, ссора, Марусин рассказ о Грицьке, его фигура у Марусиной веранды, — и смешанное чувство уважения и участия растопило вконец ледок в Ивановом сердце. Каким был Грицько в этот вечер!

Иван с Марусей долго стояли незамеченными, волнуясь.

Вдруг Мирон всмотрелся в темноту и крикнул:

— Смотрите, хлопцы, кто пришел!

— И не один, — добавил Петр.

Иван насторожился, опасаясь взрыва хохота и насмешек. Кто-то неуверенно хихикнул. Грицько взглянул на всех исподлобья, сурово. Уважительно поднялся с места и обратился к Марусе прерывающимся от волнения голосом:

— Садитесь с нами...

Маруся, не сводя с Грицька глаз, села рядом с ним. Все облегченно вздохнули. Иван подал всем по очереди руку.

— Ну, взрывайте свои бомбы, — сказал он авторитетно, как когда-то, — и айда отсюда, не то еще патруль поймает. Пойдем деревья сажать, чтобы воспоминание было об этом дне.

Предложение увлекло всех. Деревца! Они будут называться деревьями победы!

Повскакивали с мест и с веселыми песнями лугами вышли на дорогу.

Глухой и сильный взрыв остановил всех. «Урра-а-а!» — прокатилось до первых домов и затерялось в улицах городка.

Два ясеневых саженца уже ожидали их. Маруся выкопала их еще утром. Сажали все, храня молчание, а каждый думал: «Пройдут годы — и кто-то встретится здесь, в тени наших деревьев. Кто встретится?»

— Только бы никто не срубил, — подумал вслух Иван.

— Никто не срубит, — твердо сказал Грицько, и эхом за ним повторила Маруся:

— Никто не срубит...

Когда все было закончено, Грицько отослал младших ребят по домам — было уже поздно. Иван сказал, глядя куда-то на звезды:

— Иду и я...

— Да ты что, Иван — испугался Грицько. — Подожди, вместе пойдем...

— Иванко, куда же ты? — окликнула его Маруся. Но Иван уже не слышал ее.

В последующие дни все друзья, уже вместе с Марусей, снова собирались на выгоне. Сначала хлопцы испытывали неловкость: того не скажешь, этого не сделаешь... Но быстро привыкли. В конце концов, Маруся не хуже всех могла бегать, весело смеяться и прыгать через огонь.

Каждый раз, когда догорал костер, Иван стремился уйти первым. Грицько быстро догонял его.

— Чего ты увязался за мной? А еще вожак! — сердился Иван. — У меня, знаешь, такое дело, что не требуется никаких свидетелей, — намекал он значительно.

Маруся слушала и благодарно, смущаясь, опускала голову.

— Этот черноволосый галчонок, кажется, серьезно влюбился в нашего хмурого Грицька. И что она нашла в нем? — бормотал Иван, идя домой, и не замечал при этом, что сам сиял от счастья за Марусю и Грицька. Двоих любил, а кого больше — не смог бы сказать. Да и не хотел.

...Этой весной Иван разлучился с товарищами. Отец его вернулся из армии, и они переехали в другой город.

В последний вечер Иван никого не застал на выгоне. Это Грицько всем строго наказал не приходить. Пусть, мол, поговорят без свидетелей.

Из-за живой изгороди тихо вышла Маруся.

— Едешь?

— Еду... На механика буду учиться.

Маруся не сдерживала слез. Иван утешал:

— Ты останешься теперь с хорошими друзьями, Маруся: Петр, Мирон, ну, и... Грицько.

Проглянуло солнышко сквозь дождь.

— Ты добрейший из всех, — прошептала. — Мы тебя никогда не забудем, Иванко...

Сегодня я приехал в родной, поднятый из развалин город. Все, что развеялось среди жизненных перипетий и забылось, как прерванный сон, вынырнуло из глубины души и повело заросшей тропинкой в мою юность.

Иду, взволнованный, знакомой дорогой к берегу Прута, а навстречу мне незнакомые люди, и больше всего — юноши с девушками. Я всматриваюсь в их лица — задумчивые, веселые, серьезные, безмятежные; шлю им искренние пожелания: «Счастливой дороги».

Теплые воспоминания волнуют грудь. Выгон уже застроен. Там без умолку работает двигатель, — может, кто из наших управляет им? Обветшалый готический домик показался только одной своей башенкой из-за зелени. Где же теперь Маруся? Работает? С детьми занимается? Мужа ждет обедать? Грицька? Если бы Грицька! Нет, все мы разбрелись своими дорогами, которые не сходятся, не перекрещиваются; разве только в мечтах.

Вдруг останавливаюсь, потрясенный, и не верю своим глазам.

Два красавца ясеня заслонили старую веранду и уже через крышу смотрят зелеными кронами в кружевные поля за городом. Наши ясени! Впервые подсчитываю, сколько же лет прошло, сколько морщин пролегло на лице, рубцов на сердце. Никогда ведь раньше не считал.

Зайти, расспросить? Стоит ли напоминать?

Стою и молча заклинаю сегодняшних и будущих хозяев ветхого готического домика: не рубите ясеней — ровесников нашей юности и новой жизни на земле! Пусть растут! Они еще напомнят нашим друзьям о далеком, тяжелом и дорогом времени, как молодежь напоминает старшим о далекой юности.

НЕДОПЕТОЕ

Тако́е вряд ли нарочно придумаешь: в то самое село под Яблоницким перевалом, где каждый второй хозяин — Василь, а хозяйка — Василина, Оксана совсем случайно попала в третий раз!

Стояла на пороге комнаты, в которой на сей раз будет жить, возможно долго, и не могла опомниться от удивления: все здесь изменилось, даже горы вокруг Долгополя как бы уменьшились, вот только эта горница все такая же, будто Оксана никогда отсюда и не уезжала, и вдову Василину, с тех пор как не стало ее Ивана и она начала жить для своего Василька, словно обошли годы...

— Ну что ж, будешь у нас, что тут поделаешь, — уже не в первый раз повторила хозяйка, и Оксана подумала, что Василина совсем такая же, какой была и десять, и три года назад, потому что даже манера говорить осталась у нее та же самая, только к мягкому и чуть виноватому «шьто тут поделаешь» прибавилась нотка горечи и покорности.

— И жить будешь у нас, — еще раз сказала Василина, — потому как и до школы близко, и... ты вроде бы уже и наша... — говорила о себе во множественном числе, хотя была в хате одна. Казалось, побуждала Оксану спросить про Василя, ведь как же так — не спросить, где он, коль его нет дома.

Но Оксана промолчала и в третий, и в пятый раз,

будто боялась привязать себя этим вопросом навечно к Василининой хате, потому что не по своей воле пришла сюда, но по собственной воле уйдет отсюда обратно в свою жизнь, которая осталась где-то там, в городе, а Долгополье, и Василина с Василем, и высокая Тарница, и мельница у реки будут лишь эпизодом, как та недопетая песня мельника:

Закувала зозуленька
На високім дуб'ю:
Відколи-м тя поцілував,
Відтоді тя люблю.

Оксана не спросила о Василе, и хозяйка произнесла с той же ноткой горечи и покорности в голосе:

— Лучше, если бы осталась и не уезжала от нас с этой прахтики. Но что поделаешь...

— Должна же я была университет окончить, — ответила Оксана. — Да и откуда мне было тогда знать, что меня пошлют в Долгополье...

Василина поправила на шее платок, словно хотела скрыть горькую спазму, сдавившую горло, опустила глаза:

— Так, значит, ты не сама сюда... захотела?

— Разве нас спрашивают, Василина?

— И то правда... — И прибавила будто недосказанное: — Если б это человек наперед мог знать...

Послеобеденное солнце ударило в стекла, скользнуло по старой иконе на фасадной стене, зацепилось о полосатую занавеску, свисавшую, как и когда-то, с матицы, и снопик лучей осветил ярко-красочную картину над постелью: утренние горы на восходе солнца, в ущелье бежит река, по реке плывет плот, за рулем — на переднем плане — дюжий плотогон... Это работа Оксаниного отца, он ее закончил в тот день...

Оксана ждала, что Василина сейчас спросит о здоровье папы («Спасибо, работает, недавно выставка была»), хозяйка перехватила взгляд девушки, остановившийся на картине, но она, видно, не хотела ворошить болезненных воспоминаний, потому что заботливо проговорила:

— Так, говоришь, Сатана тоже ехала с тобой? Вот тебе и радио. И все этой сплетнице надо знать.

— И мельника видела в Устериках, но он меня не узнал.

— Тебя только я узнаю. Тебя никто не узнает. Такая ты за эти два года красивая и цветущая стала. Но что поделаешь... — горечь и покорность судьбе все явственнее звучали в голосе Василины. — А ты присядь, присядь с дороги.

...С Верховины в Устерики Оксана добралась заблаговременно. На душе было тревожно, как всегда в дороге, а тем более когда эта дорога впервые в жизни полностью самостоятельна, когда впервые ощущаешь, что мама, папа, преподаватели — уже не наставники, а только старшие друзья, и наставником становишься сама. Ты уже освободилась от опеки, но еще не уверена в себе, еще не защищена иммунитетом собственного опыта, и поэтому...

— До Долгополя, — сказала Оксана в окошечко автобусной кассы, сказала так робко и вкрадчиво, словно в поздний час просилась в чужую хату.

— Когда автобус придет, — из окошечка показалась черноволосая девичья головка, и по этому мягкому и певучему «при-идет» (что хорошо улавливалось слухом но записать фонетической транскрипцией тогда, во время диалектологической практики, было очень трудно — придет, приидёт, приидиот) Оксана окончательно убедилась, что она на этнической территории Гуцульщины, хотя об этом уже свидетельствовала и вывеска на автобусном домике — «Устерики». И еще в словах кассирши — и это тоже уловила Оксана — прозвучало сомнение, придет ли вообще этот автобус из Яблуницы, потому что по Черемошу сегодня затемно пронеслось половодье и могло где-то размыть дорогу.

Села на чемодан и ждала терпеливо, а люди, разговаривая о ночной буре, теснились все ближе и ближе к окошечку кассы, будто от этого зависело — повредил Черемош дороги и мосты или нет.

Оксана слушала разговоры столпившихся людей невнимательно, но они сами невольно записывались на странички памяти, как тогда в тетрадку, когда под руководством доцента Дулебы собирала диалектологические материалы и ни разу не подумала, что когда-нибудь ей доведется ехать на учительскую работу в это самое Долгополье, где в детстве впервые очаровали ее

горы, а в юности зародилось упорное желание стать ученым-диалектологом.

— Да-а, Яблунца, скажу вам, такая, чтобы засветилась! — пробурчал сбоку недовольный голос старухи.

«Чтобы засветилась...» Что означают эти слова? — невольно задумалась Оксана. — Лексический материал позитивный, а по тону — проклятье... Чтоб пришла на нее засуха?.. Чтоб вырубилеи вокруг леса?.. Чтоб буря посрываета крыши и побелели стропила? Или чтоб сгорела, и таким образом — засветилась?»

— А что вам плохого сделала эта Яблунца? — раздался чей-то голос из толпы.

— А то, что, как и везде, — господа бога там давно забыли.

— Да вы такие, что за всех согласны отомолиться,

— А что ж не отмолила? Этой ночью сатана летал над горами. Так я такой «отченаш» знаю...

— Вот бы и научили «отченашу» яблунцового шофера, так, может, быстрее приехал бы.

— А он тоже сатанинский, а!

«Неужели Харючка?» Оксана посмотрела туда, откуда доносился ворчливый голос: на мягком мешке, должно быть с овечьей шерстью, сидела старуха с утиным носом и с глазами кликуши. Да ведь это та самая сплетница и святоша Харючка, которую в Долгополье прозвали «Сатаной».

И хотя у Оксаны с Харючкой связывалось воспоминание о первом тяжком дне в ее жизни, все-таки он был значителен, этот день... Сколько проходит дней — бледных, невыразительных, равнодушных, ничего в памяти не запечатлевают: ни контура горы, ни черт человеческого лица, ни слова, ни звука. А тогда — с самого утра...

Желтый круг солнца, заблудившийся меж перистых облаков, упрямо взбирался на вершину Тарницы. Тяжко пробуждаясь от дремоты, горы лениво дышали голубыми испарениями. Возбужденный, решительный, отец сказал хозяйке: «Василина, приглядите за Оксаной» — и отправился с мольбертом в горы, — вчера отец нервно соскабливал краски с полотна, что-то там у него не получилось. Василина произнесла свое ласковое и покорное: «Да что уж тут поделаешь. Оксанка

с Васильком побудет, а вы себе идите, потому как что уж тут поделаешь...» — и заторопилась на полонину дойти коров. Муж ее, Иван, еще затемно ушел вверх по Черемошу на сплав леса...

Тропинка бежит среди ольховых кустов над рекой, по тропинке шлепают две пары босых ног; гоп — две пары босых ног перепрыгнули узкий ручеек, прятавшийся в низком тумане и убегающий на лотки к мельнице. Мельник развешивает на жердях тяжелые и мокрые рядна и напевает свою никогда не имеющую конца песню: «Закувала зозуленька...»; огнем вспыхивают одно за другим облачка в небе, набухает Черемош рыжеватыми водами, хотя грозы и не слышно; мельник кричит, выдыхает остатки сна, пробует кончиками пальцев золотое колечко в левом ухе — это «от годов и всяческих напастей на предстоящий день» и... «Відколи-м тя поцілував, відтоді тя люблю...». Черемош уже натужно шумит, тихо идет первый плот, изредка переговариваются плотогоны.

Все такое выразительное и зримое, а двенадцатилетний Василько, ровесник Оксаны, ни с того ни с сего остановился и — будто стихи на память — выпалил:

— Когда вырасту, твоим ухажером буду!

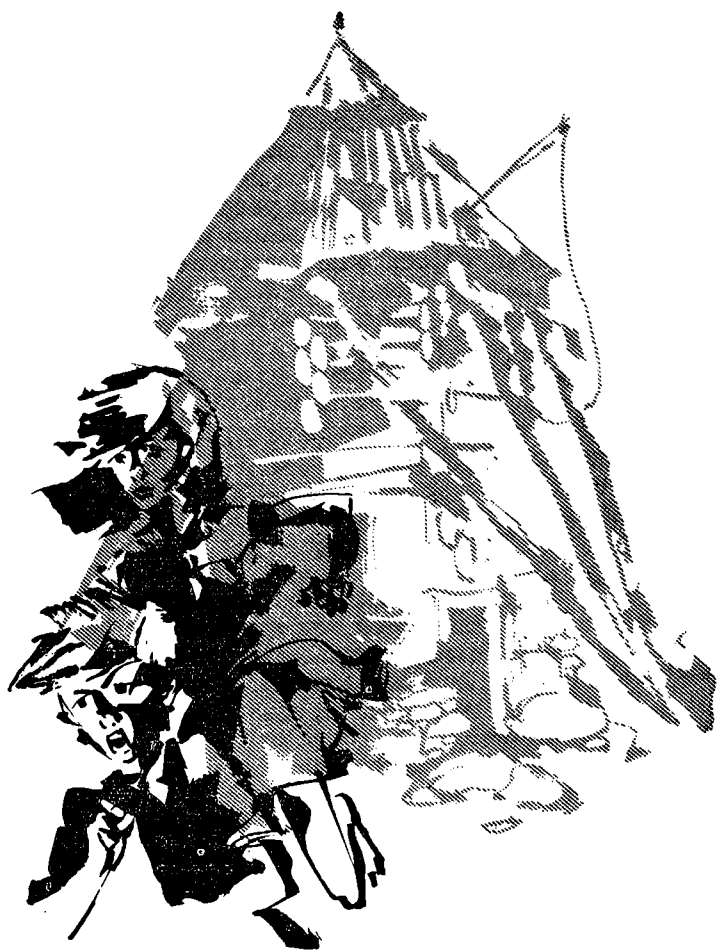
— А я?

— А ты будешь моя княгиня!..

Оксане хорошо стало от этих слов и как-то чудно, потому что о таком лишь слышала, но никто ей подобного не говорил, ведь еще рано слушать ей такие речи, а Василько все-таки сказал, и, должно быть, эти его слова подчеркнули тот день так выразительно и четко, что все вдруг сегодня вспомнилось — от черной, скользкой гальки на реке до величественной кряжистой макушки далекой Тарницы.

А потом они убежали что было духу в лес, так как увидели бредущую по тропинке Сатану — Харючку. Они не хотели встречаться с ней; святоша небось несла котомку сплетен со всего села и вдобавок клубок божьих заповедей, несла к одинокому мельнику, который — единственный в селе — имел терпение ее выслушивать. Оксана же с Васильком слушать ее не желали и убежали в лес, где пахло грибами и живицей.

На обед прибежали домой (папа уже вернулся с гор) и онемели на пороге от чудесного зрелища. В ха-



те на стене висела еще не высохшая свежая картина: нынешний день — с желтым кругом солнца в перистых облаках, с ленивым голубым туманом, со вспучившимся рыжим Черемошем и длинными плотами — весь был на полотне. Дюжий плотогон налег на руль, даже взбухли узлами мышцы, лицо его казалось очень знакомым, и Василько воскликнул:

— Это же мой папа!

И почти тут же вбежала во двор Сатана и закричала:

— Кара господня, божья кара! Идите к мельнику — своего Ивана забрать.

И тот вмиг почерневший день остался в памяти таким же четким и выразительным. На картине — живой, а на столе принаряженный хозяин Иван — мертвый. Василина, сгорбившаяся над ним; мельник кончиками пальцев теребит золотое колечко в ухе — сердится на свой талисман, что не уберег этот цветущий день от горя; людно в хате, слышно перешептыванье: «Руль заклинило, сбросило на повороте под волнорез». Василько не плачет, лишь испуганно поглядывает то на мертвого отца на столе, то на живого — на картине и еще не осознает, что отныне отец останется жить только там, на стене... Оксана не знает, чем подбодрить, утешить Василька, ее папа тоже этого не знает: он то стискивает, то опускает руки, и Оксана, чтобы как-то продлить добро этого дня, так жестоко оборвавшееся, шепчет:

— Слышишь, Василько... Когда вырасту — буду твоей княгиней...

Люди уже атакуют окошечко кассы; будто от черноволосой девушки в этот миг зависит все на свете. Сатана, забыв о своем всесильном «отченаше», громче всех жалуется на транспортные непорядки:

— Упился небось, а может, залез под капот и свечи в радиаторе ищет.

«Обогащение говора современной лексикой», — мысленно констатирует Оксана.

Мужчины — те спокойнее. Какой-то парень с выбившимися на лоб из-под кепки волосами сидит на скамейке возле старого крестьянина, спокойно поковыряющего трубкой; Оксана узнает мельника — парень роется в карманах и без умолку трещит, что, мол, деньги — это пустое, а документы — дело очень важное, и если бы он потерял деньги, то и не поморщился бы, а вот то, что не может найти документы, это, уже так сказать, беда.

— Ты, парень, будто вчера возле водки посидел, — говорит мельник.

— Да посидел-таки, посидел, было такое дело.

— С какой радости или, может быть, беды, ну-ка, скажи.

— Батя недужен, не с радости, вуйку.

— А что с ним?

— Ноги болят.

— А сколько бате годков?

— Да уже под девяносто.

— Э-э, такие ноги и должны болеть, не принимай, парень, близко к сердцу.

Ну где такое вычитаешь? Вот и сиди слушай, подслушивай и записывай.

Доцент Дулеба всегда был недоволен студентами: «Холостые записи, избитые фразы, не умеете к людям подойти...» А это ведь трудно, почти невозможно — записать живую речь путем расспросов. Надо так сжиться с людьми, чтобы они не замечали ни тебя, ни блокнота в твоих руках.

Вон мост через Черемош — дорога из Устерик в Краснополье. Ходили туда с Дулебой, там и до сих пор стоит маленькая изба-читальня, в которой работал Гнат Хоткевич со своим гуцульским театром. Студенты встретились со старенькой вдовой писателя, она каждое лето приезжала в Краснополье отдыхать. Вдова рассказала, как Хоткевич попал впервые в Краснополье, и как раз на престольный праздник. Вынул из кармана записную книжку и стал ходить от группы к группе слушает да все записывает, а группы тают и тают; смотрит Хоткевич — опустела площадь. Вот и пришлось ему годами тут сидеть, пока...

«Это для вас пример», — сказал Дулеба и накликал на себя бурю.

«Теперь не те времена: нельзя научно работать без библиотек... Это утопия, романтика, у сельского учителя, помимо сотни нагрузок, еще и свинья и десяток кур... Где вы видели сельского учителя — ученого?.. Сухомлинский — исключение, да и к тому же ему были созданы условия... И почему вы сами сидите в большом городе, а не идете в народ?»

Но все же у Дулебы были основания... «Возле водки посидел...». «Такие ноги и должны болеть...» — этого не выпросишь и не выдумаешь, такое надо случайно подслушать. А свиньи и куры не обязательны для учителя. Библиотека же теперь — не такая уж и проблема. Что касается Сухомлинского, то ему никто специальных условий не создавал...

Дипломную работу Оксана защитила блестяще и, когда шла за назначением, была уверена, что ее оставят на кафедре.

«Верховинский район?!»

«Вы недовольны?» — спросил председатель комиссии.

«Я... Я же мечтала о науке...»

«А мы как раз об этом и думали, — вмешался в разговор доцент Дулеба. — Вы в своей дипломной работе по-настоящему творчески обработали материалы, собранные Шухевичем, Гнатюком, Кольбергом. А там будете иметь возможность обработать свой».

«Ханжа!» — чуть не вырвалось у Оксаны.

...Парень замолчал. Мельник сосет погасшую трубку, смотрит на Оксану, но не узнает. Хотя бы запел свое: «Відколи-м тя поцілував...» Молчит. Постарел.

— Идет, идет автобус, сатана его не забрал! — воскликнула Харючка...

Это была полная неожиданность для второкурсников, а для Оксаны и вовсе: на диалектологическую практику едут в Долгополье. Ну, прямо-таки к Василине!

Но не решилась пойти к ней. Кто знает, как она... И Оксана осталась жить с девушками в клубе.

Тропинка в ольховнике сузилась. Черемош обмелел, осела кряжистая вершина Тарницы, мельница совсем скрылась за пихтами, только мельник тот же самый.

— Так вы всей компанией в клубе, как бревна под молотом? — смеется он и трясет животом.

— У нас тут своих хат нет.

— Ни одна девка хаты не имеет, пусть замуж выходит — будет у нее хата.

— Так возьмите вы какую-нибудь из нас! — отшучиваются девушки.

— У меня оглохнете, да и без того от вас одно только беспокойство — девушки унесли яворницу, ребята растащили сухие сучья из-под мельницы, костры по вечерам жжете, еще, чего доброго, мельницу спалите, лунчаки безусые! А ты что там записываешь, молодой человек, а?

— Что такое яворница, дядь? А лунчак?

— Обязательно тебе надо знать? А во, — показал мельник на бутылку смородинового вина, стоявшую на подоконнике. — А лунчак — это ты сам. Бычок, неженатый, так сказать.

Оксана протиснулась из толпы вперед.

— Вуйку...

— Сдается мне, дивчина, где-то я тебя вроде бы уже видел, — прищурился мельник.

— Я была тут с папой, когда Ивана на плоту убило...

— Ой! Будто сегодня эта беда стряслась... Остановили плот туточки вот и несут Ивана еще живого, а в поясе перебитого напрочь. На этой вот лавочке и кончился. Голосила Василина долго да и теперь еще не перестала, потому как одна, живет с парнем...

— С Василем?

— Да... Сегодня он дома. Вчера из армии приехал на побывку.

...Василина встала.

— Так ты уж сама распаковывайся, Оксаночка, и будь как дома. А я обед споровю.

Пошла к двери, но вернулась, подошла к Оксане, обвела ее взглядом, несмело коснулась косы, потом провела пальцами по ее бровям и всхлипнула. Уже не прикрывалась платком и глаз не опускала.

— Что это вы, Василина?..

— Да ничего... Ой, Оксанка — душа моя, могла бы моею быть. Да что уж тут поделаешь...

— А теперь уже не могу, Василина? — спросила вроде бы облегченно Оксана.

— Да где уж... — и Василина вышла, тихо вздыхая.

Даже и не думалось, давно все забылось, только когда в районо назвали ей Долгополье, первым предстал перед ней Василь, а потом уже его мать. И еще мельникова недопетая песня всплыла в памяти:

Відколи-м тя поцілував,
Відтоді тя люблю...

— Я согласна, — сказала Оксана торопливо.

Может, из любопытства или...

...От мельника бежала тогда по тропинке в кустах; гоп — перепрыгнула через ручеек и дальше под скалой узкой стежкой, пока не вышла на дорогу, у которой первой стояла хата Василины. И снова запестрело красками утро. Красные лучи солнца коснулись об-

лаков, и они вспыхнули в зените, солнце пронзило перистые полосы и остановилось на Гарнице, а Черемош катил рыжие воды, и мельник вывешивал мокрые рядна, и в низкий туман мягко упали слова: «Твоим ухажером буду».

— Как ты вырос, Василек!

Он в сапогах и галифе, в солдатской гимнастерке, — растерялся, да так и стоял застыв; высокий, сильный, как и его отец, вылитый Иван-плотогон стоял перед Оксаной, с примерзшим к нёбу языком, и только потом проговорил:

← Боже, какая ты красивая...

Оксана распаковала чемодан. Нет, об этом не думалось, давно забылось, жизнь шла своим путем в городе. Это и хорошо, что так... Хорошо? Но почему же слова Василины хотя вроде бы и облегчили, но вместе с тем и разочаровали и горечью осели в душе?

...Василь каждый вечер появлялся во дворе в белой рубашке, ходил, курил, пока не гас свет в Оксаниной комнате. Василина грустнела с каждым днем больше и больше, изредка вздыхала: «Да что уж тут поделаешь...» Когда же встречалась с Оксаной, глаза убегали куда-то вдаль, в горы — уж не жалела ли, что оставила ее у себя? Василь выходил по утрам с набрякшими от бессонницы глазами и куда-то исчезал. Все понимала Оксана а вернуть день, запечатленный на отцовской картине, не умела.

Только перед отъездом вышла к Василию, потому что не было больше сил смотреть на его белую фигуру во дворе и не было больше сил одной сидеть последний вечер в хате.

— Еду завтра, Василек.

— И я скоро — на службу.

— А потом будешь учиться?

Василь удивленно посмотрел на нее, сперва не поняв, зачем она об этом спрашивает, а когда понял, горечь смешалась со злостью, и он резко произнес:

— Тут буду! За отца! И за себя! Тут... Тут!

— Что с тобой?

Что-то сорвало его с места, он схватил Оксану крепкими, как рычаги, руками за худенькие плечи и, целуя ее лицо, шею, глаза, хрипел:

— Если на врача, то да?.. Если на учителя, то да?.. Если на инженера, то да? Да? Да?.. А если плотогоном, так нет?.. Нет?.. Нет? А я тут буду! Потому что и здесь живут люди... и тоже нужны...

— Василек, я не думала так...

Он отпустил ее, слегка оттолкнул и исчез в ночи.

На другой день его не было дома, а Василина простилась с Оксаной холодно и даже не сказала на прощанье этого своего мягкого и покорного «да что уж тут поделаешь...».

...Оксана сложила в шкаф свои вещи, и тут снова попала ей на глаза отцовская картина. Всмотрелась и удивилась, потому что управлял на ней плотом не Иван-плотогон, а Василь, и подумала, что на смену Василию еще кто-нибудь придет потом, а теперь есть он, И есть еще горы и солнце, и рыжие воды Черемоша — только они никогда не меняются, ибо нет им ни начала, ни конца.

И есть теперь она, Оксана.

«Я отбуду тут два года честно по распределению, а потом вернусь с материалами, с готовой диссертацией... Может, и хорошо, что так сложилось, может, и были основания у Дулебы. «С той поры, как тебя поцеловал...» Гм... Перестань, все хорошо, все идет хорошо, Оксана... Я вернусь и снова вступлю в ту колею моей жизни, которая началась там... Там?.. А разве не отсюда она у меня начнется?..»

Закрывает пустой чемодан и сразу встрепенулась «Как же это я не спросила Василину о нем? Как же можно так?..»

Выбежала в сени, оттуда на веранду.

— Василина!

— Ага,— выглянула хозяйка из летней кухни.— Чего тебе?

— Нет, ничего... Вы извините меня, Василина, я забыла спросить... Василь часто приезжает с женой, детьми?

— Ой, душенька,— опустила руки Василина,— да разве он когда-нибудь женится... Этого я наверняка не дождусь. А теперь... Он завтра приедет с гор. Как снова тебя увидит — так уж точно навеки лунчаком останется. Это ведь беда настоящая! Да что уж тут поделаешь...

РОДОДЕНДРОНЫ

Странствую в горах. Не поехал в Крым, отказался от солнечной Абхазии, променял плеск морского прибоя на ветер полонин в Карпатах. Я посетил дивный край, вдохновляющий многих художников, пришел увидеть его и создать песню.

Край поэзии, красоты, искусства и безвестных талантов. Край экзотики, сказок и легенд. Край сильных, горячих и смелых людей. Край, о котором написано много, да не все еще сказано. Хочу сам его увидеть и воспеть.

С рюкзаком за спиной, с палкой в руке и с тетрадью начатых песен брожу в Карпатах...

Вчера хозяйка ворохтянской гостиницы пугала нас плохой погодой. Неудачный прогноз. Смотрите, какое сегодня солнце!

Вперед! Маршрут у меня необычный: хребтом Черногоры — до румынской границы. Хочу быть наедине с собой, хочу надышаться впечатлениями и не делиться ими ни с кем. Пусть даже обвинят меня в эгоизме — все равно, теперь я буду принадлежать только себе и природе. Чтобы цикл моих стихов «Волны Черемоша» наполнился запахом ели, чтоб овеяли его ветры полонин, чтобы стихи звенели, подобно чистым горным родникам.

Догоняю группу туристов. Они с Киевщины.

— Вы не знаете дороги на Говерлу? — спрашивают.

Я еще не был на Говерле, но горы мне стали такими близкими, что смело заявляю:

— Да, дорога мне знакома. Я поведу вас дегрями, звериными тропами, вы подниметесь узкими горными тропинками до самой высокой точки Карпат и оттуда увидите все величие украинской Швейцарии!

— Хорошо сказано, — хвалят туристы. — Действительно Швейцария!

Они принимают меня за местного.

Возле самого подножия Говерлы нахлынул туман. Густой и холодный. Исполнилось предсказание хозяйки гостиницы. И что в этом удивительного? Здесь каждый человек — ведун. Здесь знают то, что будет, и видят то, чего никогда не бывает.

Туман становится все гуще, словно ватой затыкает рот, нос, уши. Моих спутников поглотило густое его молоко, я уже не вижу их, голоса звучат приглушенно, а там и вовсе теряются. Остановились? Отстали? Позади лишь глухой шум, и невозможно различить, что это шумит: ветер, горные кусты или мое собственное одиночество?

Одиночество? Я не хотел быть один. Добраться до вершины Говерлы, отсюда — по моему маршруту.

Но нечистая сила повела меня не той дорогой. Не удивляйтесь, в горах я стал суеверным. Мне вдруг показалось, что я иду в противоположную сторону. Хоть и не вниз, а вверх — все равно могу поклясться, что Говерла каким-то чудом опрокинулась своим куполом в бездну и я пробираюсь к ее подножию. Теперь самоуверенность моя исчезает, и я уже не знаю толком, куда иду.

Меня останавливают роскошные кустики высокогорных цветов — рододендронов, они кровавыми пятнами заалели под ногами. Рододендроны. Я не впервые их вижу. Дома у меня, на окне, рядом с кактусом и аспарагусом, стоят и они — старейшие цветы нашей планеты. Они не украшают комнаты. Мне иной раз жаль было смотреть на грустно склоненные звоночки, никнувшие в тоске по холодным туманам, каменистой почве, горным суровым кряжам. В вазонах они серые и чужие. В горах их не сменяешь на самые красивые оранжерейные розы, потому что здесь они украшают землю.

Я нарвал их целый букет и иду вниз наудачу. Туристы повеселели: завеса тумана становится прозрачнее, и наконец нас обливает багрянцем заходящего

солнца. Спутники мои разбивают палатки, а я с большим букетом высокогорных цветов направляюсь к пастушьему шалашу. Хорошо, что под вечер набрел на жилье. А мне навстречу от самого ручейка, что струится внизу, летит песня:

Ой попід гай зелененький
Ходить мій миленький,
Затикав си за кресаню¹
Розмай зелененький...

Я рад, что случай свел меня с жителями гор. Знаю: заговорю с этим звонким голоском, как старый знакомый.

Из-под кудрей вопросительно смотрят добрые темно-голубые глаза.

— Где я, девушка?

— На Завуялье

— А что это такое?

Смех. Прозрачный и чистый, как эта родниковая вода, что возле шалаша стекает по деревянному желобку. Смотрим друг на друга, ждем, кто первый перестанет улыбаться.

— Туда ходили? — кивает она головой на окутанные туманом вершины гор и показывает на цветы.

— Да, ходил за рододендронами.

— Что? Да это же гогодник!

— Пускай гогодник. Ты там была?

Опять этот самый журчащий смех, только теперь я слышу в нем иронию.

Передо мной стройная, как елочка, свежая, как горный воздух, прелестная, как цветок рододендрона, девушка.

— Что ты тут делаешь?

— Брынзу бью.

Святая простота! Имеет ли она понятие о своей красоте?

— А где же Завуялье?

Девушка показывает рукой на тропинку, сбегаящую вниз между нависшими берегами, а сама отходит в сторону. Нет, она не проводит, сам дойдешь. Так говорят ее глаза — темно-голубые весенние цветы бриндуши.

¹ Кресаня — шляпа с широкими полями.

- Как тебя зовут?
- Как маму.
- А маму как?
- Как меня.

Я пленен сегодняшним днем. Я хочу, чтоб он продолжался и завтра. И послезавтра. И через неделю.

Я так немного хочу... Жители гор имеют больше. Они берут себе гомон гор, шум елей, небо в клубах облаков, песню рек — как свою собственную.

Я не сумею все это взять. Мне хотелось бы продлить сегодняшний день, сегодняшнее впечатление, чтобы записать...

Живу у людей, от которых узнаю больше, чем из многих томов этнографических сборников. Мой хозяин — старый лесник. С его слов записываю легенды, которых нет ни у Гнатюка, ни у Шухевича. С вечера до поздней ночи слушаю его рассказы. Что б он ни сказал, всему верю. Чтобы познать этот край, надо верить в сказку. Здесь люди облачают действительность в фантазию. Реальное и фантастическое они воспринимают с одинаковой уверенностью.

Старый лесник знает, например, что в скором времени лесорубы перестанут спускать лес по желобам. Это тяжело. Надо срубить дерево, пустить в желоб, а затем тянуть трактором, а то и на лошадях к Черемошу. А будет так: построят башни на склонах гор, а от них пойдут стальные канаты на сплав. Такими дорогами будет идти дерево.

Верю. Будет и здесь механизация.

Старик знает, что к лесорубам приходят нявки — русалки. Они пеньем заманивают парубков в лесные дебри, и те не возвращаются больше в свои шалаши. Лесник сам видел нявку, когда еще был молодым.

И в это верю. Я ее тоже видел на Завуяловской полонине.

Старик рассказывает мне о Довбуше — известное и новое. Я слушаю чарующую легенду о борьбе гуцула со злым чернокнижником Черногором.

Верю. Через сказку познал я жизнь.

...Наутро выбегаю из низкой лесниковой хаты и полной грудью вдыхаю свежий, напоенный хвоей воздух. Передо мной море зелени, всколыхнулось оно от неслыханного шторма, да так и застыло. Меня завораживает эта дикая и могучая красота природы. Хочу быть

сильнее, хочу быть великаном, чтобы лучше почувствовать ее.

Села не видно. На зеленых куполах холмов, прислонившись спинами к склонам, здесь и там белеют из-за пышных крон черешен пятна тесовых крыш, а кое-где только высокая ограда говорит о присутствии чьего-то жилья. Возле хат клочки вспаханной земли, а главное богатство — непроходимые леса и долины.

Чем сильны эти люди? Лесник рассказывал легенду о злом Черногоре, который швырял людские жилища в лесные дебри, ущелья, бросал о горы, о камни, чтобы разбить врага своего — человека, а разбить не смог. Потому что у человека было непобедимое оружие — песня, которая помогла ему устоять перед злыми силами природы.

Слышу звуки этой песни каждое утро. Она даже звенит в моей душе, родит слова. Я ее еще не знаю, но слышу — она тут, моя песня про горы. Найду, поймаю и расплывусь в ней ранним туманом, превращусь в быстрый ручей и побегу, поскачу по камням, разобьюсь водяной пылью над водопадом или стану желобком под источником. Ко мне каждый день приходят будут люди воды напиться, каждое утро будет целовать меня девушка с Завуяловской долины.

Через сказку познал я поэзию жизни этих людей.

Я снова на долине. Мне надо услышать песню, вслушаться в нее. В простейшем исполнении моей знакомой я уловлю затаенные ноты сердца, коснусь песни. Смогу, потому что знаю, как она родилась. Я подготовлен к этому.

А затем создам свою песню.

Девушка встречает меня приветливо. Она сегодня не говорит загадками. Зовут ее Ульяной. Она наливает в горшочек молока и подает мне. Молоко пахнет овечьей шерстью. Этот запах напоминает мне детство. Я же с бойковского предгорья родом. Мы с Ульяной почти земляки, нам будет легко понять друг друга.

Она спрашивает, кто я и откуда. Вижу, как густые брови поднимаются удивленно:

— И живете там?

— Нет. Только приезжаю.

Теплый блеск девичьих глаз меркнет, но ненадолго.

— А гуцулку танцуете? — задорно спрашивает она.

— Немного танцую.

Ее не удовлетворяет это «немного». Немного — это для бедных. Не знаю, какую бедность имеет она в виду. Может, и материальную, я же понимаю — духовную.

— И песни наши поете?

— У тебя учусь.

Ульяна поднимает на меня темно-голубые лукавые глаза:

— Вы ученый?

Не знаю, что ответить. Потом решаюсь:

— Ученый.

— И я кончила десять классов.

Удивляюсь. Зачем же тогда она брынзу бьет на полонине, а не учится?

— А вы за меня будете брынзу бить?

— Почему — я? Найдется кому. Неужели Ульяне не хочется учиться?

— Хочется.

— Так оставь свою полонину и иди.

— О, нет...

Она обвела взглядом горы, в мечтательной задумчивости оперлась локтями о небольшой стожок сена и прошептала:

— Нет... нет... Учиться, может, и буду, а полонины не оставляю.

От этого «нет» в моем сердце чуть не погасло то романтическое возбуждение, в котором я жил эти несколько дней в горах, когда моему воображению рисовались картины одна пленительнее другой, это резкое «нет» опускало меня на реальную почву. Но мне не хотелось прощаться со своим настроением.

Ульяна заплетает-расплетает длинную и толстую косу, а темно-голубые глаза, эти весенние бриндуши, затуманались.

О чем она мечтает? Как разгадать?

Ульяна поет. Поет и смотрит на меня, но, наверное, видит только то, что вызывает песня в ее воображении... Летит песня за песней. У Ульяны какая-то непринужденность, чудесный слух и голос, но это еще не все, чем покоряет она меня, и не только меня, но и

простор полонины, цветы, среди которых сидит, скромно подобрав ноги, ручеек и синий еловый бор, что притихли, прислушавшись.

Пытаюсь понять ее, но предыдущий разговор и новая мысль мешают слушать. «Такой талант не должен гибнуть в этих глухих горах, ему нужна широкая дорога, нужна слава,—мысленно произносил я восторженную тираду. — Народ выделяет из своей среды способнейших людей, которые представляют его среди других народов, перед всем миром. Был же шотландский Бернс, буковинский Федькович, воронежский Кольцов. А вдруг я открыл еще одно новое великое имя?» Смеюсь над собой. Я просто восторженный глупец. Да, я поднялся на гору. А сумел ли я постичь сказку жизни людей, для того чтобы спеть им настоящую песню?

Сумел постичь? Нет! Вот почему я не могу сейчас коснуться той самой заветной ноты, которая, как сердце, бьется в песне? Ульяна поет здесь, в горах, прекрасную песню. но чье признание будет ей наградой за талант? Однако Ульяна об этом не думает. Думаю я.

И потому мне не дано постичь тончайших нюансов мелодии, не дано сейчас найти ключ к своей собственной песне, которая как мне еще вчера казалось, вот-вот сама вырвется из наполненной новыми впечатлениями души.

Почему как раз это и мешает?

...Ульяна поет. У нее это выходит так же естественно, как обыкновенный разговор. Она не осознает ни способностей своих, ни своей красоты. Я ее увезу отсюда. Доить коров и овец может кто-нибудь другой. А вот так петь, как она поет, могут только большие таланты.

Говорю ей об этом. Она смеется и вместо ответа просит помочь ей сцедить сыворотку из котлов. Меня раздражает такая чрезмерная простота. Помогаю. Ульяна совсем близко, я слышу ее дыхание. Она ставит котел на землю, выпрямляется и смотрит на меня, как мне кажется, своим радостным, но немного насмешливым взглядом. Хочет сказать: «Я твоя песня, ты нашел меня».

Чуть заметно подаюсь к ней и сразу же останавливаюсь.

Нет песни. Ульянины глаза наливаются грустью, грусть сменяется холодком и, наконец, равнодушием. Она произносит что-то совсем неуместное:

— А вы знаете, я не люблю курортников.

Из долин подползают фиолетовые сумерки. Горечь оседает в моей душе. Не знаю, что именно, но что-то я утратил сегодня. Какая-то препона не позволила мне уловить мелодию гор и отдалила от меня пахучую полонину, на которой цветком румяного рододендрона цветет загадочная Ульяна...

Сиюю до поздней ночи над раскрытой тетрадью и не могу написать ни одного слова. Гвоздем засела в мозгу мысль: «Почему я вдруг стал ей чужим? Почему от этого пренебрежительного слова «курортник» пропала сказка, которую я вынырчил в своем воображении?» И уже по-другому вижу я горы, залитые лунным светом, и легенда о Черногоре звучит не так, а Ульяна больше не кажется мне русалкой, и ее «нет» отрицает и осуждает что-то во мне самом.

Старый лесник поднимается задолго до рассвета. Он собирается на Буркут, на сплав. Я иду с ним. Надеюсь услышать от него еще раз хоть одну легенду.

Но лесник теперь говорит только о лесе. Я хочу уловить в рассказе старика что-то сказочное, как раньше, и тут же чувствую, что меня интересует сейчас не сказка, а его глубокое знание лесного дела. Он понимает каждое дерево, знает, что ему нужно, о дереве говорит как о человеке. Я узнаю, например, что дуб любит соседство таких деревьев, которых он выше хотя бы на вершок, а ель, напротив, прячется от солнца в чужую тень. И люди есть такие: смиренные и гордые.

— Это дуб, а это дубица, — показывает старик на два одинаковых дерева. — А? Как различаю? А так, как девку от парня. Дубица раньше распускает листья и раньше осыпается.

Лесника тревожит, что вырубki сразу же не засаживают лесом. Простоит вот так года два, и будет тут расти один можжевельник, потому что кроме разных болезней в лесу живут еще и злые силы, от которых не только лесорубы, но и деревья гибнут.

Удивляюсь и пугаюсь, но меня сейчас интересует не мистика, а обыкновенная проза жизни.

— Вы знаете о лесе, наверное, больше, чем многие лесничие, — говорю леснику.

— Возможно... Больше, чем такие, что за деревьями леса не видят. Лес темен, но только для темных людей...

Понятно, это сказано не по моему адресу, но я почувствовал, как сразу вспыхнуло мое лицо. А может, это я за деревьями не вижу леса, для меня он темный? Не я ли в погоне за сказкой не разглядел людей, не оценил их труда, их песни?

Еще раз прошу лесника рассказать легенду о Черногоре. Еще раз слушаю и улавливаю в этой сказке новую истину. Песня, с которой человек побеждает силы природы, — это песня труда. Может быть, потому не понял я песню Ульяны. Может быть, потому, что сам я привык рядить свои песни в театральные платья? Может быть, потому, что я знакомился с жизнью по сказкам, а не познавал ее в труде? И не потому ли пришла мне в голову мысль вырвать эту девушку из ее среды, чтобы слушать те ее мелодии, которые мне доступны?

Смутные чувства теснятся во мне. Борюсь с ними, оправдываю себя, а они упрямо подтверждают: «Ты здесь чужой...»

На рассвете мы подходим к Буркуту. Останавливаемся над Шибеным озером. С его крутых склонов, кудрявясь и вскипая хвоей, сбегает прямо в зеленую воду ели. Тихо, неслышно прорезывают они водную гладь и падают на самое дно опрокинутого неба.

Шлюзы плотины еще закрыты, но плотовщики уже сгоняют сон с поверхности озера. Вода начинает морщиться, волноваться, предчувствуя, что нынче вырвется на волю яростно, шумно, неудержимо.

В верхней части озера лежат на воде готовые плоты — дарабы. Их сейчас пустят.

Смелые, сильные плотовщики встают к рулю, они уверены и решительны. Перед ними крутое русло Черемоша, скалы, мимо которых плоты должны пройти, не задев их, водопады, где надо с разгону погрузиться по шею в воду и не дать себя смыть течению.

Шлюзы открыты! Как дикий зверь, спущенный с цепи, рвется в створ вода. Несет, как солому, столетние пихты, сбитые в дарабы. Хочет захватить в свою расвиреплевшую пасть смелых людей, но те борются

не на жизнь, а на смерть. Победенный зверь, побежденный Черногор. Первая дараба вырывается из пасти взбесившегося чудовища и скрывается за горой.

Слышу, кто-то изнутри начинает надо мной издеваться:

«А это тоже сказка? Вот он пред тобой, твой Черемош, о котором ты сочинишь песню».

«Не сочиняю, — защищаюсь от своего второго «я», отбиваюсь от своих собственных сомнений. — Я не уловил мелодии».

«Потому, что ты убоился огрубелых, натруженных работой рук, тебе они не очень-то пришлись по душе, придумал теорию: талант для славы! Чтобы иметь возможность изучать творчество людей со сцены, а не в жизни. Потому, что в жизни оно порой шершавое, черное, запыленное».

Кто говорит сейчас во мне? Я пришел сюда полный мечтаний, мелодий и поэзии. Кто влез ко мне в душу и безжалостно выгрызает все?

«Талант для славы? А у этих людей, на дарабах, разве нет таланта? Так возьми их на сцену и на бутафорской реке заставь вести картонные плоты, чтоб доступнее была тебе сказка Черемоша!»

«Ах, замолчи!»

«Смотришь и не веришь, что кто-то отдает свой талант людям, не думая о себе. Потому что тебе всего дороже твоя слава. Потому что ты — оранжерейный рододендрон. Не ставши украшением комнаты, ты перестал быть вечно свежим и привлекательным цветком!»

«Рушишь мой покой, мой отдых?»

«Покой? Тогда сочини песню про покой, а не про Черемош и про людей. Ты увидел ручеек и назвал его рекой. Ты прошелся вершинами Черногоры и назвал ее Швейцарией. Что ты знаешь об этих краях? Ты увидел людей, назвал их чародеями, захотел написать о них песню, но не нашел ключа к их душе. Потому что, встретившись с настоящей красотой, ты не сумел близко к ней стать. Вот где рождается та песня, которую ты не мог постичь. Вот как играют волны Черемоша! Встань на дарабу, и ты все постигнешь. Но ты боишься рисковать. А что, если погибнешь и никто об этом не узнает? А они, молодые плотовщики, рискуют,

не думая о славе. Смотри: держась за руль, идут они на вспененные валы разъяренной воды, и она накатывает на них. Ты так врывался когда-нибудь в жизнь, как они — в кипящую хлябь?»

Молчу. Я начинаю понимать силу и бессилие, поэзию и пустозвонство.

Рву на кусочки тетрадь начатых песен...

Рано утром снова иду на полонину. Расскажу Ульяне о том, что понял я за эти дни.

Слышу песню. Это поют леса, крепко вросшие корнями в землю, травы на скупом грунте кряжей, это поет человек в труде.

Ульяна подоила овец, кончики пальцев еще терпнут от утомительной работы. Она сцедила сыворотку, сушит сыры на солнце и поет. Не на сцене, не на показ, не ждет аплодисментов.

Я подкрадываюсь, чтоб увидеть Ульяну в ее уединении. Но она не одна. Возле нее тот, кто никогда не воображал ее себе в пышном платье, кто понимает ее, кто любит свежие высокогорные, а не оранжёрейные рододендроны.

Вижу, как обнимает парубок стройную Ульяну, как целует она его. Свободная, счастливая.

Мне не стыдно, что я подглядываю. Я начинаю поиному понимать мудрость жизни.

... Прощаюсь с Карпатами. Не уношу с собой ни одного записанного слова. Еще раз перехожу через перевал и люблюсь рододендронами, хочу запомнить, как они цветут на кряжах, чтобы не любоваться теми, в вазонах на окне.

Я шел сюда, чтобы взять кроху того, чем люди здесь обладают, и на этом материале создать песню. Но я не беру с собой этой крохи. Кроха — это для бедных. На ней не создашь песню.

А все-таки — что я уношу?

Много. Новое понимание красоты.

Я еще приеду к тебе, моя Черногора, радуга над равнинами! Приеду без сказочных иллюзий, не на отдых, а как плотовщик, лесоруб, овчар. Сегодня я влюбился в тебя. И скоро-скоро вернусь к тебе, к живой силе твоей молодости.

НА ПОРОГЕ

Володька в этом году заметно изменился. На это обратили внимание сначала учителя, а потом и одноклассники. Максим Иванович, директор школы, не без гордости заявил на педсовете, что перемена в поведении Володи Зайца — результат его, директора, кропотливой работы. Старенькая учительница Олена Григорьевна усмотрела в этом совсем другие причины, но молчала и только отрицательно покачивала головой. Максим Иванович не терпел возражений.

— Да, да, именно так, уважаемая Елена Григорьевна. Вы напрасно качаете головой! В позапрошлом году он был у Козубенко. И что же? Вылетали оконные стекла, а на гвозди, вбитые в парты и стулья, садились не только ученики, но, бывало, приземлялся и сам Иван Иванович. В прошлом году, в восьмом классе, он был у вас. Исключали? Исключали. Принимали обратно? Принимали. И снова исключали.

— Я, Максим Иванович, никогда не стояла за исключение. Он способный ученик. Это уж, позвольте сказать, вы сами...

— Та-ак! Позвольте сказать... Позвольте сказать, что вы только это и знали — защищать. А конкретно что вы сделали? В этом году лично я им занялся. И вот — результаты.

Елена Григорьевна хотя и замолчала, но продолжала покачивать головой, а лукавая, загадочная улыбка, появившаяся на ее лице, еще больше углубляла старческие морщины.

Некоторые одноклассники были явно недовольны Володькой. Всего полгода назад они считали его своим вожаком. Ему достаточно было мигнуть Юрке или Ваське, чтобы они уже были готовы к очередной проказе. А сейчас... Что это случилось с их верховодом? Сначала подумали, что он захворал. Но потом убедились в полном его благополучии. Здоров, растет не по дням, а по часам, а в лице появилась серьезность, которую подчеркивал черный пушок под носом. Тогда решили, что он зазнался.

А Володе это было обидно. Он и сам не знал, отчего ему расхотелось проказить. И вообще он много чего не понимал. То голос начнет срываться, то вдруг объявится бас. И еще этот мох на верхней губе. Как часто хотелось кого-нибудь толкнуть или подставить ножку девочке, иной раз он едва сдерживал желание запустить камнем в кошку на улице. Но что-то уже не позволяло ему это делать — что-то неумолимое, неведомое, новое.

А друзья-товарищи, все те же неразумные Юрко и Васёк, отошли от него, держатся в сторонке. От этого Володе было очень горько. Он постепенно замыкался в себе. А тут еще увидели его в кино с восьмиклассницей Олей Побегущей.

Это произошло совершенно случайно. Володька стоял в очереди за билетами. Когда подошел к окошечку, увидел, что в самом конце очереди стоит Оля. Он просто пожалел ее и взял два билета. Подошел, поздоровался.

— Я тебе взял...— Он оторвал билет.

— Спасибо,— обрадовалась девочка и вышла из очереди. Володя в эту минуту заметил, что у Оли синие-синие глаза.

Оля протянула было руку за билетом, но вдруг опустила. У Володи сжалось сердце от глухой обиды. «Она боится меня, потому и не хочет брать билет»,— мелькнула мысль, и он уже хотел отойти от нее, как вдруг Оля сказала:

— Ах, я совсем забыла, мы же с Галкой условились.

— А-а... Я же не знал... Ну, тогда, знаешь что... возьми оба билета.

— А ты?

— Да я... Я завтра... Или в другой раз...— и отвернулся.

Эту сценку наблюдали Юрко и Васёк, пробиравшиеся к кассе без очереди.

— Оле отдал, кавалер! А нам не хотел взять! — бросили ему вслед.

Будто кипятком плеснули на Володьку. Резко повернулся и схватил Юрка за грудки. Тот испуганно смотрел на товарища и, чтобы как-то нейтрализовать злость опасного противника, попробовал оправдаться:

— Да я так, в шутку, брось...

— Смотри!.. И в очередь становись.

— Тьфу, какой! Ты же сам никогда не стоял!

Василько куда-то исчез, не хотел связываться с Володькой. Володя оттолкнул Юрка, обернулся и встретился взглядом с Ольгой. По выражению ее глаз было видно, что она довольна поступком Володи. Но он был очень смущен и этого не заметил.

— Что стоишь? — буркнул. — Иди, иди кляузничай, что я снова начинаю драки у кинотеатра!

В ответ Оля протянула ему билет:

— Возьми, Галя не идет.

— Что?

— Билет, говорю, возьми. Галя не идет.

— Ну давай... — взял и быстро отошел.

В кино они сидели рядом. Володька украдкой поглядывал на прямой носик соседки и думал, о чем бы заговорить с нею. Взгляд его остановился на пушистой пряди волос у самой мочки уха, и это почему-то мешало ему начать разговор. Сзади слышался шепот Юрка и Василька:

— Сидят рядом, смотри! Хи-хи-хи!

— Парочка...

Оля — как на раскаленных угольях. Володя чувствовал себя не лучше. Что было на экране, они не смогли бы толком рассказать. Да и меж собой — ни слова. Как-то неловко. Володю бросало в дрожь при мысли о том, как он должен себя вести после окончания сеан-

са: проводить ли Ольгу домой или пожелать ей доброй ночи и уйти? Но не пришлось делать ни того, ни другого. При выходе Оля затерялась в толпе, и Володя облегченно вздохнул.

А на другой день все в классе словно стоворились. Если встретится с кем-либо взглядом — лукавые улыбки, отвернется — шушуканье. И явственно выделяются слова «Оля», «кавалер», «ужасная любовь».

Володе было обидно. Хотелось обернуться и залепить кому-нибудь, кто первый подвернется, кто шепчется. Но сдерживался. Думал: что бы на это сказали другие? Поймал себя на том, что думал именно об Оле. Это было приятно. Смело и с гордостью посмотрел на товарищей. А они, увидев, что на лице Володи нет ни малейшего смущения, уже побежденные, опустили глаза.

С этой поры у Володи возникли развлечения совсем другого порядка. Каждый день он приходил в школу раньше всех и ожидал в коридоре, когда прогремит первый звонок. Прохаживался у стенгазеты или внимательно разглядывал плакаты, словно открывал в них заново что-то необычное. В результате он знал на память почти все статьи в стенгазете, все подписи на фотомонтажах, а буквы на плакатах стали ему напоминать живых существ.

Володя старался ни на кого не смотреть. И все же он не мог не поздороваться с Еленой Григорьевной. Может, это потому, что она очень медленно поднималась вверх по лестнице. А может быть, и потому, что на ее уже морщинистых губах всегда была приветливая улыбка, а взгляд был ласковым и теплым.

Нередко с нею вместе или перед ее приходом поднималась по лестнице невысокая, щупленькая девочка. В талии тоненькая — пальцами обхватил бы, а темно-каштановые толстые косы едва умещались на ее головке. С нею Володька тоже здоровался. Она отвечала кивком головы и бегом направлялась в класс. Если же она шла еще с какими-нибудь девочками она не смотрела на Володю и недовольной гримасой отвечала на многочисленные намеки и жесты своих подруг. В таких случаях Володька хмурил брови и так плотно сжимал губы, что на остром подбородке выступала ямочка, и шел в класс.

Так проходило время.

Но однажды случилось такое, чего не ожидали ни ученики, ни учителя, ни даже сам Максим Иванович.

Володька за что-то (никто не знал, за что!) попал в отделение милиции, где его продержали всю ночь. Пока дело выяснялось в кабинете директора, эта весть молнией облетела школу. Даже ученики младших классов перешептывались. Заяц сидел под арестом, его исключат. И разные варианты причин: за хулиганство... а вернее всего — за кражу на рынке.

У дверей канцелярии — встревоженные ученики. В дверях показалась взволнованная Елена Григорьевна. Видно было, как перед суровым директором стоял Володя Заяц. Черные волосы упали на опущенный лоб, темные глаза уставились в ножку стола.

Максим Иванович строго и холодно, как судья, смотрит на Володьку из-под сдвинутых на нос очков. В его взгляде что-то похожее на укор и пренебрежение к своему неблагодарному воспитаннику. Володя чувствовал это и жаждал, чтобы все быстрее закончилось.

— Ну, ты все же расскажи, Заяц, как вчера попал в милицию, — с ноткой злости в голосе — директор.

Володька молчит.

Максим Иванович еще и еще раз повторил вопрос, но ответа не услышал.

— Слушай, Володя, — уже чуть помягче, — ты должен рассказать. Что ты вчера делал в оранжереях парка?

Володя вздрогнул, но продолжал молчать. Только загадочная улыбка на миг коснулась его губ и сразу же погасла. Нет, он не скажет ни слова.

Ему ярко припомнилась вчерашняя неприятность, и в темных глазах промелькнула та же странная улыбка.

Во всем виновата, конечно, подруга Оли — Галя. Третьего дня после уроков она побежала к Володе и под большим секретом сказала, что очень скоро (то есть завтра) день рождения Оли (пятнадцать лет), и что отец разрешил ей собрать своих друзей, и что Оля хочет пригласить Володю, только сама стесняется это сделать. Володя растаял от счастья, с благодарностью пожал Гале руку и бегом помчался домой.

Дома задумался: как же быть, с каким подарком прийти? И здесь сразу препятствия. Вечером пришла с работы мать и послала Володю к соседке Тоне взять денег займа. Стало ясно, что ему от матери не достанется и рубля. Он начал осматривать все свои книги, но ни одной подходящей не нашел: все старые, с обтрепавшимися переплетами. Тогда Володя придумал другое: нарисует орнамент (он умеет рисовать), а под ним напишет стихотворение. Вскоре орнамент был готов, но ничего не получалось со стихотворением. Промучился над стихотворением всю ночь, но, кроме строки «Оды пышные не в моде», ничего не смог написать.

Парень был близок к отчаянию. На другой день повстречался с Олей в коридоре. Раскрасневшаяся, как пион, пробежала она мимо него и только в дверях класса оглянулась. Качнула вопросительно головкой, что означало: «Придешь?» Володька ответил кивком: «Приду».

И он решился на самый рискованный шаг. Когда стемнело, крадучись подобрался к оранжереям парка. Сторож дремал, а сквозь покатые стеклянные стены виднелись освещенные неоновыми лампами пионы и кремовые розы. Только две возьмет — разве это кража?

Тихо скрипнул помост, — Володька затаил дыхание, прислонился к стенке. Сторож спал. Ступил еще один шаг. И вдруг что-то с дребезгом упало и, звеня, покатилося по полу. Сторож вскрикнул, Володя — к выходу, сбил старика с ног — и бежать. Но старик ковылял за ним и кричал во все свое стариковское горло. Володька надеялся убежать, но тут... При выходе из парка ему загородила дорогу внушительная фигура в милицейской форме и сказала ледяным голосом:

— Стой! Ваши документы!

...Максим Иванович начал уже терять терпение. Стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Последний раз спрашиваю: что делал вчера в теплицах?

— Не могу этого сказать, Максим Иванович.

— Тогда раз и навсегда прощайся со школой.

Володьку душили слезы. То, что сказал директор, казалось ему почти невероятным. Перед глазами встала его старая мать-вдова, которая всегда перед зарплатой берет займы деньги у соседки Тони. Молча вытер кулаком непрошенные слезы.

— Можешь идти, — сказал последние слова директор.

Но тут внезапно распахнулись двери канцелярии и перед директором очутилась Оля. За нею вошла Елена Григорьевна.

— Кто разрешил войти? — грозно спросил Олю Максим Иванович.

Оля решительно подошла к столу и стала рядом с Володей.

— Это я виновата. Это мне в день рождения Володя хотел принести цветы.

На секунду стало совсем тихо. Только Елена Григорьевна сдержанно улыбалась, в глазах ее светилась доброта и нежность.

Оля глубоко и часто дышала, прижав к груди ладонь.

Володя растерянно смотрел на окружающих и наконец остановил свой взгляд на пылающем лице Оли. Максим Иванович хотел было что-то сказать, но вдруг понял, что перед ним стоят уже не дети. И это открытие его смутило.

...Бывает часто: какая-то мелодия напоминает давно забытое, теплое, доброе. Бывает, что улыбающееся лицо чужого человека согреет зачерствевшее сердце. Случается — две тени среди густой листвы цветущей сирени будят далекие воспоминания, припорошенные пылью времени.

Перед Максимом Ивановичем стояли молодые люди, которые только что вступили на порог юности. Позавидовав этой счастливой и такой короткой, единственной минуте в жизни, директор неожиданно для себя самого усмехнулся.

— Хорошо! Можете идти...

И, склонившись над телефоном, он начал набирать номер отделения милиции.

СВАДЕБНАЯ

Дед Плятко не мог видеть, стемнело ли уже, — в его глазах навечно осела глухая ночь, — но когда на перестоявшие травы падала щедрая роса и умолкал неутомимый перепел, а с низин тянуло свежей прохладой, знал дед Плятко, что уже повечерело, и соображал: должны прийти косари на ночь, вчера новый лесничий сбор созывал.

И уже где-то там, в долине, где журчит ледяная Жонка, слышится гул: это наверняка косари идут — начинается сенокос. Вышел дед из своей колыбы¹ — он еще крепкий, сам брынзу бьет, — остановился и слушает, хочет по шагам узнать, кто идет. Может, Илько Кинаш? Дочка Катерина еще с вечера завтрак готовит и надеется, что хоть сегодня зайдет Илько в их хату, хоть к старому деду зайдет...

Слышит дед: там, под горой, где стоит хата Катерины, говорят, — узнает Якубяков голос.

— Мочерначка, — спрашивает лесник, — почему крышу не починишь? Есть же чем покрыть.

— Да вот боюсь, градом дранку побьет, — отвечает бойко Катерина. Эх, если бы кто знал, почему у нее руки опустились и пропала охота крышу на своей хате перекрывать... А впрочем, знают.

Мимо дедова двора косари не проходят, здесь и заночуют — кто под крышей, а кто прямо во дворе, —

¹ Колыба — чабанская хата в Карпатах.

будут курить, разговаривать, слушать, как дед на дудке играет. Но никто о дедовой слепоте и слова не вымолвит — пусть будет, как он сам говорит, — от старости ослеп.

— Сыграйте, дед, — просит кто-нибудь из косарей. — Вон ваша внучка сидит на пороге, пора ей и свадебную послушать...

— Каждому цветению своя пора, — отвечает дед. — Но своим я еще свадебную не играл... Ты здесь, Якубьяк? — повернулся старик к косарям. — Не знаешь, Илько придет?

— Да вроде придет. Все лесники должны быть. Старик поднялся.

— Вы, хлопцы, спите себе в колыбе... Я у Катерины ночевать буду, — сказал и зашагал вниз по тропке.

Ушла короткая ночь, расплылась шелковой пряжей над Жонкой, ударили перепела в колокольцы где же косари? — полевые кузнечики частой дробью секут созревшие стебли, но управиться сами не могут где косари, где косари? — начнет скороговоркой перепел, да вдруг и умолкнет. На Маковице густым звоном отозвались молотки — ударили о тонкие жала кос. И рассыпался стальной гомон росистой пылью по сенокосам; косят, косят, косят! — вострепнулся перепел от радости, заволновалась Мочерначка.

— Давай, Олена, быстрее завтрак готовить... Быстро, Олена!

— Ой, мама, мамочка...

Катерина аккуратно подоткнула седину под платок и взбежала тропкой на гору: пошли косари журавлиным ключом: шш-и-к, шш-и-к, шш-и-к! — встревоженные пчелы жужжат над головами, и кузнечики прыгают табунами во все стороны, дымится росистая пыльца, а глаза Катерины ощупывают каждую спину, каждый затылок: нет Илька...

Почему? Почему он до сих пор обходит десятками тропинками ее хату, — седину уже Катерина прячет под платком, нечего теперь Ильку бояться, а он и сегодня не пришел на косьбу.

— Илько в обход пошел, — разгибается Якубьяк, — на Погарь, слышишь, Катерина?

Слышит Катерина. Далеко Погарь, а у Илька нога больная, лесничий не знает, потому что он новый у

них. Еще застрянет Илько где-нибудь в завалах, разве можно его одного посылать?

— Сказал, что должен посадку посмотреть, — проговорил Якубяк и сочувственно посмотрел на поблекшую красавицу Катерину.

И ей уже не до завтрака — ведь Илько упасть может в дороге, — помешала кулеш в котелке, позвала Олену: «Готовь сама завтрак, а я в Багровец должна сбегать»; знает Олена, что не в Багровец, но берет уполовник и помешивает в котелке. А Катерина побежала куда? Дочка в окно видела: на Погарь подалась. И жалеет Олена мать, и радуется, что старость не измеряется годами.

А Илько уже прошел лес, нога все сильнее ныла: давным-давно, когда здесь бои были, зацепила его немецкая пуля и перебила сухожилие. Но, пока был молод, как-то ходил, а теперь рана открылась, загноилась, но он никому ни слова об этом — еще в инвалиды запишут и отправят на пенсию. А тогда лес осиротеет. И вправду осиротеет лес, убеждал себя Илько; кто же без него досмотрит саженцы на Погаре? Но хорошо знает, что сиротой останется он сам и будет приходить сюда разве только гостем. И деревья, властелином и судьей которых он сейчас является, — вот этому жить, а это долой, — равнодушно будут смотреть на пенсионера-инвалида. И олень не подойдет к нему, чтобы взять мягкими губами из его рук душистый кусок хлеба, густо присыпанный солью, и медведь будет рычать на него, как на непрошеного гостя. Как же тогда, одинокий, будет он жить? И саженцы на Погаре усохнут: никто их так не досмотрит, как он. Потому что у каждого есть жена, дети, а у него — только лес.

Вышел Илько на Погарь и склонил голову в низком поклоне перед лесным огромным кладбищем. Чья-то нерадивая рука опустошила здесь все. Деревья трухлявеют на земле, лежат никому не нужные их трупы. Срубить срубили, да не сумели вывезти отсюда вековые ели, и назвали люди это дикое кладбище Погарем, то есть выжженной землей. И только гадюки теперь клубились здесь, а небо над ним всегда хмурилось, словно осуждая людское безрассудство.

И все же кое-где уже начали тянуться к солнцу молодые побеги смерек, воскресает разрушенная

жизнь леса. Если бы могла так же восстанавливаться жизнь людей, легче было бы Ильку идти на Погарь, чем на Маковицу.

...Когда еще парнем был, мечтал только о ружье, потому что на свой клочок земли не надеялся. А ружьем прокормиться можно. И он, собирая ягоды, накопил денег и купил у жабьевского трактирщика австрийский манлихер, который стрелял, как пушка, и дикого кабана валил наповал первым выстрелом. Полиция не могла поймать Ильку с его манлихером — прятал он на ночь ружье в сено, а сам шел на высокую Маковицу, к Катерине. Любил, — один бог знает, как сильно любил Илько Катерину. Накопил он денег за кабаньи кожи как раз столько, сколько потребовалось на уплату штрафа, когда полиция все же его выследила. Тогда подался он в Уторопы, на солеварню, потому что на жизнь зарабатывать надо было — вдвоем с Катериной не проживешь на одних ягодах. Что именно Илько натворил на солеварне, никто не знал, говорили: из-за соли в тюрьму угодил, а когда вернулся, Катерина уже была с ребенком.

Как бешеный ворвался Илько в хату... «Прости, Илашок, не любила я его, сразу же прогнала, прости, что не устояла, но дитя убить не могла». Вскипел Илько: «Тогда я убью!» — схватил ребеночка, как щенка, за ножки, но руки опустились — не погубил. И ушел в горы, в высокие горы, потому что эти стали низкими, упали ниц от стыда.

С ума сходила Катерина, а об Ильке и слуху не было. Тогда с отчаяния пошла она гулять... Тогда и заплакал дед Плятко свои очи и слепнуть стал. А Катерина на всю околицу гульбища справляла, но замуж не выходила: ни за кого не пойдет на веки вечные.

Возвратился Илько и все же зашел к ней. «Гуляешь, Катерина?» — «Гуляю, Илашок, позорюсь, чтобы ты не жалел, что бросил меня. А хочешь — ночуй и ты у меня...»

Избил тогда Илько Катерину, страшно избил. Утром люди увидели ее, осунувшуюся и поседевшую. Больше не гуляла Катерина.

Порубили люди лес на Погаре, а все же курчавятся на солнышке молодые деревца, будет еще жизнь и молодость на этом гиблом кладбище, будет...

Невыносимо защемила рана, прилег Илько на зем-

лю. Вокруг него шумели свежей зеленью молодые саженцы, шумела новая поросль леса... «У нас же с тобой, Катерина, одни лишь могилы да могилы впереди...»

А почему? Почему изо всех самых высоких гор Погарь стал его высотой? Поднял голову — за валежником зеленеет Маковица, подпирает круглой головой небо. «Что такое — или она выросла за то время, что я не бывал на ней, или я уменьшился за эти безутешные и бесплодные годы?» Когда же он ступал на нее в последний раз?

Вспомнил сейчас Илько свою жизнь с самого начала и до острой боли в голове понял: все, что делали его руки, для чего билось его сердце, — все это было для нее. Манлихер, солеварня, тюрьма, отчаяние, злоба, побои и эти саженцы — все для Катерины. Только без нее... На пустырях насаждал жизнь, а в своей собственной жизни — пустырь.

Вскочил, рванулся вперед, чтоб идти, и опустился на землю от боли.

Надо отдохнуть...

Замерла Катерина: лежит Илько на земле, — побежала, сбрасывая с плеч годы, и седины ее будто не было.

— Илашок! — услышал он над собою знакомый девичий голос. — Встань, я помогу тебе. Только не гони меня сейчас, Илашок...

— Не гони... не гони... — прошептал он, как далекое эхо.

Длинными ужами млели на солнце безросные валки скошенного сена. Вместо матери накрывала Олена скатертью стол, расставляла тарелки с едой и просила деда сыграть косарям.

Тоскливо светила окнами Мочерначкина хата, глосила своей пустотой над горами, но зато весело пела, заливалась дедова дудка, а его улыбка молодила всю полонину. И играла его дудка, играла — кому для отдыха, кому для работы, а кому-то, может быть, и свадебную играла...

ЧЕРЕЗ МЕЖУ — ТОЛЬКО ШАГ

Бондарь, председатель артели, уже десятый раз выгонял на весеннее пастбище артельный скот. Ленивые краснобокие коровы радостно закивали головами и быстро побежали знакомой дорожкой к молодой траве зеленых левад.

— В добрый час! — крикнул вдогонку пастуху.

— Добрый день, — вместо ответа пастуха послышался ему за спиною чей-то несмелый голос.

— А-а, Макивчук! Как жив-здоров, Андрий? Что хорошего?

Андрий ответил не сразу. Одну руку он не вынимал из кармана, — слышно было, как в нем шелестела бумага, а другою, — видимо, не знал, куда девать, — чесал в затылке.

— Я...

— Снова о том налоге? С этой просьбой иди в сельсовет. И без тебя хлопот...

— Да нет... Я вот на скотину посмотрел... Хорошо зиму выдержала. Так вот я... того... мог бы даже свою Лиску к стаду... А?... Стельная... И хорошей породы...

Бондарь пристально посмотрел в смущенные, недоверчивые глаза Андрия и все понял.

— Ну, идем в контору, коли так.

Возле стола — Луць, бригадир. Непричесанный, худой, злой. Зол он на Андрия.

— На готовое, голубчик? — сверкнул острым взглядом.

— А коль не в лад, то я со своим назад. — Андрий надвинул на брови шапку и хотел было уже идти, но что-то задержало его. — Я хотел... как все люди, чтоб того... разницы, как говорят, не было. Но если согласия нет... А ты, Луць, не ершись, не на твое добро замахиваюсь!

— Нету здесь моего, все наше! Пора это знать. Жил-жил, как хорек, в норе своей, нелюдимом столько лет...

— Ну, жил...

— А как не стало дешевой водки, так и власть свою перестал любить!

— Не стало... дешевой... — протянул Андрий, перерывистая Луця. — А ты не пил? Кто в тридцать девятом кричал так, что окна дребезжали на околице: «Пьем, теперь наша власть!»?

— Да, браток мой, кричал, — Луць поднялся и, опершись руками о стол, процедил сквозь зубы: — Я как «верую» сказал, так с тех пор и по сегодня! А ты?

— А я что? Что я? — вскипел Макивчук. — Против власти когда-нибудь шел? Или я тебе при немцах окна бил, или хату сжег в сорок пятом? Ну?

Бондарь не вмешивался. Пусть выговорятся соседи, это их право. Потому что все знали...

Не было когда-то дружнее побратимов, чем Луць и Андрий. Но это давно было. Еще когда они парнями были. Тогда еще, как их обоих таскали в полицейский участок за организацию читальни. А когда в уезде затрепетали впервые красные стяги, выпивали на радостях и показывали друг другу следы от ручных кандалов.

Тогда же и поженились на сестрах из той хатки, что с одним-единственным подслеповатым оконцем, да и в нем вместо стекла ветошь торчала.

Село диву давалось, потому что этих двух сестер-красавиц никто никогда не видел на улице по воскресеньям, разве только в будни на Юзевичевом поле.

Но потом случилось неожиданное: когда у Юзевича отобрали поле, Андрий сказал Луцю:

— А вот это уже не подобает. По какому праву? Не крал же он. Работал...

— Глупый ты, — ответил Луць. — Твоя Олена, моя Мария — они работали.

— Все равно не годится так.

Но это когда-то было.

А теперь Луць хотел донять шурина, за все ему отплатить (ведь тот на своей печке сидел, когда они первыми фундамент колхозного здания закладывали) и сказал Андрию такое, во что сам никогда бы не поверил:

— Да кто его знает, кто жег. Кто тебя поймет! — сказал и взгляд потупил, стыдясь собственной глупости.

Качнулась, как от пощечины, высокая фигура Андрия, пушистые ржаные усы, подкуренные табачным дымом, поникли, молодежавые темные глаза глубоко запали, и острый кончик носа побелел, словно отможенный. «Кто знает?!» — хотел крикнуть, но что-то сдавило горло, и слова в нем застряли.

...Никто не знает. Ох, никто не знает!..

Как нынче помнится... Моргал на припечке фитилек, а на дворе мокла осенняя ночь. Олена молча сидела за прялкой, белые волокна от пряжи сыпались на влажный пол, а он смотрел на эти волокна и ничего не видел. А кучка волокон росла и росла на глазах, как гора белой шерсти, только что настриженной с его овец. В сарае тоскливо блеяли две овцы: по отаре скучали, по полонине.

«Разве я батраков нанимал или чужим трудомживал то, что отобрали? Сам по горло был в труде!»

«И мог бы вместе со всеми», — чувствует, как думает Олена, и кричит ей, себе, всем: «Не хочу, не буду свой труд в пай отдавать!»

«Ну и живи нелюдем. На смех, на стыд».

«И проживу. Не сдохну без поля и без овец. Ремесло имею в руках, резьбой по дереву займусь».

Пятилетняя Галюнька водит пальчиком по запотевшему окну — рип-рип. На дворе темно и моросит. И вдруг у хаты шаги. Пальчик — зигзагом по влажному окну, Галюнька шепчет:

— Кто-то идет, папа...

Долго разговаривали в сенях — Андрий и какие-то

люди. Шепстом. Олена тревожно прислушивалась — ничего не слышать.

— Чего хотели? — спросила она, когда Андрий, хмурый, темный, вошел в хату и долго возился за печью, а огонек фитилька моргал едва-едва — вот-вот погаснет.

— Хлеба хотели... Сказал — нету, — соврал Андрий.

— Погибели на них нет.

— Цить...

Утром уже не моросило. Солнце выглядывало из-за туч. «Сушит. — подумал Андрий, — сено в стогах сушит. К вечеру на ветру оно и вовсе сухим станет. Если бы хороший уголек из печи или искра из трубки, то и пожар может случиться. А почему бы и нет? Такое может быть. Стог от стога — и все дымом. Мое сено — для моих овец».

Олена разжигала огонь в печи, облила керосином кучку щепок, полыхнуло пламя, за клубил черный дым.

Андрий вздрогнул.

— Ты что?

— Икнулось...

Пошел к сельской лавке. Там всегда собираются Юзевичи и тихонько беседуют о войне, которая весной должна начаться.

Андрий в сторонке послушает.

А навстречу Семен Заречный на паре мосластых, на тряском возу куда-то едет. Поздоровались. На Завуялье едет, там сено закупили. Своего мало, не хватит до весны. А скота в колхозе много.

— Крепко начал стараться, Семен...

— Кто же будет за нас? Манна небесная с облаков не падает. — Пристально взглянул на Андрия. — А ты так и не собираешься к нам?

Не ответил.

В лавку не зашел. Ему вдруг показалось, что он стал таким маленьким, что стыдно и на́ люди показаться. Постоял под дверьми, послушал, а там снова о сене — будто сговорились. А может быть, уже знают? Задрожал, зуб на зуб не попадает (тьфу, какая паршивая осень!), свернул за угол лавки и тропинкой меж огородами подался домой.

Олена спросила, не заболел ли, потому что такой бледный, словно выстиранный. Нашумел на нее.

— Вчера Гафия говорила, стога сгорели на Яворнице. Чтобы уже они передохли все, людей с сумой по свету пускают!

Вокруг сердца замкнулся железный обруч, кровь заструилась в груди.

— А, чтоб вас всех удар хватил с вашим сеном и стогами! — прохрипел он, когда немного отлегло.

Вечером вышел из хаты так чтобы никто не видел. За пазухой нес пучок сухого тряпья и спички. Не шел, а бежал, потому что боялся — уйдет решимость, и он этого не сделает. А должен. Пообещал.

А когда темные стога, как гигантские бугаи, вырисовались на горизонте, когда к ним уже оставалось не более ста шагов, мозг его ошпарило как кипятком: «Боже мой! Судьба несчастная! Это же труд людей!»

Рванул из-за пазухи тряпье, швырнул в болото, — казалось ему, что оно горит. Рвал на груди сорочку.

«Покарай меня сила господня! Покарай на этом месте!»

Никто этого не знал...

Бондарь вмешался. Видел, что Луць хватил через край, оборвал его:

— Не плети небылиц, Луць.

Улыбнулся бледному от обиды (эгей, от обиды ли?) Андрию и мягко заговорил, как хозяин с хозяином:

— Меня одно удивляет, Андрий. Когда ты едва-едва перебивался, когда туго приходилось вашему брату, ты и слушать не хотел, как мы ни упрашивали тебя. А теперь неплохо зарабатываешь, резьба — дело прибыльное, да и с налогами немного легче. Почему же так вдруг?

Не знал Андрий, как ответить.

Несколько лет неплохо жилось. Ну, как сказать — неплохо? Из кожи лез, налоги платил, но ни с кем ничего не делил. Был уверен, что хорошо делает, что на все село он один выигрывает: все на трудодень надеются, а он свое имеет, хоть и мало, но зато никем не считанное. Со старой межи камни все в сарай снес — пусть лежат.

Пан-отец говорит, что еще все может измениться.

Галюнька в первый класс пошла. «В школу пусть ходит, — сказал Олене, — но эти пионеры, комсомолы, красные галстуки на шее чтоб я не видел. Учи ее читать «отче наш».

А потом (дочка уже в четвертый класс перешла) все как-то повернулось по-иному. Жил как на необитаемом острове. Луць, шурин, сосед через дорогу, хоть бы нос показал, а Олена — та разве что на минутку к сестре Марии забежала и молчаливая возвращалась в хату.

Урчало веретено — Олена пряла шерсть. Стучала стамеска по сливовой красной колодочке: Андрий выполнял заказ для церкви — иконостас делал. Выйдет церковь как пасхальная крашенка. Со всех концов будут приходить люди, и ученые приедут — дивиться его резьбе. И деньги поп платит большие.

Вытесывал, вытачивал клиночки и вклады. Безжизненная сливовая колода трепетала живыми лепестками. И при этом почему-то было грустно. Вспоминал, как первую свою работу (тогда еще парнем был) подарил для хаты-читальни, и до сих пор в этой рамке портрет Тараса Шевченко висит. Правда, это очень давно было. Тогда вместе с Луцем священника поносили, а теперь поп — единственный советчик. Он всегда говорит людям, когда они соберутся на площадке у церкви:

— До весны подождем, а там все изменится. Вы только послушайте радио.

Андрий частенько оставался у попа до поздней ночи. Поп включал приемник и ловил «Голос Америки».

— До весны, пан Макивчук, только до этой весны, а там фертик — Совет на нет.

Когда-то Андрий с интересом прислушивался к его словам: еще тлела надежда, что вынесет из сарая межевые каменья. Потом слушал из вежливости, потому что в селе три огромные колхозные фермы поднялись, да такие, что деду его и не снились, а в этих фермах и коровы и овцы! Все же сила в коллективе, что ни говорите. И люди словно другими стали. Не ругаются из-за межи, каждый день вместе, дружно, как когда-то на толоках. Один только он от людей отделен. Может быть, потому, послушав как-то поповские небылицы, не стерпел:

— Говорите, пан-отец, Совет на нет? А я так думаю: на целый свет. Что-то мне кажется, прошу прощения у батюшки, к этому дело идет.

Ох как тогда рассердился поп. Назвал Андрия безбожником и коммунистом. Андрию стало смешно, потому что какой же он коммунист, если единоличник... Хлопнул дверью поповского дома да и пошел домой.

Галюнька его ходила по комнате и читала на память:

За мир на всей планете,
И значит — за народ.

Стоял Андрий в уголочке и боялся пошевелиться, будто опасался, что помешает дочери, которая повторяла слова стихотворения, прижимая книжку к груди. Вспомнилась Андрию Олена, когда она была юной: заплатанный фартук, прохудившаяся блузка, и глаза, что снились ему в те далекие дни, грустные, словно заплаканные, а фартучек белый, как крылышки мотылька.

«А этот поп лезет со своими разговорами», — подумал Андрий и плюнул в сердцах.

Заметила Галюнька отца — и к нему.

«Ой, люди, — подумал с тревогой, обнимая дочку, — что было бы с нею, если бы вдруг, не дай господи, война?»

Малая не помнила, чтобы отец когда-либо был таким добрым. Хитрая детская природа знает, когда улучшить момент для просьбы.

— Я тоже хочу ходить в красном галстуке, папочка. Как все. Софийка тетки Марты носит...

Андрий забыл теперь о том, что сам когда-то называл.

— А ты почему же не носишь? Разве я что?

— Я не пионерка, папа. Всех приняли, а я...

Не обида, а злость сдавила Андрию сердце. Резко повернулся — и в школу.

— Я вас прошу не делать разницы меж детьми! То, что я единоличник, — мое дело, а ребенок — что он? — говорил в сердцах Андрий.

Директор школы спокойно выслушал Макивчука.

— Вы как раз вовремя пришли, товарищ Макивчук. Я сам собирался к вам. Беда с вашей дочкой, да

и только. Никто же насильно в пионеры не запишет, а она уже в третий раз: «Не буду пионеркой». Вчера о причине сказала: «Отец будет ругать».

Андрей смутился, как школьник, уличенный в неблагоприятном поступке. Замялся:

— Да это... Знаете... Что было, то было. А теперь пусть она будет как все. Потому что...— Хотел еще сказать, но не смог. Натянул фуражку.

Директор еще немного задержал Андрея.

— У нас, видите ли, новая школа достраивается. И так нам хочется, чтобы все было с иголочки. Не смогли бы вы сделать для школы пару рамок?

Обрадовался Андрей, что и он кому-то нужен. Заработок заработком. Но это уже для коллектива.

Шел домой, и всю дорогу ему казалось, что идут они вдвоем. Один — тот, что согласился рамки для школы за деньги делать, а другой — тот, что ребенка отстаивал в школе.

Конец зимы да еще начало весны просидели за работой эти два человека.

Один делал рамки, выкладывал разнообразными клинышками и думал: «Вот полтора месяца работы вечерами — и пятьсот рублей как из воды». Второй смотрел на Галюньку, на ее красный галстук. Смотрел в свое будущее.

Весною задумал обнести двор высоким забором, чтобы не лезла в сад разная там беда. А то привыкли к общему и думают, что везде можно. На детей сердился. Неужели забыл, как сам лазил в чужие сады, когда об артели никто и слыхом не слыхал?

Ставил забор, а сам украдкой посматривал на выгон, где выросли два новых строения: одно — школа, другое — сельсовет. И что-то третье начали. Что бы это такое? Сам себя убеждал, что это его совсем не интересует, однако что еще там Луць на своем дворе роет?

— Здорово, шурин!

— Как жив-здоров? Забор ставишь?

— Угу...

— Больно высок. Смотри, упадет и все твои сотки накроет, еще и тебя придавит.

Андрей уловил насмешку в голосе Луць, но молча проглотил обиду.

— Там что-то еще начали строить?

— Клуб. Читальня будет, Андрей.

— Но?

— Ей-бо! Такой клуб будет, как театр в Коломые. На четыреста мест.

— Ты врать здоров, Луць.

— Спасибо на слове, свояк. Да ты бы пошел посмотрел. Хоть со стороны поинтересуйся.

Андрей пятится от ограда, так как не выносит агитации. Но еще вопрос:

— А кто же деньги дает, Луць?

— Поп дает. Не знаешь, кто деньги дает? Государство. А если и своего труда немного добавим, то судиться не будем. Разве мы с тобою требовали плату тогда, когда собирались читальню строить? А, Андрейко?

— Ого, тогда время другое было.

— Что правда, то правда. Тогда совсем другое время было. Тебя тогда от читальни полиция палкой прогнала, в кандалы заковала, а теперь... Да где уж! Из-за такого забора...

«Агитирует Луць. Ничего другого, только агитирует. Нет, братец, меня в свое время не так агитировали. Голодный был, и то не сдался. А теперь, слава богу, не думаю о куске хлеба. А что еще человеку надо?» И Андрей снова идет к себе, продолжает работу. Но мысли не дают ему покоя.

«Читальни захотелось, пся крев?»

«Захотелось!»

«На!» — шлеп по щеке...

Тьфу! Вырвалась чертова ветка из-за перекладки и ударила по лицу. То жандармы били, а теперь собственный забор лупит.

Сплюнул. Ничего уже сегодня не ладится. Олена возится около скотины. Посмотрел на нее, будто давно не видел. Платком половину лица прикрыла, какая-то странная, словно немая. А глаза темные и грустные, как тогда, на Юзевичевом поле.

Бросил пилу, пошел на улицу. «Как театр в Коломые... Сами делают... Гм...»

Неуверенно, боясь самого себя, подошел к мастерам, закладывая фундамент под клуб.

— Бог в помощь! — все же захотелось словом перекинуться с людьми.

А этот Семен Заречный, бес бы ему приснился:

— А мы бы не кляли, если б и вы помогли!

Взял Андрий топор, поплевал в ладони да и — трах-трах по сучковатому бревну. Белые стружки, крученные, как от рубанка, — во все стороны.

— Ого-го! — смеется Семен. — А я думал, ты совсем расклеился около Олены! Скажи, Андрий, а правду ли говорят, что ты такой высокий забор ставишь, что и окон не видно? Как вокруг тюрьмы, а?

Дружно засмеялись мастера.

Вздрыгнул Андрий, выпрямился, и так ему горько стало на душе, так больно, что взял бы этот топор... Эх!.. Повернулся и пошел по дороге. Торопился, будто к выгодной работе. Чувствовал, что должен что-то сделать, потому что дальше так жить нестерпимо. Был первым человеком в селе, а теперь один лишь смех, стыд и позор!

Остановился у своего забора, посмотрел на свое хозяйство.

Одна тоска кругом! Навалился на забор всем телом — трресь, тр-рах!

— Сдурел ты или пьян? — крикнула Олена.

А Андрий повалил забор и только тогда глухо ответил:

— Не знаю!

Зашел в хату и сразу взял готовые рамки. Самому понравились! Улыбнулся им, как ребенку, и унес с собою на улицу.

— Вот я уже и закончил, пан... товарищ директор. Глаза директора засветились.

— Вы мастер. Да это же прекрасно! Ну, и сколько же они?

— Да так... Нисколько.

— Что значит — так?

— А так... Для детей...

Вечером, когда директор все же пришел к нему договариваться о плате за рамки прекрасной художественной работы, Андрий кричал, забыв о вежливости и почтительности:

— Все вы думаете, к чертовой матери, что я уже такой человек, что ничего для людей сделать не могу? И человеком-то меня все вы не считаете!

Андрей ничего не мог ответить Бондарю на его вопрос. Держал в опущенной руке смятый лист бумаги и хмуро смотрел в окно, на кошару, где шныряли белые и черные овцы.

— Не могу я дальше так, — проговорил, обращаясь к самому себе. — Я мог бы в колхозе столярить да и хоть бы овец пасти на полонине. Но если не хотите, то...

Прояснилось наконец, смягчилось Луцево лицо, а Бондарь протянул руку к Андрию.

— Что же теперь с тобою делать? Давай сюда бумажку. Лучше поздно, чем... А постой-ка... — Бондарь сосредоточился, подмигнул хитро и бросил Андрию с каким-то вызовом, твердо: — Оформлял ты как-то церковь, теперь за клуб возмись, а? Богу отслужил, послужи теперь обществу. Ну?

Виновато и неловко, почти по-детски улыбнулся Андрей и вздохнул, будто снял с плеч своих тяжкую ношу.

Перевод *Юрия САЕНКО*

ВОРОВСТВО!

Белыми змейками вьется снег по дороге. Идут телеграфные столбы один за другим, как печальные прохожие, наигрывает ветер в проводах морозную песню. Я возвращаюсь в свое предместье. Мне не холодно. Меня греет мое счастье.

Вызванивает в проводах тоскливая мелодия, а у меня на сердце — радость. Я иду, иду, а темень висит, колышется над землей, густая морозная темень, — рождественская.

И вдруг из темноты кто-то бросает два слова, как две жгучие пощечины: «Ты — вор!» Бросает не как обвинение, а как приговор. Вздрагиваю, словно от выстрела над самым ухом. Кто сказал такое? Осматриваюсь кругом, заглядываю в собственную душу, ищу — и отовсюду слышу молчаливое:

— Ты вор.

Вспоминаю... Эти два страшных слова шли, будто тень, следом за мною уже долгое время, и я знал, что рано или поздно они вплотную подойдут и встанут передо мною, как мои двойники. И тогда наступит развязка. А пока эти шипящие слова, едва уловимые осуждающие взгляды одобряют приговор, позвольте мне сказать свое слово.

Нет, я не вор. Я не украд чужого счастья. Нет, нет. Я только хочу построить, создать свое собственное

счастье. Выслушайте же меня, и, может быть, вы увидите во мне самую малость хорошего.

Осенним днем сидел я на скамье в парке. В небе плыли белые, разорванные в клочья облака, такие же, как мои мысли. И приятно было смотреть на них — и видеть там себя.

Маленькая девочка в коротеньком красном платье оставила свое ведро с песком и подошла ко мне.

— Ты кто такая? Чья ты?

— Я спряталась от мамы, а...

Провела пальчиком по моему колену.

— У тебя новый костюм, а мне мама купит новенькие туфельки.

Протянула ручку к моему лицу.

— Какие у тебя усы! — Дотронулась и быстро отняла ручку. — Ты плачешь, у тебя слезы?

Тогда я схватил ее, поднял и поцеловал в розовые щечки.

— Чья ты?

— Мамина.

— А мама где?

— Там... я спряталась.

— А мама найдет тебя?

— Да.

— А если я возьму тебя с собой, пойдешь?

— И маму возьмешь?

— Возьму, — весело ответил я девочке на слегка удививший меня вопрос.

По аллее быстро шла молодая женщина и негромко звала девочку:

— Люба! Любочка!

Девочка шепнула мне:

— Спрячемся за кустик, — и потащила меня за руку.

Я повиновался. Притаились мы за густыми кустами сирени и пристально смотрели. Люба, как мышонок, следила хитренькими глазками за голубым платьем своей мамы, закрывала рукой ротик. Я также присматривался сквозь гребенку ветвей к молодой женщине, темноволосой, невысокой, с милой и несколько смущенной улыбкой.

— Хватит забавляться, Люба, отзовись.

— Мама, мы здесь!

Лицо молодой женщины на мгновение осветилось невыразимо нежным светом.

— Ты что здесь делаешь? От мамы прятаться? Вот не возьму тебя с собой в другой раз.

Тогда малышка выпорхнула воробышком из-за куста, подбежала к матери — и головку в подол голубого платья.

— Не сердись, мама, мы с дядей...

Я смахивал с брюк песок и виновато разводил руками:

— Извините, не устоял перед вашей дочкой.

Мать рассмеялась звонким, девичьим смехом.

— Она у меня такая! — сказала не без нотки гордости. — Ну, вы нас извините, а нам уже пора домой.

Я поклонился.

Любочка подбежала ко мне:

— Дядя, а ты тоже пойдешь с нами?

— Люба, как тебе не стыдно! — крикнула мать. — Иди сюда!

— Мамочка, а дядя сказал, что меня возьмет с собой... и тебя тоже...

Мать подошла и, как мне показалось, резковато взяла девочку за руку. Ревниво, с болью и обидой, посмотрела на меня. «Не надо, не надо, у меня и без вас довольно горя», — прочел я в ее грустном взгляде. И, может, именно поэтому взял я Любочку за другую ручку и сказал:

— Ну вот, я и иду с тобой.

Шли мы молча, только Люба весело щебетала.

— Два толстенные-претолстенные червяка, как твой, мама, мизинец, были там. Их воробьи съедят, да? Я хотела сесть на скамеечку, а меня мальчишка прогнал, говорит — папа придет. И тогда я побежала-побежала. Мама, скажи, из пластилина можно и хлебчики делать или только игрушки? У меня волчок испортился, нам дядя исправит, правда? Мама, ты говорила — взрослые не плачут, а дядя плакал...

Мать вскинула на меня быстрый пытливый взгляд.

— Да н-нет, это не так... не совсем так.

— Любочка еще не умеет говорить неправды.

— Это могло ей показаться... на солнышке.

— Солнышко сегодня совсем по-летнему греет, — сказала она с приязнью.

Возможно, что упоминание о моей слабости пробу-

дило в ней эту приязнь ко мне (людям не хочется быть одинокими в горе); она начала непринужденно и с интересом говорить со мной, расспрашивать, где я живу, чем занимаюсь. Я отвечал скупно. Время от времени посматривал на ее худое... нет, не худое, слегка удлиненное, нежное лицо, на темные брови, близко сбежавшиеся у переносья, и чем-то встревоженные, даже когда она улыбалась, глаза. Она была похожа на многих моих знакомых и вместе с тем совсем иная. Жизнь уже успела наложить на нее свою печать, в ее взгляде без труда угадывался нелегко полученный опыт, и при всем этом она была молодая и красивая.

Меня интересовал только один вопрос: почему малышка предложила и маму взять с собой? Дети ничего не говорят попусту.

— Кто ваш муж? — спросил я и почувствовал неуместность, даже бестактность своего вопроса.

Она заметно смутилась. Я уже готов был вырвать себе язык за этот вопрос, но было поздно. Может быть, она разведена, может быть, мать-одиночка или вдова, и ей нелегко говорить об этом. Я ожидал, что она своим ответом пристыдит меня, однако услышал спокойное:

— Мой муж работает с вами... в редакции.

Ответ ее совершенно сбил меня с толку. Отчего же она так смутилась?

— Как же его фамилия?

— Андрейчук, Петр...

И теперь мне стало все ясно. Петр — мой коллега.

Вспомнились беседы, споры, его высказывания о женщинах. В памяти моей всплыли его слова, сказанные в одной из откровенных бесед со мною: «Нет ничего горше на свете, коллега, когда с женой не находишь общего языка. Это страшно. Женись и ты наконец, но ищи себе равную по образованию».

Это был разговор о женщине, которая шла сейчас рядом со мной. Тогда я что-то возражал приятелю. Сейчас я пристально смотрел на нее. Действительно ли она не годится Петру в спутницы?

— Мы уже пришли, — сказала женщина, остановившись у подъезда на улице Шопена. — Спасибо вам, прощайте.

Я пожелал всего лучшего.

Но девочка не отпускала моей руки.

— Идем к нам, будем лепить хлебчики из пластилина.

— В другой раз, Любочка.

— Когда — в другой? Ну, когда?

— Завтра, хорошо?

— Завтра, завтра! Мама, дядя завтра придет!

Наши взгляды с матерью встретились.

— Не приходите, — шепнула она чуть слышно...

Я кивнул.

Проходили дни и недели, а эта встреча не выходила у меня из головы. Меня влекло к этой женщине что-то такое, что делало мою жизнь интересной. Я не пытался анализировать свое состояние, я только чувствовал, что в моем сердце поселилась любовь.

И я шел навстречу этой любви, не испрашивая ничего разрешения.

Меня стал злить нетрезвый вид моего коллеги, иногда я резко отвечал ему на его циничные высказывания, иногда на улице мерещилась мне маленькая Люба, и я невольно искал глазами ее мать.

Однажды без всякой причины я пошел в редакцию через улицу Шопена. Будто бы безразлично посмотрел на знакомый номер, вроде бы и не быстро прошел улочку и все же горько разочаровался, что никого не встретил.

С тех пор я уже не ходил по другой улице. Это доставляло мне удивительную радость. Лучше работалось, словно бы я уже и не был одиноким. И сам я не знал, кого мне больше хотелось увидеть, дочку или маму. Люба становилась для меня символом семейного счастья, мама же ее...

Совсем случайно я встретился с ними снова.

В окне второго этажа, прислонившись лицом к замерзшему стеклу, сидела моя маленькая знакомая. Я посмотрел вверх, помахал рукой, она меня узнала. Застучала в окно:

— Дядя, дядя, иди к нам!

Я заколебался.

— Дядя, я одна дома! Иди, я открою дверь.

Тогда я пошел.

Она уселась ко мне на колени и защебетала, защебетала:

— Мама пошла на рынок за дровами. Каждый день туда ходит, потому что газ еще не подключили,

а папа только ночью приходит. У меня много пластилина. Он уже высох, потому что я не умею лепить. На, разомни и вылепи мне куклу.

Я мял пластилин, а она не унималась:

— Я теперь всегда одна дома. Папа часто совсем не приходит, и мама каждый день уходит. Но мне скучно только тогда, когда киска засыпает. Мама спит очень мало — она поздно ложится и рано встает... Мне шесть лет, дядя. Я скоро в школу пойду. Буду много-много учиться, чтобы никто не называл меня душой.

— А кто тебя так называет?

— Вчера папа кричал на маму, говорил: «Ты ничего не понимаешь!» Бросил в нее книгой. А мама сегодня дала книгу мне — у нее нет времени читать. Да только книжка неинтересная, без картинок.

Разговор прервала скрипнувшая дверь. Вошла мать. В угол положила охапку дров. Я подошел, подал ей руку. Смущение, легкое вздрагивание руки и тень испуга в глубоком взгляде выдали ее лишь на мгновение. Но она быстро овладела собой и спросила спокойно, даже холодно:

— Вы к мужу?

— Нет! Меня в окошко позвала Любочка.

Молчание. Я поднялся.

— Простите, я не подумал, что могу огорчить вас. Она вспыхнула, слезы чуть было не брызнули из ее глаз, но она сдержалась.

— О нет. Мне приятно, — проговорила она, не поднимая глаз.

— Можно будет мне еще раз зайти к Любе?

— Лучше — нет...

— Ну что ж, тогда до свиданья.

Мне никто не ответил, никто не проводил до двери. И лишь когда я спустился по лестнице, на меня чуть ли не кубарем свалилась Люба и повисла на моей шее. Она крепко прижималась к моей груди.

Я поцеловал ее личико. Мне показалось, что в коридоре плакала мать...

Первый раз в жизни возвращался я домой, чувствуя себя богатым, сильным, счастливым.

И только дома я долго думал над тем, что мое счастье вырастает корнем в чужую ниву. «Нет, нет, —

говорил во мне внутренний голос, — там, где есть любовь, там ничего чужого нет».

Я не смел заходить в их дом, но не мог жить и без них. Они были нужны мне, им был нужен я.

Не заходя в дом, я ждал на улице, заглядывал в окна, подолгу стоял на углу, чтобы увидеть ее.

Наконец я ее увидел. Сегодня вечером она сама вышла на улицу и позвала меня в коридор.

— Так дальше нельзя, — говорила она, — я все вижу... Не приходите, не приходите каждый вечер — это нестерпимо. О, как это нестерпимо!

Она слабо прижималась ко мне, молча просила забыть о любви к ней, молча просила прощения за свою любовь.

Я спросил:

— Как вы будете жить?

— Теперь мне будет легче... — И не защищалась от моих поцелуев.

Просила, чтобы я ушел.

— Только с вами...

— О, это сумасшествие...

Нет, это не сумасшествие, это наша любовь. И она — не тайна, не воровство! Мы во весь голос расскажем об этом. Всем! Во весь голос!

И я возвращаюсь. Возвращаюсь уже не один, а с огромной любовью. И разве правомочно назвать это чувство ворованным счастьем?

Возвращаюсь, оставляя частицу своего «я» дорогим мне людям, оставляя всего себя навсегда; на всю жизнь.

«Ты — вор!» — слышу негласный приговор пусто-мель и сплетниц. А я гордо прохожу мимо и думаю, что в ваших сердцах, судьбы мои, все же проснется хоть маковое зернышко объективности в наше оправдание!

Каждый из нас имеет право на счастье. Виноваты ли мы в том, что оно иногда улыбается нам, но поймать его подчас труднее, чем ртуть, рассыпанную по земле, чем солнечный зайчик, брошенный на стену золотистой полосой рассвета?

ДОКТОР БРОВКО

Последние лучи осеннего солнца освещали почерневшие крыши строений. Бледнели, скользили и гасли. Оседала на улицах пыль, на площадях города затихал шум, с грохотом опускали лавочки железные шторы магазинов.

Я торопился из гимназии к бурсе. На повороте к ратуше наткнулся на человека.

— Прошу прощения.

Среднего роста человечек, худой, лицо в морщинах. Серые, блестящие, будто стеклянные, глаза взглянули поверх сдвинутых на самый кончик носа очков и растерянно улыбнулись.

— Добрый вечер, господин.

— Доброго здоровья...

Я посторонился, чтобы обойти его, но человечек вновь преградил мне дорогу. Правой рукой он затолкал в рот кусок хлеба, а левой сделал какой-то жест, будто хотел что-то спросить у меня.

Я присмотрелся повнимательнее к этой странной фигуре.

Старое зимнее пальто, подпоясанное шнурком, обвисшие поля шляпы, ботинки, перевязанные шпагатом через подошву. Под мышкой — туго набитый портфель, из которого выглядывал старый словарь латинского языка.

— Я очень рад, господин, что вижу вас,— говорил человек быстро, словно боялся, что я его перебую,— вы давно мне нравитесь, да только никак не удавалось завязать с вами разговор.

— Чем могу служить?

— Я владею шестью языками: латинским, греческим,— перечислял он, загибая пальцы,— и... и... французским, английским и... итальянским. Кроме того, знаю чешский, сербский, словацкий. Я бы с радостью взял ученика за низкую плату. За год-полтора овладеет иностранным языком. Может, вы порекомендуете кого-нибудь?

Я посмотрел на незнакомца как на сумасшедшего.

— Вы разрешили себе немного развлечься, но у меня мало времени, и мне не до шуток.

Он глянул на меня глазами, полными укора и обиды. Мне даже показалось, что они повлажнели.

— Прошу принять к сведению, что я доктор философии,— и он поднял очки на лоб.— Мой адрес: Петра Скарги, шестнадцать. Доктор Бровко. До свидания!

Повернулся и пошел.

Я стоял, сбитый с толку, и смотрел вслед печальной фигуре. Вдруг из соседней улицы вылетела стайка ребятшек.

— Доктор Бровко, доктор Бровко! Тяв-тяв-тяв! Бровка, иди сюда! Гав-гав-гав! — Они дергали его за полы старого пальто, тащили в сторону, бросали в него комочками земли.

Доктор Бровко бросился бежать, но напрасно. Уличные мальчишки окружили его со всех сторон. Тогда он посмотрел беспомощно кругом и заскулил:

— Ну чего вы опять хотите от меня?

В стороне стоял полицейский и задыхался от смеха. Я подбежал к нему:

— Наведите порядок!

— Господин хочет быть патроном этого идиота? Не советую, не советую вам, господин!

Тогда я один бросился к мальчишкам, разогнал их, взял доктора под руку, и мы пошли боковой улицей. За углом он посмотрел на меня с благодарностью, утер слезу и крепко пожал мне руку.

— Заходите как-нибудь ко мне, господин.

— Спасибо, зайду.

В самом конце улицы Петра Скарги стоял одино-

кий, как круглая сирота, домик. Старенький заборчик и четыре куста сирени отделяли его от длинного блока высоких домов. Потрескавшиеся стены, подгнившие ступеньки на крыльце и старомодный шнурковый звонок на дверях.

За этот шнурок я дергал через два дня после приключения с доктором Бровко.

За дверью кто-то бубнил стихи Овидия. Я улыбнулся по поводу такой предвечерней молитвы, хотел было уже повернуть обратно, но любопытство все же победило. Дернул еще раз за шнурок. Послышался кашель, дверь распахнулась.

— А-а, мое почтение! Я верил, что вы придете! Прошу, прошу!

Густой запах плесени, пота и прокисшей пищи ударил в лицо. На столе — гора книг и немытая кастрюля, на вешалке — зимнее пальто, — это, видимо, все добро доктора Бровко.

— Вы сами решили брать у меня уроки?

— Да, по английскому языку.

— Имеете понятие об этом языке?

— Очень слабое.

— Садитесь, начнем.

Меня поразили педагогические способности этого ученого чудака доктора.

Я быстро освоил азы английского языка.

Доктор Бровко упорно над чем-то работал. Я постоянно заставлял его за книгами. На мои вопросы он не давал точного ответа. Говорил об оттенках в диалектах эпохи вульгарной латыни, о новом проекте международной фонетической транскрипции, о языке эсперанто, — видимо, он писал новую научную работу.

Однажды я довольно неосторожно спросил, верит ли он, что его исследования будут опубликованы. Доктор посмотрел на меня, подумал и тяжело вздохнул.

— Нет...

— Расскажите что-либо о себе, доктор.

Он устремил на меня свой взгляд, и в нем я заметил какой-то неистовый огонек. Но тут же он опустил низко голову и прошептал:

— До свидания, друг мой...

Проходили месяцы. Однажды мне пришлось очень долго ожидать доктора. Уже стемнело, когда с улицы донесся крик, шум детских голосов, смех. Я понял,

что произошло. Сбежал с веранды, прогнал детвору и ввел доктора в комнату.

Обессиленный, он упал в кресло и заплакал, как дитя.

Успокоившись, сказал:

— Нет, нет, я не боюсь детей, но эта их наивная и жестокая травля наводит на меня такой ужас, что иногда мне кажется — сойду с ума... Вам трудно будет понять, вы не осудите меня, когда услышите мой рассказ...

...Я ничего не сделал для бессмертия, мой друг. Это смешно звучит, правда? Но сама история всей моей жизни стала бы бессмертной, если бы в мире жили только счастливые люди. Да что там... Много на свете таких, как я, энтузиастов, готовых работать в поте лица для людей и неспособных заработать куска хлеба для себя.

Я родился в убогой крестьянской семье на Покутье. Меня отдали учиться портняжному делу. Но я тянулся к книге. Тайком, чтобы отец не знал, прибегал я в школу. Добрая учительница заметила мои способности и посоветовала отцу послать меня учиться в город. Он, помню, посмотрел на нее удивленно и громко рассмеялся.

«Я, пани, вас уважаю, но если вы будете говорить такие глупости...— Лицо его налилось злостью.— Нищета нас заедает... вот что».

Я расплакался и прижался к моей доброй учительнице, будто хотел защитить ее от рассвирепевшего отца.

«Я хочу в школу!»

Отец размахнулся, но худенькая рука учительницы закрыла мое лицо.

«Не горячитесь. Я выучу вашего сына за свой счет».

Так я очутился в гимназии. Потом с огромными трудностями был зачислен на философский факультет университета во Львове. И здесь я встретился со своей судьбой, здесь и началась трагедия моей жизни.

Университет раскрыл передо мною новый мир. Когда-то в гимназии я знал только книжку, а больше ничего и знать не хотел. Ни насмешки, ни добрые советы, ни горькие обиды не будили во мне желания бороться против зла и несправедливости. Как вол

в ярме, никогда не задумывался я даже над причинами личного горя.

А здесь словно полуду кто-то снял с моих глаз. Я увидел, что книги, а вместе с ними и студент, абстрагированный от всего окружающего, — это еще не все в моей жизни. Она совсем иная. Какая — я еще не знал, но должен был познавать, потому что она расстилала передо мной совсем иную дорогу.

Лекции, диспуты, кружки — как всего этого было мало! Мы говорили обо всем. Наши молодые сердца жаждали чего-то высокого, недостижимого. Мы готовы были посвятить себя борьбе, но за что?

Трудно теперь сказать, за что. Я бился о стены действительности, но выхода не находил. Межнациональная грызня, дешевые споры буржуазных партий, патетические речи... Но правды, простой жизненной мудрости, я не видел нигде. И подчас сомнения просачивались в душу.

Это было ужасно. Я задыхался в отравленной атмосфере и начинал ненавидеть все.

И вот я встретил человека. Это была простая польская девушка, работница Гелька.

На одном из литературных вечеров я выступил с докладом о значении художественной литературы для развития индивидуума и общества. Мне аплодировали за смелые мысли. «Для нас нет авторитетов, для нас нет религии, богов, — заканчивал я свое выступление. — Мы верим в правду. Не является ли правда для нас своеобразным божком? Кто видел то, что должно стоять за этим словом? Кто может конкретизировать эту абстракцию? Кто найдет ключ, чтобы прочесть этот известный всем иероглиф? Кто сможет заполнить это пустое слово жизнью?»

Я не думал над тем, от чьего имени я говорю, не знал, к кому обращаюсь. И никто не думал отвечать на мои вопросы.

В коридоре ко мне подошла девушка. Она отличалась от других простой одеждой, внешностью и манерами. Лицом — даже некрасива, только темные серьезные глаза поразили меня.

— Позвольте вас спросить... — Она смущенным движением руки провела по коротким волнистым волосам. Фигурка ее мне показалась хрупкой, глаза смотрели прямо. — Я не студентка, я мало понимаю, мо-

жет, но интересуюсь... Позвольте вас спросить: что вы понимаете под словом «жизнь» и как вы хотите заполнить пустоту, о которой только что говорили?

Я не смог ничего ответить. И верно, задумывался ли я глубоко до этой минуты над словом «жизнь»? А передо мною стояла она, такая простая и непосредственная, с потрескавшимися кончиками пальцев натруженных рук, и ждала ответа. А я молчал. Первый раз в жизни не мог ответить на вопрос. Мысли бросились на поиск в мой багаж знаний, пролетели мимо всех философских трактатов, какие я только знал, и вернулись к ее глазам.

«Я часто слушала вас... Извините... вы сами не знаете, чего хотите».

«А вы?»

«Мы знаем».

«Кто «мы»?»

«Приходите на Цитадельную, восемь, квартира три. Сегодня...»

...На Цитадельной я познакомился с особенными людьми. Здесь были украинцы, евреи, поляки. Измученные работой лица, не отмывающиеся от машинного масла руки, липкая одежда трубочиста...

Здесь не было абстрактных профессорских лекций, пустых дискуссий. Здесь падали веские слова, угловатые и твердые, как камни из-под молота каменотеса!

«Эксплуатация... Забастовка... Рабочая честь... Борьба за свои права...»

Это были рабочие люди, может быть, члены профсоюза, которые решили бороться за свою рабочую правду. В рамках существовавшей легальности они говорили о своих правах. Слушая их, я много думал о жизни. Моя неуверенность начинала исчезать. Нет, жизнь не суета. Жизнь — это эстафета. Каждый берет ее у своего предшественника, пробегает свою дистанцию и передает эстафету молодому поколению.

Мне доверяли, меня слушали, но никто не вовлекал меня в рабочую организацию. С Гелькой мы проводили в разговорах и спорах целые вечера. Мы дополняли друг друга: я — знаниями, она — практическим жизненным опытом. Нас связывало что-то более глубокое, чем наука, поэзия или философия, чем любовь. Мы тосковали, если не виделись сутки, и встречались с неприкрытой радостью...

Я многим обязан ей за то, что она помогала мне в жизни, и горюю, что не нашел в себе сил идти с нею до конца.

Доктор плакал... Не утирая слез, продолжал:

— Со временем я поместил статью в одной газете: «Как надо бороться, или Почему мы нищие?». Статья наделала много шуму, появились отклики, волною пронеслись дискуссии в клубах, тавернах, студенческих кружках. Со мною знакомились, меня приглашали на заседания представители разных партий, вслед мне швыряли камни в темных улочках, я получал анонимные письма с угрозами. Я был героем дня в мутном ореоле славы. Гелька была счастлива. На Цитадельной ко мне начали относиться с уважением, советовались со мною, считались с моими соображениями.

Наконец Гелька сказала — готовится общая забастовка.

В этот день ректор вызвал меня на аудиенцию. Он предложил мне написать в эту самую газету статью, в которой я должен был раскритиковать самого себя, отказаться от своих взглядов, признать свои радикальные утверждения ошибкой молодого ума.

«Это невозможно, господин профессор».

«Тогда вам придется оставить стены университета».

«Это наделает шуму больше, чем моя статья, профессор. Вам невыгодно».

Далее ректор обошелся со мною удивительно спокойно. Даже попросил прощения. Но его колючая усмешка заставила меня задуматься. Какое-то предчувствие тревожило меня целыми днями. Я хотел поделиться с Гелькой своими опасениями, но боялся, что она назовет меня трусом. Хотелось поговорить хоть с кем-нибудь.

Через несколько дней встретил на Академической знакомых из университета. Было послеобеденное время — я в эти часы обычно возвращался домой. Они будто поджидали меня. Стояли на углу, курили, а увидев меня, подошли и засыпали вопросами: что нового, какие отклики на статью, не собираюсь ли написать новую... Среди них были мои явные недруги. Лозинский, несколько дней тому назад назвавший меня глашатаем хамских идей, теперь расплылся в дружеской улыбке, рассыпал по моему адресу похвалы и наконец предложил выпить пива.

Мы зашли в погребок. Вместо пива на столе появилось шампанское, и у меня, непривычного к хмельному, закружилась голова.

А Лозинский от политических тем переходил к шуткам, рассказывал двусмысленные анекдоты, все хохотали, а я не знал, как мне вырваться из этой компании.

«Господа! — поднял Лозинский бокал. — Позвольте мне от вашего имени поблагодарить господина Бровка, что не пренебрег и зашел выпить с нами бокальчик».

Все притихли.

«Мы все его знаем. Этот человек прекрасен если не внешностью своей, то золотыми богатствами своей души. Это способный и, я бы сказал, почти гениальный человек нашего времени».

Я поднялся, чтобы остановить его, но Лозинский продолжал:

«Родина его — село Дубовино — прекрасная, почти сказочная местность. Это страна романтики, песен, добрых мужланов и медведей!»

«Замолчите!» — крикнул я не своим голосом, но в ответ поднялся хохот и свист. Кругом собралось много незнакомых людей. Я понял: это компрометация, трюк ректора. И решил вырваться, но...

«Пустите его! — выкрикнул кто-то. — Он торопится к Гельке!»

«Гельке? Швейке? Это новость для нас! Господин Бровка водится с проститутками?»

Один подлец зашатался от удара кулаком в лицо, второй получил бутылкой шампанского...

Опомнился я, когда меня связали и несли на улицу.

«Что случилось?» — спрашивали в толпе.

«Он свихнулся».

«О, матка боска!»

Вы, вероятно, не поверите, мой дорогой, что я угодил в сумасшедший дом, где пробыл месяц. Все было сработано чисто. Психиатры признали меня больным. А далее... Нет, не буду рассказывать, это очень уж тяжело. Я не перенес всего. Что-то надломилось в моей душе, в моем сознании, куда отравой влились слабость и испуг.

Уже никому не страшный, вернулся я снова в университет. Согласился написать реабилитационную статью. Вскоре вышла другая заметка — «Блуждания мо-

лодого энтузиаста». После появления этой статьи я долго — без мыслей, без желаний, без жизни — лежал на своем топчане и ничего не хотел, кроме смерти. И вы знаете, — доктор сжал ладонями виски, — я тогда слышал этот насмешливый вой вокруг — пренебрежение и оскорбления. И потому сейчас я боюсь крика этих детей...

Это наказание, бич за мою слабость, за измену друзьям и самому себе... Я боюсь, что сойду с ума когда-нибудь.

Как-то вечером отворились двери моей комнаты. Я думал — галлюцинация. Но нет, это была Гелька. Маленькая, с худыми плечиками, с темными глазами. Она медленно подходила ко мне, глядя на меня в упор. В ее взгляде я читал свой приговор, в ее глазах я в последний раз видел правду, которую искал всю жизнь. Но я уже не мог достичь ее — руки мои были замараны.

Поднявшись, ждал слова, ждал удара в лицо, ждал всего, только не этого молчаливого презрения.

Искал слезинки в ее глазах, малейшего сочувствия — напрасно. Ничего, кроме презрения, не нашел.

Она ушла. Навсегда. А я остался одиноким. Одиноким на всю жизнь, со своим больным, разбитым сердцем. Вот и все, друг мой.

Я еще мог бы рассказать, как защищал магистерскую, а потом докторскую диссертацию, как в конце концов мне не дали работы. Теперь я подхожу к концу своего пути, а другим передать нечего.

Я пристально посмотрел на доктора. Его лицо было очень бледным, а странный блеск в глазах испугал меня. Минуту стояла гнетущая тишина. Потом он попросил оставить его одного.

...Через несколько дней я зашел к доктору Бровко на очередной урок английского языка. На дверях висел огромный замок. От соседей узнал, что доктор умер и его похоронили на городском кладбище.

Еще и сегодня могу показать его могилу. Она едва заметна среди травы и цветов. И все же, когда я прохожу мимо, снимаю шапку и думаю: «Что передал бедный доктор пришедшему поколению, что я взял от него?»

И все же взял. Его слабость научила меня быть стойким в борьбе.

ЗИМА НЕ ВЕЧНА

— **М**арина, Марина! Где вы? А-гей!..
Нет ответа. Марина старенькая и плоховато слышит, а подчас и нарочно не отзывается, потому что госпожа Анеля ей уже надоела. Вот так целый день. Анеле одной страшно оставаться в доме, перебирать пух в старых перинах или гадать на засаженных картах, а потом, бросив все, выскакивать на крыльцо и звать, надрываться.

Соседи втихомолку посмеиваются:

— Пропала бы поповская дочь без Марины, как собака на ярмарке.

— И все же это неблагоприятное поповское семя со дня на день откладывает заключение контракта. Марина давно уже жалуется.

А сегодня было так.

Возвращались они вдвоем с базара. Каждый четверг вместе идут из города. Высокая, сгорбленная от старости Марина несет покупки и гнется под их тяжестью. Вполовину меньше ее, старая дева Анеля ничего не несет, потому что у них повелось еще с тех прежних времен: Анеля — госпожа, Марина — служанка.

С самого раннего утра сегодня сек холодный ноябрьский ветер с дождем. Осенняя слякоть навевает на Марину хворь, Анеле напоминает ее обещание — переписать на имя служанки половину дома.

Возвращаясь с базара, Анеля вспомнила об этом и,

забыв все на свете, озабоченная, побежала, оставив далеко позади расхворавшуюся Марину, которая не могла ее ни догнать, ни докричаться.

Прибежала и трясла запертую дверь.

— Да где же вы, Марина?! — который уже раз звала и не замечала, что старая служанка, морщинистая и пожелтевшая, стоит за ее спиной и укоризненно покачивает головой.

— Здесь я, господи милостивый! Мы же вместе шли, что же вы кричите?

Анеля всплеснула руками. Бледное лицо ее осветилось виноватой улыбкой.

— Я начисто забыла. Зову и зову. Не удивляйтесь, Мариночка, вы же знаете, что я без вас как без рук.

Старуха поковыляла в дом, за нею — госпожа Анеля.

Для Марины свет клином не сошелся на Анелином доме, а все же она прожила в нем весь свой век. Анеля была еще маленькой, когда Марина начала служить у ее папаши-вдовца, у попа Островецкого. Никто, даже сам батюшка, не знал, что эта здоровая, милая девушка — мать незаконнорожденной дочери. Могла бы жить вместе с нею на своем клочке, но хотелось своему ребенку дать лучшее приданое, чем полморга поля. Дочь росла у сестры, а Марина работала как вол, собрала денег, купила поле. В последние годы, еще при панах, хотела заняться своим собственным хозяйством, но внезапно умер Островецкий, а молодой попovich, пьяница и картежник, продал все имущество и, почував, что в мире пахнет порохом, махнул за границу, оставив Марине беспомощную, наивную сестру — старую деву Анелю.

Анеля поплакала, но не впала в отчаяние — она же не одинока. Но та самая покорная служанка, которая с юности до седых волос не водилась с парнями, вдруг — словно гром с ясного неба — сказала:

— Пора и мне на свое, пани Анеля. Дочь моя замуж вышла, пойду к ней. Весь век работала, чтобы на старости лет приют был.

Анеля смогла лишь пролепетать:

— Дочка?! У вас? Вы совсем уходите?! А я?.. — и тут у нее подкосились ноги.

Марина осталась служить. Видно, такова ее судьба. Дочку в люди вывела, теперь будет работать для внуков. Дочери дала свое поле, старшему внуку хату даст.

Много тяжких и долгих лет провели вместе. Времена менялись, даже самое слово «служанка» вышло из употребления, а у них все шло по-старому. Анеля целыми днями просиживала за картами, читала французские романы или перебирала пух в старых перинах; Марина работала по дому с утра до вечера. В огороде кроме картофеля и овощей выращивала цветы. Пламени у нее пионы, покачивались чайные розы, струили свои ароматы гвоздики, мята, любисток. Гневалась за это поповна. Лучше бы луку побольше, все же польза какая-то. Но, увидев, что старая прочно стоит на своем, Анеля перенесла гнев на детей, приходивших к тете Марине за цветами.

Марина не могла жить не работая. Если иногда выпадало свободное время, брала тяпку и шла с женщинами на колхозное поле. Женщины подшучивали и радовались за Марину.

— За авансом приходите завтра!

— Какой там аванс,— отвечала.— Вот скоро внука к вам придет. Эта всех обгонит в работе. А я старая, пользы от меня мало.

Но только в работе чувствовала себя крепкой. Когда же начиналась осенняя слякоть и в огороде не оставалось ничего, кроме сухих подсолнуховых стеблей да долголетних хризантем у забора, Марина тяжело укладывалась на своем скрипучем топчане в углу под черными иконами и, поглядывая на заплаканные оконные стекла, стонала:

— Плоха я стала... совсем ослабла... Не пережить мне эту зиму.

Но это только так говорилось. Она не могла смотреть, как Анеля сама носит воду, расплескивая и обливаясь, как подгорает масло на сковородке, а молоко сбегает перед самым ее носом. Вставала и, кряхтя, делала все сама. Анеля была тогда навязчиво вежлива и ворожила ей на картах, предсказывая долгие лета и счастливую судьбу.

Марина напоминала о контракте. При упоминании об этом у Анели все валилось из рук, она просила:

— Пусть уже потеплеет, тогда пойдем вместе. Я не

знаю, куда идти надо, да ведь мы не умираем, успеет-ся, Мариночка.

Обещал пан: «Кожух дам...» Теплело — обещание забывалось.

Сегодня Марина чувствовала себя плохо. Едва приплелась с базара. Ломота в костях — это бы еще ничего: дышать стало нечем. Так плохо Марине не было еще никогда. Она упала на топчан, схватилась за сердце.

Анеля засуетилась. Сначала выскочила во двор, но поняла, что не туда надо бежать, метнулась обратно в дом, зацепила кресло, чуть таз с водой не перевернула и наконец вспомнила. Выхватила из буфета ящичек, высыпала на стол все, что там было: свои бумажные накрутки для волос, Маринины мешочки с семенами цветов, сушеные яблоки и вишни — и нашла лекарство.

— Что это вы, Мариночка, разболелись?.. Бога по-бойтесь... Выпейте вот...—А сама пристально всматривалась в лицо Марины: притворяется Марина или на сей раз действительно больна?

Видела, что не до шуток. Женщина, носившая полные мешки картофеля с огорода, вдруг сникла, ослабла, осунулась.

Марина смотрела повлажневшими в лихорадочном блеске глазами на запотевшие стекла окон.

— Рано зима началась. Не выживу, Анеля.

Анеля хотела утешить больную, но тут же забыла, что хотела сказать. Снова вспомнила свое обещание — отписать ей половину дома... Половину старого приходского помещения, где подрастали поколения Островецких, отдать незаконнорожденной дочери своей прислуги Марины. Отдать задаром, когда случаются покупатели с большими деньгами.

Рука невольно тянется к колоде засаленных карт, напоминавших ей поповские балы, молодых священников, танго и преферанс. Что скажут карты? Не дай бог, напророчат смерть Марине. Анеля не может без нее, но если что... все же надо знать... надо что-то делать.

Марина вяло махнула рукой.

— Не ворожите, панна... Уже не надо...

Анеля отодвинула карты. Марине лучше знать. Но надо бежать за доктором. Может, какую-то помощь окажет.

— Я за доктором пойду, Марина.

— Не надо и этого. Все равно я раньше вас умру,— намек на обещание Анели.

Поповна сделала вид, что не слышит. Быстро надела пальто и старомодную шляпку.

— Надо спасать Марину от смерти,— бубнила всю дорогу до амбулатории.

Не лекарства в каждую зиму спасали Марину от смерти. Единственным лекарством для нее была весна. Поэтому она у себя в комнате возрождала весну. Почти до самого рождества цвели возле Марины в горшочках хризантемы, а когда и они увядали, делала бумажные цветы, украшала ими иконы и окна, доставала из ящичка пучки засушенной мяты, любисток и растирала пальцами, чтоб пахли. Так и заставляла ее настоящая весна. Тогда Марина выходила во двор, дышала весенним свежим воздухом — и хворь как рукой снимало. Марина бралась за работу.

Однако теперь почувствовала, что ни хризантемы, ни мята уже не помогут.

Врач не установил диагноза. Старость. Возможно, и выздоровеет, но ко всему надо быть готовым. Время...

Завывала в трубе вьюга. Марине снилась внучка Оксана. Умненькая такая, учится на агронома. Никакие беды ей не страшны, потому что теперь не только учат бесплатно, а еще за учебу и деньги платят. Не то что когда-то... А бабуня весь свой век прослужила, чтобы внучка имела свою хату, как только работать пойдет. Ихнему колхозу — Марина уже выведала — агроном нужен.

Просыпалась и спрашивала у Анели прямо, без намеков:

— Когда нотариуса приведете, пани?

Анеля растерянно смотрела на свою служанку и опускала глаза.

— Завтра поеду.

И действительно, ехала в райцентр. Ей даже становилось легче на душе, она исполнит свое обещание. Но от дверей нотариальной конторы возвращалась назад, не в силах этого сделать. Кто же за ней присматривать будет? Дом надо продать, а с деньгами примет... ну,

хотя бы и священник из соседнего села. Бог простит, он великодушен...

«Бог, может, и простит,— думала Марина, потому что сил не хватало говорить, когда Анеля каждый раз выдумывала, что не застала нотариуса,— а я не прощу и на том свете. Всю жизнь даром работала».

Тянулись холодные дни. Залепляла окна лапчатая снежная зима, а мороз вырисовывал на стеклах причудливые узоры. Каждым утром виделась Марине иная картина: сад зеленеет, цветет, дети гоняются с прутиками за майскими жуками. Если бы могла руками пошевелинуть, вышила бы себе весну на полотне. Обрадовалась такой мысли и уже ни о чем другом не мечтала. Лишь бы руки послушны были. Но в них сидела жестокая болезнь — так чувствовала Марина. Если болезнь с рук перекинется на грудь — жизни конец. А все же любой ценой хотелось ей успеть вышить весну на полотне и с весной умереть.

Анеля хлопотала около Марины, да все без толку. В доме грязно, посуда немывта, поповна опустилась. Ах, пусть...

Марина уже не обращает на нее внимания. На окне с каждым днем весна красуется. Какое счастье, что человек всегда может найти в жизни что-то весеннее.

В один из таких весенних дней больная ощутила, как по ее рукам бегут и бегут мурашки, будто хотят свить себе гнездо в самом сердце. Шевельнулись пальцы, согнулись руки в локтях. Обрадовалась Марина. Поднялась, достала из шкафа полотно и нитки и начала вышивать.

— Выздоровливаете, Мариночка! — пискнула Анеля.

— Нет, не выздоравливаю, голубушка,— прохрипела старая.— Умру скоро. Вся слабость в грудь перешла.

Видела, как испуганно забегали глаза у Анели, как насторожилась поповна, ожидая от Марины последнего напоминания.

— У меня есть к вам единственная просьба,— не спускала служанка глаз со своей госпожи,— и вы это сделаете, потому что хоть немного имеете бога в сердце. Там, в платочке, в самом уголку шкафа, — мой деньги. Пойдите на почту и отправьте телеграмму дочери. Вышлите ей телеграфом десять рублей...

— Хорошо, Марина.

Анеля торопилась на почту. Она немедленно даст телеграмму и вышлет деньги. Потом приготовится к их приезду и примет как равных и эту незаконнорожденную дочку, и внучку Марины. Расскажет о ее доброте, о том, как та всю жизнь была верной слугою в доме Островецких. И все вместе будут плакать по доброй Марине.

Составляла телеграмму.

«А теперь отписывайте, пани, половину дома, так как обещали», — будто услышала чей-то голос. Встрепенулась. Сжала деньги вместе с телеграфным бланком и крадучись, на цыпочках, вышла из помещения.

«Прости, меня, господи...»

Марина вышивала весну: сельская хата спряталась в саду. Еще должны быть цветы. А в груди огнем печет, бегают, бегают мурашки, подбираются к самому сердцу. Надо побыстрее вышить все, чтобы умереть с весной.

— Отослали?

— Да, — спрятала глаза Анеля.

Две ночи молилась поповна, чтобы Марина выздоровела. А на третий день увидела, что старая едва-едва дышит. На стене над нею висела нехитро вышитая на полотне весна: из садика выглядывала хата, перед нею алели цветы, в небе смеялось солнце — у него были глаза, рот и нос.

Видно, Марина всю ночь не спала, заканчивала, а теперь спокойно лежит в ожидании смерти.

Анеля перепугалась. Она боится мертвецов. Тихонько собралась и вышла из дома.

За ночь растаял снег. Побежали мутные ручейки между комочками земли на огородах. Зима шла на убыль. Анеля торопилась в соседнее село, к знакомому священнику, коллеге ее отца. Надо условиться. Может, возьмет ее к себе с теми деньгами, которые выручит она от продажи дома...

Поп встретил ее холодно, но, услышав о деньгах, сразу стал приветливее. У него найдется для нее место, почему же нет. А сейчас пусть переночует, погостит немного. Не страшно, если Марина и одна умрет. Душа старой мученицы и без исповеди найдет себе место на том свете, а похоронить он придет. О смерти

дадут знать. Поповна успокоилась, впервые за долгие дни.

Марина раскрыла глаза — в доме никого нет. Позвала — никто не отозвался.

«Почему Ганна с Оксаной не приехали? — сверлила ее мысль. — Ведь уже три дня прошло, как отослана телеграмма».

Перед обедом соскочило с полотна вышитое солнце и село на окно. Марина улыбнулась, махнула рукой, чтобы прогнать удивительное марево, а солнце всполошилось, шасть с подоконника — да прямо в синее небо за окном. Долго всматривалась в небо Марина, — думала, дивный сон ей снится.

Перед вечером снова проснулась. Солнце уже сидело на полотне и смеялось своим широким желтым ртом.

Неожиданно для себя Марина поднялась, села.

— Вроде бы полегчало, — прошептала. — Анеля! — позвала.

Никто не ответил. Не было сил подумать, почему никого нет. Крепко заснула, и всю ночь ей снились вешние воды. По крыше барабанил первый дождь.

Наутро Марина увидела, что наступила весна. Солнечный свет вливался в комнату, веселил все кругом, играя на окнах, на стенах, на полу. Рванулась к окну. Весна! Весна! Словно ее вышивка слетела со стены и, как гигантская плахта, раскинулась за окном.

Хрустнули, распрямляясь, старые суставы, а мурашки, как ошпаренные, ринулись из груди, пробежали по рукам, скользнули по кончикам пальцев и — исчезли.

— Анеля, весна! Панночка моя милая, весна! Да куда же вы девались?

Неуверенно ступила на пол. Прошлась, заглянула в комнаты. Нигде никого нет. Начала примечать вещи: пальто, шерстяного платка нет. Выходит, ушла куда-то ее Анеля. Припоминает — два дня уже прошло. Уехала? Куда?

Ждала свою госпожу, вышла во двор, весна возвращала ей силы. Спрашивала соседей, где Анеля. Никто не знал. Начала понемногу наводить порядок в комнатах. В Анелиной тумбочке нашла смятый телеграфный бланк, а в нем десять рублей. Узнала! Это же

ее деньги. Разгладила бланк, прочитала по складам: «При-ез-жай-те не-мед-ле-нно, ма-ма...»— и не дописано.

Поняла. Все поняла! Разъяренным взглядом окинула весь дом.

— Выродок... Погоди же святоша!

Собрала все свои вещи в сундучок. Заперла. Одевалась, взяла деньги.

— Прощай, поповское гнездо! — Хлопнула дверью, да так, что потрескавшаяся краска посыпалась на крыльцо.

На ветвях вишен весело, по-весеннему, щебетали воробьи.

Старый поп не смеялся — хохотал так, что мешки под глазами синели.

— Вознеслась покойница на небо!..

Поповна Анеля не заметила даже, когда он уехал. Хваталась то за кресло, то за котелки, бегала по всем комнатам, спотыкалась. Хотела понять, что же произошло, и не могла.

Вновь и вновь выскакивала на крыльцо и в отчаянии звала:

— Марина, Маринка, Мариночка! Где вы? А-гей..»

Перевод *Юрия САЕНКО*

ЮРА ФИРМАН

Бывало иногда так: разыскивает кто-либо в Перегонцах Юру Васкула, а люди ничего сказать не могут, будто такой человек вовсе никогда в селе и не жил. Знал его настоящую фамилию, может быть, только один житель села — секретарь сельсовета, а односельчане — нет. Фирман¹ — и все. Или еще — Юра Фирман.

Потому что как «вьёкнет» он на лошадей в лесничестве да как прицелкнет в воздухе кнутом, так даже эхо по берегам Прутца прокатится. Это Юрино «вьё-о» слышно в самих Замулинцах. Как крылатые драксы, вылетают из ворот запряженные в старомодную бричку лошади — муругий жеребец и серая в яблоках кобылица. И дети и старики — кто куда, во все стороны, машины и те на обочину сворачивают. Юра Фирман едет! Сторонись! Гулко выстреливает бичом, но это лишь для острастки, потому что если кто словом обмолвится, что Юра лошадь ударил, возьмет на душу тяжкий грех: каждый в Перегонцах знает, что Юра лошадей не бьет.

Чаще всего возил он лесничего на далекие обходы, иногда лесников развозил по участкам, рабочих «подбрасывал» на порубки, к саженцам, а подчас случалось даже и с районным начальством горделиво

¹ Фирман — возчик.

пронестись по главной улице села к лесничему. Это не было просто бахвальством со стороны Юры, не о себе думал — лошадьми гордился: видите, дескать, машины имеют, а Юру все же зовут. Лесничему, правда, и без того хлопотно, потому что начальство есть начальство, каждый понимает. Лесничиха себе голову сушит, как бы ужин получше подать, а Юре такая оказия в самый раз — вечером за стол посадят. И в хорошей компании побудет, и бокальчиком разок-другой с учеными людьми чокнется.

Если бы кто сказал, что он падок на этот махонький бокальчик, тоже погрешил бы против истины, потому что Юру никогда на чужое не тянет, он может и за свои позволить себе кое-когда раскошелиться на хорошую чарку. Юру другое интересует: о чем ученые люди говорят — не в конторе, а за столом, как они сидят, как едят.

Любит он наблюдать за важным начальником, у которого от чарки глаза веселеют и он становится таким же простым, как все люди. В кооперативе не то. Юра знает всех «забегальщиков» как свои пять пальцев, наперед может сказать, кто как ответит на его шутку, а здесь — новизна. Приглядится синими, слегка насмешливыми глазами к начальникам, хитро поведет своим на редкость курносый носом, а лесничий уже знает, что и Юра хочет вклиниться в разговор, хочет сказать припасенную им остроту, и поглядывает на него из-под бровей: «Ну, не стесняйтесь, Юра, говорите же, здесь все равны». А если по правде сказать, то и стеснения никакого нет: они, эти люди, умеют мудреные расчеты вычислять и таблицы вырисовывать, а править лошадьми — дудки, пусть бы кто попробовал. А у лесничего за столом все равны. А раз так, то почему бы не спросить вон того начальника, с загнутым книзу носом, которого директором называют, хотя бы такое:

— Вам, — извините, что о таком спрашиваю, — вам нос не мешает, когда вы из бокальчика шампанское пьете?

Ну и что? Все смеются, еще и приговаривают: «А, чтоб вам добра всякого, Юра», — да так и должно быть — разве обидится Юра, если директор выпьет вот так за его нос?

А зимой, когда в горы понаедут туристы, не прихо-

дится ли Юре отмахиваться от них, как лошадям от мух в Петров день? И его просят, и лесничего просят, чтоб разрешил фирману прокатить их на санях по тем горным дебрям, где пешему — один дым да нитка. И Юра — только бы лесничий не перечил — не отказывается... И то сказать: что за жизнь, если лошади в конюшне стоят и, накормленные, нудятся, а сам Юра Фирман слоняется, как неприкаянный, у закрытого база...

Но и тот возьмет на душу большой грех, кто скажет, что Юра тайком деньги берет у туристов, этого никогда не бывало. Разве только от бокальчика не откажется, так это же не плата, а так, угощение. Он весь в любви к своим питомцам и готов биться об какой хотите заклад, что муругим никто править не сможет. Не думайте, у лошадей в упряжке так же, как у людей: есть старший, и его надо слушаться. Кнут — это уж известно — Юра держит в руках для порядка, а на лошадей только «въёкает», и то на муругого, потому что он лучше чует все нюансы Юрино го голоса и понимает их без вожжей, а кобылица должна его слушаться. Ей довериться нельзя еще и потому, что жеребенок бежит рядом. Иногда, ради шутки, Юра даст охочему туристу вожжи в руки и — только смех да срамота одна. Почует муругий чужую руку, станет сразу норовистым, а кобылица и себе дыбки дает. И если какой-нибудь упрямец вожжами ударит, тогда лошади со зла так шарахнутся, что, гляди, и ноги заде-решь.

Каждый день Юра допоздна ухаживает за лошадьми, скребницей их чистит, разговаривает с ними, как с людьми, и за это получает неопределимую награду: умный муругий положит ему длинную, как бутылка, морду на плечо и так смотрит в глаза хозяину, будто вот-вот что-то скажет. Серая в яблоках кобылица более сдержанна, а может, озабочена, она — мама. А жеребенок, тот только наскоро ткнется мордочкой в вымя, а все больше возле Юры трется. Да и знает, почему: когда был совсем махоньким, то Фирман его на руках, как кролика, в хату носил, чтобы не простудился в осеннюю непогоду.

О чем думают лошади перед сном, Юра знает: они довольны, что их никто не дергал и не бил, что хорошо днем поработали, а теперь сыты и вычесаны.

Но о чем Юра думает, лошади не знают. А думает он все чаще о том, что скоро совсем постареет и тогда другого конюха возьмут на работу в лесничество...

К концу зимы Юра Фирман вдруг сник, необычно отяжелел. И его «вьё-о!» не слышится уже в Замулинцах, и кнутом стреляет редко, в кооперативной лавке уже не звенят его шутки, и никакими просьбами теперь никто не уговорит выпить бокальчик с начальством. И лошади совсем обленились и уже не мчатся, как бывало, вовсю, словно драконы. Видимо, тоже одряхлели.

Возвращались как-то с лесничим поздним вечером из Форощанки — ездили бурелом осматривать. Пока обошли эту страшную, разрушенную ураганом местность, пока вволю наплакался и наохался лесничий, пока подсчитывал в памяти, сколько утрачено кубометров живого леса, уже и сумерки наступили. Едут, тянутся слишком уж медленно, мороз прямо до костей пробирает, а Юра ни «вьё-е!» ни «н-но!» — ступают лошади так, будто ноги их в трясине вязнут, и недоуменно оглядывается муругий на своего хозяина: не спит ли он?

— Юра! — говорит нахмурившийся лесничий. — Или вы ездайте, или...

— А я вроде не стою... — равнодушно буркнул Юра.

Сани едва ползут по накатанной снежной дороге, прямо злость берет — так, глядишь, и полозья к снегу примерзнут.

— Юра, — спрашивает лесничий, — вы часом не выпили сегодня? С чего это носом клюете?

— Не-е, это я позавчера пил, но такую, что на третий день разбирает, — парирует Юра. — Не видите разве, что мой муругий приболел? Поглядите, — он ткнул коня кнутовищем под бок, — даже бибехи свесил.

— Свесил потому, что дремлет. Ну-ка, дайте мне вожжи.

— А когда это я вам больную лошадь в руки давал?..

— Да я только попробую, Юра.

— Ну-ну, попробуйте, — наголовато говорит Юра и так отдает вожжи в руки лесничего, как некий следова-

тель протокол на подпись неграмотному: поставь, мол, крестик.

И вдруг случилось такое, чего и в помыслах никогда не было у Юры Фирмана. Причмокнул лесничий на лошадей по-Юриному, «вьёкнул» на муругого: «Гей-гей!» — и тоже по-Юриному; подтянул живот муругий, встрепенулась кобылица, понеслись лошади, а Юра лишь рот раскрыл.

Заерзал старый возница на сиденье, глазам своим не верит: да как это его лошади, которых он выпестовал, вырастил из малых жеребят, в чужих руках пошли?! Несмело протянул к лесничему руки:

— Отдайте вожжи мне...

Но, обозленный на опустошительный бурелом и сильную стужу, лесничий даже не повернул головы к Фирману. Неслись лошади галопом, летели из-под копыт смерзшиеся комья снега и гулко бились о передок саней. Муругий принимал на себя и «висьта-а!» и «гат-тя-я!» — будто от самого Юры.

Дернул Юра за вожжи. «Да какое же ты имеешь право на моих лошадях, я же в твои бумаги не лезу и лесниками не командую, хотя они, может, мне не хуже бы, чем тебе, подчинялись...»

— Отдайте вожжи, говорю, — сказал с угрозой.

— Теперь уже сидите себе. Не видите разве, Юра, что не лошади, а вы сами ослабли, — щелкнул лесничий кнутом (а холера б его взяла: по-Юриному щелкнул!). И только свистнули сани по краю дороги — не занесло.

Что-то говорил, кричал Юра, в его голосе не было ни почтительности, ни уважения к лесничему, а только злость и обида.

Молчал лесничий как проклятый. Возможно, его теперь уже забавляло ущемленное Юрино самолюбие, а лошади — видно было при луне — даже шеи выгибали в быстром беге. Но вот лесничий резко натянул вожжи, остановил лошадей. Или ему это почудилось?

— Вы что, Юра, плачете?

• Не ответил старик. Скинул рукавицу, высморкался, небрежно вытер слезы, стыдясь их, и слез с саней.

Лесничему стало жаль его.

— Ну нате, возьмите свои вожжи.

— Хе... возьмите, — прогнусавил Юра сквозь за-

битый слезами нос. — Как же это... Как же они... — и, не досказав, махнул рукой и подался звериной тропой в снежную темень леса.

На другой день, как всегда на рассвете, пришел Юра на подворье лесничества, открыл конюшню, но в нее не вошел. Две лошадиные головы повернулись к нему — одна с белой звездочкой на лбу, другая буланая, радостно заржал муругий, а жеребенок ткнулся мягкой мордочкой в Юрины ладони.

Только жеребенка приласкал. Укоризненно покачал головой, окинул горестным взглядом насторожившихся лошадей и вышел.

А когда открылась контора и лесничий в своем кабинете кричал в телефонную трубку о буреломе, Юра зашел в холодную приемную, сел за столик и, печальный и совсем постаревший, что-то долго, повторяя вслух по складам, писал на листке бумаги.

Потом тихо приоткрыл дверь в кабинет, неуверенно подошел к лесничему и подал ему исписанный каракулями листок.

— Я вас не отпущу! — вскочил с кресла лесничий. — Кто же отпустит такого, как вы, фирмана, кто отпустит? Вы, Юра, словно маленький обидчивый ребенок...

— Вы не отпустите, — прошептал Юра. — Вы! Лошади мои... Годы мои... меня отпускают...

Как-то весной приплелся Юра на полонину, где паслись «его» лошади. Серая в яблоках кобылица щипала сочную молодую траву да хлопотливо поглядывала на жеребенка, вертевшегося поодаль, а муругий стоял смиренный, сытый, положив длинную, как бутылка, морду на плечо молодому конюху.

Рослый жеребенок повернул голову на Юрины шаги.

Почмокал ему.

Но жеребец уже не узнавал Юру Фирмана.

ПОБЕЙ МЕНЯ!..

Не богатство, так хоть повадки прежние остались — спесь осталась. Было когда-то у Штефана всего вдоволь, а ныне одна Марийка-бродяжка. Ничего, что бедную девушку взял: это в моде, а для гонора — в самый раз.

Лелеял Штефан Марийку, так ревностно лелеял, что даже детей от нее не хотел, — не ровен час еще разбухнет после родов, подурнеет, и завистники будут радоваться, как тогда, когда он дедовской полонины на Затынке лишился.

А сегодня по селу слух пошел, что Штефан побил Марийку. Радовались ли односельчане, трудно сказать, но дивились — это верно! То, бывало, пушинке не даст на нее сесть, все допытывается, поела ли она, идет с обхода — землянику ей несет, малину, натошак молоком козьим поит. Заботился о Марийке Штефан, ночью не беспокоил, чтоб синева не легла под глазами. А она ходила как чужая по Штефановой светлице, гостьей спала на Штефановых подушках, чужой ходила по улицам и не радовалась, когда женщины шептались у нее за спиной: «Ой, какая красивая!» — потому что и красота эта была не ее, а Штефанова.

Штефан день и ночь на обходах пропадал — лесником в лесничестве работал, а у Марийки все из рук валилось. Куталась она в свое одиночество, как утренние горы в белую плахту, и молча глядела большими,

как у косули, глазами на Штефана, когда он, усталый, возвращался из лесу. Словно чего-то ждала от него. А он, как всегда, присматривался к Марийке, не осунулась ли за день или за ночь.

Однажды сказала Штефану:

— Похоже, будто меня продать собираешься.

— На́ люди с тобой выхожу — должна быть красивой.

— Только и того, что водишь меня на́ люди, как на ярмарку.

Насупился Штефан, ощетинились усы, глаза, тяжелые, холодные, уставились на Марийкино свежее, нецелованное лицо.

— Всего имеешь вволю, разве только птичьего молока не хватает...

— Имею, Штефан, по горло имею...

— Выгнать бы тебя, голубушка, — скрипнул Штефан желтыми зубами, — пошляться по селам, как когда-то!..

Замолкла Марийка — страх стиснул сердце. Все ее богатство — красота да страх перед большим светом. Исходила много дорог от детских лет до девичества, от уюта отцовской хаты до Штефановых светлиц, всю войну ходила из села в село и все по дороге растеряла, даже лицо расстрелянного хортистами отца ушло из памяти. Все растеряла, кроме красоты.

Молчала Марийка — боялась большого мира.

На селе известно как: не успел споткнуться, скажут — ногу сломал. Пошла молва, что Штефан Марийку побил, а он только замахнулся.

Так и не ударил...

Когда начало светать и над Жонкой задымилась седые туманы, вернулся Штефан домой — сено на Затынке караулил — и остановился в воротах как вкопанный. Из овина крадучись вышел Карпо Гануляк и махнул через тын, только лопухи захрустели под ногами.

А Марийка стояла у дровяного сарая, за овином — бежать ей было некуда. Стояла — расчесанная Карповыми пальцами, нацелованная за все те годы, что Штефан ее берег, испуганная и неподвижная.

Штефан рванулся от ворот, словно с цепи сорвался, кулак с разгона разрубил солнечный луч, осветивший

Марийкино лицо, просвистел у самых ее губ и увял — так добрый конюх и в сердцах конягу не ударит.

Марийка ждала побоев. Дрожала от страха, но ждала их — они должны были теперь обрушиться на ее голову, сам бог велел.

Но Штефан не ударил...

Пожалел... Пожалел? Неужели пожалел?!

Луч добра сверкнул из холодных Марийкиных глаз, упал зайчиком на стиснутые Штефановы губы...

Он опустил руки — кровь отхлынула от побагровевшего лица — и сказал спокойно, по-хозяйски:

— Иди в хату, проспись. Вечером гости будут.

Задрожала Марийка, как подрубленная осинка, исчез зайчик со Штефановых губ.

— Штефан...

— Иди в хату.

— Штефан! Побей меня... Слышишь, что говорю! побей!

Повернулся спиной — и за ворота.

— Приду к обеду. На Поляницу нужно...

Побежала за ним вслед, споткнулась на дороге и крикнула:

— Вернись, Штефан!

Оглянулся:

— Чего тебе?

— Побей, Штефанко. Чай, и скотину бьют, хоть на зарез иль на продажу держат...

Пошел не оборачиваясь.

А когда скрылся из глаз, Марийка вяло прошептала:

— А, чтоб тебя бог побил...

На следующий день женщины судачили у ручья:

— Марийка Штефанова с Гануляком убежала.

— Брешут, Карпо дома. Сегодня только видела.

— Так что же — одна? С чего бы это?

Никто не знал, с чего.

Но тут принесли хлопцы с улицы свежую новость, да такую, что та, первая, развеялась как дым:

— Штефан застрелился! В своей хате... Из охотничьего ружья...

АЙНА

Если бы мог чародей-художник уловить тона тихой зелени яльских виноградников и серебристый шум Кашкара-Чая, ласковую синеву азербайджанского неба и тревожное марево горных пространств, если бы мог всю эту гамму красок выразить послушной кистью, он нарисовал бы глаза Айны.

Айна... Я пришел сегодня в те места, где когда-то осыпалась лепестками ромашек, переплелась шипами терна моя любовь. Не узнаю ни Ахчайльска, ни жилья Айны, потому что на месте старой сакли вырос аккуратный финский домик; где когда-то стояли наши казармы, работает электростанция; вьется к Машкалану лента железной дороги, которую мы тогда только начинали строить, а с кругловерхой мечети осыпалась облицовка, и мечеть стоит какая-то осиротевшая.

Узнаю и не могу узнать тебя, Айна. И хотя между нами давно уже легло расстояние и неумолимое время, все же я пришел, потому что воспоминание о тебе до сих пор согревает мои сны. И вот я твой гость. Ты угощаешь меня старым вином — очаровательная и чужая. Твой муж, майор Гасанов, только что рассказал, как ему удалось разыскать свою Айну. Это произошло на трубопрокатном заводе в Сумгаите пятнадцать лет назад. Он гордится сейчас своей женой — лучшей работницей на Ахчайльской станции. На коленях у меня возится твой смуглый Астан и увлеченно рассказывает

о том, что он уже сам ездил на электричке в Машкадан. А ты... Ты прячешь свой взгляд от меня и, может быть, вспоминаешь незабываемое прошлое так же, как я. Далекая, нежная мечта моя.

...После войны я дослуживал свой срок в рабочем батальоне на строительстве железной дороги в южно-кавказских горах. Мы наспех построили саманные казармы, огородились и с грустью думали, что долго нам придется здесь прожить, вдалеке от мира, в безлюдной долине над бурной речкой Кашкара-Чаем.

Но не успели мы здесь обжиться, как на дорогу, впритык к самым казармам, ежедневно начали приходиться женщины с корзинками винограда, айвы, гранатов, персиков, черешен, с кувшинчиками вина — со всем тем, чем богаты горы в разные времена года... Это были жители небольшого селения Ахчайльска, прятавшегося недалеко от нас, за перевалом. Кучка глинобитных саклей таилась от людских глаз за холмами, за ветвистыми садами, каменными стенами и виноградниками. Только одно строение можно было увидеть издали — кругловерхий купол высокой башни — мечети селения. Горские крестьяне занимались скотоводством, и чабаны каждой весной пригоняли сюда, на высокогорные яльские пастбища, скот из ханларского совхоза. На своих скудных каменистых землях жители растили сады и виноградники.

Нас удивляли эти люди. При встречах с мужчинами девушки закрывали платками половину лица. Дети ходили в районный центр Бахчинух в школу, но каждый день молились в ахчайльской мечети, а старый мулла каждый вечер отправлял громкий намаз и своим «алла-а, алла-а» загонял молодежь по домам. Женщины разговаривали с мужчинами только с их разрешения, а родители продавали своих новорожденных дочерей родителям пятилетних женихов.

Мы возмущались. Как до сих пор могут бытовать в народе такие варварские обычаи? Кто держит людские души в страхе и рабской покорности? Однако никто из нас не думал, что именно на нашу долю выпадет жребий пробить брешь в остатках полудиких пережитков восточных адатов, взбунтовать этих людей сперва против нас, а потом против тех, кто упорно заслонял им окно в мир. Но не мы начали борьбу с мусульман-

ским мракобесием в глухом Ахчайльске. Ее начала маленькая Айна.

Если бы кто-нибудь мог... Не то... У Айны глаза совсем обычные, но в них — по капельке — собрано все, чем богата природа края: полутонами отразилась в них ласковая синева высокого неба, и переливы радуг в диких водах, и печаль рыжих скал. Да еще буйство орлицы и смирение домашней овцы.

Такова Айна.

Худенькая, почти ребенок; руки оттягивают тяжелые корзины с виноградом, тонкий, слабенький стан дугой выгибается под кувшином хмельного сока; развивающаяся грудь едва заметна под цыганским сарафаном — Айна еще девочка. Но папахой ее с ног не собьешь, ей шестнадцать лет, она — ханум. Поэтому должна опасливо прикрывать красным платочком смуглые щеки и черные волосы. Только глаз не может спрятать, опускает длинные ресницы и, не поднимая головы, тихо произносит:

— Пожалостя, изюм харош. Бир кило — бир манат.

Каждый день, лишь выпадает свободная минутка, выбегаю из казармы, заправляю под ремень выцветшую гимнастерку и выхожу на дорогу, где в длинном ряду стоят ахчайльские женщины с корзинами и кувшинчиками. Они наперебой приглашают попробовать, поднося к самым моим губам медовые кисти винограда, наливают в стаканы молодое вино. Но я не обращаю внимания, бросаю вежливое «рахмат, рахмат» и тороплюсь в конец ряда, где скромно, не хваля свой товар, стоит Айна.

— Бир манат? Один рубль? Я отдал бы тебе, любимая, горсть золота не за виноград, а только за то, что пришла сегодня, я полжизни отдал бы за твою улыбку и всего себя за твои глаза.

Но Айна не понимает моего языка, лишь видит мой жаркий взгляд и мою любовь. Ей становится страшно, она еще плотнее закрывает лицо и глаза свои отводит куда-то на пыльную дорогу.

«Айна, Айна! — прошу я молчаливо. — Разве ты не заметила, что уже целый год я прихожу сюда пробовать твои черешни и виноград, даже тогда, когда у меня нет и гроша за душой? Разве ты не слышишь, как я называю твое имя, когда ты исчезаешь за горой,

возвращаясь в свое селение? Айна, взгляни на меня, ты же видишь, как я люблю тебя!»

И, уже не в силах бороться с моими мольбами, она поднимает глаза, и в них, глубоких и ласковых, как море, я читаю ее тоскливо-боязливое:

«Нет, нет...»

Почему?.. Почему?! До каких же пор ты будешь в ярме неразумных законов? Разве ты не была в городе, не видела, как преобразилась старая Ганджа — Кировабад? Многое изменилось! Твои ровесницы давно уже ходят с открытыми лицами, равнодушно проходят мимо мечети, и призывы муллы больше не тревожат их. Они учатся в институтах и школах, а по вечерам идут на гулянья в городской парк, где ваш поэт-пророк Низами с высокого пьедестала благословляет новую жизнь. Почему же ты и до сих пор такая?

Молчит Айна и снова опускает глаза в дорожную пыль.

Почему — я узнал потом. Мне рассказал об этом мой командир Гасанов. От его пронизательного взгляда не утаилась моя любовь.

Он стоял возле меня, высокий, выбритый до синевы, с толстыми яркими губами. Я смотрел вслед Айне, шептал ее имя и больше никого не видел. Гасанов прикоснулся рукой к моему плечу и разбудил меня. Его темные глаза неохотно встретились с моими, по лицу пробежала едва уловимая тень неловкости.

— Любишь? — спросил он.

— Люблю...

— И я люблю, — прошептал едва слышно Гасанов.

Я долго не мог вымолвить ни слова, ревниво смотрел на лейтенанта. Так вот откуда ее немота, вот почему она прячет от меня свой взгляд! Мои уста уже раскрылись, чтобы сказать сопернику: «Я, я ее люблю и все сделаю для того, чтобы она была моей!» Но тут же увидел перед собой не победителя, а человека, измученного безнадежностью.

— Я давно ее знаю, — проговорил Гасанов. — Айна продана, как рабыня продана.

Он рассказал мне о том, чего я не знал и во что трудно было поверить.

Айну, как только она родилась, купил для своего сына Яшара Ибрагим Курумбеков. Для Яшара! Я знал этого жениха, и оттого на душе становилось еще тяже-

лее. Горный цветок продан кретину, сельскому посмешищу! Ибрагим знал, что делал: недаром он отдал за Айну отару овец тогда, когда Яшару исполнилось пять лет.

Но овцы не пошли впрок — многие погибли, остальные потерялись на высокогорных пастбищах, — Айна же с малых лет стала несвободной. Ее оберегают, опасаются всяких неожиданностей, Айна не имеет права вечером выйти за ворота, не смеет парню в глаза посмотреть, показать людям свою красоту.

— Это дикость! Да за такое под суд надо отдать! — стискивал я зубы, чтобы не закричать от бессильной злобы.

Спрашивал Гасанова, что делать.

— Как ты ее спасешь? — развел руками и лейтенант. — Власть в этом деле не поможет. Купчей-то нет. Кого же под суд отдашь? Мулла держит верующих под страхом законов, а что с ним сделаешь? Можно бы разъяснить девушке, но она сама ни за кого не отважится выйти замуж.

— Нет, вы могли бы ее спасти, если... она вас любит...

— Если бы...

Взволнованный, с тревогой ходил я искал Айну каждый день в длинном ряду женщин. Но она почему-то больше не появлялась.

Собрали виноград. Поснимали персики. Поползла осенняя слякоть над Кашкара-Чаем, прятались рыжие хребты в гиблых туманах. Ибрагим резал баранов на свадьбу, а где-то горевала Айна.

Гасанов ошибся, думая, что Айна покорила обычаем и мулле. Я не верил. Поверить в такое было выше моих сил. Ведь во взоре Айны я сумел подметить ее душу. В ней тлела покорность домашнего животного, но и рвалось наружу буйство орлицы. Я не верил в слепую покорность Айны.

Осень безжалостно оборвала остатки молодости с прибрежных роц, с виноградников Ахчайльска. Осень оборвала юность Айны — Ибрагим готовил дурачку Яшару свадьбу.

Наш батальон работал далеко от казарм. Железная дорога, повинувшись солдатским рукам, упорно тянулась к Машкалану.

Как-то в субботний вечер я возвращался с работы

один. Бригада, построившись колонной, ушла раньше. Горы затянуло густой дымкой, и тучи опускались все ниже и ниже. Зловещий вой шакалов нагонял тоску. Я шел и думал об Айне. Я не переставал думать о ней, а переключить мысли на другое — не мог. Пойти к матери, просить, чтобы подождала со свадьбой хотя бы до весны, — не упросишь, а забрать теперь Айну из села — невозможно. Я же солдат... Гасанов должен... Да, Гасанов.

— Солдат, солдат! — эхом моих мыслей отозвался в сумерках незнакомый голос.

Не знаю почему, но сразу же я подумал, что это Айна. Громкого голоса ее я никогда не слышал, но звать, как человек, стоящий на краю пропасти, — могла теперь только она.

Я перебежал через дорогу и схватил ее холодные руки. Айна стояла с открытым лицом. Черная, как смола, коса упала на ее грудь в немом отчаянии. Щеки Айны пылали огнем, но в глазах уже не было ни тоски, ни покорности, а светились решимость и отчаянное стремление к свободе.

— Айна, — проговорил я чуть слышно, — куда ты?

— Я убежала, я больше не вернусь домой, — говорила она, коверкая русские слова. — Там... там началась... свадьба.

Она дрожала от холода и страха. На ней было только свадебное белое платье. Прижималась ко мне, а я гладил ее лицо жесткой ладонью и не мог никак сообразить, что же делать.

— Куда же ты денешься? Ночь...

Она только теперь начала понимать свое бессилие, беспомощность.

— Я бежала... к тебе... Помоги мне...

— Ко мне?

Я понял: Айна любит. В хаосе мыслей блеснула одна. За нашими казармами стоит заброшенная контрольно-проходная будка. Там она сможет переночевать, а я еще успею сбегать к Гасанову: он человек с сердцем, поймет, оформит отпуск — надо действовать быстро.

Вдвоем с Айной тихо пробирались к казарме, пугали нас только окрики чабана за рекою.

Девушка опустила на нары, прислонилась ко мне. Она долго всматривалась в мои глаза, хотела что-то

сказать, не решалась. Потом выдохнула горячим шепотом:

— Возьми меня с собой.. На свою родину возьми...

Я сказал, что не оставаю свою Айну никогда, что уже завтра она будет в полной безопасности, что любовь моя огромна, как бескрайнее небо. Я наклонился, чтобы поцеловать ее, но она отклонила голову и ласково сказала:

— Завтра... завтра...

За горой, в кишлаке, звенела зурна, тревожил ночную тишину бубен — в сакле жениха еще ожидали молодую. И вдруг все утихло, а потом поднялся шум. Заголосили, как на похоронах. Я понял, что означает этот взрыв криков, и с опаской посмотрел на Айну. Доверчиво прижавшись ко мне, Айна спала как дитя, у которого крадут и детство и еще не распустившуюся юность. Я осторожно положил ее на нары и побежал к Гасанову. Он жил довольно далеко, в Анджуне.

Мы возвратились перед рассветом. Бросились к будке и оторопели: Айны не было. Вдвоем побежали в кишлак.

...Мать Айны не спала всю ночь. Она знала, что произойдет утром. Весь кишлак сбежится. Курумбековы подхлестнут своих родственников, Айну начнут шельмовать, позорить. Если Айна вернется, — а она вернется, потому что деться ей некуда, — сам мулла принудит мать при людях отречься от дочери. Бежать в Бахчинух, к председателю сельсовета, — далеко, да и сил нет, а от позора все равно не уйти. Здесь мулла — председатель, а Ибрагим ему дал двух барашков.

Уже начинало рассветать, когда Айна пробиралась к своей сакле. «Убежал, убежал, убежал! — стучало у нее в голове. — А что говорил, шайтан, шакал, паршивец!»

Сначала плакала, но теперь была решительна — сама себе хозяйка. Ей только бы успеть переодеться, а там она подастся в Машкалап, где никто ее не отыщет. Не пропадет. А по родным местам и горевать нечего — здесь ее никто не любит...

Но не успела свернуть на узкую тропинку меж стенами, как перед ней выросла высокая фигура муллы.

— Прочь!

— Святой отче...

— Прочь, девка бесстыдная!

Начали сбегаться люди. Айна стояла перед черной фигурой муллы, перед хмурыми лицами соседей. Придурковатый Яшар проскользнул меж людьми, подскокил к Айне с перекошенным от сумасшедшей злобы лицом и, рванув, разорвал на ее груди платье.

— Камнями! — крикнул мулла, но никто не тронулся с места, только Ибрагим поднял руку с камнем.

Люди остановили его.

— Мать гулящей девки сюда! — вопил мулла.

Айна вздрогнула. Она всего ждала, только не этих слов. Брызнули слезы, она глухо застонала и крикнула:

— Неправда! Честная я, честная! Только не пойду за него, полоумного, хоть растопчите меня!

Мать Аины, держась одной рукой за стенку, другой за горло, глубоко дыша, пошатываясь, приближалась к толпе.

— Первая брось ей камень в лицо, за позор, за свою седую голову! — Мулла уже торопливо вложил в руку матери камень.

Толпа застыла в ожидании. Руку матери поднимал варварский обычай. Но не бросила — упала к ногам дочери и, замирая, просила у нее прощения.

Айна нагнулась, подняла мать и, обняв ее, крикнула мулле:

— Проклятье вам! Проклятье!!

Мулла ударил девушку кулаком по голове и свалил ее на землю, Ибрагим швырнул камень в лицо матери. Люди закричали, бросились сдерживать взбесившихся, кое-кто пустился наутек.

Мы с Гасановым бежали, не чувствуя земли под ногами. Лейтенант первый подскокил к мулле, встряхнул его и крикнул по-азербайджански:

— Что делаешь, мерзавец!

Мгновенно все утихло. Я поднял Аину и ее мать, вытер на их лицах кровь. Толпа молча смотрела на нас. Я понял, что наше вмешательство может повлиять на толпу по-разному. Многим противно было смотреть на расправу над девушкой, но эти взбудораженные люди при одном неосторожном слове начнут бросать камни — в нас. Мы здесь чужие и, может быть, виноваты в нарушении обычаев. Я протянул руку к людям и сказал, как только мог, спокойно:

— Опомнитесь...

Но в это время вышел вперед чабан Батыров.

— А тебе какое дело до нас? Кто тебя просил быть защитником Айны? Кто она тебе — жена или, может, любовница? А не скажешь людям, солдат, где Айна спала в эту ночь? — Он пронизал меня ненавидящим взглядом и обернулся к людям: — Айна ночевала в казарме! Я сам видел — с ним шла! — показал на меня чабанской герлыгой.

У меня перехватило дыхание. Не боязнь, а невозможность доказать невинность Айны лишила меня речи.

— А-а, вот какие солдаты? Законы наши не уважаете, топчете их, девушек портите, байстрюков по миру пускаете! — брызнул слюной прямо мне в лицо Ибрагим, а потом плюнул на меня.

Поднялся шум. Теперь уже десятки рук с камнями поднялись на нас.

— Бросайте, бросайте! — кричал мулла, и его борода дрожала от злости.

Гасанов вырвался вперед, сверкнул грозным взглядом и, перекрывая шум толпы, крикнул:

— Стойте! Вы! Опустите руки! Ну! — Потом перевел дыхание и заговорил спокойнее: — Поверили подлой брехне? Да, Айна ночевала в казарме, потому что не нашла места среди вас, бессердечных. Но честность ее может установить суд, если вы ей не верите. — Лейтенант смерил взглядом смутившегося муллу и показал на него пальцем: — Кто вас опутывает? Посмотрите на свои рабочие руки и на его пухлые ладони. Посмотрите на небо, на свет! Девушку живьем в землю зарыть хотите... За кого замуж отдавали? — Гасанов взял за пиджак жалкого Яшара и показал его людям: — За вот это посмешище, за калым, за барашков?!

Остыла толпа. Глухо падали на землю камни.

Айна посмотрела на меня, будто говорила мне взглядом: «Зачем ты просил моей любви, зачем наговорил вчера так много хороших слов, а потом...» Резко отвернувшись, подошла к Гасанову и кратко сказала:

— Спасибо.

Айна отвела мать в саклю и в будничном платье, с узелком в руке вышла из селения. Ей ничто больше не угрожало, но оставаться в селе она, ночевавшая в казарме, не могла. А на меня больше она не надеялась. Я побежал за нею, чтобы объяснить, почему

я оставил ее одну ночью, но Айна даже не обернулась на мой оклик.

В последний раз я увидел ее, когда она остановилась на горе и долго смотрела на селение, прощаясь со всем, что было ей близким и дорогим, а может быть, и со мною.

В тот же день муллу и Ибрагима отправили в Кировабад.

Больше мы не видели Айны. Я просил Гасанова подать на розыски, но он молчал. Трудно было теперь узнать моего командира. Лейтенант почернел, губы его были плотно сжаты, а взгляд стал таким, как у человека, который в огромной толпе все время ищет знакомое лицо, а найти не может.

Я попросился в отпуск.

— Скоро демобилизуешься...

А потом он куда-то исчез. Солдаты говорили, что перевелся в другую часть.

Я ездил в Машкалан, но Айны не нашел...

Зачем я приехал сюда, в далекий Ахчайльск? Чтобы своими глазами увидеть и пожалеть о том, чего уже нельзя вернуть? Но тосковать сейчас можно только о юных годах. У каждого из нас есть своя жизнь.

Ты наливаешь мне хмельное вино, а глаза твои говорят:

«Я все знаю теперь и помню все. Я не раз вспоминала тебя... Но ты же сам видишь, как изменились наши горы. Потому и радуюсь, что не покинула их тогда.

Нелегко нам досталось счастье, а поэтому оно дорого и прекрасно».

У Айны первые морщинки под глазами. Она выросла, повзрослела, но лицом не изменилась. Ее глаза такие же, как и тогда, только вместо пугливости и печали в них светится гордость и тихая нежность материнства.

Ушли годы, пролетела юность. Айна стала женою Гасанова и матерью Астана.

А для меня, в душе моей, она осталась навеки символом человеческой красоты.

ОДИН ХЛЕБ НА ДВОИХ

Мы познакомились случайно.

Прямо со сцены — без грима и в домашнем платье: играла студентку в массовке — я выбежала в фойе и ждала антракта. В зале должен был сидеть мой муж — самый молодой из ученых-геологов и, как неосторожно говорили его сотрудники, самый перспективный среди них; за год моей работы в театре я не могла дождаться, когда же он выкроит три часа, чтобы оценить мои способности. А впрочем, я специально никогда его не приглашала: хвастаться было пока нечем, самостоятельных ролей мне еще не давали, но было горько, что он не догадается сам...

Дома, в кабинете мужа, часто собирались на кофе его товарищи, я подавала на стол и слушала дискуссии о проблемах палеонтологии, их разговоры были и правда интересными, но я по-человечески точно не существовала для них. Все было как в кино, когда воспринимаешь чуждый мир, разбираешься в нем, но он остается для тебя чужим. Молодые ученые любовались мною, у некоторых из них не раз соскакивала с лица маска серьезности, и тогда я не без удовольствия ощущала на себе восхищенные взгляды. Однако потом эти взгляды начинали становиться для меня почти обидными, ведь внешность — это не заслуга человека, а никто из них ни разу не поинтересовался моей

работой. Не расспрашивал и муж. Как-то я отважилась сказать:

— Приглашаю вас в театр, ребята. На премьеру...

— А кто играет? — спросил один из них.

— Я играю... — Ответ мой прозвучал как-то жалобно, невнятно, хотя я пыталась сказать это подчеркнуто, с нажимом. Я растерялась под взглядом мужа, снисходительными улыбками его друзей и вышла из кабинета.

В этот вечер муж обещал прийти на спектакль.

Действие кончилось, первым из зала вышел какой-то мужчина — вышел стремительно, будто торопился в гардероб. Ну, что ж, подумала я, иногда нам приходится наблюдать, как зрители уходят после первого же действия. Мужчина был высокий и худощавый, я не заметила его лица, да и зачем, однако мне запомнились его седые виски, красиво контрастировавшие с густой черной шевелюрой... Я шагнула к дверям, чтобы не пропустить мужа, и вышло так, как порой бывает на улице, когда люди не могут разминуться: мы шли навстречу и уступали друг другу дорогу в одну и ту же сторону, словно кто-то толкал нас, наконец остановились лицом к лицу почти вплотную, и он, покраснев, как мальчик, пробормотал:

— Добрый день...

Я отступила назад. Ох, как я ненавидела их — этих околотеатральных страдальцев: неоперившихся студентиков, топчущихся с букетами цветов перед гримерными «примадонн», вдвое старших, чем они, или потасканных ловеласов, садящихся в первые ряды, приглядывающихся к молодым артисткам, а потом перехватывающих избранниц у служебного входа и приглашающих в ресторан, а то и на квартиру.

Я фыркнула, прямо-таки фыркнула, как кошка, и он пожал плечами, шагнул в сторону, потом круто повернулся на каблуках и так же стремительно направился в глубь фойе. На мгновение мне стало его жаль, но у меня не было времени анализировать свое состояние: из зала выходили зрители, я искала глазами мужа.

Его не было. Я оцепенела от обиды, хотя знала: что-то помешало ему, может быть, ученый совет; к этой досаде примешивался еще и стыд за мое детское фырканье. Я отошла от дверей к гардеробу и тут снова на-

ткнулась на незнакомца с седыми висками. Сказала ему:

— Простите...

Он даже не улыбнулся на это мое детское «прости», посмотрел сосредоточенно и пристально, потом спросил:

— Кто вы?

— Я отсюда, — ответила я и опрометью бросилась к служебному входу, охваченная горькой и еще непонятной тревогой.

Мы познакомились случайно в фойе театра, и она сразу целиком заполонила меня. Да нет... в ся она вошла в мою жизнь потом, тогда же я схватил только черты ее лица, какие тщетно искал в воображении, увидел неповторимый облик, но сразу почти физически почувствовал, как образ незнакомой женщины, словно волной, захлестнул тайный необжитый простор моей души, мир фантазии, тоски, желаний, куда я порой сбегал, чтобы очиститься от усталости, накипи будней, неудовлетворенности, пресыщения...

Это был мой храм воображения, мечтаний, куда не могла и не пыталась проникнуть моя жена, посвятившая себя исключительно созданию домашнего уюта, и мой маленький сын со своим милым и неутомным лепетом; я в эту минуту понял, что именно они, сами того не зная, создали для меня этот храм-убежище. У меня была до сих пор личная свобода: с ней я отправлялся в одинокие путешествия, с ней порой засыпал, с ней становился за мольберт, и тогда, как привидения, выплывали в воображении очертания лиц, пастельные тона, дерзкие мазки и линии; это был мой тыл, без которого я не смог бы стать живописцем, — отсюда возникали десятки сюжетов, здесь я находил то, что наделяло изображаемые мною конкретные предметы недосказанностью, загадочностью, создавал настроение в моих полотнах.

И странно, я осознал, что владел этим сокровищем под угрозой его утраты: этот мой мир занимал один человек, единственный образ, вобравший в себя все краски моего воображения. Ведь может случиться так, что отныне этот образ — только один! — каждый раз будет возникать передо мной, контролировать каждую мою мысль, каждую творческую находку, заполнит все

мои произведения, а насколько хватит его богатства, и что я буду делать потом, когда оно иссякнет: отброшу его или буду скудеть вместе с ним?

Эти мысли как молния промелькнули в течение нескольких секунд, когда я, пробурчав свое глупое «добрый день» (а был уже вечер) и проигнорировав ее детскую выходку, прошел несколько шагов по фойе, ощущая вместе со страхом непостижимую радость, что подобрал в себя столько сокровищ — четкие и совершенные линии лица, неуловимый цвет глаз, их выражение, нежная пластика тела, жизнерадостность... Я остановился, вынул папиросу, а потом она еще раз подошла, и я понял, что ее образ овладел мною надолго, переполнил душу и мне суждено, познавая, сопротивляться его власти.

Он постоянно преследовал меня, встречая то в городе, то в театре, иногда в троллейбусе — один или со своим сынишкой. Мне было приятно это преследование, потому что я ни разу не услышала того, чего больше всего боялась: вздохов, умилений, мольбы. На мой взгляд, он был основательно начитан, знал театр, а искусство, казалось, оживало в его пальцах, своими знаниями он все время делился со мной — большей частью тихо, доверительно, с уверенностью, что не напрасно. Я была ему благодарна: впервые передо мной не демонстрировали знаний, а делились ими как с равноправным партнером. Но иногда он швырял слова — требовательно, сердито, раздраженно: как это я не знаю элементарных истин? — а все равно делал это для меня, и я не понимала, с какой целью. Если бы обнял, впился в губы, знала бы — таким способом искал ко мне пути. Если бы у меня были художнические способности, подумала бы: воображает себя Пигмалионом. Поэтому чем дальше, тем чаще меня охватывало подозрительное ощущение, что я для него подопытная букашка, что на мне он проверяет свои качества, чтобы утвердить в собственных глазах свое превосходство, недосыгаемость. А может быть, он сам не настоящий, может быть, ему необходимо это фальшивое ощущение превосходства над людьми для того, чтобы компенсировать свою бездарность? Меня одолевали сомнения, в душе я восставала против него, только протест этот

был совсем не похож на бунт против мужа: мой ученый супруг вызывал у меня дух противоречия, отрицания — этот же заставлял познавать, искать истину в самой себе.

Не знаю даже когда, потому что специально себя не принуждала, но я начала интересоваться всем, что попадалось под руку, и чем больше узнавала, тем настойчивее он искал во мне признаки невежества, и я не знала: радуется ли он, что находит каждый раз меньше, или сожалеет об этом. Это становилось все более очевидным, я чувствовала: он начинает бороться со мной или же зачем-то пытается сделать меня равной себе. Мои знания неизмеримо увеличивались, и пропорционально возрастало их соотношение к еще не изведенному, которое предстояло познать, и я должна была в конце концов решиться сказать ему:

— Вы так много знаете, а что умеете сами? Покажите.

Я заметила, что он заколебался. Почему? Ведь совсем еще недавно ревниво расспрашивал, видела ли я его работы, изредка экспонировавшиеся на коллективных выставках. Я знала, что художники любят показывать свои произведения, — они всегда мучаются тем, что их искусство менее доступно для осмотра. Он мечтал о персональной выставке — почему же вдруг заколебался, показывать ли мне свои полотна?

Но я настояла, я уже ощущала в себе способность оценить их.

Одно за другим представали передо мной чудеса: буйство линий, пластичность человеческих тел, необозримость подольских полей, фантастичность карпатских сюжетов, где четкие контуры гор окутаны прозрачными вихрями туч, в которых можно было угадать силуэты чудищ из гуцульской демонологии, — и во всем легкость, как в танце или в песне. Я чувствовала, как меня возвышают его творения, мне на мгновение показалось, что если бы я постигла секрет его творчества, то... Но вдруг в мою душу закралось и внезапно охватило меня разочарование — это случилось, когда я отвернулась к окну: ни одно лицо не запомнилось.

— А где глаза, губы, мысль, человек, где сердцевины этого царства линий и настроений? — спросила я.

Он вздрогнул, потом нервно вытащил из угла моль-

берт, поставил на него чистое полотно, долго смотрел на меня. В его глазах я увидела сумятицу злости, одержимости и непонятого мне страха. Он стоял неподвижно, еще не решаясь поднять уголь, а потом яростно стал водить им по полотну и наконец опустил руку. Снял полотно с мольберта, повернул его к стене, и я смутилась под его укоризненно-скептическим взглядом, заставившим меня подумать: а я, кто я? Почему до сих пор топчусь в массовках, почему не смогла создать хотя бы одну роль, которой могла бы похвастаться перед ним.

Я боролся с собой не для того, чтобы изгнать ее образ, но чтобы утвердить — без этого я обойтись уже не мог. Никогда прежде я не встречал таких четких, рельефных черт. Теперь, когда я выхватил конкретные штрихи, передававшие ее внешнюю красоту, душевный порыв, пылкость, мысль, мои картины ожили, стали предметными... Я не выходил из мастерской неделями, месяцами, а на новых полотнах появлялась она, только в разных воплощениях несравненного своего облика.

Долго не видел ее, и однажды меня пронзила тревога, что я больше не встречу ее: образ, оставшийся в памяти, когда-нибудь все-таки исчерпает себя, а живой человек, безусловно, меняется — обогащается или скудеет, — и я должен ее увидеть, чтобы еще раз убедиться, неизменна ли эта красота, живы ли эти порывы души, и постичь все до конца.

Я вышел из мастерской. Идя в театр, вспомнил ее первый протест против моего интеллектуального превосходства и ощутил, как где-то глубоко в подсознании прорастает зернышко страха, когда-нибудь она подавит мое «я», и я навсегда стану рабом ее личности.

Я пришел на второе действие спектакля «Ночь на полонине». Как раз танцевали русалки вокруг заснувшего пастуха Ивана.

Я всматривался, чтобы увидеть среди них ее, но Адрианы не было. Подумал, что она сегодня не занята, уже собрался уходить, но на сцену вышла Мавка, и я задержался.

Эту пьесу я знал. Роль Мавки была довольно сложной: она являлась Ивану во сне как мифическое существо, но в облике его возлюбленной, а поэтому долж-

на была на сцене действовать в двух ипостасях — два разных характера. Один образ решался выражением, мимикой, другой — движением, которое должно было создать иллюзию призрачности.

Мавка выходила из глубины сцены, из бутафорского небытия... Распростертые, как для полета, руки ее плавно выгибались, будто волны ночного тумана пробегали от пальцев до плеч, тонкая гибкая фигура казалась бестелесной, она готова была взлететь и закружиться над заснувшим пастухом... Мавка медленно приближалась к авансцене. Я восхищенно следил за ней, а мозг сверлила мысль, что мне почему-то все это знакомо, так, словно мой карандаш уже выводил линии движений Мавки. Она подплыла к Ивану, а потом пучок света выхватил из полутьмы ее лицо, и я узнал его: это были черты, которые сквозили во всех моих картинах, это была она.

Я обрадовался: мы с равной силой создавали одно и то же в разных материалах, мы заимствовали друг у друга то, чего у каждого в отдельности не было, и обрели каждый себя самого.

Моя борьба с ней окончилась, за дар я заплатил сполна и имел право снова стать свободным: пусть теперь заполняют потаенный мир моей души новые лица, ее — было лишь первым, но тут же снова росток страха, возникший когда-то в самых скрытых тайниках души, закрадывается в сознание: а что, если я так никогда и не освобожусь от этого единственного образа, не станет ли это моей творческой смертью?

После спектакля она мне сказала:

— Я благодарна вам...

Я пригласил ее прийти утром в мою мастерскую: должен признаться ей, что благодарен ей не меньше.

Она осмотрела мои старые картины, куда я уже теперь внес живые черты ее облика, и новые — написанные с нее, в ее глазах зажглась радость, она порывисто обняла меня и прошептала:

— Я не знала, что так много значу для вас, что я вообще что-то значу.

И тогда мы сбежали вдвоем из города...

Мы сбежали каждый из своего мирка, захватив с собой лишь новорожденную любовь. Так нам хотелось. Так нам казалось.

Мы целовались, а я слышала равнодушный голос своего мужа: «А кто играл сегодня?» «Я играла, я!» — крикнула я ему вчера, счастливая и злая. «Не может быть!» — тот же равнодушный, неподвижный его голос.

Я горячо обнимал ее, а совесть хлестали слова моей жены, которая в неведении пыталась вернуть мне утраченную волю: «Ты так устал, съезди куда-нибудь». «Я уже давно в отъезде, давно!» — крикнул я, сам не зная, откуда эта злость.

Мы сбежали, но за каждым из нас потянулся наш мирок, бесстыдно и насмешливо следя за неистовством наших сердец: мы — ваши детища, и никуда вам от нас не деться!

«Ты выиграла битву с двумя сильнейшими противниками, — говорила я себе, когда, умиротворенная, лежала в горько пахнувшей траве и смотрела в небо, — а теперь как поделишь себя? Бросишь половину, как дуэльную перчатку, мужу или все принесешь в жертву своему возлюбленному?»

Я стоял, опершись спиной о ствол сосны, и думал:

«Мы помогли друг другу стать самими собой, а могло бы этого не произойти, если бы мы не встретились. Мы теперь прочно утвердились каждый в своем мире. А если соединимся, каждый что-то утратит — без взаимных утрат мы несовместимы. Мы стали слишком сильными, чтобы сосуществовать».

Мы осознавали это, ясно осознавали, но нам выдался один день, только один, и он никогда не повторится, как бы мы потом ни устроили свою жизнь. Мы пытались поцелуями заглушить голос сознания и совести, но не могли, и чем быстрее шел на убыль день, тем отчетливее понимали, что наши поцелуи — лишь плата друг другу за прошлое, а не залог будущего: забегали в подъезды и доцеловывались — не в радости перед завтрашним днем, а от тоски перед расставанием...

Мы вспомнили, что нужно купить хлеб, шли отчужденно, а я все еще уговаривала себя:

«Я готова отдать ему половину своего существования, три четверти...»

Я мысленно услышал ее жертвенное обещание и молча же ответил:

«Я не имею право отнимать то, что подарил, и тебе не отдам взятого у тебя. Оно уже мое».

«Он не сумеет ни отдать, ни принять. Он должен освободиться, чтобы мочь искать и находить новое... А я разве иная?»

«Она уже не откажется от самой себя, как бы ни клялась теперь. Или погавит меня, или уйдет».

Продавщица уверенно протянула нам одну буханку хлеба. Мы стояли над ней и спрашивали себя: что будет потом?

«Я писал радость, теперь буду писать тоску».

«А я не знаю, что будет со мной — разбуженной и сильной».

И оба думали об одном и том же: а может, больше всего мы владеем лишь одним талантом — будоражить, сердить, пробуждать других.

Девушка-продавщица разочарованно смотрела на обоих, а когда магазин опустел, подошла и разрежала хлеб надвое.

Перевод Вадима ВЛАСОВА



**ЭТЮДЫ
за рисовки**



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мчусь на резвых конях из далеких краев к тебе, моя зеленая колыбель. Усталые кони бегут по разбитой дороге, ранят копыта о камни, туго натянутые построжки сбивают пену с их боков, и вот кони сворачивают на заросшие травой тропинки моего детства.

Эй вы, замурзанные сорвиголовы, вон там, на выгоне, шлепающие по лужам в засученных штанах, узнаете меня?

Не узнают. Протаптывают в траве свои тропиночки, и все к шоссе, и все мечтательными глазами всматриваются в даль широких дорог.

Еще уйдете и забудете обнять на прощание матерей, и высохнут после вас грозовые озерца. А потом погоните своих коней, как я теперь, к отцовским могилам.

Эй, люди, вон там, в поле, сеющие зерна в весеннюю землю, узнаете ли меня?

Не узнают. Резвые мои кони в упругих ременных шлеях, а у погонщика на лице борозды и городское рубище на плечах — как же тебя теперь узнать? Ты еще мальчонкой выбежал на проселок и уже не возвращался. А у нас спины гнулись, и руки трескались, и пот выедал глаза.

Что же тебя пригнало: добро или тоска?

Ох, тоска, тоска по следам босых ног, следам, заросшим спелой гусиной травой.

Вербы выбросили почки и встали вокруг моей зеленой колыбели, взявшись за руки, и дома новые и люди новые смотрят в высокое небо. Узнаете ли меня, вербы?

Не узнают... Мы были тогда еще тоненькими прутиками, когда ты оставил нас и отправился в странствия райские сады садить. Зачем ты вернулся? Или не уродили яблони, или суховеи высушили их?

Вырос мой сад, но не буйствует — мало я родной почвы взял с собой, дайте же мне хоть крошку из-под ваших корней, мои ровесницы — вербы!

Чахнут столетние ели на сельском кладбище, умирает старая колокольня под заскоружлым гонтом, проржавевшие язычки колоколов валяются на земле, и селение мертвых расплзлось из-под елей до самых полей. Узнаете ли меня, столетние ели?

Узнаем... Почему так поздно пришел? Мы склоняем ветви над могилами и по ночам напеваем свой тихий реквием. Где же ты был до сих пор?

Я давно искал свою тропку в густом сплетении человеческих дорог. Я нашел ее и пришел сказать об этом своему другу — старенькому отцу.

Вот каменная глыба вечностью легла ему на грудь, в головах растет тополь, поднимается к небу и смотрит своей кроной на вечную жизнь, неустанным потоком текущую по моей земле.

Заждался ты меня, мой мудрый советчик. И что напоследок ты хотел сказать мне? Поведайте, ели, мне сегодня так нужны эти слова.

Молчат ели и, опуская ветви, шепчут молитвы над селением мертвых, а верхушки их поют хвалу новому дню.

Я вернулся к себе сегодня. В седине мои волосы, в морщинах лоб, а в сердце и радость, и тревога, и любовь. Ты так хотел видеть меня взрослым, зрелым. А у меня столько есть о чем тебе рассказать, порадоваться с тобой, посоветоваться.

Встань же, отец!

Перевод Вадима ВЛАСОВА

РАСПЛАТА

Когда началась охота на уток, я вспомнил своего давнего друга, страстного охотника, — когда-то мы с ним не одну ночь откараулили на Заболотненских озерах, — и поехал к нему с предложением отправиться на охоту с ночевкой.

К моему удивлению, он отказался.

— Неужели ты оставил этот вид спорта?

— Это не спорт, а обыкновенное убийство, — ответил мне мой друг. Сказал он это с какой-то непонятной горечью и сразу же, видимо чтобы я не упрекал его в сентиментальности, добавил: — Спорт, говоришь... Дорогой мой, спортом называют также и мордобитие... Но мне сейчас другое вспомнилось. Хочешь, я расскажу тебе то, чего не знает даже моя жена? Возможно, что после этого и ты не пойдешь на уток, а будешь стрелять завтра по картонным мишеням. Вот это — спорт...

Все произошло в то самое жаркое лето, когда за страшные, казалось, грехи выгорела вокруг меня, куда ни кинешь взор, трава и я остался среди пустыни — одинокий, как скифский идол на степном раздорожье.

А впрочем, это не так. Травы здесь не было уже многие тысячелетия, никогда здесь не жил человек, но вначале я не чувствовал себя одиноким, — напротив, охвачен был своеобразной красотой каракумских степей, по которым в раскаленном пространстве скитались барханы, словно караваны утомленных верблюдов. И редкие стебли татарника, разбросанного среди песков, казались мне чуть ли не пальмами, а моя палатка — городом. Да, городом! Я связался по рации с Небит-Дагом, и сюда должны были вскоре прибыть туркменские рабочие, чтобы начать подготовительные работы к приему партии нефтяников. А тем временем я проводил целые дни на охоте.

Признаться, где-то глубоко в душе я ненавидел этот, как ты говоришь, спорт, хотя не пропускал ни одного утинового сезона. Приглушенное чувство жалости всегда шевелилось в сознании, когда я поднимал на болоте подстреленную крякву или зимой — еще теплого зайца. Засыпал снегом или затапывал капли крови на болотистой земле, оставшиеся на роковом для жертвы месте. Я словно прятал эти капли от собст-

венной совести и с детской наивностью думал тогда о маленьких зайчатах, об одиоком селезне, который не дождется в гнезде своей подруги. Собственно, как охотник, я был равнодушен к убитым, но жалел осиротевших.

Охотиться в пустыне было морально легче. Возможно, это и не так, но я заметил здесь какое-то приглушение семейного инстинкта у животных. Я не встречал птичьих гнезд, изредка проходили в одиночку — не табунами — сайгаки. Не заботились, как известно, о потомстве ящерицы, гадюки пожирали своих детенышей, и даже залетные утки небрежно присыпали песком снесенные ими яйца и летели дальше, а птенцов выгrevала пустыня.

Я с жалостью смотрел на малышей зверьков, на птенцов-сирот и без сожаления — на взрослых: спокойно поднимал я на них свою двустволку.

Однажды я увидел новую добычу — степного орла. Он сидел на высокой сопке, настороженно вытянув шею и упорно всматриваясь в мое жилище. Взмахнув крыльями, орел стремительно взмыл в небо и повис в зените, прямо над моей головой.

Убивать его не было смысла, но тут я вспомнил: моя жена просила привезти из пустыни хоть какой-нибудь сувенир.

Так вот оно, чучело царя птиц или хотя бы орлиное крыло. Орел неподвижно висел надо мною, словно присматриваясь ко мне, и я видел его злые глаза. Они напоминали мне ненавидящий взгляд удава, которого я убил несколько дней назад за сопкой, — как много злого и хищного вложила в инстинкт своих обитателей эта дикая пустыня и как мало материнского! Я навел двустволку, прицелился и выстрелил.

Орел падал, простирая крылья к небу, — простался с ним навеки. Он упал вблизи моей палатки и закричал. Это был не тот грозный орлиный клетот — так мог кричать только человек, взывая о помощи. Я вздрогнул и не осмеливался подойти к тому месту, где, поднимая голову к небу, умирала огромная птица.

Это случилось утром. Перед обедом, когда в душевой, как баня, палатке меня сморил наконец спокойный сон, послышался сильный шум в воздухе. Я вскочил с койки. Наверное, самолет — сбросит воду и продукты. Выбежал из палатки — и обомлел: могу-

чий орел, чуть не вдвое больше того, который лежал мертвым на песке, кружил над моей палаткой на высоте нескольких метров. Увидев меня, он рванулся ввысь и застыл, словно подвешенный на невидимых нитях.

И я догадался — утром я убил орлицу, мать, жену, и вот вдовец прилетел, чтобы отомстить убийце. Мне надо было обороняться. Орел пробьет брезентовую палатку, и неизвестно, чем закончится поединок с этой огромной разъяренной птицей. Я бросился в палатку, схватил ружье и выбежал снова. Тем временем орел камнем упал на землю, подхватил кривыми когтями тело своей подруги и поднялся с ней в воздух. Низко пролетел над песками и сел на вершине сопки — там, где утром сидела орлица. Опоздал, сердешный. Может быть, орлят кормил или искал какую-либо поживу, чтобы угостить возлюбленную.

Теперь он сидел черным силуэтом над распростертым трупом, горбатой тенью вырисовывался на знойном фоне неба — неподвижно и скорбно.

Я постоял-постоял и вошел в палатку. Взял книгу в руки, но не читалось: из палатки видел я темный силуэт орла; я вышел и выстрелил в воздух, чтобы спугнуть его, но он даже не вздрогнул.

И тогда я впервые ощутил мертвенность пустыни. Вероятно, я убил что-то светлое и живое в самом себе, потому что только теперь увидел пустынность: ни стебелька пырея или осоки — только мертвая верблюжья колючка, только мертвые пески ползут барханами к раскаленному горизонту. Я сам убил жизнь пустыни.

Орел сидел на сопке и на другой, и на третий, и на четвертый день — живым укором моей совести. Я не мог больше выдержать его мучений и пошел к нему. Мне не верилось, что он будет есть консервированное мясо, но все же я прихватил его с собой. Металл двустволки обжигал мне ладонь. Я медленно приближался к орлу — он не двигался. Взмахнул рукой — не шевельнулся. Подошел совсем близко.

Орел был мертв.

Я положил у подножия сопки свое ружье и побрел назад, нестерпимо одинокий.

Через год, когда в пустыне выросли первые нефтяные вышки, я вернулся домой. С женой мы живем — другим позавидовать. Только с тех пор и поныне

странная тревога ложится тенью между нами. Иногда среди ночи просыпаюсь от страшного предчувствия, порываюсь к детской колыбели и прислушиваюсь к ровному дыханию ребенка, а потом всматриваюсь в родное лицо моей любимой жены, и в эти минуты мне вспоминается скорбный горбатый силуэт орла над мертвой орлицей.

Я осторожно бужу жену, чтобы убедиться, что она жива...

А охоту — само собой разумеется — оставил навсегда.

Перевод Юрия САЕНКО

МГНОВЕНЬЕ КРАСОТЫ

Мне давно хотелось хотя бы на миг охватить всю красоту мира в едином фокусе. Чтобы постичь суть ее.

Мне давно хотелось понять безмолвие степи, увидеть многокрасочность неба, услышать стоголосое эхо гор, почувствовать беспредельное разнообразие красоты человеческой — в едином фокусе. Пусть только на одно мгновение. Увидеть то, о чем мечтало мое детство, то, что тревожило мою бессонную юность, что познала зрелость. В одной картине природы, в одном создании рук человеческих, в одном лице. Да, да, конечно, в лице — в этом дивном зеркале красоты вселенной.

Я долго искал его. В картинных галереях, в книгохранилищах, в собственном моем воображении, среди людей. Оно мне было необходимо, как импульс, как стимул к труду, как ключ к познанию.

И я нашел его наконец. Нашел там, где совсем не ожидал его увидеть, — у моря, среди сотен лиц, что мелькали, сливались и пропадали, подобно кристалликам в калейдоскопе.

Мы сидели вдвоем с моим ослепшим другом. Он рассказывал мне как раз о красоте последнего виденного им дня, о глазах женщины, которую видел тогда в последний раз. О, как он помнил эти глаза! Он говорил о них, как о произведении искусства, он гордился, что сберег для себя красоту их на всю жизнь.

Я кощунственно завидовал ему. Мне показалось счастьем ослепнуть и унести с собою в вечную ночь воспоминание о мгновенном явлении красоты.

И вдруг... Неподалеку от нас сидела на камне девушка в голубом платье — я не заметил, когда и откуда она появилась, — сидела и мечтательно смотрела, как трепещет, повиснув на солнечном луче, чайка, как падает она в соленую клокочущую глубь и вновь показывается из воды, радостно крича, с добычей в когтях.

Я смотрел на девушку затаив дыхание. Я бросал ревнивые взгляды вокруг. Я радовался, что никто, кроме меня, ее не заметил, в то же время я возмущался, что сотни глаз равнодушно скользят мимо, не замечая ее красоты.

Но ведь и я, я сам не мог найти ее до сегодняшнего дня.

А девушка не видела никого и ничего вокруг. Напрасно мягкий морской ветер кончиками нежных своих пальцев ласкал ее лицо, напрасно бархатистым шумом вливался в уши. Девушка не видела никого и ничего, кроме чайки, которая, падая из солнечного луча, садилась на волну. И, может быть, потому, что девушка умела видеть эту чайку, она была так светла и хороша. Возможно даже, что друг мой, будь он зрячим, познал бы новую красоту, которая затмила бы очарование последнего виденного им дня.

Слепой спросил, почему я вдруг замолчал. Я сжал его руку — тише, тише! — и он понял.

— Ты нашел?

— Да...

— Где вам, зрячим!.. Завтра другая красота вытеснит твою сегодняшнюю мечту. Я же сберег свою на всю жизнь.

Я смотрел на девушку и про себя молил ее: «Обернись ко мне!»

Она почувствовала устремленный на нее взгляд, повернула голову в мою сторону и затем перевела взгляд на море:

— Взгляните!

И я впервые в жизни увидел рассеянные по глади моря солнечные озерки, мириады разноцветных солнечных озер.

Это было второе открытие красоты вселенной, это

был именно тот единый фокус, в котором отразилась красота вселенной, и я понял, что с этого момента мне дано видеть тысячи раз красоту жизни.

Я не расспрашивал девушку, откуда она, я боялся, чтоб от слов моих не погасла красота ее бровей и глаз, не отлетела, оскорбившись, чайка, не скрылись озерки на море и неуловимое счастье видеть все это не исчезло, подобно пузырькам перламутровой пены в песке.

Когда я оглянулся, девушки уже не было.

...Ночью море разбушевалось, и я не мог уснуть. Я думал о девушке, мысленно вел с ней разговор:

«Я искал тебя всю жизнь. С той поры, как узнал, что ты существуешь на свете, моя большая красота, с той поры я искал тебя. Ты должна вернуться».

«Не торопись взять от меня все за один раз. Да это и невозможно. Я — вечное твоё счастье познания, и ты будешь находить меня и открывать всю свою жизнь».

«Нет, я хочу знать одну тебя. Как мой друг...»

«И ничего больше? Но ведь друг твой слеп».

«Я хочу сорвать душистый цветок и вдыхать его аромат...»

«На лугу очень много красивых цветов. Будь осмотрителен. Наклонившись, чтоб сорвать один цветок, бойся растоптать десять, ведь они все — твои. Я только показала тебе дорожку на луг».

А море бесновалось. Оно вбирало в себя темноту, дыбило, цепляло пенными гребнями холодное ночное небо, будто пытаясь постичь его красоту. Всю ночь напролет в слепой темноте взбешенное море, не постигшее красоту неба, таранило берег, мстило невиновному.

Когда же утром небосвод поднялся ввысь и взошло солнце, море отхлынуло от подножия скал и роптало на долю свою где-то там, далеко внизу.

Я выбежал на берег. Удивительно, как смутилось море, почуяв солнце! Притихшее, оно кротко синело, несмело перекачивая белые барашки.

И я снова увидел на нем солнечные озерки. И я был сейчас сильнее моря.

На уступе скалы не было девушки. Но я видел сол-

нечные озерки, которые она мне открыла, а за ними протянулись голубые дороги познания красоты мира. Я пойду по этим дорогам и буду находить все новые и новые образы прекрасного.

Мой бедный слепой друг сидел на пропитанном утренней прохладой песке. Заслышав мои шаги, он повернулся ко мне.

— Что, нет ее? Не можешь даже припомнить ее глаз?

Он что-то еще говорил, но я не слушал. Мне хотелось, чтобы он хотя бы на мгновение увидел солнечные озерки.

Теперь я не завидовал ему. Я плакал над ними и молил свою долю и совесть свою, чтоб они никогда не дали мне ослепнуть. Никогда!

Перевод *Юрия САЕНКО*

ТОПОЛИНАЯ МЕТЕЛЬ

Моей жене

Над моей весной взвихрилась тополиная метель.

Миниатюрные пушистые парашютики несут в неведомые летние пространства созревшие семена. Они опускаются на карнизы зданий, на клумбы, на головы людей. А кое-какие внедряются и в щедрую землю.

Надо мною шелестит буйнозеленой листвою мой тополек.

Его без меня посадили, но я поливал его мартовскими слезами моего детства, согревал апрельским теплом ранней юности, поил майским счастьем моей любви.

И вырос он...

Рядом со мной под тополем сидишь и ты, моя родная, самая близкая. Ранней весной, когда на нашем дереве набухали почки, несмело кудрявились первыми листочками ветви, мы мечтали о нынешней тополиной метели.

А теперь как-то странно.

И тревожно. Летит пушок, а мы не знаем: взойдут ли семена?

Взойдут они или не взойдут — неизвестно, но лишь только белый пушок легонько коснулся наших волос, он так и остался в них, а сдуть его уже не в наших силах.

Нет. Нам не грустно. Нам только немножечко тревожно в это наступающее лето. И оттого нам хочется вернуться в пору весеннего цветенья и спросить самих себя: радуемся ли мы тополиной зрелости?

Только нынче.

Потому что завтра уже будет лето. Будут и засуха и живительные дожди. И грозы, и град. Всего придется. И мы идем в лето, хотим идти.

А теперь я благодарю тебя, мой друг, за то, что не мешала мне искать среди моих весен капли росы для нашего тополя, за то, что увлажняла деревцо своей верой в жизнь, когда налетали суховеи, и вместе со мной радовалась весенним ливням.

Шумит надо мною июньскими листьями мой молодой тополь. И разве не красуется он среди нескончаемого ряда своих друзей? Скромно шелестит и упирается пышнозеленой головой в небо. Ему еще надо расти и расти.

Летят на белых парашютиках в безвестные летние просторы тополиные семена. Созревшими или увядшими несет их ветер? Какое из них, зацепившись за землю, поднимется стройным деревцем?

Метет, догуливает над миром моим тополиная метель — знамение лета.

Перевод Юрия САЕНКО

РОСЯНЫЕ ДОРОЖКИ

На дворе еще зима, но наблюдательный глаз замечает, что дело идет к весне. Незаметно исчезает с мощеных улиц накатанная шинами грязная наледь, шумят воробьи на влажных ветках подстриженных каштанов, становится ноздреватым снег между деревьями в парке. Падают на рябое снежное покрывало стеклянные прутики с деревьев и позванивают под ногами, как металлическая стружка.

Еще вьюжит зима, еще люди кутаются в шубы, и мчит на санках по дорожкам парка детвора, но снег

податливее под ногами и мягко поскрипывает — еле слышно, как крахмал в пальцах, а когда смеркается, вороны начинают радоваться оттепели.

«Тик-ток... Кы-кы», — несмело зовет самец самочку.

«Кы-кы, кха, кха», — уже млеют от любви птичьей пары; вдруг стая взвизывает над деревьями, кто-то всполошил ворон.

Кто? Не весна ли, о которой знают сегодня еще одни только птицы?

И я тоже знаю. Не от синоптиков. Отступили сугробы от стволов деревьев, и через эти узкие щели прямо пахнет земля. А может, и не это... Там, далеко, в Скныловском предместье Львова, призывно крикнул поезд, — этот призыв так приятно слышать весной, когда после долгого зимнего сидения над книгами и бумагами мною овладевает удивительное настроение, в душу проникает трепетное желание уехать путешествовать, утрачивают смысл книги и перестает волновать чистая, неисписанная бумага.

Куда теперь направиться?

А вороний галдеж то затихает, то снова поднимается волной; «тик-ток, кы-кы», — воркуют влюбленные пары. Я слышал, как разговаривают пеликаны, как клекочут орлы в Каракумах, как трепещут колибри над розами на Кубе, но не слышал, правда, не слышал любовного гвалта ворон ранней весной.

А когда затихают птицы, до моих ушей доносится еле слышный скрип. Прислушиваюсь. Это среди чужестранцев — платанов и магнолий — пробуждается и наша обыкновенная пихта. Наверное, сегодня в ее теле впервые запульсировал сок, он просочится завтра сквозь кору янтарным шариком и застынет на холоде, а под корой потекут соки дальше, и когда древесина нальется ими, когда выбросятся первые бархатные пучки мягчайших иголочек на кончиках веток — излишек соков выльется через поры и щедро потечет вниз пахучей живицей. А сегодня пихта изредка поскрипывает, словно пробует силы.

Я видел, как растет бамбук, как падают кокосовые орехи с пальм и как цветет агава, но еще никогда не видел, как пробуждается карпатская пихта, когда на дворе еще зима, но глубоко под снегом уже ферментируются соки земли и незримым призраком бродит по земле весна.

Парует из родничков возле стволов деревьев пряный запах, пахнет угольным дымом в воздухе, и паровозные гудки зовут в дорогу.

Так куда же поехать?

— А в Полтаве был? А в Карпатах?

В Карпатах я бывал не раз. И мне казалось достаточно. И наверно, если бы не вот этот любовный галдеж ворон ранней весной, если бы не этот едва уловимый весенний скрип пихты в парке, я путешествовал бы где-нибудь в дальних странах. А тогда мне стало чуточку грустно и горько: даже о родных местах я знаю далеко не все. А сколько нового, неповторимого можно увидеть, подслушать, уловить среди своих же, давно знакомых людей! Лишь бы только суметь прийти к ним не проторенными путями, не с парадного входа, не в гости на праздник и не с блокнотом в руках, а теми стежками, что незаметны для них самих, исчезающими быстро за шагами, как росяные дорожки.

Я поселился у знакомого лесничего в Карпатах. В первый же вечер мы допоздна играли в шахматы, и я ему пожаловался на себя самого.

— Ты же приехал отдохнуть, чего же ты хочешь? — пожал плечами мой друг и скептически улыбнулся одним уголком губ, когда я с воодушевлением рассказал о своих наблюдениях ранней весной: мол, не такие еще таинства подсмотришь в лесу.

Остап Григорьевич сложил шахматы в коробку, посмотрел на часы.

— Завтра в пять утра мне надо быть с лесниками. Может, пойдешь?

Он разбудил меня затемно, бросил на кровать блестящий от смолы, исхлестанный прутьями старый мундир лесника — одевайся! — и мы вышли во двор, где уже ждали лесники.

— К вам практикант из лесотехнического, — сказал Остап Григорьевич. — Будет с вами, позаботьтесь, чтобы практика не прошла для него даром.

Смущенный, не подготовленный к такой роли, я стоял, переступая с ноги на ногу, меж молчаливых мужчин. Они медленно вставали с колод. Один, заросший бородой кружком, самый молодой и красивый, сказал толстому, с выпуклыми глазами:

— Бери его себе, Фарбай.

— Ладно, — равнодушно произнес толстяк. — Лишь бы выдержал. Слабоват он на мой обход.

— Ничего, ничего, жилистый.

Летнее солнце уже выбралось из-за гор, краснело небо над лысой Маковицей. Я двинулся за Фарбаем в его обход.

Из ущелья круто повернула речка, быстро мелькнула под мостом, слизывая с белых берегов утренний туман, вода ледяная, и, должно быть, потому такая чистая, что с моста видны волоски водорослей на дне и червячки в серых раковинках, присосавшиеся к покрытым слизью камням.

Это Жонка. Она бежит вниз вдоль дороги, идущей на Багровец, и дальше вверх — к Туршучуватой, Яворнику, Буковице.

Через Багровец мы идем с Фарбаем на Яворницкую полонину. Он молчаливый, но не мрачный. Его озорные глаза все время будто смеются, куртка едва обжигает живот, но шагает твердо, и время от времени поглядывает на меня, будто хочет о чем-то спросить, но откладывает до подходящего случая.

Несколько хаток с одной стороны, несколько с другой, посреди зеленая ложбина, залитая солнцем и разорванная рыжей полосой нашей дороги — вот и весь Багровец. Снизу доносится звон, кто-то клепает косу — готовится косить.

— Это мой сын, — говорит Фарбай. — Приехал раз за три года и хочет папе трясину скосить. Волдыри намечаются у бедолаги.

— А где он работает?

— Не говорит где. На какой-то такой работе, что не говорит. — В голосе отца слышится нотка гордости. — Андрий! — кричит он, останавливаясь. — Накрути меду из того крайнего улья, у гумна.

Идем дальше, а Жонка все суживается и суживается, из речки превращается в ручей, у нее нет тут сил подминать под себя лопухи и выдираться на камни, поэтому хитро обходит их крутыми извилинами; дорога тоже суживается, становится стежкой и извивается вместе с Жонкой. Лесная прохладная темнота обнимает нас, чавкает под ногами болото, я то и дело скольжу на грибницах.

По обеим сторонам стежки толстые покрывала утрамбованных иголок, то тут, то там изредка проклю-

вется из земли листочек, и вянет без солнца, желтеет горчак возле тропинки, рыжеют нарядные иголки елей и сплетаются внизу в густую сетку, шершавые и колючие, только сверху скупно сеются на землю сквозь редкие прогалины в лесных гротах солнечные лучи. Там, вверху, шумит, буйствует вечнозеленое половодье. А тут мертво. И хочется поскорее выбраться отсюда.

Фарбай сворачивает на просеку, тянущуюся круто вверх, — ему надо взглянуть на посадки.

Сразу — солнечный ливень, солнце уже жаркое, полуденное. Промозглые от лесной влажности, мы подставляем лица дождю лучей. Я рад, что мы тут, — слишком тихо и мрачно в лесу с молчаливым Фарбаем. Я впереди лесника выбегаю на поляну и останавливаюсь, оторопев. Что тут было? Бурелом, пожар или это дело человеческих рук?

Весь склон горы — сверху донизу — покрыт трупами деревьев. Они сгнили, поросли мхом и припали к земле, чтобы через десятилетия сровняться с нею, чтобы будущее поколение не видело человеческого неистовства. Между ними начали выглядывать кудрявые елочки, они торопливо растут, чтобы заслонить тела умерщвленных родителей.

Это посадка Фарбая.

— Лесозаготовители план перевыполняли, — виновато разводит руками лесник, словно оправдывается перед самим собою. — Те, что вывозили лес, недовыполняли. Им объявили выговор, а порубщикам выдали денежную премию. Но это еще полбеды. Из-за этих огульных порубок большая беда началась для карпатских лесов. Пошли ветровалы и буреломы, расплодись короеды.

— А кто же рубил?

— Да мы же, гуцулы. Я сам зарабатывал... А сердце терзалось. Но нашлись умные — остановили. Теперь только санитарная вырубка. Больше работы и заработков не тот, но леса будут жить.

Фарбай нагнулся, он всматривался в каждое молодое деревцо, дотрагивался руками и осторожно шагал через трупы елей.

Под вечер мы, усталые, сидели на пасеке. Стемнело, Андрий позвал в хату, налил в миску густого меда. Я огляделся. Над постелью — покрытое зеленоватым налетом медное распятие, в углу — радиоприемник

«Днепр», а на нем чучело филина, на фасадной стене — пожелтевший плакат предвыборной кампании, вероятно, пятилетней давности, рядом — Шевченко, гравюра Касьяна, а на земляном полу кабаньи шкуры. Резные матицы, и покрывало на жерди.

Старое и новое рядом. Как отец и сын.

— Завтра дома буду, — сказал Фарбай, подбирая хлебом мед с тарелки. — Мой почтенный примеряется уже уезжать. Вот так приедет, покрутится, и скучно ему в наших горах.

— Работа, отец..

— Да знаю, знаю... А вы сходите с Пигуляком на его обход.

Хлюпает росой по коленям головастая Маковица. Внизу звенит янтарными головками спелый лен, а тут, сверху, тянутся к небу красные стожки иван-чая, выливают воду из голубых чашечек колокольчики, и одуряюще пахнет белена.

Мне хочется кататься в высокой, по пояс, траве, смеяться и дышать душистым запахом полонины, мне хочется выйти из роли практиканта, хватит! К тому же мой новый «шеф» не такой, как Фарбай. Лесник Пигуляк — тот, что с кружком черной бородки, — уже второй день гоняет меня, как мальчишку, и не дает отдохнуть.

Вчера мы клеймили лес для санитарной рубки. Пигуляк дал мне клеймо и тавро, научил, как прикладывать к больному дереву буковый листок и выбивать тавро, а сам ушел на другую делянку.

Остап Григорьевич лукаво покашливает в кулак, спрашивает у лесников, справляюсь ли я, а вечером посмеивается надо мной: не обрыдло ли «ходить в народ».

Я исполняю все на совесть, так мне, по крайней мере, кажется, но этому чернобородому цыгану все не в лад. Он перед обедом проверяет мою делянку и ругается, как сапожник.

— Иди сюда, практикант. Ты же ученый, лекции у профессоров слушаешь, в театр через день ходишь и модные штаны, наверно, носишь. А я простой мужик. Но ведь большого ума не надо, чтобы знать, что это дерево будет себе спокойно расти еще лет двести и не засохнет, а ты ему печать на смерть прибил. Лес надо

любить. Из-за таких, как ты, вон сколько повырубали, и там больше ничего не растет, только гадюки плодятся.

— А почему не растет? — спрашиваю.

— Эрозия, студент лесотехнического... Слушайте, Остап Григорьевич, — обращается он к лесничему, — где вы нашли такого способного?

Лесничий хохочет, смеюсь и я, хотя мне не слишком и весело.

Я смотрю на смуглое лицо Пигуляка, на его цыганские глаза. Буйство так и брызжет из него: лет ему, наверно, сорок, а то и больше, но я убежден, что и молодые девушки не отказались бы от его ухаживаний.

В обед мы уселись на поляне, достали из сумок у кого что было, бутылка водки ходила по кругу из рук в руки, и каждый по очереди пил из горлышка.

— Я тут такое надумал, товарищ лесничий, смеяться будете, — начал Пигуляк, вытирая губы рукавом. — Но надумал твердо, и не возражайте. Учиться хочу. Да, на заочном. Потому как смотрю: придет вот такой зеленый, как этот ваш практикант, и будет командовать — это руби, то руби. От книжек он умный, но тут и сердце нужно. Лес — это, брат, не деревья, а люди. Приду — разговариваю с ними. Но науки, конечно, нужны.

— Ничего не имею против, — ответил Остап Григорьевич. — Хоть и этой осенью. Поступайте, я помогу вам подготовиться.

...То ли от вчерашнего разговора — какие-то мысли затуманили лоб Пигуляка — стал он сегодня другим. Почти не ворчит. Я чувствую, что своей нарочитой мрачностью он маскирует какое-то беспокойство или боль — кто его знает? Мне хочется с ним поговорить. Может, какая-нибудь старая обида мучит человека, и он сердится на кого-то — так пускай поделится, изольет ее, а не носит на сердце камнем.

Пигуляк сам подсел ко мне. Мне сначала показалось, что он сейчас скажет что-нибудь наподобие: «Устал, студентик, а еще лесничим хочешь быть». Но нет. Лицо его стало таким благостным, как сегодняшнее небо, только из глаз не пробивался свет — слишком они у него темные.

— Скажите мне, — почти шепотом произнес он, — учиться очень тяжело?

— А разве вы не пробовали науку? Ведь есть же аттестат зрелости.

— Э-э, это что... Вечерняя школа, ученики-перестарки, учительницы молодые, робкие... А там — профессора, это же институт, не что-нибудь.

— Не бойтесь, была бы охота, — успокаиваю Пигуляка.

— Охота... Э, охота всегда была. Ходу не было. Это теперь молодым хорошо. Учат да еще и стипендии дают, а тогда...

— Что — тогда? — ухватываюсь я за нить разговора, потому что, если она оборвется, потом из Пигуляка и слова не выжмешь. Да и не решишься.

— Я сызмальства рвался к науке. Ой, если бы кто знал... Меня называют цыганом, а ведь это правда. Из Венгрии мои старики приплелись, от табора отбились да и осели тут. Ну, а цыган к полю неохоч, пошел мой отец уголь жечь. Вот я с малолетства и в лесу.

Бывало, пасу овец — их четверо было у папы — и слышу, как жалуется бук. Вы не смейтесь, дерево живое, если что у него болит — оно стонет. Да не так, как зимой, тогда оно кряхтит от мороза, и не так, как под весну, когда соки начинают бродить, — это молодой, весенний скрип, а тут будто корчится от боли: крупп, крупп, и тогда, знай, вот-вот прилетит дятел. Эта птица, как хороший врач, пока не достанет из-под коры, а то и из сердцевины всякую погань, будет прилетать ежедневно. А потом бук уже не жалуется.

Я знал на вкус листья каждого дерева. Нарву, бывало, с разных деревьев целую пригоршню, зажмуриваю глаза и угадываю: терпкий — граба, сладкий — бука, душистый, как брага, — ольховый.

Зеленокрылый кузнечик выскочил из травы и легко присел на руку Пигуляку. Повел усиками, всматриваясь глазами — маковыми зернышками — куда-то в пространство. Пигуляк легко коснулся нежных крылышек пальцами — кузнечик не убежал. И я в это время поверил: Пигуляк и в самом деле имеет общий язык со всем живым, что населяет лес и полонины.

— А иногда смотрю на звезды и думаю: ведь они где-то там такие большие — в тысячи раз больше нашей Земли, а выглядят как дырочки в дуршлаге. Ведь как высоко, боже мой! А где же тогда бог сидит, разве что еще выше? Сказал я об этом как-то папе, а он

меня шлеп по губам: «Бога за ноги хотел поймать? Ученым хочешь быть, пастух, что допытываешься?»

И тогда меня зло взяло. Хочу! Хочу! В каких законах или в библиях записано, что только паны имеют право на науку, а мы лишь на овец и на навоз? И я начал упрямо думать, где раздобыть денег, чтобы поехать в город учиться.

Это было, уже когда папа умер. Я пареньком был. В то время полиция шныряла по селам, экзекуции совершала над людьми — не приведи господи. Зерно нефтью обливали, подушки драли, перьями рты людям набивали. Мстили за то, что коммунисты на вершине горы флаг вывесили.

Как-то полицаи жрали да пили в корчме под Ворохтой. И захотелось мне поглядеть на них вблизи. Вошел в сени, слышу — галдят, хохочут, хотел я вернуться, смотрю: карабины в углу стоят, друг к другу прислонены. Мелькнула мысль: украду один, а тогда и деньги будут. За дичь. Подхожу ближе — не видят. Схватил я карабин, патронташ и — дёру! Ноги земли не касаются, так бегу, где-то позади бахают выстрелы, но далеко.

Оставил я старенькую маму в хате и сам подался в горы. Год жил по колыбам... Уж дичи перебил, один господь бог знает сколько, и все шкуры и мясо в Косове либо аж в Коломые продаю, денег накопил немало. Теперь, думаю, вернусь домой, немного матери оставлю, а на остальные...

Но дома... Мама — избита, аж вся синяя, стонет на постели и шепчет мне почерневшими губами:

— Беги, тебя давно ищут.

Выбежал я из хаты, и тут меня — цап! Подстерегли, видно, и — кандалы на руки.

Дали пять лет, отсидел только год. Вернулся осенью тридцать девятого. Мамы уже на свете не было, соседи похоронили. Советовали мне идти учиться, да что-то надломилось в душе. Словно постарел. Женился я и про науку забыл. А после войны снова хвост загорелся, потому как многие пошли учиться. Окончил вечернюю школу, книжки дома есть, читаю по вечерам. Вы не обижайтесь на меня. Я на «прахтикантов» давно зуб имею, а на вас злость сорвал. Еще до Остапа Григорьевича был у нас один лесничий. Голова как кулачок, а гонора на десятерых хватило бы. Остап Григорьевич хоть и молодой, а знающий. А тот граба от бука не

умел отличить. Зато на собраниях или на совещаниях всегда: «Прошу слушать и не перебивать, я знаю, что говорю. Наше государство дипломами не разбрасывается». Конечно, не разбрасывается, думаю, но как он попал к тебе в руки? Еще тогда решил: не уйдешь сам, я тебя «съем». Пускай только техникум закончу. Так из-за него сколько лесу пошло впустую. План перевыполнил и сам наживался. А с людьми — ну что помещик. Встречает он как-то на порубке бабу Палагну — под Клывой старуха живет. Хворосту пошла насобирать, увидел ее и к ней:

— Государственное имущество раскрадываешь!

— Как это — раскрадываю? Очищаю, может, что-нибудь тут вырастет, спасибо сказали бы.

— Брось, а то оштрафую! — кричит.

Положила баба вязанку, присматривается и говорит:

— Ей-богу, узнала! Не ты ли тот самый, что был при Польше, — Заремба? Не ты ли меня за ягоды штрафовал?

Замахнулся было лесничий, а та палку в руки да и за ним. Гнала бедолагу аж до ручья, а дальше задохнулась, остановилась и говорит:

— Возвращайся, откуда пришел, да поживее, потому как тут давно уже другая власть!

«Съедать» мне его не пришлось. Проворовался — и сняли...

Мы еще посидели с Пигуляком, выкурили по самокрутке и пошли на Переслоны осматривать покосы.

Долго шли молча, наконец Пигуляк сказал:

— Вы не сердитесь... Когда будете уезжать, так и я с вами. Поведете меня в этот ваш институт. А из вас, смотрю, будет все-таки хороший лесовик. Интерес у вас есть.

— Не будет из меня лесовика, — ответил я.

— Э, может, будет. Это лишь спервоначалу тяжело.

— Да у меня совсем другая специальность, — признаюсь, но не называю себя писателем, ведь Пигуляк, наверно, читал Коцюбинского и может не поверить, говорю: — Журналист я...

Зыркнул на меня Пигуляк черными, как маслины, глазами и вдруг захохотал:

— А чтоб вам псы марш сыграли!

Ну, попробуй скажи так! Век будешь искать пого-

ворку, все словари съешь, а такого не найдешь. Воистину — половодье разговорных сокровищ в людях.

Прошла неделя моей «практики». Пигуляк не выдержал, выдал лесникам мою тайну, но это уже ничего не изменило в моих отношениях с ними. Они привыкли ко мне, и я заработал-таки немного доверья мозолями на руках да исцарапанным по кустам лицом. Правда, Платко и Герасимчук смотрят на эту мою «практику» как на писательскую блажь. А к тому же Герасимчук не против попасть в книжку, даже обещает рассказать нечто такое, что достойно не какой-то там статьи, а романа. Но он откладывает это на потом. А пока что все его разговоры сводятся к одному: ружье, с которым он никогда не расстается, дичь, охота. И разные охотничьи приключения...

Вечереет. Сидим в перелеске, последний раз перекуриваем, сейчас — по домам. Герасимчук несет свое. Фарбай вздыхает, он уже слышал это не раз, а мне любопытно.

— Три дня ходил за этим медведем. Дали разрешение на отстрел: двух коров задрал, а овец — так уж и не сосчитать. На четвертый день выследил. Ходит «дядя» по порубке, согнулся, малину ест. Вот как человек: пригоршнями — и в пасть. Но какая же это разумная тварь! Прицелюсь — смотрит искоса, только я пальцем за спусковой крючок, он — дрыг ногами и в сторону. Но я не иду по порубке, жду. Зачем-то он ведь пришел сюда, малина ему на десерт, где-то тут он должен был зарыть свою жертву — и вот ходит на обед. Под вечер идет мой «дядя» прямо к ручью, покрутился, огляделся, потом, как злодей, — в ущелье и разгребает, разгребает лапами. Выгреб недоеденную овечку и ну лакомиться, аж эхо идет по лесу — так чавкает. Потом заботливо закопал недоеденное, ушел к ручью. Нагнулся и пьет. Я тогда подполз и...

— Хвать его за ноги! — подсказывает Пигуляк.

Все смеются, но Герасимчука это не смущает. Он много раз рассказывал об этом приключении и сам теперь не знает хорошо, что было на самом деле, а что выдумал.

Платко торопится домой. Он теперь, как сам признается, по часам работает, и ни минуты больше. Дом

строит. Государство дало ссуду, Остап Григорьевич выписал лесоматериалы. Четверо детей — можно человека понять. Лесничий разрешает Платко не выходить завтра на работу. Пусть созывает женщин мазать.

Когда Платко торопливо прощался с нами, на тропинку вышла группа подростков с рюкзаками за спинами — ученики. Никто бы на них не обратил внимания, но лицо учителя было очень хмурое, да и дети не шумели.

Я встал, чтобы спросить, что случилось, но учитель сам остановился, беспомощно развел руками и сказал:

— Мальчика потеряли... Что теперь будет?

— Где? — бросились мы к ним.

— На Довбушанке. С утра туман был такой, хоть глаз выколи. Привел наверх, пересчитал — одного не хватает. Сколько ни искали...

Лесники переглянулись. Первым подошел к учителю Платко, показал рукой на Герасимчука. Подошел и Пигуляк.

— Ты, Иван, иди домой, выпись, — сказал Платко Пигуляку. — Завтра придут рубщики на Варбянку, должен там быть. А мы с Герасимчуком — он с ружьем, медведей за ноги хватает — пойдём. Я более-менее догадываюсь, где паренек мог заблудиться. Там одна хожёная тропка — на Хомяк.

Я подошел к Платко.

— У вас ведь завтра артельная работа. Давайте я пойду с Герасимчуком.

— А потом еще вас ищи, — буркнул Платко. — Ну, идем, Михайло. А вы, — повернул он голову к учителю, — ждите нас завтра в лесничестве.

...На другой день перед полуднем, уставшие и невыспавшиеся, притащились искатели с паренком на плечах. Нашли его где-то под Рогашами у чабанов. Перед рассветом.

— А на этого сукиного сына пойду жаловаться в райком, — решительно махнул кулаком Платко.

— На кого? — спросил Остап Григорьевич.

— Да этот, — Платко зыркнул на меня. — Из ваших он, должно быть. Дачу тут строит и дранку легковой машиной с Ворохты возит. Едет сегодня один за рулем, я прошу: завезите парнишку в лесничество, уморился малый, несем. «А это мне не по дороге, времени нет,

мастера ждут», — и дунул дальше. И это он приехал о нас писать, черт бы его побрал!

Сенокос!

Ничто так не любят гуцулы, как сенокос. Разгибаются спины, режут лезвия кос спелую траву; и росистая цветень, и пчелы взлетают роями над головами, и запах привядших трав, и звон брусков, и воздух — полной грудью, и здоровый пот по телу... Полоски покосов — хлеб для скотины, кормилицы горцев.

Приехали косари сюда вчера. Две грузовые машины подвезли их под самую полонину, а за ними — кинопередвижка.

Возле колыбы пылает костер. София Гарматючка готовит с вечера завтрак — пятьдесят ртов, дай бог управиться!

А косари уже улеглись — кто в колыбе, кто прямо на земле, шершавая от жары трава смягчает, увлажненная вечерней росой, дымок костра потянулся в небо ровно — будет погода.

Фарбай лежит навзничь, смотрит на звезды. Одна звездочка медленно движется на запад, минуя своих сестер.

— Видите, Павло, — шепчет Пигуляк, — это спутник.

— Вижу, Иван.

— Смотри, до чего люди додумались... А может, твой Андрий тоже запускает такие штуки?

— Все может быть... Мы не знаем тех, кто эти вещи делает.

Звездочка исчезает на выгнутой дуге неба. За колыбой не умолкает Герасимчук:

— Улегся я на скирде и сплю. Слышу — кто-то крадется по сену. Протягиваю руку. Господи! Да это же медведь! Толкнул я его назад...

Платко хихикнул:

— Позавчера ты иначе рассказывал.

— Ну, то было позавчера. Тогда ты спал с женой, а сегодня полпостели у нее пустует.

— У кого пустует, а у кого, может, и нет...

— Типун тебе на язык. Договорить не дал... Толкнул я его назад, заглядываю вниз со скирды, а там стая волков. Как кинутся на «дядю»...

В другой группе над бережком хвалят Остапа Григорьевича:



— Правильный, простой... Сам привез Софии дранку на хату.

— Потому что ученый.

— Такое говоришь, будто есть неученые лесничие.

— А тот, что был перед ним? Разве ученый?

София Гарматючка возится возле котлов. Я присаживаюсь к костру.

— А вы бы уж остались у меня на кухне да и воду носили, — предлагает она мне. — Руки, как погляжу, очень уж белые для косы.

— А почему бы и нет, — соглашаюсь.

София поправляет на голове платок, пламя костра бегаёт горячими отблесками по ее лицу — мелкие морщинки, как паутина, оплели щеки, а глаза черные и молодые. «Красивая была когда-то София», — думаю, сбрасывая мысленно ее годы.

— А муж ваш сегодня тут?

— Нет ни одного из них. А сыновья все пришли. Целая бригада — пятеро. В горах у нас узко, как в колыбели. Хотя раз в год, а сходятся все вместе.

— Как это — нет ни одного мужа? — улыбаюсь я смущенно. — А сколько их у вас было?

— Столько же, сколько и сыновей, — пятеро. Каждый парень от другого. Такова уж моя судьба. На мужей везло, а жить было не с кем... Думаете, гуляла? Нет... В семнадцать первого ребенка заимела. Пожил муж год со мной, пухнем с голоду — ушел в Березовое на соляные копи. Нет и нет... А я хороша была. Нашелся другой, и второго ребенка родила, ведь это грех так только в свое удовольствие жить. За любовь надо ребенком расплатиться. Другой тоже долго не удержался. Ушел в долины за хлебом, да и пропал. Говорили, женился там. Третий тоже сынка подарил. Его на границе убили, когда переносил румынский спирт. Четвертому тут-таки богач Червинский печенки отбил, когда тот снопик ржи стащил из его скирды. Пятого немцы повесили. А шестого уже не было. Красота пропала, снег пал на голову, да и сама уже не хотела замуж — стыдно было перед сынами, подросли ребята. Ходили сызмальства нищенствовать, потом в батраках, я куховарила у курортников, и кое-как кормились мы все. Сегодня они на косьбу пришли. Даже самый младшенький тоже тут. Так уж у них заведено: два раза в год — к маме. Раз на покров — праздник у нас, раз — в косовицу. Потому как я всегда косарям еду варю, так они ко мне на обед... Сыны сходятся. Не могу только внуков собрать. Даже не знаю всех. Один инженерствует на Севере где-то. Деньги присылает, а теперь нашел себе милую — жениться хочет, так уж обещает приехать, показать мне свою краю.

...На западе зажглась зарница. В смутном ожидании застыли горы, окутанные синеватой дымкой: что принесет день — солнце или гром?

Звякнули молотки, зашумело неуловимым звоном спелое сено, полевые кузнечики секут траву, словно

ножницами станиоль, заклепали косари по косам, рассыпался по травам металлический звон — весь окружающий мир зазвенел металлом. А травы ждут.

Пошли косари журавлиным клином: румяная от ночной прохлады земляника выглянула из травы погреться на солнышке, и ложится кровавыми каплями на покосы — роятся пчелами травы, жужжит мир.

И откуда тут взялась флюяра? Приплелся старый дед и бодро заиграл. Быстрее пошли косы: еще немножко, еще...

— Перестаньте, дед, пускай косят и рты не разевают. Бросьте, это пустое, — сердится объездчик.

— Пустое, говоришь? — поднял голову дед, вытер ладонью мундштук флюяры. Потом показал рукой на горы, на людей, на покосы. — А ты знаешь, как бы это все потускнело, когда бы сопилки не было, босяк? Или ты думаешь, что людей больше приохотит твой крик, чем песня?

И дед снова приложил флюяру к шершавым губам.

После обеда на полонину вышли копенки и стали в ряд, зажелтела лысая полонина и начала просить теперь у неба дождя на отаву.

...Последний день моего отпуска. Остап Григорьевич зовет меня поглядеть на новую хату Платко. Мы идем к Платко в гости.

Доистраивается новая хата. Сбоку, как старая бабушка, присматривающая за налитым юными соками внуком, горбатится старая хижина. Она устало присела на изъеденный грибок трухлявый фундамент; окна, будто усталые глаза старца, опустились до самой земли, фиолетовые круги сели на стекла — так на заиленном пруду расплзаются масляные пятна: старая дранка не держится больше на гвоздях и сползает с крыши, а сквозь ребра стропил виднеются на чердаке горстки невытрепанной конопли и заржавевший хомут; деревянные стены, изъеденные червоточиной, крошатся под тяжестью залатанной кровли.

Дверь открыта, внутри никого нет. Дети Платко бегают возле нового, уже обмазанного, покрытого белой дранкой дома, их больше не интересуют ни матицы с крестами, выеденные шнурами от колыбели, взлеявшей всех четверых, ни закопченные образа Николы-чудотворца с угрожающе поднятым вверх пальцем и святого Юрия, растаптывающего голову змия.

Поэтому в старой хате пустота. Но это только так кажется, что пустота. Тут доживает свои последние дни столетняя жизнь. В плетеном дымоходе прячется осужденный на смерть некогда могучий, а теперь хилый домовый, наводивший страх не на одно поколение детей; за липовой зеленью троютина дня меж образами притаился дух мольфара, умевшего разгонять грозу и отвращать град; из углов взирают мавки, усыплявшие детей и дарившие людям добрые сны.

За матицей, под самым потолком, — кисет со старым табаком, раскрошившаяся от дыма и от времени книга «Сонник», изданная коломыйским издательством Оренштейна. В «Соннике» — письма старого деда Платко, продиктованные им грамотным солдатам на сербском фронте, подписанные тремя крестиками, контракт на полморга земли, метрика бабушки, австрийский паспорт, похвальная грамота из лесотреста и школьные учебники.

На стене, кроме святых, свадебный портрет Платко и Гафии. На боковых стенах — пожелтевшие фотографии австрийских солдат: это дед и его фронтовые товарищи; выдутые пасхальные яйца — крашенки, висящие на гвоздиках: резные деревянные тарелки и бумажные цветы. В углу печь. В ее челюстях горшки, высланные изнутри медным слоем прошлогоднего кулеша, а на печи одеяло, на котором родилось не одно поколение Платко.

Дверь открыта, как и столетие назад. Она не знала замков, потому что красть из старой хаты было нечего. В эту дверь никто никогда не стучал, и пригибались, входя в нее, даже польские экзекуторы и немецкие каратели. В сенях — поломанная загородка для овец и запах навоза; потолка тут нет, сажа комками висит на гонтовом покрытии и мягко падает на головы.

Очень старая хата. Пора ей умирать, как и старым людям.

А новая стоит сбоку и смотрит большими окнами. Она покрыта душистой дранкой, в ней будут ясеневые шкафы и радиоприемник. В ней не будет ни святых, ни духов, ни волшебников. В новой хате будут книги и деревянный пол. В дверь будут стучать и входить с поднятой головой. Это будет новый богатый дом, в котором будут жить совсем иначе будущие поколения Платко.

Радостно? Да. Но и старую хату немножко жаль, как человека, умирающего и забирающего с собой в могилу любопытный и неповторимый человеческий мир.

Стучат молотки, кельмы покрывают стены штукатуркой, бегают и шумят дети Платко.

Цветет радостью лицо Платко. Он приглашает нас в дом за накрытый стол.

Скоро семья перейдет жить в новую хату. А старую развалят, она вместе с иконами, «Сонником» и духами превратится в кучу трухи.

Возвращаюсь домой к книгам, бумагам и чернилам. Оросил я ноги, идя за людьми их стежками, оросил их добром и сердце.

Приду ли я ещё сюда, когда птицы возвестят весну, когда одуряюще запахнет земля, а чистая, неисписанная бумага перестанет волновать?

Может, и приду. Тут еще тысячи неисхоженных рваных дорожек. А горы всегда зовут. Когда взойдешь на вершину и встанешь на самом высоком шпиле — соседний всегда кажется более высоким. И так без конца.

Иллюзия. Стимулирующая иллюзия. Она зовет идти и искать.

Перевод *Вадима ВЛАСОВА*

НОВОГОДНИЙ БОКАЛ ЗА СЧАСТЬЕ

За окном кружатся пушинки снега. Летят в неведомую темень, шелестят по карнизам, тихо целуют стекла и тают...

В комнате один Тарас. Восемь коек нетронутыми, нематыми стоят до самого утра. Потому что сегодня Новый год и хлопцы встречают его в женском общезитии.

На тумбочке возле Тарасовой койки — раскрытое письмо. «Приезжай сегодня, — просит Оля, — хоть один раз отпразднуем вместе. Я хочу выпить с тобой за счастье».

— За счастье... Не могу... Я уже выпил за него давно.

Уткнулся лицом в подушку, чтобы не видеть письма. Его принесли перед обедом, но еще и сейчас, за два часа до отхода поезда, Тарас не знает, поедет он или нет.

Новый год... С самого утра идет густой снег, мягко ложится на землю. С самого утра летят мысли по заметным тропинкам в далекое прошлое. Хоть бы метель или буран поднялся, что ли, — так нет, такой же легкий и густой снег, как тогда... Не снег — незабываемая нежная мелодия, не снег, а терпкое, припорошенное пылью времени воспоминание.

Был когда-то такой же новогодний вечер. Оркестр играл вальс. В вестибюле много девушек — знакомых и незнакомых, у всех на лицах радость, а в волосах звезды. Он ходил меж колоннами, искал. Ее нет. А других не замечал. Хотелось уйти отсюда прочь.

Вдруг увидел: светлые глаза, завитушки русых волос, спадающих на лоб, розовое платье — все это промелькнуло в вихре вальса.

Окончился вальс. Замечтавшаяся, свежая, как лепесток пиона, стоит Неля одна, будто ждет кого-то... Кого же?

Тарас подходит, а в груди, как в кузнице: стук... стук... Приглашает танцевать, предлагает провести вместе этот вечер, просит подойти к буфету, выпить бокал новогоднего вина. Вино искрится, играет красками, сладкое и хмельное, как любовь.

— С Новым годом!

— С новым счастьем!

Неля смеется, не пьет до дна. Какая-то грусть проникает в сердце юноши. Он тоже не допивает.

...Убаюканная предрассветным глубоким сном улочка, и падающие снежинки, и она с заснеженными кудрями возле него.

— Я люблю вас... — неосмотрительно срывается с его губ...

В ответ — легонькая улыбка, едва уловимая искорка иронии в ее глазах и слова: «Это же был всего-навсего Новый год!»

Кто-то безжалостно примял букет белых ромашек... И все же Тарас теперь мечтательно улыбнулся. Не

однажды, словно тень Нели, проплывал перед глазами образ Ольги и исчезал.

Новогодняя ночь заглядывала в пустую комнату, бились снежинки о стекла освещенного окна. Ни о чем больше не хотелось думать. Прижался лицом к подушке, — так, казалось, не слышны укоры совести.

За окном шелестел ветер, тикали на тумбочке часы, завершая восьмой час... Тик-так... Тик-так... Монотонно, мерно, без конца...

В дверь, кажется, кто-то постучал. Ах, сегодня так не хотелось кого-либо видеть, что он даже не отозвался. Однако дверь отворилась, и в комнату вошла девушка. Из-под шапочки выглядывали слегка припорошенные снегом завитки волос, на румяных от мороза щеках ямочки.

— Неля!.. — словно вихрем влетело в грудь счастье. Девушка не смутилась.

— Я знала, что сегодня ты должен быть здесь. Потому и пришла. К тебе.

— Ко мне? Но ведь... — заговорили в Тарасе осторожность, боязнь, совесть.

— Знаю, зачем говорить? Ты пойдешь со мною встречать Новый год. Допивать вино...

Не имея сил промолвить ни единого слова, Тарас молча протянул ей письмо от Ольги. Но Неля не хотела читать. Умоляюще посмотрела на Тараса, и он увидел в ее глазах что-то такое близкое, будто свое, родное.

— Для нее ты на всю жизнь, для меня — на один вечер. Нет, ты не сможешь отказать мне.

Сердце его учащенно забилося.

— Один вечер! — проговорил он. — Один вечер! А до моей жизни, до моей любви тебе и дела нет?

— Как же так нет? — удивленно спросила девушка. — Я ведь сберегла и принесла тебе сегодня твое «люблю». Разве напрасно это слово ты отдал тогда мне?

— О нет! — ответил Тарас.

— Тогда идем вместе встречать Новый год.

Он покорно взял ее под руку, и они тихо вышли.

А дальше все было, как бывает в сказке. Как-то очень быстро миновали дома, потом очутились в поезде, который увозил их неизвестно куда. К ней? К Неле? К счастью? Белые снеговые поля пролетали

за окнами вагона и таяли в темноте. Тарас не ощущал бега времени. Неля ни о чем не спрашивала. Молчал и он. Мелькали станции, проплывали мимо села... Может быть, мимо того села, где живет Ольга... Ольга? Ах, да, Ольга! Воспоминание о ней вывело Тараса из состояния задумчивости. Припомнилось:

— Любишь? — спрашивала она, когда он впервые ее поцеловал. — Любишь?

Он тогда ничего не ответил, потому что не мог это слово повторить, не смог найти его в душе своей. Тарас тогда поцеловал Ольгу еще и еще раз за ее большую любовь к нему, но не сказал слова «люблю».

— Если поцелуешь другую, счастья у нас не будет...

...А поезд летел... Тарас посмотрел на часы:

— Почему только восемь? Мы же столько проехали...

— Время сегодня мое, а ты все еще не со мною. Ты все время с нею.

— С тобой я...

— Забудь обо всем, обо всех, кроме меня.

— С тобой — минута, с ней — жизнь.

— Минута любви дороже всей жизни без любви.

— Кто же отнял у меня любовь?

— Я...

Теперь Тарас посмотрел ей в глаза, но почему-то их не увидел.

— Ты знаешь, что-то я не вижу твоих глаз.

— Это потому, что их застилает пелена неуверенности.

— Какая ты странная. Почему неуверенности?

— Правда ли было то, что ты мне когда-то говорил?

— О, да! Тогда это была правда. В тебе осталось то слово, которое я не мог сказать Ольге. Если бы я смог вернуть его себе.

Наконец поезд остановился. Теперь они пошли бескрайним полем, по смерзшемуся снегу туда, где светился огонек.

Тарас снова посмотрел на часы — восемь. Приложил к уху — идут. Действительно, время остановилось. Возле Тараса — Неля. Это она, словно волшебница, остановила время и ждет, чтобы повторился прошедший новогодний вечер. Тарас тоже этого хочет, но в его душе пусто и тоскливо, как поздней осенью в поле.

Неля спросила, почему он молчит, почему мыслями ушел так далеко от нее.

— Нет мыслей, — ответил. — А пустыми словами ни жизни, ни времени не пробудишь.

— А слова, стоящего жизни, у тебя нет?

— Ты еще тогда его растоптала.

— Неправда это. Взгляни!

В это мгновение Тарас увидел ее глаза. В них светилось его давнее слово «люблю», как далекий, слабый огонек, готовый вот-вот погаснуть. Тарасу хотелось рвануться к этому огоньку, как к утерянному счастью, вернуть себе это слово, чтобы заполнить пустоту в своей душе.

— Верни мне меня самого.

— Бери, — прошептала она, обдавая его жарким дыханием, пьянящим, как запах черемухи. — Выпей недопитое вино...

Тарас припал к ее устам.

Опомнился он от бездушного смеха:

— Это же был только Новый год! А ты расплескал вино своего счастья!

Кто это сказал? Девушка или сама судьба?

Неля исчезла. Нет не ромашки, не ландыши вернул он себе ценою измены...

А время шло. Ночь сменяла день, день — ночь. Возле Тараса никого не было. Снегу намело еще больше, поднялась вьюга, усилился мороз. А у Тараса не было сил бороться. Кругом — бескрайнее поле. Только один конопляный стебелек виден из-под снега, как он — одинокий. Пробирался куда-то вперед, но ничего не видел перед собою. Стыли ноги, руки, морозило все тело. Чувствовал, что не холод, а одиночество опустошает его.

И он перестал бороться. Снеговая постель окутала его, холодные мотыльки садились на лицо, на руки, на плечи.

Вдруг он увидел (понял, что это последний сон замерзающего): в холодном воздухе, далеко-далеко, светится открытое окно. За столом сидит старенькая-старенькая женщина — его мать, а в окне — Ольга с ребенком на руках. Она тоскливо смотрит на сына, качает его и утешает, что отец скоро придет, и украдкой вытирает слезы. И это он променял на тот поцелуй!

В последнюю минуту Тарас изо всех сил рванулся,

протянул руку и что-то беззвучно прошептал. Прощения ли просил или хотел сказать что-то важное, самое главное в жизни.

Снег уже заметал его. И снова он делал усилия в борьбе со смертью, снова делал попытки произнести застывшими губами заветное слово. А мороз уже крепко держал его в своих ледяных руках, подобрался к самому сердцу, и все же губы прошептали... Слово было таким выстраданным, горячим, что корочка снега начала медленно таять. А Тарас повторял и повторял его неустанно, и все вокруг оживало.

...Вдруг кто-то дотронулся до его плеча. Кто это? Раскрыл глаза и зажмурился от яркого света. Сначала не мог понять, что с ним происходит. Возле него стояли друзья.

— Что тебе приснилось, Тарас? Ты плакал во сне.

— Снилось? Ах... — вздохнул облегченно Тарас, вытирая пот со лба.

— Нам только что сказали, что ты не поехал. Идем же к нам.

На тумбочке тикали часы, показывали девятый. Еще час до отхода поезда. Тарас вскочил и лихорадочно начал собираться.

— Да ты не спеши, подождем, — останавливали его друзья.

— Что значит — подождете? — спросил Тарас. — Меня? Спасибо, что разбудили. Я же еду встречать Новый год к семье.

Перевод Юрия САЕНКО

МЕСТЬ

Иван встретил рассвет за столом. В эту ночь у него не хватило силы зайти в свою пустую хату.

Вчера к вечеру позвонили из райцентра и сообщили, что в село возвращается Луць Федорчин. Надо, мол, устроить на работу и сделать все, чтобы он снова почувствовал себя человеком. Наказание отбыл, раскаялся. Пусть теперь живет на земле деда-прадеда, у него теперь семья...

— А у меня семьи нет! Слышите, нет!.. — закричал Иван в телефон и с силой бросил трубку.

Что-то треснуло в аппарате, сломалось.

— А, чтоб тебя, собачья кровь...

Вышел из сельсовета, в сумерках побрел крутым берегом над речкой. Остановился там, где речка дугой уперлась в огороды, и представил себе ту страшную ночь, окрасившую пожарами небо, а воду — кровью. Его тогда не было, он ездил в райцентр на совещание. А в это время его маленькую Маричку бандиты схватили, ударили головкой о яблоню — и конец. А Докию, связанную, в реку бросили...

Застонал Иван и, круто повернувшись, торопливо пошел вверх по склону горы. Шел к Луцю, шел поздравить его с приездом. И когда около полуночи, влажный от росы и опьяневший от боли, вошел в сельсовет, ему показалось, что было именно так...

Без стука и без приветствий вошел в хату Луця... Нет, не вошел — рванул дверь так, что она соскочила с петель и отворилась, резко ударившись о стену.

— Собирайся, Луць! Да побыстрее! Сердак можешь не брать, холодно тебе больше не будет. Поцелуй жену и ребенка — это твое право. А на большее права у тебя нет, только на смерть.

— Убить меня хочешь?

— Да. Разве ты на что-то другое рассчитывал, когда возвращался в село?

Губы Луця загрозили, он словно проглотил жгучий комок и хрипло сказал:

— Жену, ребенка пожалей, чем они виноваты?

— Их не трону... Это ты мстил невиновным. Моей Маричке о яблоню голову размозжил, а Докию, связанную, в реку кинул. И хату сжег, чтобы и следа нашего на земле не осталось.

— Я их не убивал, Иван, это другие...

— Ты был среди них! Из-за вас в те страшные ночи женщины сгдели и дети с ума сходили... Ну, выходи скорее! Не трясись, будь смелым хоть один раз в жизни...

Из хаты Луць вышел первым. Иван привел его в овраг, отступил от него и замахнулся гуцульским топориком...

За окном здания сельского Совета темнела ночь. Иван шарахнулся от собственных мыслей.

«А может, не виноват?»

«Виноват, виноват, виноват».

Запустил пальцы в седые волосы и грузно склонился над столом.

В весеннее воскресенье люди вышли из церкви на улицу, перешептывались:

— Луць Федорчин вернулся. Не видали его? Стоял на клиросе, молился и плакал.

— Это гадючьи слезы.

— А может, и не гадючьи? Если уж государство простило...

— У государства параграфы, а у нас сердце...

Вдруг шумок пробежал по толпе:

— Иван идет!

Расступились и затаив дыхание смотрели на председателя сельсовета, который приближался к ним неровным шагом. На лице у Ивана, наискось, глинный шрам. Он блестит, будто из зарубцевавшейся раны просочилась сукровица. Это те когда-то так его потчевали...

Подошел Иван и крикнул:

— Выведите Луця из церкви! Вытащите, пусть святого места не оскверняет!

Два парня бросились через распятие.

На щеках Луця — следы слез.

— На колени здесь! — закричал Иван. — На колени, гадина!

Луць послушно припал к сырой земле.

— Исповедуйся перед людьми!

— Я уже исповедовался... и наказание отбыл.

— Это было твое спасение, а не наказание.

Поднялся шум. Женщины, крича, подносили к Луцеву лицу своих детей. Подростки дергали его за рукава и показывали на почерневшие березовые кресты за церковью. Старики обрушивали на его голову проклятия.

А потом все ринулись на него, чтобы втоптать его в землю.

— Стойте! — крикнул Иван и проснулся...

Было уже девять утра. Солнце взобралось на подоконник. Посыльный подметал двор.

Иван схватил телефонную трубку и кричал в нее, забыв, что аппарат испорчен:

— Район дайте! Дайте район, черт вас побери!..

В это мгновение отворилась дверь.

Иван вскочил с кресла, старый шрам побагровел на его лице и казался свежей раной. Перед ним стоял Луць, вернувшийся в село после отбытия наказания. Вернулся, чтобы честно жить.

Губы Ивана перекосила судорога. Поблекшие Луцёвы глаза говорили с опаской:

«Не напоминай ничего, Иван, хотя ты и имеешь право... Убийц не выпускают... А о том, где я был, не напоминай, сможешь, Иван?»

— Пришел записаться? — через силу вымолвил председатель сельсовета и бросил взгляд на книгу, в которую вписывал жителей села. Толстая, словно старинный фолиант, книга лежала на краю стола, молчаливая и неумолимая, как закон.

Раскрыл ее. К чистой странице прилепилась засушенная муха. Иван соскоблил ее ногтем, сдул на пол, а оставшееся пятно закрыл свеженанписанной фамилией еще одного жителя села.

Шрам на лице побледнел, сравнялся с цветом кожи.

— Посыльный! — крикнул Иван в дверь. — Пойди на почту, пусть мастера пришлют телефон наладить...

Перевод *Юрия САЕНКО*

ЧУЖОЙ ВНУК

Мягко шлепаются наземь спасовки в саду у Тодосия, а на пасеке у Федора роятся пчелы. Тодосий молча собирает краснощекие яблоки в корзину, а Федор ходит между ульями и тревожится, как бы рой не залетел на соседскую яблоню. Пчелам что! Им и горя мало. Вылетит матка с выводком — и пиши пропало. Не то чтобы Тодосий не позволил собрать рой — самолюбие не позволит...

Потому что соседи в ссоре.

Что Тодосий с Федором поссорились, об этом никто не знает, да и не поверил бы никто. Оба в летах —

и тому и другому седьмой десяток идет, и прожили они в согласии целых пятьдесят лет. Еще недавно вместе ходили в лес на работу. Тщательно подсчитывали свои метровки и кучи хвороста, получали заработанные деньги и к воскресному дню возвращались домой. И вспоминали по дороге те времена, когда жилось хорошо, а жилось им хорошо потому, что молоды были. Старость не радость.

А впрочем... И у старости есть свои радости.

Когда у Тодосия начали терпнуть руки и топор все чаще застревал в пихтовом полене, он сказал Федору:

— Э, хватит.. Отработал свое... А старость не страшна — внук прокормит.

И почему-то показалось тогда Федору, что хотел сосед уколоть его этими словами. Он тоже отбросил топор и ответил с подчеркнутой небрежностью:

— И я с голоду не пропаду. Мне пасека хлеб даст...

Сказал и впервые за всю свою жизнь почувствовал Федор, что немощная и безнадежная старость, которую он до сих пор отгонял от ворот, ворвалась все же к нему на подворье и тяжело, как обухом, саданула в грудь: пасеку он имел немалую, а детей и внуков не было у него никогда...

Они с женой прожили долгий век бездетными и, правду сказать, не задумывались над этим. Наверное, потому не задумывались, что внук, которым вздумал сейчас похвалиться Тодосий, был также и их внуком. Да, да... Этот Василько когда-то не мог толком сказать, кого он больше любит — деда Тодосия, мед или дядю Федю.

Василько... Замурзанный, в рубашонке, подпоясанный синей тесьмой, он с трудом одолевал перелаз и изумленно смотрел, как мудрый пасечник в крапивном мешке с решетом вместо дна возится с ульями. А дядя Федор дымил паклей и разговаривал с пчелами, как с разумными существами; дядя Федор подсыпал им сахару в ненастье, а в хорошую погоду отбирал у пчел тяжелую вошину, с которой текла по рукам пахучая темная жидкость; и такой он, дядя Федор, умный, что даже пчелы его слушаются и не кусают.

И любил Василько дядю Федора, может, даже больше меда, может, даже больше, чем...

Но подросток Василько, и стал как-то чуждаться, и от меда отказывался, и тогда слышался Федору голос его

старости, — шел он откуда-то из крапивы, что росла за тыном: «А своего не имеешь, то-то... своего не имеешь...»

Но ведь что кому радость: у кого внуки, у кого пасака.

И сейчас вот... стиснула тоска Федорово сердце, как вощину в кулаке.

— А когда Василь приедет? — помолчав, спросил Федор.

— Теперь уж не скоро. На той неделе я к дочке в город ездил, проводы справляли. В офицерскую школу его приняли.

От неожиданности у Федора дернулась голова и щетинистые усы встали ежиком.

— Как же это так?.. И ты мне не сказал? Да я ведь тоже вроде... поехал бы с тобой... или хотя бы...

— Я, правду сказать, и забыл, — равнодушно ответил Тодосий.

Забыл... Непризна шевельнулась в сердце у Федора. Он стиснул топориче так, что жилы на руках вздулись. Забыл... «А может, тебе, Тодось, просто жаль было поделиться со мной своей радостью?»

...Была весна. Гудели пчелы в цветах, а Федор хозьяничал на пасеке, и не выходил у него из головы этот внук, подпоясанный тесьмой, перепачканный соком черешни, этот Василько.

Тодосий выглянул из-за плетня.

— Вышел бы ты, Федор, хоть за ворота, на свет божий поглядел бы.

— А... все равно всего не увидишь, всего не полюбишь. А пчела — она ровно капля росы, в которой солнце видно, или как ребенок, в котором и свет твой, и любовь...

— Да... Это верно.

— А где же ты был, Тодось? Я уже несколько дней тебя не видел.

— А я к внуку ездил. Недалеко он тут...

Федор вскочил с пенька и затрусил к перелазу.

— Да что ж это ты, сосед, смеешься надо мной, что ли? Да разве я не мог бы дать ему меда фляжку?.. Если уж неловко тебе было чужой дарить, сказал бы, что этой твой. И не соврал бы — с твоей акации пчелы, почитай, литр взяли.

— Да я забыл, Федор, — удивленно пожал плечами

Тодосий. — Вот приедет он будущим летом, тогда и наговоритесь с ним.

Обида змеей обвилась вокруг Федорова сердца, и он едва удерживался, чтоб не крикнуть: «Да разве ж мы чужие с Васильком? Что ты его от меня прячешь?»

И тут почувствовал Федор, как невзлюбил в эту минуту соседа, и пасеку свою, и бабу, которая, сидя на пороге, грелась на солнышке, старость свою возненавидел и, бог мой... даже Василька!

Он подступил ближе и прошипел сквозь прогнившие зубы:

— И долго твоему Василию в рекрутах картошку чистить?

— Ты что, с быка свалился? — оторопел Тодосий. — В каких таких рекрутах? На офицера он учится, Василь!

— Так-таки на офицера? И охота тебе, сосед, людей смешить! Думаешь, так сразу: айн-цвай — и офицер!

— А ты как думал? На тот год с двумя звездочками приедет.

— Пхе, две звездочки! В Австрии две звездочки капрал носил.

Не ожидал Тодосий столь ядовитых слов от Федора. Вскипел... и пошла такая свара, которую старикам и по сей день вспоминать стыдно, но тогда сдержаться ни тот, ни другой уже не могли. Понеслась она, как мутная весенняя вода через плотину...

— Сам ты капрал, старый дурень! Офицером будет мой Василь, понял? Офицером! И на кой черт ему твой мед сдался! Носится со своим медом, как баба с поросенком...

— Перед каждым рождеством и ты с ним носился — от меня получал!

— Свой брал! Со своих яблонь и акаций...

— Так сруби их, если жалко!

— И срублю!

В тот же день спилил Тодосий роскошную акацию, что росла на меже. Грохнулась она к Федору на огород, и рой пчел поднялся над пахучей кроной.

— Пускай теперь жрут!

— А, чтоб тебе самому вытянуться с ней рядом! — Федорова бабка била кулаком о кулак.

В тот же вечер взбешенный Федор приволок из

лесу три елочки и высадил их напротив Тодосиевых яблонь.

А на следующий день обоим было стыдно. Терзался и каялся Тодосий, тяжким камнем лежала обида на сердце у Федора.

Но ссора есть ссора. Легко ли первому запросить мира?

...Падают краснобокие Тодосиевы яблоки к Федору в огород и пропадают в росе. Никто их не собирает.

А у Федора того и гляди вылетит рой и тоже может пропасть. Только бы не сейчас... Только бы... Но...

Вывался из крайнего улья. «Ну?.. Ну? О, чтоб тебя громом убило!» Закрутился спиралью в небо и легко, словно клубок дыма, опустился на Тодосиеву яблоню.

— А, пропади ты, треклятое племя! — в сердцах вскричал Федор. — Не нужны мне и остальные... Для кого?

И теперь ему уже ничто не мило — ни пчелы, ни сама жизнь...

А перед вечером сельский почтальон, который ничего не знал о ссоре соседей, крикнул через плетень на оба двора:

— Тодосий! Федор! Магарыч ставьте, ваш Василь завтра приезжает! Принимайте телеграмму!

Глянул Тодосий на Федора: дескать, что теперь будет? А у Федора слезы — кап-кап! — и побежали по изборожденному морщинами лицу.

Федор прикрыл лицо ладонью и тихонько, чтоб не слушал сосед, сказал жене:

— Старуха, помой кадушку, мед отжимать буду.

Но Тодосий видел и слышал... И теперь уже все понял. Ночью вышел он в сад и, хоть непривычен был ходить за пчелами, собрал кое-как сонный рой и отнес Федору на пасеку.

Не спалось и Федору. На рассвете он срубил елочки и оттащил в овраг.

А утром соседи, потоптавшись смущенно каждый перед своей хатой, вышли наконец разом за ворота и молча пошли к автобусной станции.

— Так, говоришь, две звездочки у нашего Василька? — спросил Федор.

— Две, две, а как же! — гордо ответил Тодосий.

В ДОРОГЕ

Мчится автобус широкой проезжей дорогой. Полсотни жизней человеческих минуют в нем небольшой отрезок своего пути. Полсотни жизней проносятся рядом, как придорожные тополи. Сошел на своей остановке — ни тополей этих, ни людей.

Жизнь не проходит одной и той же дорогой дважды.

...На заднем сиденье автобуса трясет, и голоса людей дробятся, как лен на трепале, — там балагурит какой-то весельчак. Он так и сыплет шутками, двусмысленными остротами. Смуглая девушка отвернулась к окну и, зажав рот ладонями, сдерживает смех; молодницы раскраснелись, с улыбкой поглядывают на парня, подбрасывают и от себя словечко, а он не пропускает никого, чтоб не наклеить ярлычка. У парня ухарский вид, глаза дерзко поблескивают, — кто знает, может, парень подвыпил.

Рядом с ним сидит старушка. Из-под платка выбились прядки седых волос, щеки впалые, глаза грустные, а на шее как-то резко выпятились сухожилия.

— Трясет, бабушка? — спрашивает парень.

— Трясет, милоч, — отвечает.

— Почему же дома не сидите, а звоните костями по дорогам, как невеста ложками в святой вечер?

Смуглянка у окна прыснула в кулак, восхищенно глянула на парня, а тот лукаво подмигнул ей — и опять к старушке:

— А вы случайно не на ярмарку, бабушка?

— Нет, не на ярмарку, сынок, — прошамкала. — К дохтуру, в Новоселицу, зубы вставлять еду.

Смех.

— А без зубов, бабка, на тот свет не берут? Зубы ведь деньги большие стоят...

— Может, где за деньги, а в Новоселице докторша задаром вставляет... А на тот свет, говоришь... Ого... К богу отправиться всегда поспею.

Как-то сразу посуровело лицо у парня, и неожиданно сказал он такое, что молодницы охнули, а бабка перекрестилась.

— Когда отправитесь к этому своему богу на небо, скажите ему, что не по-божьи он поступает. Вас вот на свете долго держит, а мою Гафийку...

— Свят-свят... — снова закрестилась старушка.

— Не креститесь, рогов не ношу. Я в небо камни не швырял и окна богу не бил, так зачем же он мою Гафийку... Эх, бабка, бабка... Сиротки остались, как росинки на солнце...

Застыла улыбка на губах у смуглянки, удивление и ужас тенью залегли в голубых глазах; молодницы простили весельчаку богохульство, повернулись к нему лицом и сочувственно кивают головой.

— А я вот хожу по свету как очумелый, людей смешу — боль свою глушу, по вечерам дома с малышами в прятки играю, а утром обещаю им маму привести.

— Надо, надо, сынок. Женская рука детям нужна, ласка... Ты не для себя, для детей ищи, — отозвалась старушка, и голос ее был теплым, как пашня после дождя.

— Только для детей, говорите... Как будто я ваш ровесник... Да искал уже, искал. И нашел, даже полюбилась мне она. На смотрины ее привел. Увидел ее мой меньшенький и: «Мама, мама!» — да к ней на колени. Припал к груди — и ботиночками на шалевую юбку. Отшатнулась она, поставила на пол ребенка, встряхнула подолок... И все. Заплакал меньшенький, а старший за руку его да из хаты вон. А Гафийка, бывало, отшлепает, за уши отдерет сорванцов, а они все равно к ней липнут, как гусята... Да, да... для себя-то найти легко...

Прослезился весельчак, вздохнули молодницы, а смуглая девушка у окна даже с места поднялась и глаз с парня не сводит.

Шофер притормозил, остановил автобус.

— Новоселица! — крикнул кондуктор.

Засуетилась старушка, поднялась, пошла к выходу.

— Пойду и я с вами, бабка, — сказал весельчак, и снова маска беспечности легла на его лицо. — Провожу к доктору. Вставьте зубы, помолодеете, так, может, и поженимся. Сами говорите — для детей только...

Вышли вместе. Шофер закрыл двери и включил мотор.

— Подождите! — прозвенел голос смуглой девушки. — Я еще не сошла.

...Мчимся дорогами. Проносится мимо нас частица огромного мира. Большая частица, неповторимая —

жизнь одной дорогой не ездит дважды. И потому мы счастливы, когда удается остановиться на миг в безудержном лёте времени и отчетливо увидеть хоть одно лицо среди сотен лиц, промелькнувших мимо.

Перевод Юрия САЕНКО

ПОРВАННАЯ ФОТОГРАФИЯ

Выслушай меня спокойно, прошу тебя. Ты ревнуешь меня ко всему, даже к нереальному. Мало того, что я не имею права заговорить неофициальным тоном со знакомой женщиной, — мне еще и не могут нравиться артистки кино, а из моего альбома исчезли почти все фотографии прежних моих знакомых девушек, тех, которые давно уже обзавелись собственными семьями и любят своих мужей. Правда, может быть, иной, нежели ты, любовью. Однако они оставили в моей памяти теплые воспоминания о юности. Смотри, у меня в висках седина, у нас две маленькие девочки, которым мы отдаем свою собственную молодость, у меня столько хлопот и забот, столько работы, а ты еще и к работе меня ревнуешь. А сегодня ты так варварски порвала фотографию Лиды. Чем она перед тобой провинилась? Что когда-то любила меня, что я ее любил?

Теперь ты складываешь кусочки старого фото, плачешь, просишь прощения, хочешь склеить их...

Их можно еще склеить, можно перефотографировать, но не склеишь уже того, что порвалось здесь, в самом сердце. Ведь и у тебя были свои святыни. Возможно, это не была первая любовь. Разве непременно любовь? Может быть, это был один весенний день, в который ты всем сердцем почувствовала красоту и силу солнца, когда тебе хотелось упасть на землю и целовать еще не высохшие росинки весенней ночи, когда ты впервые почувствовала свою зрелость? А может быть, это был утренний богатырский иней в вишневом саду, может, встреча Нового года, единственный новогодний карнавал, запомнившийся на всю жизнь?

Это было, это должно было быть и у тебя. Ты унесла его с собою, как драгоценное сокровище, в долгую дорогу жизни. Это сокровище помогает тебе жить. Этим не угасшим в пепле будней огоньком согреваешь ты свою семью, воспитываешь детей, встречаешь меня, когда я прихожу, утомленный, с работы. Я рад, что он есть у тебя, и всегда стараюсь поддержать его горение. Я знаю, что в трудные минуты он поможет тебе бороться, он — ощущение прожитого полно, всеми силами и способностями твоего «я», пережитого, выстраданного, неповторимого дня в твоей жизни.

Нет, нет, ты напрасно просишь меня, чтобы я не сердился. Я совсем не гневаюсь, мне просто больно, даже как-то пусто в сердце. Пойми — это чувство сильной и нежной любви, которое живет в моем сердце, которое я трепетно перенес в наш семейный уголок, неотъемлемая частица нашей жизни. Когда я целую перед сном наших детей, целую твои работающие руки, это благодаря тому, что во мне живет такое неугасимое чувство. Оно родилось во мне благодаря женщине, чье фото ты сегодня разорвала.

Не плачь, я больше не буду упрекать. Расскажу только одну бль, которую услышал совсем недавно от матери. Да, да, от моей старой матери, которая еще и теперь плачет при воспоминании о давно умершем муже. В ее комнате висит небольшой портрет красивой женщины. Это любимая женщина моего отца.

Тяжело пережив неразделенную любовь, отец покинул те места, где каждый предмет напоминал о ней, осел в глухом горном селе, учительствовал там, а со временем и женился. С собою он взял только ее фотографию.

Однажды мама застала отца склоненным над столом. Он так углубился в свои мысли, что не услышал, как она подошла к нему. Она хотела по-детски закрыть ему ладонями глаза и спросить, что с ним, но вдруг увидела фото красивой женщины и слезы... слезы на глазах мужа.

Отец смутился, попытался незаметно спрятать фотографию в карман и пожаловался на головную боль. Но тут же почувствовал, как наивно звучит эта неправда. Рассказал все жене и отдал ей в руки свою святыню.

Мать молчала весь вечер. На другой день, вернувшись с работы, отец увидел над своим столиком фотографию. Это было сверх его ожидания. Он снял со стены фотографию и хотел бросить в печь, но мать остановила его:

— Фотография сгорит, но сгорит ли она в сердце?

— А как же иначе?

— Нет. Пусть висит. Придет время — снимешь...

Отец снял фото через многие годы. Снял, будто ненароком, перед побелкой и больше его не вывешивал.

А после смерти отца мать достала из сундучка пожелтевшую фотографию незнакомой женщины, вечно молодой и красивой соперницы, вытерла ее и вновь повесила на стену над столиком отца. Это была память о начале полного ее семейного счастья, доверия, взаимного понимания.

Ты еще никогда так не говорил со мною... Почему ты всегда был молчалив и этим разжигал мою ревность? Прости меня... Нет, даже прощения не могу просить у тебя сейчас... Я поняла, что любовь — это негаснущее чувство. Родившись однажды в сердце человека, оно не уходит, оно живет, светит и излучает теплоту. Мне горько, что я порвала фотокарточку. Не слишком ли это дорогая плата за то, что я почувствовала себя счастливой?

Перевод Юрия САЕНКО

ПРУТ УНОСИТ ЛЕД

Онуфрий Горда еще в силе. Лед ломается, скрежещет, наваливается на борт парома, а Горда шестом отталкивает льдины. Женщины, затаив дыхание, прижав узлы к груди, от страха молчат. А паром — как брошенная в разбушевавшиеся весенние воды щепка.

Прут уносит лед.

Он тяжелыми глыбами трется о берег, крушит камень, грозно рычит под днищем парома.

Горда уверенно забрасывает, словно прочь от себя, длинный шест, вонзает его окованный конец в речное

дно и сам всей своей тяжестью повисает на нем. Шест гнется, кажется — вот-вот переломится и паромщик полетит за борт. Крепкие руки упруги, как тетива, жилы на шее синеют от напряжения, но шест выпрямляется.

Горда один.

Берег еще далеко. Паром то будто застынет на месте, то словно стремительно несется вниз с пенящейся ледяной кашей. Маленький мальчик со слезами на глазах, уцепившись за мамин подол, смотрит на Горду. Тот улыбается малышу. Не бойся, сынок, Горда отвечает за тебя. Горда отвечает за людей. Жилы на руках лопнут, шест переломится — зубами уцепится, а доведет паром до берега, потому что это его родные люди, его родная река, его родная земля.

...Тридцать лет не видел ее. Полжизни растратил на чужбине попусту, ни за понюшку табака, — счастья искал. Тридцать лет... А все еще помнит, как упала его прощальная слезинка на скованный льдом Прут. Не от нее ли — горячей, горькой, жгучей — двинулся тогда на Пруте лед? А дальше — бразильская нужда, бойни Чикаго, чужая речь, неприветливый край и тоска; тоска... Казалось: если б вернулся, упал бы грудью на родную землю, целовал бы ее, обнимал бы людей и наказывал никогда не оставлять родного края.

А годы шли. Шумели весенние мутные воды, задумчиво текли осенние реки, но Горда никогда не забывал своей родной реки... Словно еще вчера блестел скованный ледяным панцирем Прут, казался спокойным и покорным, дрожал под полозьями саней и конскими копытами, скрипел под ногами пешеходов, молчал, будто немой, безъязыкий. Но пробудилась сила, расколола холодный панцирь, ничто уже не остановит свободный бег реки.

Крепко-накрепко слился в сознании Горды образ его родной реки с образом народа. Это была уже не река, это был его народ, здоровый, могучий, а он как осколок, опустошенный тоской, согнутый нуждой, хворый, беспомощный.

...Горда вернулся летом. О, это был веселенький праздник! Идя по берегу Прута, он нагнулся, горстью зачерпнул воды, напился, — нет, это не сон, он и вправду здесь, у себя на родине, на родине!

А потом переплыл на другой берег. Дрожащими ру-

ками ухватил шест, как бывало, погнал паром по тихой воде и ощутил, как молодая сила волной вливается в руки и в сердце. Нет, он еще поживет, напрасно он думал, что вернулся только затем, чтобы умереть на родной земле. Ого! Он еще покажет людям того, бывшего паромщика Горду — молодого парня, даром что седая борода стелется по груди и морщины помяли лицо.

...Гнется, поскрипывает шест, крестится в страхе старушка, спокойно смотрит Горда, затаив суровую усмешку где-то в уголках глаз и в изломах бровей...

...Пройдут еще долгие-долгие годы, а Горда будет таким же молодым, как его родной край, прогнавший панов, сбросивший цепи, уничтоживший виселицы, его молодеющий, бессмертный край. С чего бы это Горде стареть и выпускать багор из рук? Он будет вечно молодым. Глянет задумчиво на синеватые горы вдаль, глянет на покрытые налитыми колосьями просторы за Прутом, тихую песню пошлет притомившимся хлеборобам, приласкает взглядом ребенка; старую боль перечеркнет усмешка на лице старика, и навстречу красному солнцу над горизонтом блеснет в глазах скупая, не болью вызванная, искренняя слеза.

Пройдут годы, а он будет стоять на страже родных полей, смотреть в чистое небо, следить: не идет ли гроза из-за горизонта, не застонет ли перед бурей, цепляя крылом прозрачную воду, белокрылая чайка?

Перевод Юрия САЕНКО

ОТЕЦ

Это было в ресторане на вокзале. Дед Панас хотел поужинать. Долго не решался войти со своими мешками, потому что в зале слышалась музыка, а за столиками сидело, как он думал, сплошь одно начальство. Но надо было подкрепиться. Дед снял шляпу и поклонился швейцару:

— Можно?

Вошел, огляделся, ища свободное место, и слышит — кто-то его окликнул. Это был старый знако-

мый — Марко. Когда-то на сплаве вместе работали. Радостно было встретиться через много лет!

Пили пиво по случаю встречи.

Марко расспрашивал о жизни, Панас скупно отвечал.

— А дети как?

— Была Оленка, да и та...

— ?

— Поехала учиться во Львов. А тут война. Дознался от людей, что немцы угнали. Так и не вернулась.

Пиво пили, а до котлет не дотронулись.

Панас вынул люльку.

— Кури папиросы.

— Это можно.

Марко заказал еще пива.

— А может, и вернется. Бывает такое. Нет и нет, а потом, глядишь...

— Да где там...

— Все может быть.

Ни один, ни другой не верили, но обоим хотелось верить.

— Где-то в Коломые, — это уже Панас, — вернулся сын к отцу. Через двенадцать лет, а все же вернулся.

— Я и говорю.

— Тому было всего пять лет, когда его угнали.

— А твоей?

Дед Панас задумался, припоминал.

— Теперь была бы такая, как эта, — указал он на молодую женщину, сидящую за соседним столиком. Остановил на минутку теплый взгляд на ее красивом лице. Потом вынул из мешка бутылку. — От сестры еду, так она вот сливянку дала на дорогу.

— Ну и вез бы домой.

— Нет у меня никого. Одни стены...

Налил вина в стопки.

— Кабы объявилась, все село напоил бы допьяна.

— Пейте, кум.

— Дай боже!

Дед Панас думал о том, какой бы это был праздник, если б Оленка вернулась. Спрашивал, сколько детей у Марка. Аж четверо, слава богу.

— А у меня... Пейте, кум, — угощал дед, словно у себя дома. И красивая была, как эта...

Женщина улыбнулась, Панас решил, что ему, и потому через стол поклонился. Она удивленно пожала плечами и что-то шепнула своему соседу.

А Панас говорил, или, может быть, ему это только казалось:

— Я ей одно наказывал: «Учись и учись». В школе ее всегда хвалили. А книжки такие мудреные читала, что я в них ничего не мог разобрать.

Дед наливал чарку за чаркой. Не заметил даже, как Марко расплатился, попрощался и ушел, торопясь на поезд.

«А что, если б это была Оленка? Попросил бы ее за стол и спросил бы: помнит ли она своего отца? Или лучше так: на все деньги, что у меня с собой, купил бы ей платок».

Он уже не пил, а только смотрел на молодую женщину и воображал себе, что это его дочь.

«Так вот, подарил бы ей платок. Да что — платок! Она платка, наверное, и не носит. Потому — в городе выросла». Но он ничего больше не мог бы сегодня купить. Такой платочек, в полоску, с длинной бахромой, он видел в ларьке на вокзале. Вот его и купит. Сложит аккуратненько, подойдет к столику и скажет: «Не знаю, чья вы, но у меня Оленка была такая, как вы, так возьмите себе». Вот и все.

Он представлял себе и даже начинал верить, что дальше будет так: она очень удивится, потом вскочит из-за стола, бросится ему на шею и крикнет:

«Таточко родненький, да это же я!»

Тогда он заберет ее домой, созовет все село и справит такой праздник, какого свет не видывал.

А молодая женщина смотрела на него. Деду Панасу даже казалось, что она очень пристально смотрит, словно узнает. Да и самому Панасу уже кажется, что он узнает черты родного лица: волосы с таким же пробором посередине, круглолицая, ямочка на подбородке... Хотел уже вскочить и крикнуть: «Это я, я! Отец твой!» Но не осмелился, — а вдруг не Оленка? Лучше всего будет сделать так, как задумал. Пошатываясь, потому что от сливянки зашумело в голове, Панас вышел в вестибюль. Отыскал ларек. Купил платок, такой в полосочку, с длинной бахромой. Возвращался, спотыкаясь о чьи-то узлы. Но за столиком уже никого не было. Этого не ожидал дед Панас. Словно выдерну-

ли у него из-под ног последнюю доску на шатучем мосту, будто сердце вынули из груди и положили на его место что-то ледяное. Понимал: это была не Оленка, стало быть, не о ком жалеть. Но после сладостной мечты обрушилась холодная пустота.

В руках — платок. Это все, что ему осталось. И разве еще слезинка из всего его богатства. Вот она блеснула, скатилась по седому, щетинистому лицу, затерялась, оставив лишь соленый привкус на губах.

Перевод Юрия САЕНКО

ПЛЮШЕВЫЙ МЕДВЕЖОНОК

Снег местами уже побурел, ветки вербы покрылись котиками. Откуда-то повеял дивный запах — то ли колотых буковых поленьев, то ли ольховых опилок, — откуда он налетел?.. Меня охватило беспокойство. Так бывает, когда из памяти вдруг ускользнет только что оформившаяся мысль.

Когда это было? Когда еще так пахла весна?

Кончиками пальцев прикасаюсь к плюшевому котику на веточке, и опять... что-то совсем было вспомнилось и тут же исчезло, как неуловимые картины перед глазами засыпающего.

«Верба бьет, не я бью... верба бьет, не я бью...» — пытаюсь воскресить в памяти что-то далекое. Напрасно!..

Ко мне ластится ветка вербы, еще раз захватываю горстью пушистые котики, а они нежные-нежные, как кошачьи лапки, как гусиный пушок или... или?

А что, если войти к себе в комнату и коснуться пальцами какой-нибудь старой вещи или книги?

Но в комнате развеялось даже это смутное ожидание. Пришла почта, жена подала мне письмо. Опять деловые. Неужели хоть сегодня нельзя без них обойтись!

Машинально вскрываю белый конверт с голубой каемкой — гляцевитая открытка скользнула в руку. Гм, с днем рождения кто-то поторопился поздравить! И, почему-то довольный, что жена не спросила, от кого, торопливо иду в свою комнату.

«Поздравляю, Андрийко! Сто лет!

Плюшевый медвежонок», —

и обратный адрес.

Марта!.. Смотри ты, через столько лет! Стремительно направляюсь в кухню. «Галина, знаешь, от кого поздравление?» — хочу сказать и уже открыл дверь, чтобы поведать Гале полузабытую историю из моей далекой юности. Это же так интересно! «Наша Ульянка скоро в школу пойдет, Игорек уже на лошадку игрушечную взобрался, а поздравление знаешь от кого?» Но тут я осторожно прикрываю дверь, воровато прячу в карман открытку и внезапно ошеломляю жену известием, что завтра уезжаю в командировку. Что? День рождения? Успею!

На следующий день теплее, чем обычно, прощаюсь с семьей, и вот уже мчит меня поезд, в окна дышит знакомыми запахами весна, покачиваются ветки верб с тысячами плюшевых медвежат.

Что я делаю? Для чего это?..

«Ни для чего, слышишь ты! — кричу я в ответ голосу совести. — Поездка в молодость, понятно? Я имею право на свое прошлое, замолчи!»

Смело нажимаю на кнопку звонка, он почему-то боязливо и коротко звонит, растягиваю губы в скептическую улыбку, но они, как назло, сжимаются плотно и напряженно, принимаю нарочито небрежную позу, но чувствую, что весь подобрался, как туго сжатая пружина.

Легкие шаги за дверью, — наверно, в тапочках. Затаил дыхание. Выстрелил замок, вскрикнули дверные петли. На пороге та самая девушка, которая когда-то в десятом классе сидела за соседней партой та золотоволосая Мартуся, из-за которой ссорились мальчишки, та самая, которая когда-то шептала мне: «Губам больно, наверное, не так надо целоваться?»

Та самая девушка!.. Но такой она была лишь одно мгновение. Смущение, испуг разлились по лицу, и она снова стала другой, вернее, не другой, а теперешней. На одно лишь мгновение юность ожила и исчезла.

— Андрий! — тихо вскрикнула эта чужая женщина. — Что ж ты...

— Здравствуй, Марта...

Она еще продолжала стоять в дверях, решительно загородив вход в свое святилище, потом руки ее опу-

стились, а я переступал с ноги на ногу, не зная, с чего начать разговор.

— Я узнал твой адрес и...

— Что ж ты...

Внезапная злость прогнала мое смущение. «Я же не просил тебя указывать на поздравительной открытке свой адрес, не просил и поздравлять меня... Столько лет молчала, могла бы и до конца не отзываться; твои прежние капризные выходки уж никак не подходят к этим лучикам у глаз и подковкам по обе стороны губ, и если это еще один эксперимент надо мной, так захлопни дверь перед моим носом».

— Что же ты стоишь? — наконец вымолвила она, потянула меня за руку, провела в комнату и долго смотрела на меня, стараясь прочесть по седине на висках, по морщинам повесть моей жизни.

— Такой, как был... Садись!

«Нет, не такой... И ты не такая, Мартуся. Твое когда-то тоненькое тело налилось теперь щедрой зрелостью — так зеленая вишня наливается спелым соком в июле, твои резкие движения сменились плавными, грациозными — чужими. Ты очаровательна, но не та, и мне грустно, что я не могу сейчас вспомнить нашу юность, ты прелестная женщина, в которую можно до беспамятства влюбиться, но ты не прежняя Мартуся, и я не тот. И мне взгрустнулось сейчас по нашей молодости...»

— Я постарела, да? — Она подошла к кушетке, движением пальца раскачала плюшевого медвежонка, висевшего на стене. — Вот он не старится. Узнаешь? Смешно, что я и поныне так называю себя, правда?

Я не ответил, потому что это была правда.

Медвежонок смотрел на нас выпуклыми бусинками глаз, удивляясь, почему с ним больше не играют, не подбрасывают, не ласкают его и не целуют, почему он из любимой игрушки обратился в скучную декорацию. Он повернулся на ниточке, глянул на меня:

«Я сразу узнал тебя. Где же ты был столько времени, как жил?»

— Как поживаешь, Андрий? — спросила Марта.

— Помаленьку, — ответил я.

«А меня ты припоминаешь? — опять вмешался медвежонок. — Я же вас и познакомил обоих. Как-то ве-

чером — весна тогда была такая же, как нынче, — ты подошел к костру, который мальчишки развели на выгоне возле дома, где ты жил, и увидел, как кудрявая русая девчонка прыгает вместе с ними через огонь. Ты стоял в тени, не сводя с нее глаз, а потом, когда костер погас, пошел следом за ней и спросил: «Кто ты?» — «Я Марта. Приезжая. Буду учиться в первой школе, а завтра у меня день рождения». Вот ты и купил меня в подарок Марте, а потом и ее назвал как меня.

— Кто твой муж, Марта?

— Инженер. Сейчас в экспедиции.

— Степан?

— Нет, не Степан..

Медвежонок снова крутнулся на ниточке, и пока в комнате царило молчание, вспоминал он.

«Потом между вами появился Степан. Он любил похвастаться отцовским полковничьим званием, хорошо танцевал, всегда был вежливым, но манерным. Девушки им увлекались, а ты ревновал и ехидно называл Степкой-бесклепкой. Ты мог его вовсе не бояться, Марта любила тебя. Но ты сам выдумал соперника. Ты изводил бедную девушку, упрекал ее, дулся, называл кокеткой. Она часто плакала, прижимала меня к сердцу. Потом перестала ласкать, потом совсем обо мне забыла. И ты не приходил больше. Мне стало грустно. А потом я услышал такое, от чего мне захотелось заплакать: Степка-бесклепка пожелал, чтобы Марта выкинула меня вон, — мол, уже не ребенок. Она не послушалась, но сняла меня со стены, где я висел над кроватью, и спрятала в комод».

— Вы давно разошлись со Степаном?

— Мы и не были женаты.

«В комод я пролежал немало времени. Наконец открылось оконце моей тюрьмы, нежные руки Мартуси взяли меня, она плакала надо мной, — наверное, просила прощения, хоть я и не сердился.. А потом появился третий».

— Ты очень любишь своего мужа?

— ?..

«Этот третий совсем ко мне равнодушен. Даже не замечает. Да и вообще обо мне часто забывают. Разве иной раз Мартуся возьмет меня в руки, приласкает, поцелует.. А где ты так долго пропадал?»

— Где ты был эти годы, Андрий?

- Везде понемногу... Как ты узнала мой адрес?
- Нашла...
- Для чего?
- Не знаю...

А часы на стене тикали упрямо. Те самые старомодные часы, которые отсчитали уже шестнадцать лет со времени нашего знакомства, которые начали теперь счет семнадцатому году, и нам обоим не хотелось смотреть на них. Я присматривался к этой красивой чужой женщине, она совсем не похожа была на маленькую мою Мартусю, но мне хотелось смотреть на нее без конца.

— У тебя есть еще время, Андрийко. До поезда — целый час.

Мы пили вино. Вели какой-то пустой разговор. Оба втайне ждали, чтобы скорее прошел этот час, который встал на меже нашей встречи и разлуки, но когда час перешел за эту черту, нас вместо радости охватил страх перед неизбежностью.

Я начал торопливо собираться.

Марта, побледнев и ссутулившись, вымолвила еле слышно:

- Куда сейчас... на ночь глядя?..
- На вокзал... Скоро поезд.

Она повернулась к стене, сняла плюшевого медвежонка и протянула мне:

- Возьми его с собой...

В ее голосе дрожала мольба и отчаяние. Я понял: она хочет сегодня освободиться от этой памяти, как и от всего, что связано с нею. Сжиться с сегодняшним днем наше прошлое в ее сердце не может.

- Выбрось его...

Она загородила мне дорогу, протянула руку с медвежонком, прекрасная и чужая. Родной в этом доме была только плюшевая игрушка. Я провел пальцем по лбу медвежонка, до меня еще раз дотронулась весна вербными бархатными котиками, дохнула в последний раз запахами колотых буковых поленьев, а передо мной стояла совсем чужая женщина, которую я вижу впервые, которую можно полюбить до беспамятства.

Я остался.

...Лежу на кушетке. Марта — в спальне. Надо мной раскачивается мой плюшевый друг, моя юность. Она

стала сегодня игрушкой, ее можно выбросить и растоптать. И можно сохранить.

Забываю о жене и детях, в спальне ждет меня милая женщина. Нет, не Марта, совсем другая женщина, которая встретила меня только сегодня.

Срываю с кушетки, медвежонок закачался сильнее, заблестели в темноте его бусинки-глазки.

«Постой! Заслони ладонью глаза и хорошенько присмотришься. Видишь? Гаснет костер у ивняка, искры от него взлетели к небу и повисли над головой, все разошлись, и худенькая тень четко вырисовалась на фиолетовом фоне неба. Затаив дыхание подходишь ты к этой тени, она оживает, дрожит, убегает, чтоб подалее от людей и от звезд уйти, утонуть в прохладе ночи и в твоих объятиях. Ты видишь это? Ты слышишь, как пахнет талый снег на потемневших лугах, слышишь, как ластится к тебе ивовая ветка своими бархатными котиками? Не топчи этого, вы возненавидите себя, когда поймете, что уничтожено вами навсегда».

Отрываю от глаз ладонь, порываюсь вперед.

«Стой! Степка-бесклепка обидел ее... так же, как хочешь это теперь сделать ты».

«Замолчи. Она давно должна была быть моей...»

«Погоди еще минутку. Еще раз заслони глаза ладонью».

Прикрыв глаза, лежал я на кушетке до рассвета, и мне виделась сны моей далекой юности.

Утром я услышал, как Марта молча хозяйничала на кухне. Я стоял одетый посреди комнаты с чувством неловкости или вины и не знал, как с нею теперь попрощаться.

— Садись пить чай, — тихо сказала она и скупо улыбнулась. И не знаю, от этой ли мягкой, спокойной улыбки или от первых лучей солнца ее лицо стало нежнее, моложе; за ее спиной на стене тикали старомодные часы, и я вдруг увидел, как стрелки бешено завертели назад, возвращая нам час за часом целые годы: стройнее становилась Марта, таяла седина у меня на висках. Я робко подступил к ней, хрупкой, маленькой моей Мартусе, и неуклюже сжал ее в объятиях.

— Губам больно, — прошептала она, — наверное, не так надо целоваться, мой хороший, милый Андрейко...

...Гремит, летит мой поезд по весенней земле, по полям,—я возвращаюсь из далекой поездки домой. Все более четко вырисовываются очертания лиц жены и детей. Бьет могучим прибоем в мою грудь весна, и я впитываю ее ароматы, вдыхаю запахи то ли буковых поленьев, то ли ольховых опилок, а в ивняке танцуют тысячи плюшевых медвежат и улыбаются мне.

Перевод Юрия САЕНКО

АИСТОВ ОГОНЬ

Тонконогие, высокие, головки звездочками, красные и не пышные, растут на зеленых левадах цветы. Это — аистов огонь.

Густо, один возле другого, как конопля, — и до самого края левады мелькают они багряными брызгами, словно накаленный докрасна воздух, будто мираж.

Никогда не могу равнодушно пройти мимо. С волнением в груди, как на свидание с любимой, иду, срываю цветы, а далекое воспоминание грустью и лаской тревожит сердце.

Это было давно, еще в сельской школе. Чуть ли не каждый день я оставался после уроков в классе. Было горько. До слез. Вылетали, выскакивали из класса дети, как вспугнутые полевые кузнечики из травы, кричали, смеялись, не обращали на меня внимания. Только маленькая Анечка всегда сочувственно улыбалась мне. Беленькая, синеглазая, с волосами, как вытрепанный лен, острый носик, щечки — спелые яблочки. Но я ей не отвечал улыбкой.

...Как-то учитель снова наказал меня — оставил в классе. За что — не помню. Меня должны были запереть в классе и продержать до вечера. Я не мог вынести такого тяжелого наказания. Смотреть из окна на село, слышать голоса, смех, видеть веселые игры моих свободных товарищей было нестерпимо тяжело.

Учитель, помню, сказал насмешливо:

— А может быть, кто-нибудь хочет остаться вместо него?

Все ответили дружным смехом. Только Анечка проговорила тихо, не поднимая глаз:

— Я останусь.

И осталась.

Это было удивительно. Почему?

Я пас своих коров, она — чужих. Меня отец жалел, жаловался старосте на учителя, а ее никто никогда не жалел. Коров мы пасли вместе. Я — двух, она — восьмерых, принадлежавших Бойканюку. Я разжигал костер осенью и грелся, она же не попевала — то и дело бегала за коровами. Я не помогал ей, не делился с нею свежим, румяным хлебом.

И все же она осталась.

А однажды я собрал букет аистова огня и шел домой. Она встретила меня и попросила один цветочек, только один. Если не дашь — моя хата сторит. Так люди говорят. Протянула руку, доверчиво посмотрела, не ожидая отказа.

— Дай только один, я его вплету в косу.

Из-под полинявшей косынки глаза смотрели пыливо:

— А может, не хочешь?

Я отвернулся.

— Дай только один, самый маленький.

— Ничего не дам.

...И все же она осталась!

А теперь я смотрел на нее, только какая-то пелена в моих глазах не позволила мне увидеть ее голубые, как васильки. Мы стояли молча, пока класс не опустел, пока учитель не пробасил:

— Ну, чего стоишь?

И за Анечкой щелкнул в дверях ключ.

Мне не хотелось идти домой. Из школы — на леваду. А там ощущаешь прикосновение ветра, влажного, мягкого, свежего, как родниковая вода. По леваде важно расхаживает аист, что-то ищет клювом в осоке, совсем не боится меня. Я даже мог бы погладить его шелковистые перья, да времени нет. Аист ищет лягушек, а я быстро срываю цветы аистова огня. Вот уже и вечерние сумерки опускаются в долины.

...Анечка еще в классе. Я возвращаюсь в школу, тороплюсь — я еще должен ее там застать, дать ей не один цветок, а целый букет, должен ей сказать что-то хорошее. Бегу, а теплынь хлоп да хлоп в груди.

Но ее уже в школе нет.

Я — стежкой, через огороды, к Бойканюковой усадьбе, хочу догнать Анечку, но напрасно.

Крадучись подхожу к окну. Оно уже светится. Заглядываю — в уголке на длинной скамье сидит и плачет Анечка. А Бойканюк, будто высосанные недокурки, бросает слово за словом из-под пожухлых усов:

— Не будешь больше, дрянь, ходить в эту школу!

Стою еще минуту, другую, лает собака. Может выйти хозяин. В глазах у меня жжет, будто соли кто сыпнул, что-то сдавливают горло.

Анечка сидит в уголке на длинной скамье и плачет. Она уже не пойдет больше в школу.

А в руках моих — букет аистова огня. Если не разделю — сгорит наша хата. Так люди говорят.

А у Анечки хаты нет, ей можно весь букет отдать. Но она сидит в уголке на скамье и плачет.

Разбрасываю цветы по всей крыше и убегаю. Ох, хоть бы скорее загорелась! Но крыша не загорелась.

А на другой день я бежал на луг, где паслись коровы Бойканюка. На тропинке над зеленой травой двигалась, удалялась маленькая фигурка в полинялой козыночке, с узелком в руках. За ней, мыча, шла черномордая Беянка и бежала вслед телочка. Анечка остановилась, вынула краюшку хлеба, ткнула в мордочку, погладила. И быстро исчезла за кустарником...

...Где ты теперь, русая, синеглазая, славная девушка? Передо мною часто встают леса и левады, — вижу ли их из окна поезда, прохожу ли по ним пешком, а всюду разливается оно, это розовое марево — багрянец, рассыпанный в сочных травах.

Может быть, ты нашла свое счастье и теперь также с улыбкой на устах вспоминаешь далекое детство?

Или так и зачахла где-нибудь в наймах?

Где ты теперь?

Улыбка любимой девушки, мягкий взгляд незнакомой, иногда молодая мать с малышом на руках невольно заставляют меня остановиться, приглядеться.

Может быть, это ты?

Тонкие стебельки, высокие, головки звездочками, алые и не пышные, — я их срываю, ставлю на свой столик ярким букетом, дарю любимой своей...

Пусть горит аистов огонь.

Перевод Юрия САЕНКО

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Говорят, что места великих писателей ныне свободны, стало быть, есть к чему стремиться молодым. Мне попалось стихотворение, где говорится об очереди, растущей к такому освободившемуся трону. Однако очевидно, что никто из этой очереди не может претендовать на место великого. Просто занять его невозможно, как невозможно успешно идти чужой дорогой, будто своей собственной,— нужно своими силами проложить свою единственную тропу в искусстве, хотя неизбежно и то, что истоки ее лежат близ уже проторенного пути. И здесь есть своя закономерность и диалектика, которая распространяется на любого художника. Писатель всегда начинается с ученичества, пока со временем не выходит из-под «опеки» своего учителя. Освободившись от нее, он постепенно обретает свое неповторимое лицо, которое и определяет его творческую индивидуальность. По мере накопления жизненного и творческого опыта писатель, естественно, в чем-то меняется, сохраняя, однако, ту первооснову, то «ядро», которое сформировалось уже в самом начале его творческого пути.

Роман Иванович Иванычук родился 27 мая 1929 года в селе Трач Косовского района Ивано-Франковской области. Среднюю школу окончил в Коломые. Служил в армии. Затем в 1957 году окончил украинское отделение филологического факультета Львовского университета. Четыре года работал учителем в селе на Львовщине. Писать пробовал еще в школьные годы (стихи, пьесы). Первый рассказ был опубликован в студенческом альманахе в 1954 году.

Говоря о творческой индивидуальности Романа Иванычука, новеллиста, рассказчика и романиста, следует прежде всего исходить из личности автора, то есть из того изначально свойственного ему лиризма, который выражается и в прямых интонациях его героев, и «проглядывает» сквозь оболочку исторических персонажей, а также — и это особенно касается его последних произведений — осязимо присутствует в незримой субстанции самого художественного текста, его внутреннем драматизме.

Чрезвычайно интересно проследить путь становления творческой индивидуальности автора через постепенное нарастание все новых и новых качеств его прозы, через освоение новых жанров, которые содержат в себе скрытые до того возможности, помогающие преодолеть «сопротивление материала». Р. Иванычук, осваивая различные стороны современной и исторической действительности, прошлого и настоящего,

порую находит самые неожиданные точки их соприкосновения, а неуклонное его движение от восторженно «выжвального» из потока жизни факта к художественному обобщению типичных явлений свидетельствует о диалектике самого этого движения.

Если перед тобой художник, чей путь в литературе измеряется несколькими десятилетиями напряженных поисков, то особенно интересно бывает обратиться к его первым опытам и увидеть в них то, с чего, собственно, все начиналось. Следя далее за формированием новых черт и особенностей творческого почерка писателя, порою сознательным, а чаще спонтанным, убеждаешься в том, что инерция «испытанных» приемов, их чрезмерная эксплуатация приводит к оскудению, к невозможности дальнейшего движения на тех же оборотах.

Первый сборник Р. Иванчука «Прут уносит лед», вышедший в 1958 году, тронул читателя своим непосредственным лиризмом. Читая сегодня, скажем, «Аистов огонь», который в свое время был особо отмечен критикой, трудно удержаться от теплой благодарной улыбки, какая, должно быть, появляется на губах пожилого человека при воспоминании о своей юности. Улыбки, означающей прощание с милой сердцу, но, увы, навсегда утраченной наивностью и непосредственностью. Конечно, автор уже давно «вырос» из своей первой книжки. Однако не одной только снисходительности заслуживает она. Этот сборник, подобно первой ласточке, возвестит о появлении новой тенденции в украинской прозе. Ведь недалеко было то время, когда молодой писатель обретал «почву под ногами» лишь при условии создания непременно эпического, «толстого» романа или повести. Как выразился не без иронии один из прозаиков, рассказ или новелла — это тоже хорошо, но они не более чем настройка инструмента перед серьезной игрой...

А тут вдруг сборник небольших рассказов вызвал искренний интерес читателя, а также живой отклик критики. Читателю импонировал доверительный тон автора, та взволнованность, которой было проникнуто нехитрое повествование о простых человеческих чувствах. Не тщательное продуманное заранее сюжетные ходы, не старательно выстроенный конфликт, цель которого показать торжество нового и непрременное поражение старого и отжившего, словом, не схематизм и заданность, так характерные для многих произведений той поры, но простые и истинные отношения между людьми прорвались на страницы скромных по объему и содержанию новелл. Прорвались — подобно тому, как весной река прорывается сквозь панцирь сковывавшего ее льда. Это не значит, что молодой писатель избегал гражданских тем. Тщательно вглядываясь во внутренний мир своих земляков, он сквозь призму человеческой души следил за процессом формирования уклада новой жизни. Поэтому переживаемое каждым героем — это в то же время переживаемое всей страной, не просто событийный фон, существующий отдельно, но суть жизни героев, которая, войдя в их плоть и кровь, определила их мысли, поступки, судьбу в целом.

Главный герой Р. Иванчука — ровесник автора. За его плечами — искалеченное войной детство, его внешне огрубевшая душа на самом деле глубоко незащищена и ранима. Чуткий к чужому горю, он готов откликнуться на чью-то боль, прийти на помощь, хотя порою это случается слишком поздно, как, например, в чрезвычайно популярном для своего времени рассказе «Аистов огонь»: «Где ты теперь? Улыбка любимой девушки, мягкий взгляд незнакомой, всегда молодая мать с малышкой на руках невольно заставляют меня остановиться, приглядеться. Может быть, это ты?»

Истинное переживание может стать переживанием эстетическим лишь по прошествии определенного времени, когда остались позади безысходность страдания и фатальное стечение обстоятельств. Только тогда ощущение героя достоверно и способно передаться читателю, а частный факт перерастает в обобщение. Именно так случилось с рассказом «Аистов огонь». Содержание его можно уложить в несколько строк: это трогательная история о том, как девушка напрасно просила у парня цветок «аистова огня», потом добровольно приняла на себя его наказание, оставшись вместо него после уроков, так как он не выполнил задания, и была за это наказана хозяином, который не мог допустить подобного «своеволия» подневольной пастушки; а затем навсегда исчезла из поля зрения героя. Но с тем, чтобы явиться ему по прошествии долгого времени сладкой грустью и болью — как символ первого пробуждения любви.

С современной точки зрения способ раскрытия лирического чувства здесь выглядит слишком прямолинейным, однако трогательная искренность его обезоруживающе действует на читателя, заставляя его забыть то, к чему он уже привык в современной литературе, — недоговоренность, подтекст событий и эмоций и так далее. Однако ныне обаяние этого непосредственного лиризма постепенно утрачивает свою силу. На фоне теперешних достижений Р. Иванычука явственно выступают профессиональные слабости его первых произведений: прямолинейность характеров и категоричность суждений, именно такое стечение обстоятельств, которое непременно приводит к желаемой развязке, внешняя трагедийность действия, «работающая» на открытый эффект.

Являясь издержками молодости и неопытности, все эти недостатки, естественно, относятся к поре ученичества. И в то же время уже в первых литературных опытах молодого тогда автора сегодня заметны черты, упущенные, к стати, в свое время критикой, которые впоследствии во многом определили направление творческого развития Р. Иванычука. Назову лишь одну из характерных в этом смысле вещей — «Отец», где нет ни внезапных встреч, ни рокового стечения обстоятельств. В центре рассказа — внутреннее состояние человека, душа которого до краев наполнена неизбывной болью. Ее причина — случайное сходство женщины, встреченной в вокзальном ресторане, с дочерью героя. Трудно сказать, похожи ли они на самом деле. Может быть, разомлевшему от выпитого человеку любая женщина могла напомнить дочь, которую гитлеровцы угнали в Германию. Тем не менее он уверен, что это она, его Оленка, чудом оказалась здесь. Когда же молодая женщина, приветливо взглянув на старика, улыбнулась ему, иллюзия сходства почти превратилась в реальность. И он тут же бежит в вокзальный ларек и — тоже по счастливой случайности — покупает там именно такой платок, какой мог бы понравиться его дочери. Но когда он вернулся, в ресторанном зале было пусто... Так и застыл он — с платком в руках и с болью в сердце. Как будто бы ничего особенного не происходит в рассказе. Тем не менее из жизни выхвачен именно тот момент, который показывает всю глубину и трагизм случившегося с человеком: вдруг вспыхнувший в сердце героя и тут же погасший огонек надежды повергает его в еще более глубокое отчаяние. Иллюзия усиливает и подчеркивает душевную драму героя. И здесь, как мне кажется, не обошлось без влияния Василия Стефаника, у которого, как правило, характер человека раскрывается через призму его души при минимуме внешних событий.

Путь Иванычука-новелиста не был прямым и не шел только по восходящей. Деревня, которую молодой писатель знал прекрасно, психология крестьянина, которую он пытался постичь в момент сложных со-

циальных преобразований, когда шла борьба между инстинктом собственника и неудержимой тягой к новому, далеко не всегда находили воплощение в раскрытии внутреннего конфликта человека, поставленного перед альтернативой: или — или... Зачастую насыщенная необходимостью такого выбора мгновенно снимается внешним поворотом событий, и образ того или иного персонажа оказывается заимствованным из готовых клише апробированных приемов так называемой социально-бытовой прозы. Эта проза, кстати, имеет давние традиции и глубокие корни в украинской литературе, которые порою словно берут в плен молодого писателя. В ранних произведениях Р. Иванычука явно ощутимы их следы, в поздних же наряду с попытками освободиться от такого рода влияния сквозит и опасение лишиться привычного окружения, знакомых персонажей, типичных сюжетных коллизий — словом, всего того, что уже давно использовано предшественниками.

Это упорное соревнование с самим собой протекало с попеременным преобладанием обеих названных тенденций, что само по себе уже говорит о сложности творческого развития писателя. Так, например, новелла «Рододендроны» иллюстрирует предпочтение одной из них. Поднимаясь в горы, овеянные древними легендами, дабы надышаться их древним воздухом, лирический герой преследует четкую цель — сложить свою песню, где древность сочеталась бы с современностью. С таким же успехом можно было, сидя на месте и читая фольклорные записи, сочинить очередной их вариант, где новые представления сопоставлялись бы со старыми. Можно также, не идя далеко, показать совпадения и различия между ними и еще многое из этого вытекающее. Нечто подобное, кстати говоря, сделал писатель Степан Пушик в своем произведении «Перо золотой птицы». Р. Иванычуку же, на мой взгляд, такого рода песня не удалась, оттого что приступил он к ней с готовой программой, где все детали были тщательно выверены. Истинное искусство, как известно, этого не терпит, в нем все вновь, все — откровение, все и всегда — «впервые». Потому и сам цветок рододендрона здесь не тот, который растет в труднодоступных гористых местах, а пересаженный и культивированный в иной, искусственной почве — оранжерейной.

Зато потом Р. Иванычук пишет «Отец», «Мечь», «Побей меня»... Впрочем, эти вещи создавались уже в то время, когда новеллистика переживала общий подъем. Уже стали широко известны имена Евгена Гуцало, Григора Тютюнника, Владимира Дрозда, Валерия Шевчука, появившиеся в литературе в начале 60-х годов. В прозе наступала пора «малых жанров», о которой одним из первых возвестил Роман Иванычук своими новеллами. Трудно сказать, что сыграло большую роль: угадал ли писатель будущее направление развития прозы или осознанно предвосхитил его. Скорее всего, само время диктовало свои нужды — приближение к живому человеку, его неповторимость, искренность и доверие к нему. Это дало себя знать и в поэзии, шедшей в ногу с прозой, чему свидетельство — произведения В. Симоненко, И. Драча, М. Винграновского, Б. Олейника и других. Сама атмосфера духовной жизни общества стимулировала творчество этих писателей.

Ощувив то, что «носилося в воздухе», Роман Иванычук немедленно откликнулся, хотя трезвое осознание своей эстетической программы пришло не сразу. А пока... Пока он все еще, подобно многим, стремился утвердить себя в литературе через жанр романа. Он пишет трилогию «У столбовой дороги», над которой работает с 1957 по 1963 год. Это произведение охватывает последние годы реакционного режима панской Польши на Украине, затем годы воссоединения западноукраинских земель, период войны и первые послевоенные годы на Галичине. Роман

свидетельствует о том, что о социальных процессах, происходивших в стране, автор знает не понаслышке: помимо того, что здесь действуют колоритные социальные типы, сама атмосфера произведения отмечена убедительностью живой жизни. Поэтому вполне понятна высокая оценка романа в критике. Благодаря же переводу на русский язык роман стал известен всеобщему читателю. Однако сегодня, когда писатель ушел далеко вперед от этого своего произведения, стали явственно видны не только частные его слабости, но и некоторая общая ограниченность его концепции, выражающаяся прежде всего в недостаточной четкости собственного эстетического принципа, индивидуальности художественного метода. Достаточно сказать, что в украинской литературе к тому времени уже были похожие произведения: «Юрко Крук» Петра Козланюка и первая часть «Сестер Ричинских» Ирины Вильде.

Однако опыт романа «У столбовой дороги» помог становлению и утверждению собственного стиля писателя, в котором основным оказалось не эпическое, а лирическое начало. Лиризм распространяется не только на эмоциональную сферу происходящего, но и на сам способ мышления героев, их отношение к жизни. И если раньше творческое развитие писателя шло как бы двумя параллельными путями — лирической новеллы и эпического романа, то отныне новелла и роман словно бы пересекаются, взаимно обогащая и дополняя друг друга.

В новеллистике лирическая струя устремляется вглубь, и автор сосредоточивает свое внимание не на непосредственном выражении чувств и настроений своих героев, а на мотивации их поступков.

Романа Иванчука неизменно интересует момент перелома в психологии человека, когда старые консервативные жизненные и нравственные нормы еще властно держат его, а новое в то же время уже настойчиво стучится в двери. Внутренняя борьба, происходящая в душе человека и его сознании, выразительно передана писателем в новелле «Дом на горе». Его героиня после долгих мучительных колебаний порывает с хутором, где бесцветно и бесплодно прошла ее молодость. Потом, очевидно, не без ее участия, сгорает дом, и в золе этого пожара перегорела и перетлела ее привязанность к тому клочку на горе, обособленность которого обрекала хуторянина на одиночество, становившееся чуть ли не второй его натурой. Это произведение традиционно, если говорить о самом принципе построения. Расширение же тематики, поиск новых конфликтов привел к новым методам раскрытия этих конфликтов, к новым художественным формам.

Следует заметить, однако, что новизна манеры Р. Иванчука до недавнего времени сводилась по сути только к двуплановости изображения, которая проявляется в разных произведениях по-разному: в чередовании картин действительных и воображаемых («Байкал»), в передаче происходящего через восприятие двух персонажей («Седые ночи»), в переплетении прошлого и настоящего («Аисты на Семеновой хате»). Этот прием, уплотняя «полезную площадь» рассказа, сгущает происходящее, но вместе с тем приводит порою к определенной унификации в изображении событий и раскрытии психологии героев.

Надо сказать, что в последнее время наблюдается заметное ослабление «опеки» автора над персонажами, благодаря чему произведение держится не на внешней логике, а на внутренней энергии. При этом неожиданные зигзаги поступков, повороты судеб героев порою ведут к некоторой асимметричности композиции, концентрируя «взрывную» энергию в одной точке. Четко оформившись в последних произведениях, эта черта наметилась в прозе Р. Иванчука уже давно. Взять хотя бы рассказ «Настуня», в котором герой неожиданно попадает на свадьбу

в родных местах и невольно вспоминает другую свадьбу, свадьбу матери невесты, на которой ему когда-то довелось быть. Две свадьбы — это два этапа в истории края: судьба матери, которую, руководствуясь голым расчетом, насильно выдали замуж, и дожди, вышедшей по любви, ибо изменилось время, а вместе с ним и люди. В рассказе наряду с этим звучит шемящая нота быстротечности жизни, вылетающая в целую гамму мыслей, настроений, чувств героя. Грань же, разделяющая две свадьбы, — где-то «за кадром», ибо уплотнилось само время, приблизившее вплотную картины прошлого, которые только человеческая память способна слить с настоящим. Мимолетная власть писателя над временем так же эфемерна, как паутинка бабьего лета.

В произведениях Р. Иванычука приметы времени воплощаются прежде всего в самих людях, в их внутренней сущности. Если же порою автор и делает акцент на внешних признаках, то это, как правило, приводит к описательности, к рассказу «со стороны» о событиях и явлениях, так и не переросших в художественные идеи и типы. Писатель настойчиво ищет равновесия между фактом, вещественной реальностью и отражением ее в духовном мире героя, стремясь в рассказе об определенном событии выявить характер человека, суть его отношений с другими. Для этого ему необходим, как, например, в новелле «Зеленый шум», не только тщательный анализ, но и широкие горизонты пространства и времени, благодаря которым возможно сопоставить опыт разных поколений. Обновление жизни — процесс сложный и многослойный. Последние плоты на Черемоше, вызывающие тоску по уходящей романтике, все же уступают место огням электростанции, но люди свой многовековой опыт передают дегям, хотя старая хата не оставляет в наследство новому жилищу своих домогих, своих духов... Новое связано не только с надеждами и счастливыми встречами, оно несет в себе и разлуку с когда-то дорогим бытом, и грусть. Эта грусть героев Р. Иванычука имеет как бы двойной «фундамент» — лирическое чувство автора и настроение самого героя.

Р. Иванычук и на данном этапе творчества не прекратил работу в жанре романа. Новеллы и роман длительное время словно бы делят между собой «сферы влияния» — первые воплощают современную тематику, роман в основном реализует себя на материале истории, до появления публикуемого в настоящей книге романа «Город».

Для писателя история — отнюдь не «инвариант» современности, когда мысли, чувства и ощущения современников вкладываются в уста исторических персонажей. Тщательно всматриваясь в черты времени, которое стало предметом его исследования, автор сосредоточивает свое внимание на перспективных для будущего духовных и социально-философских идеях прошлого. Для него история не столько событийная, сколько интеллектуальная почва для исследования. Эта особенность романов Р. Иванычука дала о себе знать уже в первом романе такого рода — «Мальвы» (1964) и вызвала полемику в критике.

Стремление зафиксировать исторический момент, в котором прошлое и настоящее выступают как звенья сложного, но единого исторического процесса, благодаря чему на смену панорамному и батальному изображению приходит потребность в философском осмыслении происходящего, было продиктовано самой жизнью и не замедлило отразиться в литературе. В том же 1964 году, когда вышел роман «Мальвы», появился роман П. Загребельного «Диво», действие которого разворачивается вокруг двух главных образов — великого князя Ярослава Мудрого и Сивоока — творца Софии Киевской.

Новый исторический роман Иванчука «Червлено вино» вышел на Украине в 1976 году. В этом романе речь идет об Олесском замке—последней твердыне борцов за независимость Галичины и Волыни против польских феодалов. Перед читателем разворачивается широкая картина сложных и запутанных интриг, измен и хитросплетений политической жизни Европы XV столетия, с одной стороны, и мужества народа, готового до конца стоять за родную землю,—с другой. Собственно исторический фон произведения, складывающийся из ярких, колоритных, а порою несколько конспективных описаний, сначала обособлен от основной проблемы, однако затем на этом фоне вырастает фигура Осташка. Он живой свидетель политической игры, когда землями и народами распоряжались, как карточными ставками. Он же — свидетель народного патриотизма. Осташко осуждает преступную нерешительность олесского старосты Ивашка Преслужича, который лишь в последний момент, предвидя неминуемое поражение, примкнул к «черни» — простым крестьянам и мещанам. Осташко не просто посланец старосты Ивашка, но голос совести своей эпохи, летописец, сам взявший на себя миссию рассказать потомкам обо всем, что видел, чему был свидетелем. В итоге именно это оказалось его призванием, определило его назначение на земле.

Уже этот короткий пересказ основных мотивов произведения дает возможность ощутить его место в советской исторической романистике — обращение писателей к истории весьма показательно для современной литературы. В произведениях такого рода часто встречается образ летописца. Это можно было бы расценить как определенный симптом «моды», если бы с образом «хронографа» исторических событий не были бы у каждого автора связаны и по-своему раскрыты серьезные общественные и философские вопросы, решаемые путем привлечения конкретного исторического материала. Назову здесь хотя бы драматическую поэму Ю. Марцинкявичюса «Миндаугас», романы М. Симашко «Маздак» и Р. Федорива «Отчий светильник». Не приходится говорить о каком бы то ни было прямом сходстве или зависимости между ними, ибо каждое произведение по своим художественным принципам целиком оригинально. Но вместе с тем некоторая их родственность, перекличка между собой очевидны. Всеми названными авторами — к ним можно присоединить многих других — руководит не одно лишь желание выявить скрытые интеллектуальные и духовные силы эпохи, но и стремление показать взаимосвязь между событием и претворением его в слово.

Порою же слово предшествовало делу. Вспомним в связи с этим трагедию А. С. Пушкина «Борис Годунов». Слово монаха-летописца Пимена породило дело — превращение Гришки Отрепьева в Лжедмитрия. Эта живая связь, облекаясь в разные формы, существует во все времена. А потому не случайно одной из центральных идей современной исторической романистики является именно отношение между словом и делом, мыслью и мечом, луком и лирой. Какие бы поэтические параллели ни изобретали авторы, суть у них одна. Итак, в центре романа «Червлено вино» — та же проблема слова и поступка, ответственности человека за слово как за поступок и, если возникает необходимость, его способность заменить слово копьем, саблей или — продолжая этот ряд — винтовкой. Недаром уже в советскую эпоху стали крылатыми слова: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...»

«Вся сила моя в пере скорописном,— записывает Осташко-каллиграф.—И если я, не способный ни к копыю, ни к сохе, сдобрю, как лакомством, череду мыслей моих ложью, пусть отсохнут три перста моих на деснице, которые держат перо, и пусть забуду я тайну письма...»

Чувство ответственности за эти слова ведет Осташка в ряды защитников города — к оборонным валам Олесска. Логика единства слова и поступка — в действии.

Если проследить развитие центральных образов исторических произведений Р. Иванычука, можно отметить, что все они, сохраняя между собой внутреннюю связь, по мере их «роста» от произведения к произведению становятся более демократичными. Если меддах Омар из романа «Мальвы» существует как некая почти нематериальная субстанция мудрости — это, по сути, человек без лица, без биографии («его лицо пряталось в густой длинной бороде — было видно, что это старец, и он действительно был стар, как мир, а в глубоких темных глазах светилась мудрость многих поколений»), — то Осташко лишен романтического ореола: это «худосочный человек в бархатной ермолке, из-под которой редкие волосы спадали на серый воротник кафтана». С ним можно говорить где угодно и о чем угодно, откровенно, ибо он не боится произнести дерзкое слово даже в адрес сильных мира сего.

Ну а Лысый Мацко — центральный персонаж недавно вышедшего романа «Манускрипт с улицы Русской», повествующего о временах, когда во Львове верховодил староста Мнишек, отец печально известной Марины, и когда был жив еще сын первопечатника Ивана Федорова Иван Друкаревич, когда украинские братства печатали книги и всеми силами сопротивлялись наступлению католицизма, — этот персонаж и вовсе не кто иной, как содержатель винного погребка, где собирается бедный городской люд пропустить стаканчик. В напряженной интеллектуальной атмосфере произведения, где ведутся дискуссии на богословские, политические, литературные, медицинские и прочие темы, где действуют польский поэт Шимон Шимонович, украинский писатель-полемист Иван Вишенский, внимание и симпатия автора к такой фигуре, как Лысый Мацко, на первый взгляд неожиданны. Однако ничего удивительного тут нет. Ведь мир, предстающий сквозь призму видения Мацко в его записках, — это та же летопись, только в сниженном, даже пародийном варианте. Если говорить о более глубоких причинах снижения образа «выразителя своего времени», то оно, вероятно, предпринято с целью отразить мировоззрение низов, показать, как зреют в народе, несмотря на социальный, национальный и религиозный гнет, огромные силы, которые ждут своего часа, чтобы вырваться наружу. Этот, по определению автора, «интересный тип средневекового мещанина» претерпевает в романе существенную эволюцию. Отказавшись вначале пожертвовать деньги на братство (дал лишь два гроша отступного), он впоследствии отдает братству все свое имущество, не забывая при этом уточнить: «Стоила мне эта служба две тысячи сто семьдесят шесть золотых и четырнадцать грошей».

Как я уже говорил, Мацко тоже ведет свою «летопись», где выступает истинным сыном своего времени. В его психологии и восприятии жизни твердый практицизм сочетается с типичной для средневековья верой в чертей, ведьм и прочую нечистую силу. Естественно и органично передан в произведении колорит эпохи, и кажется, что он рожден не авторской волей, а самим воздухом улиц и площадей Львова начала XVII века, идет изнутри создаваемых писателем характеров. Однако внимательный глаз сразу заметит, что элементы средневековой мистики играют не роль орнамента и введены даже не для пущей психологической достоверности, но несут определенную социально-этическую функцию. И в этом смысле они символичны. Ведь черт, подстерегающий Антоха Блазия, — это как бы его нечистая совесть, червоточина души. Надо сказать, что символика в этом произведении вообще чрезвычайно красноре-

чива и разнообразна. Конкретные ситуации, черты характера персонажей, их настроения, привычки — все это, воспринимаемое прямо и непосредственно, обнаруживает еще и другой план, иное, как бы скрытое от постороннего глаза содержание. Так, например, молчание мужа мещанки Абрековой — это символ «безъязыкости» всей Русской улицы, улицы бедняков, а развлекающийся марионетками архиепископ Соликовский наводит на мысль о марионеточной, по сути, роли польского шляхетства, которое, играя в самостоятельность, фактически зависит от духовенства. Не берясь далее расшифровывать символику романа, скажу лишь, что его художественное многообразие заслуживает самой высокой оценки. Стремясь к выразительности образов и деталей, автор отнюдь не преследует цели как-то «модернизировать» повествование, «подтягивая» его под современный уровень восприятия.

Роман «Манускрипт с улицы Русской» отличается цельная художественная структура. Линия духовной преемственности борющегося за свою независимость народа развивается в кругу естественной непрерывности исторических связей. И связь эта не обрывается с завершением повествования, ибо растет сын Гизы и Юрия Рогатинца Марко, скачет розовый конь детской мечты Зиновия — сына сотника Михайла Хмеля; мужает сын Мацка Лысого, Роман, который станет сначала учителем, а затем ректором братской школы.

Так, идя навстречу друг другу, двумя путями развивались линии новеллы и романа в творчестве Р. Иванчука. Романы писателя до недавнего времени были отмечены интенсивнейшими художественными исканиями и достижениями, углублением автора в морально-философскую проблематику. До недавнего времени, потому что ныне эти линии пересеклись. И точка пересечения, условно говоря, находится между новеллой «Байкал» и повестью «Нестор», которая затем переросла в роман «Город». Ситуация, развертывающаяся в новелле «Байкал», насквозь условна. В основу произведения ложится разговор инженера-нефтяника со случайной пассажиркой в служебном автобусе, к тому же разговор этот — не более чем плод воображения героя, принимающего, так сказать, желаемое за действительное. Однако главное — не вымышлено: это великая мечта, ставшая целью жизни героя, которая пронизывает каждый ее миг высоким стремлением.

Новелла «Байкал» со временем также вошла в роман «Город», естественно вписавшись в целостную картину произведения. Этот чисто внешний факт имел в данном случае свою логику: он показателен тем, что свидетельствует об исканиях автора, которые шли в одном направлении, одном русле. И дело не в формальных приемах, сюжетных ходах или композиционных особенностях. Речь идет о принципиально новом характере лиризма, который состоит не просто в изображении различных настроений и эмоций, но в углублении самого ощущения.

Сюжетную основу романа «Город» составляет приезд кинорежиссера Нестора в край его детства, где он, волею обстоятельств, не был почти двадцать лет, и демонстрация его фильма, посвященного этим местам. Фильм Нестора, показанный в Городе, построен таким образом, что воспринимается зрителями очень непосредственно, ибо они, зрители, — по крайней мере многие из них — являются в то же время и участниками событий фильма, его героями. Каждый конкретный эпизод фильма — это случай из их жизни, который они живо вспоминают при просмотре картины. Такой композиционный прием преследует цель воссоединить прошлое и настоящее в одно целое. Сама атмосфера Города как бы испытывает героя, его духовную и творческую состоятельность. В то же время и Город держит своеобразный экзамен перед

герою. В этом скрытом внутреннем соревновании, конечно, побеждает Город, и это прежде всего осознает Нестор. Он приходит к важному для себя выводу о непреходящей ценности тех жизненных уроков, которые в свое время преподавал ему Город, — о необходимости заплатить свой моральный долг землякам. А кроме того, к убеждению, что Город — уже теперешний, современный — остается для него критерием ценностей, источником познания жизни и человеческих характеров, одним словом, эпицентром духовного притяжения, той «малой родиной», сквозь призму которой ярче раскрываются перед ним бескрайние просторы всего белого света. В итоге оказывается, что главное в произведении не увенчанный лауреатскими лаврами кинорежиссер, хотя именно вокруг него разворачиваются события, но — собирательный образ Города, так как цена творчества Нестора определяется им, его атмосферой и колоритом, его прошлым и настоящим.

Атмосферу Города помогает раскрыть прием двойного изображения: с одной стороны, воспоминания Нестора, а с другой — его нынешние встречи с людьми. Чередование различных эпизодов способствует ощущению постоянной новизны, ибо воспоминаниям придается острота переживаемого ныне, встречи же после разлуки несут в себе радость узнавания и новизну происшедших перемен. Авторское отношение к стране детства окрашено романтикой воспоминаний юности, в которых действительное переплетено с воображаемым. Некоторая однородность и цельность общей атмосферы Города не приводит к нивелировке человеческих характеров. Напротив, действующие лица по-настоящему колоритны и интересны в двух планах — как неповторимые человеческие индивидуальности и как представители определенной социальной прослойки. Будучи неотъемлемой частью истории и современного существования Города, каждый из них по-своему дополняет его. Так, Августин Копач — типичный деревенский философ, которого, по сути, не изменило городское окружение, а наложило лишь внешний отпечаток на его облик. Пани Перцова до сих пор сохранила свои собственнические пережитки и чувство местечкового превосходства горожанки над крестьянином: ее изумление по поводу того, что деревенский мужик стал уважаемым человеком, так же комично, как привычка поворачивать перстень камнем внутрь в зависимости от обстоятельств. Трөгателен и образ Костя Американца, который, оставив здоровье и силу за океаном, на старости лет вернулся на родину и привез оттуда не только экзотический музыкальный инструмент банджо, но и слесарные инструменты, чтобы, несмотря на возраст, устроиться работать на завод. И в конце концов сам Нестор — тоже частица Города, и именно в этом качестве образ наиболее убедителен и реален.

Граница между событиями фильма и происходящим за экраном, между воспоминаниями и действительностью так же тонка, как в новелле «Байкал» — между воображением и реальностью. Наверное, вообще излишне искать четкий водораздел между ними. Ведь возвращение героя в город своего детства, к «первоисточнику» — это прежде всего возвращение к самому себе, и потому воспоминания, ставшие «документом души», не менее весомы, чем происходящее ныне.

Психологическая напряженность новых произведений Р. Иванычука, благодаря которой внешняя логика событий уступила место внутренней мотивированности содержания и становления характеров, вызвала изменения и в самой поэтике. Раньше для художественной манеры писателя были типичными описания примерно такого характера: «Белой змеей вылетел снег по дороге. Телефонные столбы шагают друг за другом, как печальные путники. Ветер играет морозную песню в проводах. Я воз-

вращаюсь в свое предместье. Мне не холодно. Меня согревает мое счастье» («Воровство?»). Подобной «инкрустации» метафорами теперь не встретишь у Р. Иванчука. На смену ей пришла упругость конфликта, черно-белые графические очертания которого нет надобности, как в детских картинках, раскрашивать разноцветными карандашами.

Новелла «Исключительная ситуация», вошедшая в настоящее издание в качестве своеобразного ретроспективного эпилога романа, напоминает поединок на рапирах, где любой опрометчивый поворот чреват «уколом» противника. Чередование же внутренних монологов в «Одном хлебе на двоих» не только служит развитию действия, но создает магнитное силовое поле конфликта, где в этом хлебе, условно говоря, сосредоточены два противоположных заряда.

Внутренний выбор, перед необходимостью которого поставлены герои, определяет их духовную сущность. Случай над обрывом в «Исключительной ситуации» — это как бы испытание на прочность любителей интеллектуальных разговоров, которые ведут между собой полутчики в машине, где каждый стремится щегольнуть своей эрудицией. Опасность, нависшая над всеми, сразу показывает, кто на что способен... Исключительные обстоятельства на поверку не столь уж исключительны, ибо та же ситуация могла возникнуть где угодно. Обрыв — это условность, метафора, которую вводит автор как средство выявить «нутро» человека.

Итак, писатель, который, казалось бы, уже окончательно сформировал свою индивидуальную художественно-стилевую манеру и более того — прочно в ней утвердился, снова оказывается в процессе поиска новых жизненных конфликтов, новых художественных решений: А это непросто, ибо любой эксперимент, любой отход от уже «завоеванных» надежных позиций всегда чреват риском. Но вместе с тем отход от себя вчерашнего с целью обрести себя сегодняшнего, а также перспективу завтрашнего свидетельствует о несомненном прогрессе. А без этого, как известно, невозможно развитие искусства, совершенствование творческой личности художника.

Микола ИЛЬНИЦКИЙ.

Перевод с украинского Е. Уманской.

● СО Д Е Р Ж А Н И Е

ГОРОД.	Роман	5
НОВЕЛЛЫ		
	Зеленый шум	205
	Следы жизни	214
	Настуня	221
	Аисты на Семеновой хате.	234
	Седая ночь	241
	За спасибо	248
	Дом на горе	253
	Не рубите ясеней	260
	Недопетое	276
	Рододендроны	288
	На пороге	299
	Свадебная	306
	Через межу — только шаг	311
	Воровство!	322
	Доктор Бровко	329
	Зима не вечна	338
	Юра Фирман	347
	Побей меня!..	353
	Айна	356
	Один хлеб на двоих	366
ЭТЮДЫ. ЗАРИСОВКИ	375
ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ.	<i>Послесловие</i> М. Ильницкого	434

Роман Иванович ИВАНЬЧУК

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1979, 448 стр. с илл.

Редактор приложений **Б. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **М. Серебрянникова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **Н. Карнаушкина**

Корректор **Л. Сухоставская**



А09996. Сдано в набор 13/II-79 г. Подписано в печать 22/V-79 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага печ. № 1. Печ. л. 14. Усл. печ. л. 23,52.
Уч.-изд. л. 22,71. Зак. 600. Тираж 218.500 экз.

Цена 1 руб. 70 коп.



Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий
Советов народных депутатов СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.

**В 1979 году издается 15 книг
библиотеки**

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник — Я из огненной деревни... Перевод с белорусского.

Ч. Айтматов — Ранние журавли. Повести.

Ч. Амирэджиби — Дата Туташиа. Роман. Перевод с грузинского.

Ю. Бондарев — Берег. Роман. Повесть.

В. Быков — Дожить до рассвета. Повести.

А. Бэл — Голос зовущего. Романы. Перевод с латышского.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман. Книга 2-я.

Р. Иванычук — Возвращение. Роман. Новеллы. Перевод с украинского.

А. Кекильбаев — Баллады забытых лет. Роман. Повести. Перевод с казахского.

Ю. Нагибин — Царскосельское утро. Повести. Рассказы.

Б. Окуджава — Избранная проза.

М. Симашко — Маздак. Повести Черных и Красных Песков.

Ю. Трифонов — Другая жизнь. Повести. Рассказы.

Б. Шинкуба — Последний из ушедших. Роман. Перевод с абхазского.

Л. Якименко — И вечная, как мир... Роман. Повесть.

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Валерий Гейдеко
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Борис Панкин
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Петр Серебряков
Константин Симонов
Юрий Суровцев
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камиль Яшен**